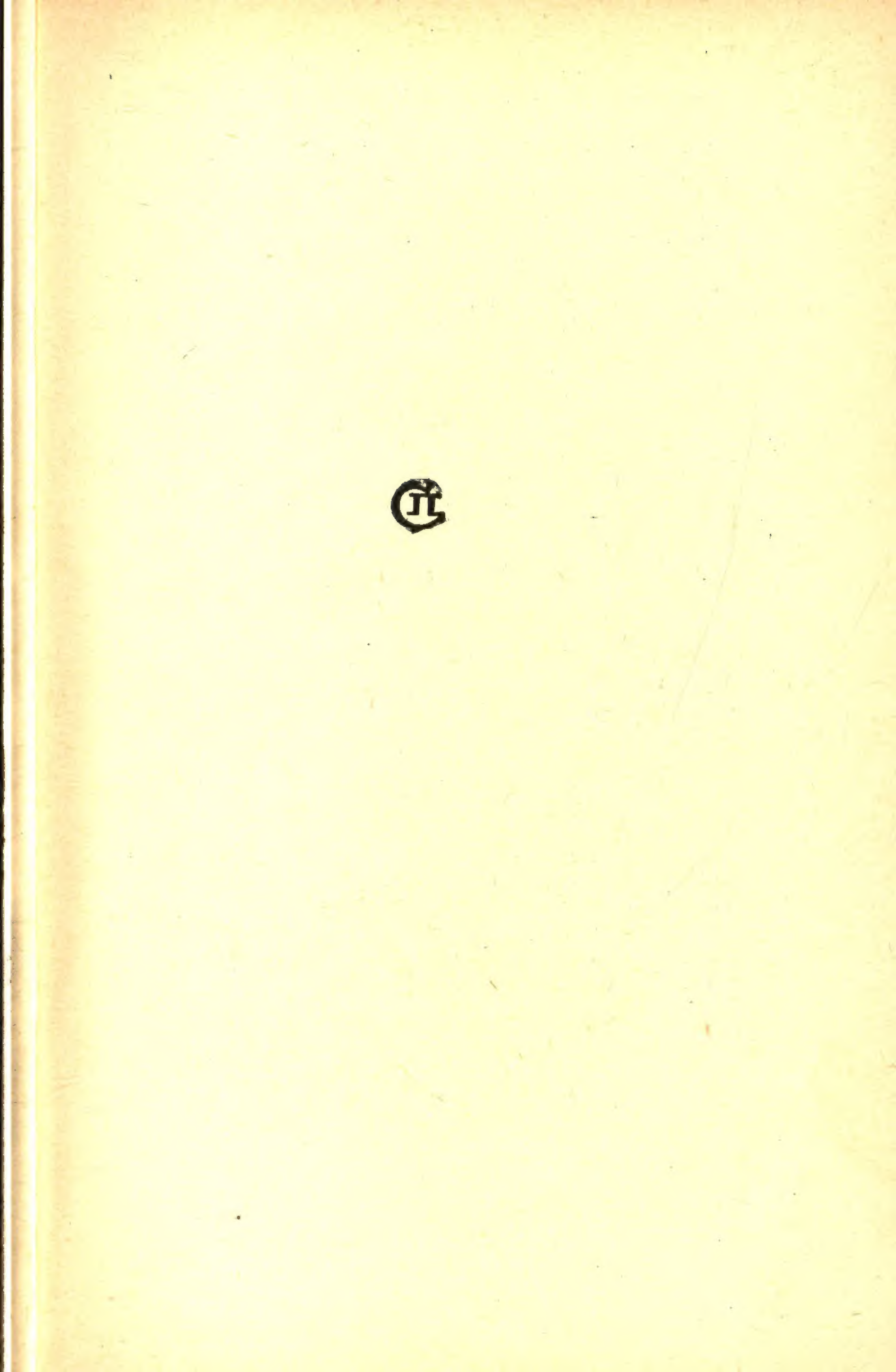
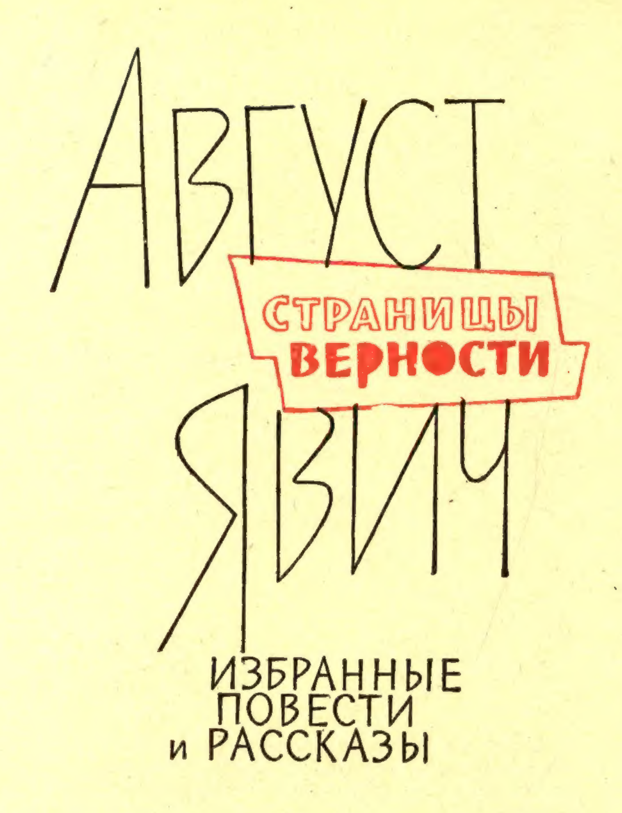
Август Явич

Страницы верности





ИЗБРАННЫЕ
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ

СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА • 1963

В эту книгу входят лучшие из рассказов и повестей, которые А. Явич написал почти за сорок лет своей литературной работы.

Повесть «Враги» посвящена гражданской войне. О сложных противоречиях напряженной и трудной жизни чекистов идет речь в повести «Григорий Пугачев».

«Севастопольская повесть» рассказывает о последнем дне одной батареи, о героической смерти ее людей, не отступивших перед фашистами.

В новеллах цикла «Калмыцкая степь» запечатлены колоритные обычаи и нравы людей, у которых особый уклад жизни выработал свое особое, неповторимое отношение к миру.

Многие произведения, вошедшие в книгу, дорабатывались автором специально для этого издания.

ПОВЕСТИ О ДАВНЕМ И ЖИВОМ

ВРАГИ

1. НАС БЫЛО ДЕВЯТЬ

Наконец-то мы достигли узловой станции, где нам надлежало пересесть в другой поезд и двинуться дальше на север.

Нас было девять: я — военный следователь, трое арестованных из банды полковника Киргизова, трое конвойных красноармейцев и их командир Котов, щеголеватый паренек в кавалерийской, до пят, шинели, и сотрудник Сидоренко, горбун с длинными ногами и длинным безволосым лицом скопца, похожий на птицу марабу.

— Арестованные! Взять бебехи и не разговаривать, — сказал командир Котов, доставая задеревеневшими пальцами наган из кобуры. — И не задерживать!

Поезд остановился в двух верстах от станции, паровоз не дотянул и скис, как выражались в ту пору. После недельного путешествия в теплушке без нар и печки даже две версты были для нас непосильным расстоянием. Мы шатались от усталости и изнеможения.

Высоко в черном небе сверкали зимние звезды, чем выше, тем слабее, так что где-то далеко-далеко в пустом черном пространстве мерцала едва заметная звездная сыпь. И все это неисчислимое множество звезд мигало, гасло, вспыхивало вновь, как гигантский рой светляков.

Был декабрь 1921 года. От мороза гудели телеграфные столбы. В тишине поскрипывал снег под ногами, искрясь и переливаясь живым блеском.

Мы шли по шпалам, конвоиры вперемежку с арестованными. Арестованный Левантович, штабс-капитан царской армии, которого все почему-то называли «доктор», хотя он был не врач, а юрист, ушел по макушку в заиндевевший воротник дохи, только и виднелись стекла его очков в золотой оправе. За ним шагал мелкорослый мужичонка по фамилии Баруличев, содержатель «штаб-фатеры», с мохнатыми и побелевшими на морозе бровями и бородой. Дальше — поручик Грибунин, высокий, беспокойный, на удивление выносливый, с острым, тонким, давно не бритым лицом, отмеченным безразличием, усталостью и непривычной физической неопрятностью.

По должности следователя я изучал и его повадки: когда ему становилось особенно тягостно и грустно, он начинал тихо насвистывать. Вот и сейчас, кутаясь в холодную шинель, он что-то насвистывал, но споткнулся и чуть было не упал. Его подхватил командир Котов.

— Потише, гляди, ноги переломаешь.

— Спасибо. Тут и шею сломать недолго, — ответил Грибунин.

Подле меня шагал горбун Сидоренко в тулупчике, смешно выбрасывая прямые, длинные, почти негнущиеся ноги в коротких, толстых валенках, надетых поверх сапог.

— Товарищ следователь, — шепнул он мне таинственно, — арестованные разговаривают промеж собой, и не слыхать, о чем сговариваются.

— Ну и что же?

— Как что? Знать надо. Может, побег замышляют. Много им воли Котов дает.

— Дурак ты, Сидоренко! Лезешь не в свое дело. Нос у тебя, что ли, журавлиный, не знаешь, куда сунуть?..

— А я упредил, — нахохлился Сидоренко, сверкая серебряными белками глаз. — А сбегут — ты в ответе.

Смотри, не шутка. По закону военно-революционного времени вплоть до расстрела...

С ним неожиданно поравнялся Котов.

— Опять кляузы разводишь! — сказал он гневно.

— Что ты, что ты, Алеша! — растерянно и заискивающе пробормотал Сидоренко.

— Я тебе не Алеша, а товарищ командир. Ты чего строчил в теплушке? Не видел, думаешь. Доносы все пишешь...

— Ты скажешь, ты скажешь... — смущенно и неловко повторял Сидоренко, пытаясь отстать.

Но Котов схватил его за шиворот и хорошенько тряхнул, как охотничьего пса, который не выпускает добычи.

— Пусти! — запищал горбун, вырываясь из рук Котова.

— Как бы не так, — отвечал командир. — Смотри у меня, горбачья душа! Мы тебе ядовитое жало вырвем. А будешь красноармейцев науськивать, вот тебе честное коммунистическое слово — всажу тебе пулю в горб. Понял? — Он оттолкнул прочь горбуна, который тотчас отстал, бурча и ругаясь.

Я сказал Котову, что негоже так обращаться с Сидоренко на виду у конвоиров и арестованных.

— Невтерпеж, товарищ следователь, — ответил он с досадой. — Все нашептывает, змея подколодная, вам про меня, мне про вас: следователь, дескать, чужого роду, и всякое такое прочее. Опять же люди мерзнут, голодуют, а он, зараза, на сапоги валенцы обул, тайком сало жрет... Даром свой, а хуже беляка. И как вы его терпите такого, товарищ Курганов! Моя воля — я бы его коленкой под зад, и катись к чертовой матери.

Я охотно последовал бы его совету. Но Сидоренко, представлялось мне, принадлежит к категории тех людей, которых лучше всегда держать возле себя и даже немного впереди, не сводя с них глаз.

Красноармеец Шутенков с морщинистым, рябым лицом, уйдя немного вперед, рассудительно сказал, ни к кому не обращаясь, а как бы разговаривая с собой:

— Горбуны завсегда злые. От горба, что ли, у них,

я так полагаю, эта злость. У нас вон в деревне был горбун, вдобавок заика. Начнет слово разматывать — ни боже мой, не то что слушать, на него смотреть неловко. Пыжится, потеет, по башке себя кулаком гвоздит. А случится ему ежели горбача либо заику повстречать — и чего только с ним тут делается. И смех и грех. С лица черный, трясется весь, на губах пена. Посмотришь — ну ровно петух драчливый, того гляди глаза выклюет. Скажи ты на милость, точно его чужая беда дразнит. Ух ты холодина какая, наскрозь берет... — и Шутенков стал хлопать себя руками по плечам.

2. УТЧК[1]

Темный, неосвещенный вокзал среди гор снега казался необитаем, но только отошла дверь на скрипучем блоке, как выкатилось облако пара и вместе с ним гул голосов и тяжкий дух людских испарений.

В помещении УТЧК, освещенном висячей керосиновой лампой-«молнией», совсем потускневшей в синем табачном дыму, нас встретил рыжий детина. У него не хватало двух передних зубов, он говорил с присвистом и шепелявил.

— Кто такие? Чего надо?

Выслушав меня, он смягчился и указал на шкафы, разгородившие комнату на две части:

— Располагайся! Места там хватит.

Действительно, за конторскими шкафами с позеленевшими от сырости спинами, на которых были наклеены литографические портреты вождей революции, оказалось места более чем достаточно.

Я спросил рыжего, скоро ли будет поезд.

— А кто его знает, — ответил он флегматично. — Как придет, так будет. С последней станции выйдет — нам сообщат. Ходу тут ему пустяки, а при нонешней паровозной тяге он вполне может двое суток болтаться. А то еще придется подмогу посылать. Известно, натура наша такая, широченная, нам все нипочем, —

---

[1] Управление транспортной Чека.

сказал он каким-то разгульным, бесшабашным тоном, непонятно только — к чему.

Конвоиры и арестованные устроились на полу, мне и Котову достался вокзальный диван, Сидоренко раздобыл себе табурет. Арестованный Грибунин примостился было на подоконнике зарешеченного окна, но Сидоренко согнал его.

— Сидеть у окна арестованному не дозволено, слазь! — сказал он наставительно.

— Да ведь тут решетка, — возразил Грибунин. Однако с подоконника сошел, видимо не желая вступать с горбуном в пререкания.

— Это все равно. Не дозволено — и все.

— Эх, ты! «Не дозволено». Только одно это слово и знаешь: «не дозволено», — передразнил горбуна доктор Левантович, укладываясь на полу на своей дохе и почесываясь. — Скучный ты, Сидоренко, человек. Педант и буквоед. Совсем даже не персона, а глухая формула. — Он, видимо, нарочно употреблял такие замысловатые выражения, чтобы они казались горбуну обидными по своей непонятности. И он своего добился.

— Какой я человек, не тебе судить, — сказал Сидоренко сердито. — И других слов мне с тобой не нужно. Без того ясно, кто ты, а кто я.

— Яснее ясного, — подтвердил Левантович, закидывая руки под затылок и потягиваясь. — Номина сунт одиоза[1], как говорили латиняне.

Сидоренко несколько секунд в упор смотрел на него, пытаясь проникнуть в тайный смысл его слов.

— А ты чего встреваешь? — молвил он строго. — Чего дерзишь? Смотри, как бы от носа бородавка не отскочила.

— Ой, репей, чисто репей! — сказал Баруличев, содержатель бандитской «штаб-фатеры», заросший волосом чуть ли не до самых глаз.

Обычно арестованные держались отчужденно, но в презрении к горбуну были единодушны.

— Это ты про кого? — спросил Сидоренко, багровея. — Кто тут тебе репей? Ты что, оскорбляешь дол-

---

[1] Не будем называть имен.

жностное лицо при исполнении?.. Да я тебя!.. — И замахнулся было кулаком.

Я прикрикнул на него:

— Не балуй, Сидоренко!

Мой окрик отрезвил его и вместе с тем обидел.

— Заступаешься? За кадетскую сволочь, за контру заступаешься? — произнес он с укором.

Тут вмешался Шутенков:

— А все-таки горбача забижать не следовает. Хоть он и горбач, а свой.

Но Сидоренко не понравилось его заступничество.

— Горбач, горбач... — проскрипел он. — А сам-то ты?.. Гляди, расклевала тебя оспа, рябой дурак!

Шутенков с сожалением покачал головой:

— Что с тебя спрашивать? На плохой, сказано, земле и трава не растет. А ты вон какой — лысый!

— Спали бы, бисовы дети! — сказал в сердцах конвоир Перетятко и протяжно зевнул.

— Облютели, — коротко ввернул конвоир Дядькин таким гулким басом, точно ударил в медный гонг. Это было, кажется, первое слово, сказанное им за сутки.

— Облютеешь, ежели всю доброту из тебя вымораживает, — заметил философски Шутенков. — Одна злость только и остается. Вот, скажем, жил в наших местах, к примеру, кузнец, не то Фома, не то Ерема, а по фамилии Танцюра. Башковитый мужик. Он про людей какое понятие имел? «Один, говорит, обдирает яйцо с носика, а другой — с жопки. А ежели оно ободрано со всех сторон и тухлое к тому, тогда чего с ним делать? Свинья его есть не станет, для забавы тоже оно не годится, наседку на него не посадишь. Одно остается: выкинуть его в нужник».

Горбун принял аллегорию на свой счет, и не без основания. Он не остался в долгу. Наверно, они продолжали бы вымещать один на другом раздражение и злобу голодных, усталых, невыспавшихся людей, если бы не командир Котов, который приказал им замолчать. А Котова слушали все. В этом полуграмотном человеке чувствовались сила и повадки настоящего командира.

3. ГЛУХАЯ НОЧЬ

Понемногу все затихли. Котов ушел к коменданту за продуктами. Пристроившись у окна, торопливо что-то писал Сидоренко. В черном стекле окна за решеткой отражалось его длинное, безволосое лицо кастрата, и желтый свет поблескивал на его совершенно голом черепе.

И вот прозвучал чей-то сонный вздох, первый храп и невнятное бормотание. Вповалку спали арестованные и конвоиры.

Угомонился наконец и Сидоренко. Уронив продолговатую голову на горб, он тонко засвистел носом. На коленях у него лежало очередное «заявление про неправильные действа товарища следователя», написанное огромным, круглым, колесным почерком. Иногда он вздрагивал и пробуждался, открывал и пялил покрасневшие глаза и что-то невнятно шептал и бормотал. Даже во сне он не знал покоя. Вдруг заскрежетал зубами.

Сумрак витал над разбросавшимися в тяжелом и беспокойном сне людьми.

Мне не спалось. Надо ли объяснять настроение следователя, который нагрянул на бандитскую штаб-квартиру полковника Киргизова и упустил самого Киргизова. Я не смог задержаться ни минуты, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Не ровен час, на нас могли наскочить киргизовские молодцы. Я поспешил убраться из этих мест с доставшейся мне добычей. Меня ожидали большие неприятности. Но еще больше удручало меня сознание, что я «зевнул» матерого врага революции, который, по донесениям, был обложен и затравлен, как зверь.

Еще один человек не спал — поручик Грибунин. Он был так погружен в свои думы, что не слышал, как я дважды позвал его. Я окликнул его в третий раз. Он вздрогнул и взглянул на меня так странно, словно не узнал. Несколько секунд он смотрел на меня невидящим взором.

— Почему вы не спите, поручик Грибунин?

— А-а!.. Не спится. Бывал я в этих местах, давно, правда...

— Не дозволено, — проворчал Сидоренко, на миг пробуждаясь.

Грибунин покосился на него, но горбун уже спал, беззвучно покачиваясь, точно какой-то уродливый и страшный манекен.

— Если бы не вы, он передушил бы нас, как куропаток, — сказал Грибунин, неожиданно оживившись и даже повеселев. — А ведь мы ваши пленники.

— Пленники? Вы считаете себя пленником?

— Безусловно, — отвечал Грибунин. — Мы с вами боремся за Россию, но идем разными путями и с разных сторон. Какая власть, — сказал он с судорожной усмешкой, — не объявляла своих идейных противников бандитами и разбойниками!

Не подбирая слов и не смягчая выражений, я спросил этого «идейного противника»: сколько поездов пущено под откос если не им самим, то с его ведома, сколько неповинных людей убито, сколько коммунистов и комсомольцев повешено, сколько евреев вырезано?

Он пожал плечами с равнодушием и удивлением: дескать, какие глупые вопросы!

— На войне как на войне, — сказал он. — Нельзя остановить пущенное с горы колесо. Это стихия. И не подсчитывать же число царапин на своей совести. — И переменил тему: — Я не сплю — это понятно. А вот вы почему не спите? Или вас тревожит наша участь?

— Если хотите...

Какая каторжная работа у следователя: день и ночь неутомимо рыскать среди догадок, сопоставлений, противоречий. Вот-вот, кажись, ты у цели, вдруг все летит прахом, — оказывается, ты искал ветра в поле. Вот, например, этот Грибунин. Что я о нем знаю? Ровным счетом ничего. Разве только то, что везу его в тюрьму. Не помню, кто сказал: весь круг человеческих знаний сводится к одному вопросу — почему? Почему светит солнце и заходит луна, почему люди не перестают воевать, почему я красный, а он белый, хотя мы оба русские люди и, возможно, учились в одной гимна-

зин, почему, наконец, он всего лишь в чине поручика, хотя похоже, он кадровый офицер и не так уж молод?..

— Сколько вам лет, поручик Грибунин?

Его быстрый взгляд рассеялся где-то за моей спиной.

— Помнится, я уже однажды отвечал вам на этот вопрос. Двадцать восемь.

— Выглядите много старше.

— И это вы мне говорили.

— Что ж, повторение — мать учения.

Грибунин усмехнулся вновь.

— Время, гражданин следователь! Время съедает не только зубы и волосы. Мы живем с вами в очень бурную пору, когда год вполне может сойти за десять по насыщенности. Я слышал, что и вам как будто немногим больше двадцати, а вы вон какой...

Он льстил моей молодости, отлично зная, как приятно казаться взрослым в двадцать один год.

Я свернул себе махорочную цигарку и подал ему кисет. Мы молча курили. Наши осторожные, крадущиеся взоры то и дело скрещивались, как шпаги. Кого-то напоминал мне этот человек, и не столько внешностью, сколько мягким, ленивым, вкрадчивым голосом.

Было тихо, иногда доносились короткие гудки маневрирующего паровоза, справедливо прозванного «кукушкой».

Нелегко конвоировать арестованных, особенно в условиях долгого и трудного пути, когда лишения и страдания сближают людей. Незаметно узнаешь привычки и характер человека, его прошлое, страдания и раздумья, и вдруг дрогнет сердце перед смирением и обреченностью. Но жалость, рожденная в тиши бессонной ночи, была самообманом. Все равно и перед лицом наитягчайших страданий и даже смерти мы оставались непримиримыми врагами, разделенными непреодолимой пропастью классовой вражды. Я ни на минуту не забывал и не позволял им забывать, что я следователь, хотя обращался с ними человечно, гораздо человечнее, чем они того заслужили. И это давало Сидоренко повод для нескончаемых доносов.

Мое молчание беспокоило Грибунина, его беспокойство успокаивало меня. И он заговорил первый:

— Неприятная тишина... Невыносимая.

— Вы, очевидно, никогда не сидели в одиночке, — сказал я с гордостью человека, успевшего при своей молодости отведать тюремной похлебки в гетманской кутузке.

— Да, но я три с половиной года просидел в окопах, — возразил он горячо. — А это почище всякой тюрьмы. — Он умолк и стал нервно раскуривать погасшую цигарку, ломая при этом и отбрасывая спички. Похоже, он словил себя на какой-то оплошности, может быть, он решил, что сказал лишнее, проболтался.

«Черт подери, — сказал я себе, — остаться поручиком, провоевав три с половиной года, — это какая-то чепуха. Да и с виду ему под сорок. А с другой стороны, если двое арестованных называют третьего «поручик Грибунин», то он и есть поручик Грибунин».

Тут заговорил арестованный Левантович. Я только сейчас увидел, что он не спит. Он сидел на своей дохе и покачивался, словно у него что-то болело.

— Смотрю на вас, товарищ следователь, — сказал он, глядя на меня поверх стекол очков. Он всех называл «товарищ», вкладывая в это слово едва уловимую иронию. — Не получается из вас Порфирия Петровича. Зелены, извините за откровенность. Вам бы впору по вашей должности пустить в ход следовательское лукавство, огорошить, так сказать, вопросцем, ошеломить, сбить с толку, подстеречь обмолвку, да-с. А у вас не выходит, потому что сами к Раскольникову ближе. Тогда, спрашивается, зачем мазать руки чужой кровью, а душу — чужими страданиями?..

— А вы этот вопрос себе задайте, — сказал я, недовольный явно умышленным вмешательством в мой разговор с Грибуниным именно в такой момент, когда, казалось, я приблизился к разгадке какой-то неясности, быть может даже тайны.

— Увы, поздно, — ответил он со вздохом. — Слишком далеко зашел. Интеллигент молодость свою пробунтует, а потом кается всю жизнь. Самые что ни на есть столпы мракобесия начинали в молодости с бунта.

Эка невидаль в двадцать лет выйти на баррикады, а вот удержаться на них в пятьдесят — это уже другое дело. С возрастом человек перерождается. Так вот, товарищ следователь! — Он упорно напоминал мне о том, что я следователь, как если бы опасался, что один из нас способен об этом забыть.

Он мало говорил о себе, разумно считая, что чем меньше я буду знать о нем, тем лучше для него. Мои сведения о нем были крайне скудны. А впечатление он производил этакого добродушного земского врача, склонного к философии и беспредметным спорам. Между тем это был видный правый эсер, сподвижник Бориса Савинкова, человек сильной воли и большой энергии, состоявший при Киргизове чем-то вроде комиссара. Удивительно, но этот человек считал себя революционером. При этом он был уверен, что такие люди, как он, используют всех этих Киргизовых для борьбы с большевиками, тогда как на деле он и такие, как он, были свирепым орудием в руках самой оголтелой контрреволюции.

— Вот вы говорите: на войне как на войне, — снова заговорил он, почему-то приписывая мне слова Грибунина. — А вы поглядите, товарищ следователь, побежденные и победители спят вповалку, и не отличишь, где узник, а где страж. И, наверно, и тем и другим снятся их матери и жены. Тогда для чего, спрашивается, вся эта кутерьма? Для будущего? А ежели будущее — это мираж, химера, порождение случая, слепой щенок, игра в жмурки? А? Тогда как? Вертится колесо истории, время от времени касаясь одних и тех же точек... И философия вся. В мире все вечно: и угнетение и покорность. Царь Соломон носил кольцо с надписью: «Все проходит, и это пройдет». Вы, наверно, заметили давеча, что вокзал, заваленный грудами спящих людей, напоминает братскую могилу, отмечен, так сказать, печатью трагической обреченности? Пифагор утверждал, что мертвый воскреснет и будет снова тем, кем был когда-то. Эпикур был ближе к истине, он понимал, что мертвые не воскресают. Смерть — это навсегда. И ничего там нет, даже баньки с тараканами, как вещал Федор Михайлович. Вот и

спрашивается: что важнее — человек или идея, Раскольников или египетская пирамида?.. — Он болтал от избытка судорожной и тайной тревоги.

Я угрелся и ослаб, у меня не было сил пошевелиться. Спали горячие ноги, налитые онемением и жаром, спали руки и плечи, спало все тело, как бы окутанное теплым бархатом, лишь мозг бодрствовал. «Какая жалкая философия! Эпикур, Пифагор, Достоевский... всех приплел — и все для того, чтобы оправдать теорию, что в мире вечны и угнетение и покорность. Даже царя Соломона — и того приплел. А Соломон был гораздо мудрее вашей философии, господин хороший! У изголовья его всегда стоял сосуд с зерном, на котором была надпись: «Помни о хлебе, он может сорвать с головы твоей корону».

Тут прозвучал голос рябого конвоира Шутенкова:

— Хоть пропадай, — ни тебе отойти, ни тебе отлучиться. Мне до ветру нужда большая. У нас вон тоже солдат при полковом денежном ящике стоял. А он, дура, с вечеру тюри нажрался. Ну и расперло его. До того лужу напустил — ни боже мой, его потом с удочки доставать пришлось.

4. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОВАРИЩ ЧЕКМЕНЕВ

Вернулся продрогший Котов и доложил, что комендант по провизионке без специального требования продуктов не отпускает.

Комендант помещался недалеко от станции на втором этаже полуразвалившегося дома. Здоровенный мужчина, выбрасывая изо рта клубы пара, кричал барабанным голосом:

— Не могим фигурять! Ясно? На всех жратвы не напасешься. Понатягало вас, чертей, на эту станцию.

— Да ведь станция узловая, — усовещивал его человек в кавказской бурке.

— Ну и что? Ежели узловая, выходит, кожу с себя сдери, а вас накорми? Сами с голоду пухнем.

Мне он сразу и наотрез отказал. Я пригрозил, что оставлю ему арестованных. Но моя угроза на него мало подействовала.

— Будет тебе колготиться! — сказал он спокойно.— Ты, может, еще с месяц проездишь. На три дня дам. Точка! Да ладно, не помрешь, и контрики твои не сдохнут. Будет, на пять дён — и молчок, чтоб я голоса твоего не слышал больше. Ох и язва! Ох и ржа! Точка! На неделю получай, и пропади ты пропадом! — Он вывел «рiзалюцью» кривыми каракулями.

Я ушел от него распаренный, как после бани. Ночь была тихая, светлая и морозная. Сквозь радужный пар поднимался большой диск луны, проплывая низко над запущенным садом, отбросившим серебряные тени на снегу. Все вокруг было настолько легко и воздушно, словно вырезано из бумаги.

В УТЧК меня дожидался председатель товарищ Чекменев. Сутулый, лысый, бритый, он сидел за столом, облокотясь и подперев голову рукой, и широко, до слез зевал. Увидев меня, он спросил:

— Ты будешь следователь из центра?

— Да.

— Похоже. Даже пенсне у тебя сидят криво. Однако дюже ты молод. Седай! Седай, говорю. Не люблю по два раза повторять. Так начнем с чего? Пожалуй, допрежь всего покажи-ка документы!

Я молча достал мандат, который не любил показывать. Скрепленный подписями и печатью, он лаконично сообщал, что Вадим Сергеевич Курганов, следователь по особо важным делам, направляется туда-то и находятся при нем такие-то. Глухо упоминались мои секретные обязанности и подробно перечислялись мои обширные полномочия и права, как-то: пользоваться всеми средствами передвижения, вплоть до санлетучек и бронепоездов, носить всякого рода огнестрельное и холодное оружие, производить обыски и аресты. Всем ревкомам, исполкомам, всем партийным, общественным, профессиональным организациям вменялось в обязанность оказывать товарищу Курганову всемерное содействие. И заканчивалась эта грозная бумага уже совсем устрашающе: «Всякое несодействие, а равно и

противодействие карается по всей строгости военно-революционного времени, вплоть до расстрела».

Председатель товарищ Чекменев прочитал этот документ наивнимательнейшим образом и даже крякнул от изумления.

— М-да, сурьезный документ... — сказал он. — С тобой не пококетничаешь. Тут к нам комиссия приезжала на поиски ранее посланной комиссии. А между прочим, мандат у ней был без особых строгостей. Ну, там предлагается всем оказывать всяческое содействие и прочее, словом, с твоим не сравнять. А ведь все-таки комиссия. Разве можно человеку единолично давать на руки такую бумагу? Хорошо, я не из пугливых, а другому покажешь — его, гляди, со страху и скрутит. Опять же — от такого документа иной голове и закружиться недолго, особливо ежели голова слабая... Потом ищи-свищи молодца, посылай комиссию на поиски ранее посланной комиссии...

Мне надоели его иронические намеки, и я спросил, какое у него ко мне дело. Он добродушно рассмеялся.

— Ишь ты! Я человек простой, а ты огрызаешься. Зря. Ну, пес с тобой. — Приблизив и склонив выпуклый, в желтоватых рябинках лоб, он добавил: — А дело у меня вот какое. Тут у меня женщина сидит, третий день сидит. Мужа ейного ищут, по фамилии Киргизов...

Мне показалось, что он говорит чересчур громко, и я невольно оглянулся на шкафы, за которыми было слишком тихо.

— Ты бы потише, товарищ председатель!

Он слегка прищурился.

— Ладно, — сказал он, понизив голос. — Словом, взяли в этих местах. Теперь получен приказ — выслать срочно в центр. А у меня людей нет. Сделай милость, возьми с собой!

Я уклончиво ответил, что подумаю. Привезти вместо полковника Киргизова его жену — это смахивало на анекдот.

— Ай-яй-яй! — сказал председатель, качая головой. — Похвалил я тебя, а ты зазнался. Ну чего кочевряжишься? Ведь нужна она тебе, вижу.

Пожалуй, он прав. Почему бы мне не взять ее с собой? У меня все основания поинтересоваться женой преступника, упущенного мною по нерадивости.

— Где она?

— С того бы и начинал, — весело промолвил председатель. — А то — подумаю. Тоже хитрец! Тут вот она, в склепу. Ну, в подвале. Чего уставился, как поп на целковый? Чудак! — сказал он с внезапным раздражением и злостью. — В склепу, ясно, стужа. Тут дров нету себя отопить. Думаешь, приятно мне? Тут у меня пересыльный пункт, все больше спекулянты, мешочники, а в концлагере местов нету... Пойдем, что ли? — Он встал, плечистый, ладный, в кургузом пиджачке и поношенных сапогах, всем своим видом напоминая мастерового.

5. ПОДВАЛ

Впереди шел рыжий детина, комендант УТЧК, освещая седые от инея своды подвала железнодорожным фонарем. Кривые длинные тени уходили по стенам в мрачную глубину этой странной тюрьмы, где некогда хранили битую птицу. Теперь, разгородив на камеры, подвал этот приспособили для заточения людей. Часовых не было, камеры попросту запирались на засов. Стужа здесь усиливалась от обледенелых каменных стен.

— По порядку смотреть будем? — спросил рыжий, присвистывая в отверстие недостающих зубов.

— По порядку, что ли? — неуверенно повторил за ним председатель, очевидно преувеличивая полномочия следователя из центра, обладающего таким угрожающим мандатом.

Мне подумалось, что не будет превышением власти, если я обойду тюрьму и поговорю с заключенными и даже по возможности облегчу кое-кому участь. Посторонний глаз порой зорче видит.

В первой камере с решетчатым окошком под самым потолком было шестеро узников. Двое спали, привалясь к стене, покрытой в углу снежной щетиной, спали крепко, так, что не слышали громких жалоб соседей.

Я не решился их будить, хотя и знал, что им будет безмерно тяжко, когда, проснувшись, они узнают, что приходил кто-то посторонний, кому они не смогли пожаловаться на свою горчайшую и, разумеется, незаслуженную участь. Редкий преступник признает свою вину, но, даже признав, он все же считает себя жертвой общественной несправедливости, социального неустройства, классовой вражды, государственной неповоротливости, наконец, чрезмерной строгости закона.

Неожиданно узник, разбуженный упавшим на него лучом фонаря, вскочил, зажмурился и выпалил одним духом:

— Вез пуд соли. Дохнет с голоду семья. Сам девятый. Правильно это, чтоб меня в подвал, а их — на кладбище? Из-за пуда-то соли! Да будь она проклята.

— Аминь! — отозвалась из сумрака смутная фигура.

Я ничем не мог помочь. В то суровое время соль была предлогом для восстаний и мятежей.

В следующей камере сидело человек восемь, все больше мешочники. В воздухе стоял тяжкий дух параши. Крупный мужчина, весь в шрамах и ссадинах, горестно пожаловался:

— Эх, товарищ дорогой, передайте на волю — мы не враги советской власти. Несчастные мы люди, бьемся с жизнью, а она нас кончает. С голоду, с нищеты... Вши заели, короста телом пошла. Вон какая наша жизнь.

Он заплакал.

— А вы за что сидите? — спросил я веснушчатого малого с удивительно блестящими глазами.

— За дезертирство, — отвечал он смиренно. — Я не хочу воевать.

— То есть как это «не хочу»?

— Не признаю войны и не приемлю ее.

— По религиозным убеждениям?

— Нет, я неверующий. Я слишком долго воевал. Впрочем, быть противником войны — это ведь тоже убеждение, и, видимо, весьма опасное, раз вы держите меня взаперти, да еще в этом адском холоде.

— Мы все противники войны, — сказал я. — Но

быть противником нашей гражданской войны — не значит ли это быть вольным или невольным пособником врагов революции?

— Нет, не значит.

— Его в концлагерь до окончания гражданской войны, — шепнул мне председатель.

— Единственная моя просьба, — сказал дезертир снова, — дайте отогреться, а потом можете убить меня. — Это было сказано с тупым безразличием и предельной усталостью и еще с каким-то высокомерием, будто он был не преступник, а жертва.

Но я отвернулся от него. Меня не тронули страдания этого человека, чей несвоевременный пацифизм был, в сущности, разновидностью контрреволюции.

— Вы в равном положении со всеми заключенными.

Ко мне подвинулся бородач и сказал с отвратительными ужимками, плюясь и сквернословя:

— Мы за бандитство, не говорим. Разменяют нас и сбросют, ровно костяшки с купеческих счетов, — тоже не говорим. А между прочим, мы в приказчиках служили по свечному делу, и богу от нас свечей перепало, прямо сказать, не счесть. А он с небесов глядит, сука, и помалкивает. А нас бьють, и слова не дають, и оружья лишають, вот об чем говорим.

— А что, цацкаться с тобой прикажешь? — сказал председатель, потемнев от гнева. — Мало ты людей передушил? Гад!

— А может, мы с богом спорили? — заносчиво и нагло заявил бородач. — Мы душили, не говорим. Но разве это люди? Хомуты! Мы душили с розмыслом, не сразу, постепенно. Минуту потешимся, а как синеть начнет и язык вывалит, отпустим, чтоб, значит, очухался. А там опять балуем. А бог ежели есть, отчего бы ему не сказаться, не вдарить громом в нечестивца...

С отвращением и ужасом смотрел я на скуластое, черное, заросшее лицо с низким лбом, под которым негде уместиться доброй мысли, с широким, жадным ртом и с маленькими, коричневыми глазами, смотревшими из глубины орбит с звериной лютостью.

Потом какой-то малый с дрожью в голосе стал объяснять мне, что сидит он здесь другой месяц за то,

что потерял в дороге документы. Но председатель заявил решительно, что ни под каким видом не отпустит молодца, пока не выяснит его личности.

— Такой вот... тоже три месяца морочил меня. А на поверку оказался отпетый контрик, — сказал мне председатель, когда мы вышли из камеры.

Но я настоял, чтобы малого перевели наверх:

— Он ведь пока еще не преступник. А из этого подвала другом не выйдешь. Нечего плодить врагов.

В узкой полосе света от железнодорожного фонаря, протянувшейся до наружной стены, возникла сперва безносая женщина.

— За сахарин, — коротко осведомил меня председатель, при этом ткнул в нее пальцем.

И она подтвердила кивком головы, как будто речь шла о добродетели ее. Вдруг она неуклюже опустилась на колени, бесформенно и нелепо толстая от множества напяленной на нее одежды, поднявшейся чуть ли не до головы, так что казалось, будто женщина выглядывает из бочки.

— Я, товарищ!.. Но вы не думайте... Я, понимаете... — проговорила она, задыхаясь.

Полоса света подвинулась немного влево, и я увидел большую, пышную женщину с красивым, вульгарным и добрым лицом. Это была астраханская проститутка, за бандитизм приговоренная к расстрелу вместе с бородачом, и жить ей оставалось недолго. Близко склонясь к своей соседке, закутанной в голубое грязное одеяло, она что-то говорила ей. Наше появление она встретила в штыки.

— Принесла вас нелегкая, лахудры! — проворчала она. — Ночью спокою не даете!

Не обращая на нее внимания, мы подошли к той, ради которой спустились сюда. Из-под голубого одеяла на нас смотрело бледное и юное лицо в следах засохших слез. Выбившиеся из-под платка светлые волосы отсырели, а большие, темные, испуганные глаза излучали сухой и сильный лихорадочный блеск.

— Не плачь! — сказал ей председатель, хотя она вовсе и не плакала. — Собирайся, сегодня в ночь тебя увезут.

Тут астраханская истерично взвизгнула:

— Стрелять повезешь? Безвинную! Мало тебе нашей сестры — шлюхи гривенной...

— Цыц, сука! — прикрикнул на нее рыжий и покачал фонарем перед ее носом.

— Не пущу! — закричала астраханская и вцепилась в Киргизову. — Убейте меня, не пущу! На сносях она... Голубка кроткая! Чем она виноватая? Ничего не знает, не ведает...

Но ее оторвали от Киргизовой, испуганной и ошеломленной таким бурным проявлением привязанности.

Тогда эта несчастная женщина схватила меня за руку, сжала ее судорожно и горячо.

— Товарищ! Красавец родной! Пожалей ты ее и меня, таковскую. Погоди малость. Не нынче-завтра меня кончут... Залягу в сыру землю — тогда и увози ее... — Она потянулась к моей руке раскрытыми и мокрыми губами. Но я отдернул руку. Тогда она упала на землю и, громко рыдая, обняла мои ноги. — Пожалей, пожалей мою бессчастную долю! Кабы знала я, не загубила бы жизнь по-напрасному...

Потрясенная Киргизова жалась поближе к председателю, и видно было, что ей не терпится поскорей уйти отсюда, из этой ужасной камеры с ее мертвящей стужей и страшными обитателями. Она вдруг подобрала голубое одеяло, тащившееся по земляному полу, как-то боком обошла осторожно астраханскую, бившуюся в припадке безысходности, и быстро пошла прочь из камеры, даже не ожидая нас.

6. ПОРУЧИК ГРИБУНИН

Несколько минут мы молча наслаждались теплом. Киргизова дрожала и тревожно озиралась по сторонам.

Теперь я получше рассмотрел ее. Она выглядела гораздо моложе своих лет, хотя лицо ее было отмечено печатью усталости и страдания. Маленькая, миниатюрная, она была красива. Беременность не наложила заметного отпечатка на ее лицо и на ее фигуру. Вместе с тем было в ней что-то настороженное, недоверчивое,

решительное и загнанное; она напоминала зверька, отчаянного и опасного в пылу самозащиты.

Я спросил, как ее звать. Надежда Федоровна. Я невольно улыбнулся. Ей подходило Надя, Надюша, Наденька, а Надежда Федоровна — это для нее было слишком взросло, она с виду была девочка. И все-таки в ней ощущалась зрелость и опытность женщины, судя хотя бы по тому, как она отвечала на мои вопросы — сдержанно, неторопливо, вдумчиво и правдиво. По-видимому, она сознавала, насколько серьезно и важно для нее мое доверие.

Она родилась и всю жизнь прожила в здешних местах, неподалеку отсюда, в губернском городе Н., где окончила епархиальное училище. В начале революции она вышла замуж за Алексея Васильевича Киргизова. Они очень мало были вместе, он все время воевал и дома появлялся наездами. В последний раз он приезжал восемь месяцев назад. Потом он ушел, с тех пор она ничего о нем не знает.

Я не скрыл от нее, что мне, вероятно, придется отвезти ее в центр. Но тут я увидел ее распухшие, должно быть от стужи, ноги.

— Как вас отпустили из дома без валенок? У вас разве здесь нет родных?

— Здесь родня мужа. С его уходом все чуждаются меня. Я ведь бесприданница, — ответила она с горечью.

Я обратился к председателю — нет ли у него запасных валенок, хотя бы заимообразно. К сожалению, у него их не было.

— Ради бога,— взмолилась вдруг Киргизова,— только не оставляйте меня здесь, товарищ следователь, в этой стуже и с этой компанией! — Она содрогнулась, видимо, от одной мысли, что ей придется возвратиться в подвал, к астраханской проститутке с ее кровавым пропилым, слащавой привязанностью и диким материнским инстинктом кошки, способной насмерть заласкать своих котят.

— Увези ты ее отсюда, — сказал председатель с нескрываемым сочувствием. — Ведь ей в чужом пиру похмелье.

— Как же повезу ее без валенок... И потом — без провожатой?

— Ну, насчет провожатой, это мы живо спроворим. Тут женщина есть, сотрудникова баба, ей позарез ехать надо. А ну, сбегай, комендант, за Савельевной! — приказал он рыжему.

Из-за шкафов выглянул Котов, удивленно потоптался, рассматривая женщину, и скрылся. Тотчас послышался скрипучий голос горбуна:

— Ну, ты! Не смей тягать чужие валенки. Оставь! Не тронь!

— Разгоготался гусак, шипит и щиплется, — весело сказал арестованный Баруличев, бородатый содержатель «штаб-фатеры», который всегда был не прочь ужалить горбуна.

— Опять встреваешь? В морду захотел?! — рявкнул горбун.

Но тут на середину комнаты вылетели валенки, а следом за ними выкатился, грозясь и ругаясь, их хозяин, взъерошенный, с коротким и круглым, как футбольный мяч, туловищем. Увидев женщину, он обалдел и застыл с разинутым ртом.

Я возвратил горбуну его валенки, а Котову сделал строгое внушение: дескать, это дело доброй воли уступить валенки, особливо арестованной.

— И в сапогах не замерзнет, товарищ следователь! — оправдывался Котов. — У него тулуп, шинель, шерстяные носки...

— Ноги у меня больные, холода не терпят, — плаксиво тянул горбун.

— А брюхо голода не терпит, сало жрешь, — отвечал Котов.

— Да ты, братец, сукин сын, — сказал конвойный красноармеец Шутенков. — Душа у тебя в горб ушла.

С некоторых пор за шкафами раздавался тихий, тревожный и печальный свист Грибунина. Что-то странное делалось с Киргизовой, она была сама не своя, уставясь каким-то вопрошающим, недоверчивым, испуганным взором на шкафы.

— Что это с ней? Никак захворала, — сказал председатель озабоченно. — Ишь рассвистался, черт!

— А ты не мешай! Пусть его посвистит. А она послушает.

Грибунин насвистывал старинный романс. Я никогда больше не слышал этого романса. Но теперь, тридцать с лишним лет спустя, мне вспоминаются не звуки, не мелодия романса, а настроение его, исполненное слепой печали и слепого смятения, как будто певец искал что-то впотьмах.

И вдруг меня словно осенило: эти два человека друг друга знают, и близко знают, и он свистит, чтобы предупредить ее. У меня даже холод пошел по лицу от внезапной догадки. Тогда я сказал:

— Товарищ Котов, введите арестованного Грибунина.

На всю жизнь запомнил я мертвенно-белые лица Грибунина и Киргизовой, закусившей край голубого грязного одеяла, чтобы не закричать. В этот миг я был бы счастлив, если бы мои догадки не оправдались. Но тут Киргизова закричала так отчаянно: «Алеша! Алеша!», что тот, кто назывался Грибуниным, упал перед ней на колени и заплакал без голоса.

Толпились потрясенные конвоиры и арестованные, даже горбун и тот притих. Потом вдруг проскрипел:

— Арестованным разговаривать не дозволено.

— Ну, ты, навозна куча! — сказал ему Шутенков с презрением. — Не видишь, что ли, какая встреча! «Ох и встреча!» — сказал кузнец Фома Танцюра, повстречавшись со смертью.

Но вот прошла острота и неожиданность встречи супругов, и все успокоились. Теперь, когда я исполнил свой долг следователя, разоблачив Грибунина-Киргизова, я задумался над тем, как мне быть с его женой. Оставить ее здесь или взять с собой? Вот уж действительно, ей в чужом пиру похмелье. Киргизов сидел подле жены, гладил ее руки и что-то тихо шептал. По-человечески мне не хотелось им мешать, но я видел, как сияют ее глаза, когда она смотрит на него, и как загораются огнем злобы и ненависти, когда глядит на нас, его тюремщиков и конвоиров. Тогда я спросил полковника Киргизова, на что, собственно, он рассчитывал, скрывшись под именем Грибунина. Он помед-

лил с ответом, потом вдруг сказал с откровенным цинизмом: за Грибуниным, дескать, в дороге надзор был бы, естественно, не такой строгий, а дорога предстояла длинная, ну, а там чем черт не шутит...

— А вы, доктор, знали, конечно, что это Киргизов?

— Разумеется.

— И молчали?

Доктор Левантович ответил не сразу:

— Предателем я никогда не был.

— И даже при случае готовы были выручить его, — сказал я, вспомнив, как он помешал мне, вмешавшись в мой разговор с Грибуниным.

— Нет, ни выручать, ни мешать не стал бы, — отвечал Левантович с явным раздражением. — Коли бывший главарь и предводитель, так сказать, избрал такую трусливую тактику — это его дело...

Киргизова даже передернуло от таких его слов. Конечно, чего-чего, а трусливости в его тактике было гораздо меньше, нежели хитрости. Это был дальновидный игрок. А волосатый Баруличев разъяснил не спеша, что он хоть и хозяин «штаб-фатеры», но в лицо полковника Киргизова никогда не знал.

— На моем базу их много было. Оглядно знаком, а назваться они не назвались. — Стараясь придать своим словам достоверность, он добавил: — Нравом, слыхал я, больно крут, где плетью полоснет, как говорится, трава не растет. Одних жидов, тоись евреев, сказывали, большие тыщи побили их благородие.

— Верно, — проговорил за шкафами неожиданно конвоир Шутенков, когда наш разговор смолк, — очень даже верно. Который человек душой свиреп, он завсегда трусоват. С трусости и лютует. А попадется — зараз в ноги валится: «Простите, православные, за ради Христа, помилосердствуйте, не губите души моей окаянной!» Вон ведь. Был у нас солдат, прозвали его «Нематюкайся», фамилие его, что ль, такое было, — может, он латыш был или литвин какой, не знаю...

— Опять ты!.. — перебил его горбун. — Сам не спишь, другим не даешь, чертова перечница!

Шутенков помолчал и хоть продолжил свой рассказ, но так тихо, что, к сожалению, я ничего не разобрал. Впрочем, сейчас это меня не занимало. Я исподтишка наблюдал за Киргизовой. Похоже, весь наш разговор произвел на нее сильное впечатление, быть может открыв ей, что муж ее не такой уж герой, каким представляется, и уж никакая не жертва. А может быть, ей страшно стало перед мыслью, что ожидает его за все его кровавые деяния.

Киргизов тоже уловил происшедшую в ней перемену. Она стала унылой, подавленной. Он уже не гладил ее рук и ничего не говорил, а сидел с ней рядом и молчал.

7. НА РАССВЕТЕ

Нам повезло. Мы могли здесь засидеться, потому что поезда шли нерегулярно и с невероятным опозданием. А тут пришел поезд, облепленный людьми. Это было такое счастье, что мы не стали ждать оборудования теплушки.

Арестованных увели. Удивительно, но горбун сам предложил Киргизовой свои валенки. Немного вперед ушел полковник Киргизов, настолько поглощенный своими мыслями, что даже не замечал жены. Она же, бедняжка, спотыкалась в большущих валенках, и, если бы не командир Котов, то и дело подхватывавший ее, она бы, наверно, не раз упала.

Поскрипывая новыми сапогами, шагал горбун в короткой меховой куртке, а тулуп и шинель держал в руках. Позади плелась провожатая Савельевна, не очень молодая, молчаливая женщина в большом шерстяном платке, завязанном на спине двойным узлом. Она была довольна тем, что едет, и не обращала никакого внимания на Киргизову, которую сопровождала.

Я задержался. Во-первых, я ждал ответа из центра на мой запрос — везти ли мне Киргизову, раз пойман ее муж. Ответа я так и не дождался, что меня, впрочем, нисколько не огорчило. Мне не хотелось оставлять ее здесь, в этом страшном подвале. Она ведь

не была уже больше заложником. И потом — она могла понадобиться по ходу следствия. Во вторых, я дочитывал показания злостного дезертира Ивана Шаброва. Провоевав четыре года вольноопределяющимся, он утомился воевать и возненавидел войну насмерть. Показания были написаны его рукой, так как здесь не нашлось человека, который сумел бы записать несвоевременные мысли дезертира.

Этот анархист не делал различия между войнами грабительскими и освободительными, между империалистическими и гражданскими, утверждая, что малейшее послабление в этом вопросе неминуемо ведет к оправданию любой войны.

«Преступление заложено не в природе и не в характере человека, а в ограничении его прав, в нетерпимости, в насилии. До тех пор, пока человек будет навязывать другому свою веру, на земле будет царить бесправие и произвол. Увы, среди людей не много львов, куда больше кошек, рядящихся под львов. Я не хочу ни во что вмешиваться, я ничего не хочу защищать и никого не хочу ниспровергать. Война враждебна человеческой природе, как и всякое убийство. Я хочу думать о звездах, мечтать об иных мирах, гораздо более счастливых, нежели наша захудалая планета, которая вертится вокруг своего светила где-то в дальнем и глухом закоулке Галактики».

Председатель, будучи малограмотным, все же смог разобраться во вредной сути его взглядов.

— Туману напустил, — сказал он. — А ежели туман долой, что останется? Контра — и ничего больше. Вон куда загнул. Черт с ним, пусть поморозится, — может, поумнеет. Ладно, будет о нем. Ты вот что, ты мне на арестованную расписочку дай по всей форме. Паек на неделю — и на него отметку сделай. Небось здорово в центре голодуют...

Чернила расплылись на шершавой бумаге, но председатель удовлетворился и такой распиской.

— Сойдет, — сказал он, пряча ее в стол. — Бумага создана для отображения мысли. А это что? Человека под замок, бумажку вместо него, — тьфу!

Я сердечно пожал ему на прощание руку и посове-

товал закрыть подвал, в котором негоже держать никаких постояльцев. Он ничего не ответил, а погодя вдруг сказал:

— Я этого... ну, знаешь, который войны не хочет, я его наверх позову, поговорю с ним. Отогреется — поумнеет. Кто на войне побывал, с того и спрос другой. У него, может, в душе пустыня, может, он контужен был...

— Ты прав, — сказал я. — Он не понимает, что только социальная революция способна навсегда покончить с войной. Мой старший брат тоже этого долго не понимал.

Мы молча шли с ним среди рассветных сумерек по заметенным путям. Рассвет затянуло густой сеткой снегопада. Председатель долго мялся.

— Слышь-ка, следователь, чего я спросить хочу, — сказал он доверительно. — Кто такой был Фауст? Достал я книжку. Ее в помещичьей экономии еще в семнадцатом году мужики взяли. Бумага толстая, на курево не сгодилась, мне и отдали. Прочитал я эту книжку от корки до корки разов пять и скажу тебе по чистой совести — почти что ни хрена не понял. Скажи на милость, как это он старик — и вдруг обратно молодым сделался? Черт его надоумил. И девку попортил...

Я объяснил ему, как мог. Он был ненасытно любопытен и любознателен.

— Ведь это что получается? Чем больше читаешь, тем тебе ясней, какой ты есть темный человек, — сказал он с грустью, повторяя, того не ведая, Сократову мудрость: «Я знаю то, что ничего не знаю».

— Тебе, брат, учиться надо.

Но он махнул рукой.

— Поздно, поздно с азов начинать. Тебе ничего, ты привычен. А у меня мозги огрубели. Да и уломать себя тяжеленько. — И вдруг прочитал:

> Жизни годы прошли не даром,
> Ясен предо мной конечный вывод мудрости людской:
> Лишь тот достоин жизни и свободы,
> Кто каждый день за них идет на бой.

Я до такой степени был потрясен стихами Гёте в устах председателя, что попросту онемел и не мог выговорить ни слова.

Председатель задумчиво помолчал, потом по-приятельски похлопал меня по плечу.

— Шельма ты, следователь! Чего делать будешь, как настанет мирная жизнь?

Я ответил, что до мирной жизни еще далеко, но и тогда у нашего брата дел будет по горло.

— Эх, — сказал вдруг председатель с сердцем, — уйду я на бандитный фронт Махну стегать. Ну, прощевай!

Я хотел ему сказать: «Не партизанствуй, время это прошло. Пойдешь туда, куда партия пошлет», но промолчал. Мне подумалось, что это может прозвучать немного обидно для такого старого и мудрого бойца.

8. ТЕПЛУШКА

Конвоир Шутенков обратился к однорукому красноармейцу, стоявшему в дверях теплушки:

— Подмоги-ка, товарищ, влезть.

— С моим удовольствием, — отвечал однорукий, — да только полно, браток, некуда. Тут и без тебя иголке не упасть. — Он потянулся, покряхтел и, задрав голову в буденовке с огромной красноармейской звездой, крикнул: — Эй вы, крышедавы, полегче там, на голову нам сядете!

— А мы сами поглядим, — заявил Шутенков и в два счета оказался в теплушке.

Однорукий рассердился:

— Ты чего охальничаешь? Тебе русским языком сказано — полно, понимаешь? Ты кто такой?

— Я-то? Главный комиссар по уморке сыпнотифозных вшей, — ответил, не сморгнув глазом, Шутенков.

Тут из туманной глубины теплушки высунулся рыжий мужичонка и проокал:

— А ну-ко, вшивый комиссар, сигай отсель, пока по шеям не надавали!

Но Шутенков с неуязвимым хладнокровием осадил его:

— Не горячись, папаша! Ну чего из оглобель полез, ровно конь необъезженный! Опростать место придется, вот что.

— Эй, жители! — крикнул Сидоренко, тщетно пытаясь заглянуть в вагон. — Давай, давай освобождай теплушку!

— А куда нам деться, товарищ горбач? — угодливо спросил мужик, увидев арестованных и конвой.

— Что за люди? Не пущай, земляки! — взвизгнул кто-то.

Тут Шутенков, не говоря ни слова, достал из кармана гранату-лимонку и солидный гвоздь и так же молча стал вбивать в стенку гранатой гвоздь.

— Ты что? — прошептал мужик, совершенно ошалев. — Ты что, рехнулся? Взорвешь ты нас, злодей!

То, что он не кричал, а говорил стиснутым шепотом, произвело на людей особенное впечатление. А Шутенков продолжал невозмутимо вколачивать гвоздь, — правда, осторожно, как будто и в самом деле опасался взрыва.

Удивительно, как гипнотически подействовала на людей его дерзкая и наглая выходка.

— Леший, душегуб, дьявол! — завизжал мужик панически и выкатился следом за своим мешком.

За ним, точно по сигналу, разбежались все обитатели теплушки кто куда, за исключением однорукого.

Когда провожатая Савельевна полезла было в вагон, кто-то со стороны вдруг крикнул:

— Не пущать бабу!

И эта тихая женщина, которая, казалось, двух слов связать не может, повернулась в ту сторону, откуда ей кричали, и погрозила кулаком.

— Я те не пущу! Попробуй! Я те все зубы повыбиваю, мордорылая твоя харя! — Она умела постоять за себя.

Мы заполнили теплушку.

— Раскладай барахло! — скомандовал Котов. Он увидел однорукого и удивился: — А ты зачем здесь?

— А затем! Не уйду, — гневно ответил однорукий. — Граната-то фальшивая.

— Ишь чего захотел! — рассмеялся Шутенков, довольный своей озорной проделкой. — А тебе настоящую подавай, да? Очумел ты! Ведь настоящая способна роту перекалечить. А еще боец. Герой!

— А народ зачем стращать? — возвысил голос однорукий. — Это есть темнота и контра.

— Ну что ты, браток! — сказал Котов примирительно. — Разве народ пустой гранатой нынче застращаешь? Всяких он гранат и бомб повидал за войну и революцию. А разбежался потому, сам посуди, чего тут сидеть, раз арестованные при конвое. Ступай и ты, милый человек, не трать зря время.

— Это правильно, — сказал Шутенков и похлопал дружески однорукого по спине. — Не серчай! Пораскинь, голубь, мозгами: тут арестованные, государственные преступники, а ты человек безвестный.

— Ну, это ты врешь! — обиделся однорукий. — Как такое безвестный? — Он достал из кармана бумажку и помахал ею перед носом Шутенкова. — Очень даже я известный. На, читай! Я боец имени товарища Киквидзе дивизии. Сражался до последней капли. Руку оставил под Перекопом. А ты говоришь — безвестный! Нет, друг ситцевый, не последние мы в своей Советской Республике. — Большой, широкий, в распахнутой шинели, он смахивал на вздыбившегося медведя.

Тогда я приказал Шутенкову устроить его в соседней теплушке. Но однорукий отказался от его услуг.

— Мы не в обиде, товарищ начальник! Раз нельзя, значит, нельзя. На нет и суда нет. Бувайте, товарищи! — Он выпрыгнул из вагона и скрылся в тумане снегопада.

К сожалению, я пришел уже тогда, когда вагон опустел. Я сделал строгий выговор Шутенкову: дескать, нечего озорничать, не время, людям и без того не сладко, надо было обязательно рассовать их по вагонам.

— Да ведь некуда, товарищ следователь! Тут крыши проламываются.

— На такой случай место всегда найдется.

Шутенков постоял в дверях, задумчивый, смущенный и притихший, потом вздохнул.

— И с умным человеком может глупость приключиться, как говорил, бывало, кузнец Фома Танцюра. Конь об четырех ногах и тот спотыкается. — И выкинул вон сперва пустую гранату, а затем и гвоздь.

9. «СБЕЙТЕ ОКОВЫ, ДАЙТЕ МНЕ ВОЛЮ!»

Вставало морозное, мглистое декабрьское утро. Со скрежетом и лязгом, словно разрывая кандалы, двинулся поезд. Но мы, нетерпеливо ожидавшие этого мгновения, радости не испытали, потому что жгучая стужа ворвалась в теплушку. А когда поезд выбрался в степь, задула пурга, и в тесном пространстве между небом и землей поднялся снежный туман.

Вскоре в вагоне стало шумно от постукивания ног. Все чаще вспыхивали искры цигарок, от которых, казалось, веет теплом. Незаметно все собрались на середину теплушки. Ласкова и приятна была согревающая теснота.

— Жалко, — сказал ленивым баском несловоохотливый конвоир Дядькин, помолчал, подумал и повторил: — Жалко! — Еще помолчал, еще подумал и в третий раз с глубоким вздохом повторил: — Жалко!

Мы подождали, не скажет ли он еще что-нибудь, но, очевидно, у него иссяк запас слов.

— Щоб ты сказився! — сказал ему конвоир Перетятко. — Цедит и каплет, як тая худая лохань. И чего тебе жалко?

— Видать, господь бог тебе немым быть назначил. А в последнюю минуту позабыл про тебя, вот ты и вышел недоделанный, — сказал неутомимый говорун Шутенков. — А народ зря разогнали. Жалко, твоя правда. Народу больше — теплее. Кто курит, кто дух пущает, извиняюся, — сказал он, повертываясь к Киргизовой, закутанной в свое голубое одеяло. — Закурим, братцы! — Он чиркнул серную спичку, но синий вонючий огонек блеснул в сумраке и погас, не разгоревшись. —

Тьфу! Такими серниками только людей морить. Ну и вонища! Развести костры повсеместно из этих серников — всякие банды сбегут. — И безо всякой видимой связи стал вдруг рассказывать быль: — Вон дело было, еще в войну. Дали нам неприкасаемый запас — консервы. Это значит — сдохни, а трогать не смей, пока команды не будет или помирать не начнешь. Да! Таскал я эти консервы четыре дня. Совсем обессилел. Жрать охота, а нельзя, ни боже мой. Так, думаю, и сдохнешь с тоски. Не стерпел. Взял я, на ночь глядя, банки открыл и слопал консервы. А на всякий случай поймал мыша, убил его и за хвост повесил. Утром гляжу — ротный идет неприкасаемому запасу акурат проверку делать. Что ты скажешь? Не везет, да и только. «Так и так, говорю, ваше благородие, какое происшествие, прямо напасть. Которого мыша поймал и повесил, он мне ранец прогрыз, банку прогрыз и консервы сгрыз». А он, ротный, не будь дурак и говорит: «Гляди, Емелька Шутенков, догрызет тебя мышь до военно-полевого за порчу и расхищение казенного имущества. А пока что, говорит, держи!..» Да как влепит мне две оплеухи, и такие знатные, аж я закачался. Харю скособочило, и три зуба долой. Мастак был драться, сукин сын! Верно говорил кузнец Фома Танцюра: «Казенное добро до добра не доведет».

— Ох и балабон же ты, братец! — сказал восторженно Перетятко. — Це ты сдуру болтаешь?

— Кто про что, а ты про дурь, — ответил Шутенков.

— Будет тебе заливать, балалайка! — вставил горбун.

— А ты помолчь, гриб поганый, не с тобой разговаривают.

Некоторое время все молчали. Поезд резво катил под гору, вагон пошатывало, слышно было, как глухо поревывает паровоз.

Понемногу люди угрелись и задремали. А вот Киргизовы не спали, а сидели молча и отчужденно. Конечно, трудно, будучи всегда на виду и под надзором, выражать свои чувства. Но, похоже, первая радость встречи прошла и ничего от нее не осталось. Я видел

заплаканные глаза Киргизовой, а он был хмур и зол. Она спутала ему карты и сделалась для него опасной помехой. Она это понимала и чувствовала и теперь сидела пригорюнившись. И когда командир Котов передал ей через конвоира два желтых антоновских яблока, она приняла их как знак внимания и участия и улыбнулась ему.

Провожатая Савельевна весьма своеобразно понимала свои обязанности: как только забралась в теплушку, так немедля завалилась спать и теперь храпела во всю ивановскую. Глядя на нее, конвоир Шутенков добродушно посмеялся:

— Солдат спит, служба идет...

Котов прикорнул у стенки и ворочался, так как у него мерзли ноги в холодных сапогах. Тогда арестованный Левантович привалился в своей горячей дохе к его ногам, и через несколько минут Котов заснул. Спал и Левантович.

Я тяжко бодрствовал, думая о том, что страдания этих людей вспыхнут с новой силой, как только люди проснутся. Нелегкая забота пала нам на долю. Во имя жизни и спасения миллионов, целых народов, всего человечества надо было подавить ничтожное меньшинство. В этом был гуманизм эпохи. И все же мы не были ни мстительны, ни черствы. Мало-помалу мысли мои потускнели, стерлись, в хаосе пестрых звезд кружил меня сон, в котором отражались дневные впечатления, словно в кривом зеркале — уродливо и дико.

Внезапно я испуганно проснулся, точно предчувствие разбудило меня. Я увидел седые белки горбуна. Он смотрел на меня с ненавистью. Синий от холода, он вдруг с силой безумца швырнул в меня свою шинель и свой кожух.

— На, подавись! Затрави меня, заезди, гад! Я околею — пущай, отвечать будешь! Валенцы кто научил забрать, не слыхал, думаешь?.. — На глазах его блеснули слезы злобного бессилия.

Он добровольно отдал свои валенки, а теперь, видимо, жалел, что поддался доброму побуждению.

— Не ори, скрипун! — сердито сказал Шутенков.— Ишь расшвырялся... Под горбом небось тепло тебе,

жарко. А не нужны тебе вещи — скажи, охотники мигом найдутся.

Горбун торопливо подобрал свое добро, уполз в темный угол и затих.

— Ох-хо-хо! — сказал конвоир Перетятко, потягиваясь. — Ехидный нынче пошел народ. Его треба в строгости держать. Недоглядишь — обязательно насобачит. — Он, видимо, отвечал запоздало какой-то своей давнишней мысли.

— Ерунда! — коротко и оглушительно брякнул Дядькин.

— Почему? — удивился Перетятко.

Но у Дядькина уже кончился разговорный запал, он молча и тупо закивал головой.

— А я так думкаю, — сказал Шутенков, — народ лучше словом брать, а не кнутом. И стращать его не стоит. Соспугу и овца волку в пасть пойдет самовольно. Вот, к примеру, погнали тебя против германа — ты и пошел и палил по немецкому пролетарьяту до самого до семнадцатого. Обман смекнул, да ведь когда? Земля вся костями понатыкана, крови-то сколько пролито, а добра сколько в дым перегнали — и не счесть. Изолгались кругом, ни боже мой, и всё, говорят, царь-батюшка, он тебе и бог отец, и бог сын, и дух святой. А он, слыхал я, рыжий и ничего более. Вот под кем народ-то ходил. Я пока во всем этом разобрался, чуть было ума не решился.

— А как тебе ума решиться, коли у тебя его нету? — язвительно и злорадно сказал горбун, взяв наконец реванш.

— Не тебе судить, где есть ум, а где его нет,— ответил Шутенков серьезно. — Оно и понятно: тебе бог горб дал, а два угодья в одне руки и сам господь не отпускает.

Как бывало часто среди бойцов, разговор зашел о боге, о религии. Эта тема всегда волнует народные умы. И тут доктор Левантович прочитал нам лекцию о происхождении человека. Изо рта его валил пар, но ему было жарко, он распахнул доху.

Я задавался вопросом: почему он заискивает перед красноармейцами? Не потому ли, что боится, как бы в

какой-то момент с него не сняли дохи? Сама собой напрашивалась такая мысль: арестованный в тепле, а конвоиры страдают от стужи, это было ненормально. Он это понимал и всячески старался задобрить их, казаться простым, обходительным, хорошим, демократичным человеком. И, надо сказать, это ему удавалось.

Он говорил с юмором, он говорил, что попы утверждают, будто человек происходит от бога, а наука доказывает, что человек произошел от обезьяны, от злобного, драчливого и жадного гиббона или от другого вида обезьяны. Некоторые, стремясь примирить науку с богом, заявляют, что одни люди произошли от бога, а другие — от обезьяны, стало быть, есть расы высшие и расы низшие, есть народы господ и народы рабов. Сам он держался того мнения, что все люди равны, все рождаются голенькими и все происходят от обезьяны.

— Природа — вот истинный бог, — закончил он.

В его высказываниях была какая-то недоговоренность. Мне приходилось вносить поправки. Древние люди поклонялись солнцу, а еще раньше — огню костра. Природа не бог, ее обуздал человек. Она служит ему. Придет время — ему будут служить и солнце и звезды.

Люди слушали с вниманием, а у Котова блестели глаза. Я давно заметил необычайную любознательность командира. Он много читал. Он и в дорогу захватил «Ледяной дом» Лажечникова.

В морозном воздухе клубился пар людского дыхания. Трещала крыша, нагруженная людьми. Был час печальных ранних сумерек.

Поезд мчался, рассекая вьюжную мглу. В степи закипала метель. А когда отяжелевшие веки мои сомкнулись, я услыхал сквозь дремоту чей-то тоскующий голос: «Давайте, братцы, песню!»

Тогда командир Котов запел своим прекрасным неотесанным баритоном:

По пыльной дороге телега несется,
А в ней два жандарма сидят...

Из него мог выйти отличный певец, а он мечтал учиться дальше на большого командира Красной Ар-

мии и даже однажды спрашивал у меня совета, в какую школу красных офицеров ему пойти.

В степи задыхалась вьюга, выла, скрежетала, улюлюкала. А когда поезд замедлил ход, мы, пленники и заключенные, услыхали плач, стоны и проклятия людей, застигнутых непогодой на крыше:

— Пропадем мы, заваруха кончит...

— Братцы, товарищи, седайте на середку, — может, выдюжим!

И кто-то над нами горячо молился:

— Смилуйся, царица небесная, православные мы христиане. Помилуй нас, грешных, не дай нам погибнуть от стужи и голода и защити нас на поле брани...

А Котов пел:

Сбейте оковы, дайте мне волю,
Я научу вас свободу любить...

10. ЗАМЕЛО ПУТИ-ДОРОГИ

Поезд стоял на глухом полустанке. Паровоз пыхтел, выбрасывая клубы дыма, ползущие по населенным и шумным крышам теплушек. Потом паровоз отцепили от состава, и он ушел, очевидно за топливом.

Короткий зимний день быстро шел на убыль. В степи смеркалось, а в вагоне было уже почти темно.

Я услышал шепот Киргизовой:

— Господи, боже мой! Я понимаю, я чувствую... Но чем я виновата, Алеша?.. — Она казнила себя за то, что стала невольным пособником его разоблачения, грозившего ему смертью.

Он молчал. Его молчание служило ей укором. Тогда она заплакала.

«Неужто, — думал я, — этот человек действительно готов обвинить ее и вымещать на ней злобу? А почему бы и нет? Он слишком погряз в политических кознях, которым давно принес в жертву жену, семью, привязанности сердца».

В какой-то момент, когда Киргизов задремал, жена его вдруг обратилась ко мне.

— Я маленький человек, я слабая женщина, но я не думаю, что это правильно — взять меня в заложники, — сказала она с возмущением, вызвавшим яркий румянец на ее лице.

Я несколько оторопел и от неожиданности ее слов и оттого, что она именно сказала эти слова.

— Но разве мы с вами дурно обращаемся? — только и нашелся я что сказать. — И потом, вы же сами настаивали, чтобы я не оставлял вас там...

Она странно усмехнулась, как если бы мой ответ был просто глуп. Она мучилась оттого, что связала мужа, мешала ему. Тогда я добавил:

— Вас задержали, когда ваш муж еще не попался. Не было другого исхода. Это грустно, что так пришлось поступить. А что было делать, посудите сами, Надежда Федоровна, если по милости вашего супруга изо дня в день увеличивалось число вдов и сирот? Ради спасения многих приходится иногда жертвовать одним. В этом гуманность наших дней. Ведь узнай он, что вы арестованы, быть может, ради любимой супруги, да еще беременной, он сдался бы, тем более что ему дали бы амнистию, сложи он добровольно оружие.

Киргизов вдруг рассмеялся, совсем не так, как смеются во сне.

— А я был уверен, что вы спите.

— Спал. Меня разбудил сон. Мне приснилось, что я и мой друг мокли под дождем. Но ему надоело. Тогда он, как истинный друг, бросил меня и ушел. Я забыл сказать, что я был ранен, и, кажется, серьезно. Потом мне еще приснилось, что в руки мне попало оружие.

— Да? И что вы с ним сделали, с оружием?

— Добровольно сдал, товарищ следователь! — сказал он серьезно. — Но вы не верите мне. А зря. Я честно говорю. Я никогда не любил болтовни и пустозвонства, — сказал он с кривой гримасой, словно у него болели зубы. — Я всегда был человек дела. Но нигде человек так много не думает, как на фронте и в тюрьме, по соседству со смертью. Верьте мне, товарищ следователь, в моем положении не до лжи. Да, я заблуждался, это так. Но мои заблуждения бескорыстны и оправдываются моей любовью к России. Я понимаю,

любили Россию Николай Первый и декабристы, народовольцы и Лорис-Меликов, и мы с вами тоже любим ее, но непримиримо разно. Я складываю оружие, теперь уж окончательно и навсегда. Поверьте мне. — Он снова умолк.

Я не мешал ему ни говорить, ни молчать, — я не верил ему. Кто слишком много говорит о любви к России, тот слишком мало ее любит, отождествляя, как правило, себя с ней. А это все равно что утверждать, по меткому чьему-то выражению, что ты бежишь впереди ветра, который дует тебе в спину. Любить Россию надо во всех ее невзгодах и бедах, в ее исканиях и борьбе, — словом, любить Россию надо в революции.

Я слушал Киргизова и думал: что в его словах правда, а что маскирует ложь, что, собственно, хочет он сказать мне, а что — скрыть от меня? Впрочем, не помню кто сказал: черная собака, белая собака — все равно собака.

Меж тем пассажиры высыпали из теплушек и стали раскладывать костры, пустив в ход жалкие остатки железнодорожных щитов. Красноармейцы конвоя тоже развели костер у самого вагона.

Когда ветер менял направление, пламя стремительно рвалось к нам в теплушку, обдавая нас, сидящих в распахнутых дверях, горьким дымом.

Киргизова попросилась к огню. К двери теплушки тотчас подскочил командир Котов в своей длинной кавалерийской шинели, удлинявшей его и без того немалый рост, снял Киргизову и бережно поставил на землю...

Мы обращались с ней вовсе не как с заключенной. Даже горбун понимал и не ставил мне в вину это мое вынужденное попустительство.

Ее провожатая Савельевна беспробудно спала. Проснется, спросит: «Почему стоим? Где стоим?», пожует корочку — и снова на боковую.

— Сущая медведица, может, даже лапу сосет, — сказал про нее находчивый и остроумный Шутенков.

Костер шипел, трещал, хлопал, разбрасывая искры, снег вокруг покрылся черными точками. Конвоиры расселись на корточках, молча наслаждаясь теплом. Гро-

моздкий, кряжистый, с багровым и потным лицом, Дядькин гнал от себя дым, но пересесть в подветренную сторону не решался, боясь потерять хоть каплю тепла.

— Дозвольте и мне к костру, товарищ следователь, — обратился ко мне волосатый Баруличев, хозяин бандитской «штаб-фатеры». — Не сбегу. Да и некуда.

Это был человек малоразговорчивый, но внимательный. Он все больше слушал. На вопросы мои отвечал, но в откровенность не вдавался. Он так и не смог мне объяснить, каким образом он, едва ли не бедняк, примкнул к кулацкой банде Киргизова.

— Скучно! — вздохнул Дядькин, помолчал, подумал и еще раз вздохнул, видимо не найдя больше слов.

— Скучно, говоришь? — вопросительно повторил Шутенков. — А отчего скучно? Я так соображаю: раз скучно, надобно быль сказывать — и сразу тебе ясно, поумнел ты иль подурел. Умный умнеет, а глупый глупеет, как говорил, бывало, кузнец Фома Танцюра.

Отмахиваясь от дыма и морща свое старообразное рябое лицо, он завел рассказ про то, как на войне ложку потерял.

— Ох и натерпелся же я, братцы! — рассказывал он, мешая деревянной ложкой в подвешенном на двух шестах котелке, в котором варилось пшено. — Все едят, а я жду. Из котелка есть не станешь — обожжешься, а пока остынет, глядишь, рожок поет, привал окончен. Так вот и ходил голодный, без горячей пищи. А потом заняли мы имение, богатое поместье, домина — три этажа, добра там всякого — ни боже мой!.. Рассыпались солдаты, бегают по этажам, как собаки, язык вывалив. А я ни на что не смотрю, мне бы, думаю, только ложку добыть. Наконец вижу буфет, черный, огромадный, с ящиками, и в каждом ящике посуда всякая, там тебе и вилки разные, и ножи чудные, и чашек всяких разных — и с золотой каймой, и с синим ободком, в цветочек, в ягодку, с пастушком и девкой со всей сдобой наружу, и рюмок без счета, а ложек нет, ни одной, хоть плачь. Что ты будешь делать. Насилу махонькую нашел, ну прямо насмешка, ручка витая, а сама-то ложечка на три горошины. Сыплешь себе в рот быстро-

быстро, а ничего не остается. И опять голодный ходишь...

Все вокруг засмеялись.

— Без ложки пропадешь, — философски заметил Перетятко, созерцая волнующееся пламя костра оранжевыми зрачками.

Рядом со мной сидел в дверях Киргизов, беспокойно вглядываясь в ту сторону, куда ушла его жена.

К костру подошел наш старый знакомый, однорукий боец. Шлем с большущей красноармейской звездой придавал ему вид былинного богатыря, изувеченного в боях с драконами и гидрами.

— До вас, товарищи, присоседиться можно?

— Валяй, валяй, товарищ однорукий, — приветливо ответил Шутенков, подвигаясь и давая ему место. — Ты где едешь-то?

— На пустом вагонном дупле мерзну, товарищ граната, — сказал однорукий, опускаясь рядом с ним на корточки. — В вагон, вишь, не пустили. Тесно, говорят. Небось в окопе просторно было. А как до мирной жизни дорвались, тесно стало. Может, покурить найдется?

— Отчего же? — отвечал Шутенков, протягивая кисет.

Но однорукий отрицательно покачал головой:

— Сверни, браток, будь ласков. Не наловчился я еще левой рукой. Мне теперь левшой быть до скончания века. Я теперь левой рукой стрелять учиться буду. Белую сволочь кончили, — может, кто другой появится. Меня звать Федор Митрич, по фамилии Лягавый. Фамилия собачья, душа человечья. Я ее, фамилию, менять буду. Теперь это вполне возможно. А фамилия будет мне Перекопов.

— Как?

— Перекопов, — повторил он гордо. — Так и зовите. Моя воля — я бы всю Россию наново крестил, чтобы помнили про опасности и врагов и про трудности будущего времени.

— А ты куда едешь? — спросил его Котов с явным интересом.

— В столичный город Москву. Учиться. Культуру постигать, одним штыком, ясно, не одолеть капитализму. — Он окинул всех горячим, умным взором.

Волоча тяжелый мешок, к костру подошел рыжий мужик, бежавший от пустой гранаты. Не признав знакомых, он проокал:

— Потеснитесь-ко, товарищи-граждане, пустите к теплу. Душа от стужи запзлась. — Он поставил мешок и сел на него, золотясь в свете костра.

— А мешок, папаша, за собой таскаешь, боишься, как бы не сперли, — сказал однорукий. — Правильно, жулья теперь развелось повсюду — страсть. А везешь-то чего?

— Ничего, — буркнул мужик. — Пропитание.

В его ответе однорукий усмотрел обидную насмешку. И впрямь — всего лишь год, как опрокинули в Черное море барона Врангеля, везде царили разруха, голод, тиф, гуляли махновские, антоновские и прочие банды рангом поменьше.

— Много жрешь! — сказал однорукий.

— Не твое жру. Ишь ты, слепень! — Безучастно отвернулся, зевнул, перекрестил рот и снова сказал: — Эх-хе-хе! Ворочаюсь до дому, пятая неделя пошла. Православный мир послал. Мы ярославские. Вон в какую даль нужда загнала. Стоит земля разрытая и пустая, а семян нет. Продразверстка все сожрала, заграбиловка и вовсе взбесилась, обирает начисто...

Все молчали. На рябом снегу дрожал красный отсвет пламени.

— Плохо нонче мужику, волком воет, — снова заговорил рыжий мужик. — Нам землю советская власть дала, покорно благодарим. Но землю жрать не будешь. А хозяйство развалилось, кобылу подковать — гвоздя нету... Хоть бабу запрягай и паши на ней... Не вздохнет Россия, ежели мужику льгот не будет. Про богатеев не говорю. А пьяница, лодырь, лежебока как был, так и остался, хоть будь он сам комбедский председатель. Горбатого и дурака, сказано, могила исправит. Ему заботы мало, в нем хозяйского духу нету, он и республику нашу пропить может...

— Это что же, — вспылил однорукий, — мы кровь проливали, чтоб тебе в кулаки выскочить? А батраки, за рабочий класс которые, за бедноту?..

— Ты нас не пужай, товарищ калеченый! — с откровенной злобой заявил мужик. — У меня у самого двои кровь льют — один в Красной Армии командир взвода, другой по ученой части, агрихультуры разводит. — Он сощурился, и лицо его покрылось сетью морщин.

Молчаливый Котов, не охотник до споров и митинговых дебатов, вдруг сказал:

— Гляжу на тебя, отец, — жадный ты, все норовишь урвать себе кусок получше. А там, глядишь, и нас, борцов и защитников, к ногтю возьмешь. Даром ноготь у тебя каменный. Не будет по-твоему! Смотри, отец, снова биться будем.

Однорукий поддержал его:

— Мы, пока весь мир не освободим, еще пострадаем. Мы для всего угнетенного люда братья и бойцы.

Мужик безмолвствовал, сидя на мешке, неподвижный как идол. Молчали красноармейцы, одни сочувствовали мужику, другие — однорукому. Странно, но Баруличев, этот бородатый содержатель бандитской «штаб-фатеры», явно держал сторону однорукого бойца.

11. ФИЛОСОФИЯ ЛЕВАНТОВИЧА

Низко как бы стлался по земле дымный горизонт. Небо обложило тучами и заволокло сумраком. В степи крутилась поземка, а здесь, под прикрытием состава, было еще спокойно, и только когда задувал ветер, пламя костра устремлялось в сторону, облизывая и растопляя снег и обнажая черную землю.

— Любопытные дикари, — сказал вдруг Левантович, послушав разговоры у костра. — До того любопытные, — право, забываешь о себе. Извините, что беспокою, но следователь — это в некотором роде и духовник.

Мы сидели в дверях. По ту сторону костра сгущалась тьма, вставая в двух шагах сплошной стеной. С протяжным посвистом налетали учащенные порывы ветра, и тогда слышно было, как хлопают языки огня и рвутся в ночную темь, как трещат костры, протянувшиеся длинной вереницей вдоль всего состава.

— Россия уже однажды видела такую вот дорогу костров, — заговорил Левантович, помолчав. — Шла орда покорять Европу. На знамени ее было выжжено: «Мы кровью мир зальем». Ну, мир в крови утопить не удалось, а святую Русь залили. На двести пятьдесят лет погрузилась она в сонную одурь. Но народ русский переварил татар. Правда, кое-что ушло в кровь...

Аллегория была злая и уродливая. Этот человек слишком ненавидел, чтобы соблюсти чувство меры.

— История повторяется, — проговорил он снова и засмеялся таким странным смехом, словно протирали песок. — Грязная, продажная девка, сегодня с одним, завтра с другим, а там, глядишь, и приживет какого-нибудь проходимца. Она боготворит Нерона и лижет ему руки, именуя его гением, а на поверку он оказывается безумным злодеем и кровавым скоморохом. Кто скажет нам правду? Победители несправедливы, а побежденные озлоблены. И есть ли, наконец, правда? Одни покрывают историю позолотой, другие — грязью. Великая французская революция тоже сместила пласты. Но кто победил? Дидро? Вольтер? Руссо? Образно говоря, они лишь в очереди поднимались на эшафот, чтобы сбросить свои мудрые головы в кровавую корзину палача. Божественная мысль, столетие благородства и гуманизма перекочевало из Консьержери на Гревскую площадь. Право, Бастилия того не стоила. Но вот интервенты изгнаны, Вандея уничтожена, Лион сметен с лица земли, «Люизетта» захлебнулась в крови. Франция и революция на вершине могущества и славы. Дрожат троны, призрак обезглавленного «булочника» витает над Европой. Но... Марат заколот в ванне, а Дантон потянул за собой Робеспьера. Выжил сова Сийес, промолчав революцию. Молчальник оказался прозорливцем. Победили перерожденцы Тальены. Предание гласит, что арестованный Сен-Жюст ударил

Тальена по лицу, сказав при этом: «Черт подери, история заслужила пощечины». Этот жестокий аскет был прав. Свобода стала рабством, революция — тиранией. Даже контрабанда мысли стала невозможной. Умер Демулен — жил Фуше, умерла революция — жила ее полиция. В стране стало нестерпимо душно. Лицемерие сделалось высшей формой государственной мудрости. Великое породило смешное и подлое. Необузданный честолюбец Бонапарт пришел через спальню Барраса. Это еще не самый грязный путь. Иные шли через тайные канцелярии и застенки инквизиции. Не помню, какой-то папа начал свою карьеру обыкновенным филером, а вымахнул так высоко, что перед ним склонился и дрожал весь мир. Великий человек — бремя для народа, и чем он крупнее, тем тяжелее это бремя. Узурпатор унаследовал великую революцию. Он стал богом. А боги боятся людей, они страдают манией величия и манией преследования. И вот тюрьмы переполнились невинными людьми, готовившими якобы покушение на императора. Где нет гласности, нет и права, а где нет права, нет закона, а только деспотическое самоуправство. Что толку в кодексе законов, если он не действовал! На печать надет был намордник. Раболепствуя перед тираном, она внушила отвращение к себе всем честным людям. Страну задавили бездушие, вероломство, продажность, беззаконие, произвол. Торжествовал союз приспособленчества, бесчестия и карьеризма. Тиран, по собственному выражению, покупал дураков на метры «ленточки Почетного легиона». Поколения росли под треск барабанов и гул пушек, отравленные высокомерием и жалким сознанием своего превосходства над всем миром. Не стало ничего святого. Каждый третий был осведомителем тайной полиции. Человек исчезал по анонимному доносу, как во времена Нерона. Хватали направо и налево — за сказанное слово и за молчание, и даже за жалобу на дурную погоду. Все были на подозрении: и тот, кто жил за закрытыми ставнями, — он заговорщик, и тот, чьи окна были широко раскрыты, — он двуличен и маскирует заговор. Нельзя было доверять ни другу, ни жене, ни сыну. У стен были уши. Девизом тирании всегда было предательство и

убийство. Но еще страшнее, когда тирания идет под знаменем свободы. На словах — свобода, на деле — железный ошейник. Доказать деспоту его неправоту невозможно, гораздо легче его убить. Если на весы истории бросить добро и зло, содеянное этим величайшим лицемером, то мы вправе повторить его вещие слова: человечество много выиграло бы, если бы императора Наполеона и вовсе не было. Такова дорога костров, товарищ следователь!

Не подобало следователю вступать в споры с арестованным, да еще при конвоирах. Признаться, мне казалось, я недостаточно подготовлен для серьезного спора. Все же кое-что мне хотелось ему сказать. Даже далекое зарево омрачает окрестности, придавая им зловещий вид. Слишком грубы его параллели и слишком поверхностны его исторические сравнения.

— Сходство исторических моментов — это формальное сходство сражений, в которых одинаково действуют люди и пушки, то есть стреляют и атакуют, но совсем различны цели, задачи и последствия. А разница тут такая же, как между красным офицером Котовым и белым офицером Киргизовым.

Я попал в точку. Эта разница была столь очевидна, наглядна и разительна, что все засмеялись.

Я понимал, что, отвечая Левантовичу, я объясняю простым красноармейцам всю лживость и фальшь его высказываний. Все революции до Парижской коммуны меняли только форму, а не сущность социального строя. Сущность оставалась та же — эксплуатация человека человеком. Сбрасывали царя, но не трогали помещиков. Господа всегда оставались господами. Народ всегда был в накладе. Октябрьская революция, в отличие от всех других, в корне изменила сущность строя, не стало господ и рабов, уничтожаются угнетение, национальное неравенство, народная нищета, природа и источники войны. Революция прогнала помещиков и фабрикантов, разбила их генералов. Такая революция делается не сразу. Подобно урагану на море, она закипает у истоков и охватывает весь мир из края в край, пока не сотрет с лица земли и память о капитализме. Она может являться в разных формах, она может менять

формы, но сущность ее останется одна и та же — коммунизм.

Неожиданно заговорил Киргизов, сухо, отрывисто, раздраженно:

— Интеллигентская болтовня!.. Гуманизм, свобода, демократия... А в итоге — кровавая смута. Вам болтать, господа интеллигенты, а нам головой платить...

Я не видел его еще в таком гневе. Кого-то напоминал он мне — те же речи и те же мысли... Где-то я уже слышал этот голос, где-то видел это лицо, где-то встречал этого человека. Но где? Я мучительно старался припомнить и не мог. Точно забытое сновидение, которое смутно брезжит в сознании, точно капля, повиснувшая на кончике капельницы, вот-вот готовая сорваться, точно радужный мыльный пузырь, который мгновенно лопается...

Но тут низко и угрюмо заревел паровоз, возвращаясь к составу. Красноармейцы повскакали и начали разбрасывать и затаптывать костер. Косматый Барулич поспешно влез в вагон. Рыжий мужик поволок торопливо свой мешок к площадке вагона. Поднялся и однорукий.

Я был встревожен отсутствием Киргизовой.

Я с удивлением увидел, что муж ее в сильнейшем беспокойстве. Он всегда держался с женой суховато, строго, даже черство, без слов давая ей понять, какое несчастье для него ее появление. Порой мне казалось, что он был бы несказанно рад и счастлив, если бы она отстала от поезда, исчезла наконец и освободила бы его. А тут вдруг такое неподдельное волнение, такая жгучая тревога и смятение...

Нелегко было добудиться Савельевны, у которой от беспрерывного сна распухли и заплыли совсем глаза.

— Послушайте, — сказал я ей в сердцах, — как бы вам не приспать беды с арестованной. Не ровен час — головой за нее отвечать придется.

Савельевна испуганно всполошилась.

— Мать пресвятая богородица! — закричала она, бегая по краю вагона, у самых дверей, как бегает собака вдоль берега, не решаясь кинуться в воду. — Это бо-

лесть моя такая — в сон клонит. У меня и своих печалей довольно... Дочка в тифу... — Она всплеснула руками. — А этой кадетской потаскухе я покажу, пусть только явится... Я ей покажу, я ей покажу...

Я уже не рад был, что пробудил в этой доброй и ленивой тетке фурию.

Снова затрубил паровоз, сзывая людей. И тут появилась Киргизова. Она бежала к нам, что-то крича и махая рукой. Котов кинулся ей навстречу, поднял на руки и сунул в вагон уже на ходу поезда.

— Ах ты, бабонька! Разве ж так можно? В твоем-то положении... Гляди, как запыхалась! — хлопотала Савельевна с необычайной нежностью и заботой.

— Я испугалась, что отстану. Фу!.. Как сердце бьется! — говорила Киргизова с волнением. — Далеко зашла. Там мальчик на буферах ехал. Едва упросила, чтоб его в вагон пустили. Один ответ — некуда. А мальчонка так легко одет... Наверно, ночью замерз бы. Нельзя ли помочь ребенку, товарищ следователь? Накормить его. Невыносимо смотреть на детские страдания.

— А в каком он вагоне?

— Да здесь, недалеко. Через три или четыре вагона. Ваней его зовут.

Тут меня снова удивил Киргизов своим подчеркнутым равнодушием. Он даже отвернулся от жены. Похоже, он умышленно держался так с ней, как человек, который не хочет оставить о себе доброе воспоминание. Самое странное заключалось в том, что Киргизова не понимала его поведения, которое оскорбляло и унижало ее.

Поезд набавлял ходу. Костры отстали, трепеща на ветру. Степь шумно дышала, вихрилась пурга, уносясь во тьму туманной пеленой, словно многохвостое исполинское чудовище.

Меня тронул за рукав бородатый Баруличев, хозяин бандитской «штаб-фатеры», и сказал голосом, полным недоумения, тревоги и тоски:

— Не пойму, товарищ следователь!.. Встрял в это дело... А зачем? Черт его знает, товарищ следователь! Не пойму...

Он не искал снисхождения, он просто не знал, как это он, бедняк, голь перекатная, а прилип к киргизовской банде.

Враги — это тоже не постоянная категория, как, впрочем, и друзья. Есть неисправимые, а есть и такие, что случайно, стихийно попали во вражеский стан. Со временем они поймут свои ошибки и заблуждения и даже станут друзьями. Зато иные друзья, сбросив маски, сделаются лютыми врагами.

— Вот тебе и поели горяченького... — Шутенков чуть было не пустил матюка, но его вовремя остановил Котов:

— Ты потише, жеребец, тут женщины.

Кое-кто стал закусывать — кто ржаным хлебом с примесью жмыха, соломы и лебеды, а кто салом, как горбун, например.

Дверь задвинули. Во тьме потрескивали папиросные искры, то багровея, то затягиваясь синеватым пеплом.

Ко мне подсел Котов. Он, оказывается, внимательно слушал разглагольствования арестованного Левантовича.

— Не все то золото, что блестит,— сказал он и стал спрашивать меня о том, что ему неясно.

Этот невинный невежда, который ничего не знал, но все хотел знать, инстинктивно умел отделять злаки от плевелов. Революция была для него святыней. В нападках на революцию — пусть даже давнюю, не русскую — он готов был усмотреть тайный намек, злобное иносказание.

Меня он слушал запоем, я видел в коротком свете вспыхивающих искр наших цигарок, как блестят и горят восторгом его глаза.

А поезд шел и шел со скрежетом и стуком по заметенным путям. Под тяжестью людских тел трещала крыша над нашей головой. В непроглядной тьме причитала и выла метель, и в буйный плач ее и стоны вплетались слабые людские голоса, полные страха, мольбы и страданий.

Сквозь вьюжный гул долетали иногда короткие и глухие гудки паровоза, как будто звавшего на помощь.

12. ПОЛКОВНИК КИРГИЗОВ СНОВА ИДЕТ В КАНОССУ

Поезд тащился все медленней и тише, пока и вовсе не стал.

У наших дверей сильно постучали. Их тотчас распахнули. Перед теплушкой в снежном дыму стоял продрогший красноармеец, засыпанный снегом.

— Товарищи-братья, — взмолился он срывающимся голосом, — пустите погреться, сил моих больше нету на верхотуре...

— Сюда нельзя, браток! — ответил Котов. — Здесь арестованные. Постой! — Он выпрыгнул из вагона и забарабанил в соседнюю теплушку. — Открывай! Живо! Человека примите... Не разговаривать! Тепло тебе, шкурнику. Быстрей, дай ему руку. Вот так, это по-советски.

Захлебываясь в слезах, красноармеец благодарил:

— Век не забуду, товарищ родной!

Совсем по-волчьи выла вьюга, и паровоз продолжал давать тревожные гудки. В вырезе двери виднелся сплошной молочный сумрак.

— Дверь замкните, невтерпеж, — сказал кто-то.

Я вдруг испугался за Котова — не отстал бы.

— Алеша! Товарищ Котов!

— Здесь я, товарищ следователь! Ну и метет, прямо страх, ни зги не видать. Гуляет нечистая сила. Пропасть человеку — раз плюнуть. Заколдует, ведьма.— Он захлопнул дверь.

На крыше топали люди, плакали и бранились.

— Крышедавы! Галерка жизни! Топай, топай!

— Жители второго этажа, держись, сейчас дернет...

Поезд действительно дернул, раздался звон буферов, и снова стихло.

— А ты попрыгай, попрыгай, не то, гляди, мороз насмерть закует.

На рассвете стужа ощущалась особенно остро, ныли кости, словно вышли из суставов. Даже Шутенков сдал.

— Собачья жизнь, ни тепла, ни спокою, — ворчал он без обычных прибауток и присказок.

Я услыхал слабый стон Киргизовой, ей что-то недо-

могалось. Тотчас отъехала дверь, и я увидел высокую фигуру Котова. Он как будто дежурил у двери на случай, если Киргизовой что-то понадобится. Он соскочил на землю, взял на руки маленькую женщину и бережно опустил ее на снег.

Меня поразило, что Киргизов оставался безучастным к тому, что за его беременной женой ходит, как за ребенком, Котов, а она принимает этот заботливый уход, как проявление братской близости. Впрочем, при всем желании он все равно ничего не мог сделать, — ведь его самого выпускали под строгим конвоем. Разве что он мог быть чуточку ласковее с женщиной, претерпевшей из-за него столько горя и мучений...

В щели вагона просочился серый утренний свет. С крыш народ сбежал и хоронился под вагонами. Иные ходили вдоль поезда и умоляли впустить их отогреться. Мы старались устроить людей по теплушкам. Это было не легко.

Не слышно было паровоза, он умолк и погас. Нас замело. Бог весть, сколько нам придется ждать, пока подоспеют люди с лопатами. На снегоочистители надежд не было в таком глухом месте. А вьюга не унималась и плакала и причитала, как искусная плакальщица на деревенских похоронах.

— Ну, теперь постоим до второго пришествия, — заговорил конвоир Перетятко угрюмо. — Треба, братцы, в деревню махнуть, як стихнет заваруха. На хлеб сало чего сменять.

Ему никто не ответил.

Я задремал. И во сне явились мне воспоминания.

Есть такие печальные осенние вечера, когда тяжелые, мокрые сумерки, быстро сгущаясь, опрокидываются на мир черным давящим покровом и дождь опутывает темное пространство от неба до земли сплошной косой сеткой. Наступает долгая ночь, полная шорохов и вздохов опавшей листвы, и буйно мчится над головой клубящееся небо. И такой безнадежностью обволакивает сердце, что кажется, никогда уже из нее не вырваться.

Есть такие тревожные осенние ночи. В такой именно час я вскочил на ходу на слепую площадку товар-

ного вагона. В этот миг с другой стороны ее появился плечистый солдат в широченной шинели. Был он ростом высок, и по лицу его, неясному в сумраке, сползали капли дождя.

— Ты кто такой? — окликнул он меня дерзко.

— А тебе-то что?

— Не тыкай, болван!

Изумление мое сменилось гневом.

— А, Геннадий Демьяныч, откуда-с? Из Керчи в Вологду? — сказал я, сам не зная почему вдруг вспомнив усталого бродягу Несчастливцева.

Он рассмеялся:

— Занятный у вас видец. Шут вас разберет, кто вы. Ошибся, но не каюсь. С интеллигентом надо обходиться еще и не так... Ругать, плевать, топтать. Болтуны, слюнтяи, лакеи! Ненавижу эту подлую породу! Впрочем, я сразу почувствовал в вас интеллигента — по удивленьицу, по робости, по трусливости... А как же, народ натравили, а сами в кусты. Подлецы!

Я не знал, что ему ответить. Черт его знает, на что способен этот бешеный субъект в припадке злобы и ослепления. Кто он — белый, красный? Так неистово ненавидеть интеллигентов мог и тот и другой. Один — за то, что интеллигенты немало сделали для революции, а другой — за то, что в последний момент многие испугались революции, отреклись от нее и предали ее.

Поезд шел с фронта.

Мое настороженное молчание, очевидно, охладило моего странного попутчика.

— Уму непостижимо, до чего звереешь, — сказал он. — На человека набрасываешься, как голодный волк. Сожрать не можешь, так хоть кусаешь. Извините!

Только сейчас я обратил внимание на то, что человек едет совсем налегке. А быть таким злым можно только от голода. Тогда я развязал свой вещевой мешок, достал хлеба и предложил ему поесть.

— Ешьте! Как говорится, оттого, что пообедал мой сосед, я сыт не буду.

В первую минуту он несколько опешил. Но голод не тетка, я и оглянуться не успел, как исчезла добрая половина моих скудных запасов. Потом мы закурили.

Поезд медленно тащился в синей мгле. Моросил дождь, на поля лег туман, придорожная тропинка, то сбегая под откос, то вновь подходя к самому полотну железной дороги, была усеяна лужами, похожими на куски рваной жести.

Мы сидели и ежились, так как ветер немилосердно заливал нас водой.

— Вы почему в вагоне не устроились? — спросил он, кутаясь в свою широкую шинель.

— По тем же причинам, что и вы: не пустили.

— Нет, я сам не пошел. Злоба глуха к голосу разума. Ненавижу христианство, — сказал он с новой вспышкой ярости, — ненавижу и не понимаю его темных догматов. «Возлюби ближнего, как самого себя. Ударившему тебя по щеке подставь другую». К черту! Уж лучше зуб за зуб и око за око. По крайней мере честно. Кто я? Осколок разбитого вдребезги. Иду в Каноссу, к неведомым и непонятным людям. Мне они неясны, а я им подозрителен. Что поделаешь, хочется жить.

Он говорил откровенно, я постарался рассеять его сомнения и укрепить его веру в тех людей, к которым он шел и которых совсем не знал.

— Озлобленность — плохой советчик, — сказал я. — Озлобленных людей жалко. Они уверены, что никогда не ошибаются и всегда правы. А виноваты они сами. Но давно известно — у виноватого все виноваты, кроме него.

Дождь утих, в воздухе разлился сырой, холодный запах осенних полей.

Мой спутник сидел, опустив голову на руки, задумчивый, усталый и печальный. В том, как он склонил голову, в том, как застыло его лицо с угрюмо сдвинутыми бровями и двумя упрямыми складками на переносье, в том, как горько сжаты были губы его, во всем его облике было столько уныния и безнадежности, что, право, достаточно было короткого взгляда на него, чтобы понять, что у этого человека ничего больше нет, что весь он в прошлом, что он одинок, разбит, непоправимо несчастлив и озлоблен.

На остановке он пошел искать место в вагоне и исчез.

Воспоминания и сны мгновенны. Я ощутил навязчивую потребность спросить Киргизова — он ли это был, хотя сомнений в этом у меня уже не было.

— Вы спите, полковник Киргизов?

— Нет, гражданин следователь!

Я помедлил немного.

— Откуда, Геннадий Демьяныч?

Он странно и очень грустно засмеялся:

— Из Керчи в Вологду.

«Так, так, — сказал я себе. — Этот человек уже однажды ходил в Каноссу. Но он ничему не научился и ничего не понял. Ничто ему не пошло впрок».

13. РОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Вдруг резкий, пронзительный женский крик как бы разорвал тишину. Мы не сразу поняли, чем вызван этот дикий вопль ужасного страдания. У Киргизовой начались роды. Это было тем неожиданнее, что по виду ее невозможно было предположить, что она на последнем месяце беременности. Я подумал, не преждевременные ли у бедняжки роды.

Мы зажгли факелы, вернее, лучины,— они трещали, дымя, обугливаясь и ломаясь. Вскоре пол был усеян растоптанной золой.

Киргизова лежала на шинели лицом вверх, раскинув ноги, и кричала бессмысленно, как животное, на одной протяжной, долгой, хриплой, нескончаемой ноте. На потном и темном, сразу опавшем лице ее тускло горели остановившиеся глаза с удивительным выражением мольбы и отчаяния. Иногда муки ее ослабевали, но кричать она не переставала. Правда, кричала она менее пронзительно и более плачевно, как бы жалуясь на свою горькую бабью долю.

Шутенков стыдливо отвернулся.

Муж то и дело накрывал ее шинелью, которую она тут же сбрасывала.

— Бога ради, помогите же! — закричал он потрясенным голосом. — Люди! Спасите ее, она умирает.

И опять послышались мне в его голосе нотки искреннего страдания.

Тогда совершенно растерянный Котов бросился к спящему доктору Левантовичу и растолкал его с нетерпеливой настойчивостью.

— Эй, доктор! Проснись, беда, доктор, проснись!

— Ну, что надо? — спросонок пробурчал Левантович, высовывая голову из-под дохи, как улитка высовывается из своего домика, и тотчас сделал попытку снова заснуть.

Но Котов продолжал его тормошить:

— Помоги, доктор! Будет дрыхать. Женщина мучается, она родить должна.

Левантович наконец проснулся, встал, зевая и потягиваясь, послушал крики роженицы и в раздумье сказал:

— А я думал, это мне все снится. Э, черт, испортил сон... А такой хороший был сон. Да и какой я доктор? Я вовсе не доктор.

— Как не доктор?.. — удивленно, почти испуганно спросил Котов.

— А так вот, я не врач и никогда им не был. Я юрист, — с непонятным раздражением ответил Левантович.

— Та-ак! Значит, ты не доктор, — с непостижимой обидой в голосе сказал Котов. — А прикидывался... Тебя все называли «доктор», а на поверку ты никакой не доктор. И еще на революцию наскакивал... петух белый!..

Левантович вдруг сообразил, что в чем-то сплоховал, и стал говорить о том, что доктором может быть и не врач. Но его не стали слушать.

— Брось его, товарищ Котов! Не видишь, что ли? — произнес Шутенков с сердцем. — Как болтать, так он доктор, а как человека спасать, так его хата с краю. Трепло он поганое, вот кто. Сукин сын!

Точно он был обманут в лучших своих чувствах. И если искра уважения теплилась в нем к этому солидному, как будто простому человеку, который мог и заблуждаться в своем отношении к рабоче-крестьянскому народу, то сейчас эта искра вмиг угасла, и Шутенков

рассмотрел в этом напыщенном, важном, в золотых очках господине обыкновенного кадета. Все свои чувства и мысли он сформулировал в одной фразе:

— Назвался волк овцой.

Тут Котов, внимательно оглядев Левантовича, вдруг приказал ему:

— А ну-ка, арестованный, сымай шубу! Живо! Ребеночку нужно будет. Из ребеночка человек выйдет, а из тебя гад вышел. Давай, давай, не разговаривай, скидавай!

Левантович запротестовал. Тогда его попросту, к всеобщему одобрению, вытряхнули из дохи. Боже мой, как он сразу переменился, куда девались солидность, осанка, значительность, вызывавшие почтение у окружающих! Он стал жалкий, щуплый, какой-то общипанный, даже голос у него сделался писклявый, тоненький, визгливый, когда он закричал:

— Безобразие! Арестованных мучают, издеваются!

Но на него больше не обращали внимания. Все были заняты Савельевной, которая неописуемо преобразилась с той минуты, как поняла, что происходит с Киргизовой. Сонливость с нее словно ветром сдуло. Эта флегматичная женщина исполнилась поразительной энергии и спокойствия. Она засучила рукава. Она отдавала свои распоряжения коротко, немногословно, с непререкаемостью командира. Все слушались ее. Она прежде всего разделила вагон, поместив в одной половине не умолкавшую роженицу, в другой — всех остальных.

Плотный, большой, безмолвствующий Дядькин побежал за кипятком. Возвратясь, он тоже не проронил ни слова, а стал помогать Савельевне, грузно ступая и давя хрустящие, обуглившиеся и обломавшиеся лучины.

Перетятко и Баруличев побежали искать дрова, чтобы растопить набранный в котелке снег и согреть воду.

Ко мне подошел горбун и протянул свою шинель.

— Я против, — сказал он мрачно. — Обо всем доложу. Но теперь такое время... Так что пущай и мою шинель возьмут, перегородить там... ежели женщине родить на виду у мужского пола.

Киргизова продолжала кричать за перегородкой, вопли ее не смолкали ни на минуту, сливаясь со стонами метели.

Когда затрепетала предрассветная мгла и утихла вьюга, она родила крохотное багровое существо, огласившее вагон звонким криком. И как только закричал младенец, умолкла мать, усталая, изнеможенная и счастливая. Потом наступила тишина. Люди, жавшиеся по углам, обрадовались и заговорили шепотом.

— Теперь о наследнике время пообмыслить, — рассуждал вслух Шутенков. — Ему теплота нужна. Эй, гиббон, тебе и под горбом жарко, может, тулупчик дашь? — Он явно дразнил горбуна.

Но Котов почему-то принял шутку всерьез.

— Вот что, ребята! Хватит приставать к нему, довольно позанозили парня. Семь шкур и с вола не дерут. Баста!

Глаза горбуна вдруг блеснули слезой, он был сентиментальный. А Шутенков понемногу разошелся и стал рассказывать очередную быль:

— Был факт, братцы! Лежал я в секрете с Ивашкой Грибковым. Земляк мой, вместе горе хлебали. Душевный был человек. А балагур — супротив него я вроде как немой. Лежим, стало быть, а кругом слякоть, темень, дождик сеет, и можжевельником пахнет. Ну и задумались про близких людей и родные места. Вдруг бах-бах, не очень чтобы громко, однако мордой к земле приник. Лежу — не дышу. Чего-то, слышу, хлюпает у меня под боком. «Ивашка, зову, слышь, браток!» Не откликается. Я тогда руку протянул, потормошить его, и понимаешь... головы-то у него нету, начисто снесло... Проклял я в ту ночь войну навековечно.

14. ВОЛК—В ЛЮБОЙ ШКУРЕ ВОЛК

Люди разбрелись по окрестным селам в поисках провизии и топлива. На многие версты в окружности здесь не было леска. А щиты уже успели пожечь наши предшественники, также тащившиеся неделями по заметенной степи, истерзанные стужей и голодом.

Еще не рассвело, когда Котов с Киргизовым отправились в деревню в надежде раздобыть молока для роженицы. Никому из арестованных, кроме Киргизова, я не разрешил отлучиться даже под конвоем. А Киргизов куда денется? Его жена и дочь служили надежным обеспечением и достаточной гарантией. Но уже через час я пожалел, что отпустил арестованного.

Снова поднялась метель.

Мое беспокойство возрастало с каждой минутой. Я не сомневался в Котове, я скорей опасался за него. Мне лезли в голову разные мысли.

К тому еще меня донимал горбун осторожными, но злыми намеками. Чем отвратительнее были намеки, тем безупречней казался мне Котов. Наконец я не выдержал:

— Слушай, Сидоренко! Ты, пес дворовый, только и умеешь, что лаять и кусаться. Заткнись! Чтоб я тебя больше не слышал!

По своему обыкновению, он удивительно ловко перевернул мои слова:

— А что, дворняга не подходит вам, товарищ следователь? По всему видать, вам нужен пес породистых кровей, а пролетарское происхождение вам не годится?

Но я не позволил ему сеять недоверие и раздор среди людей.

— Вот что, — сказал я ему. — Если я тебя откомандирую, ты сбежишь, ты только этого и ждешь. Если я тебя арестую, ты перепортишь мне людей нашептыванием и двуличием. Мне ничего не останется, как застрелить тебя. Я предупредил тебя. Вторично повторять не буду.

Должно быть, в моем голосе было что-то такое, что заставило горбуна присмиреть.

Я не находил себе места. Я заглянул к Киргизовой. Она лежала, слабая, жалкая, беспомощная, со своим ребенком на царственной докторской дохе. А Савельевна покачивалась над ней, снова, как сурок, впав в привычную сонливость. Ей больше не грозила опасность упустить арестованную, ей можно было спать, и во сне она улыбалась счастливой улыбкой.

Я взял немножко еды, чтобы накормить Ваню, как я это делал уже не раз. Это был маленький беспризорный мальчонка, пробиравшийся в родные места.

Как всегда бывает после вьюги, степь лежала спокойная, скованная и безжизненная, сверкая белизной нетронутой целины, просторной и в то же время ограниченной близким горизонтом. Белесое небо совсем низко нависло над белой безмолвной пустыней, на которой не видно было ни дымка, ни следа. Длинный заметенный снегом состав изогнулся в рог среди сугробов.

Неподалеку от нашей теплушки толпился народ. Я полюбопытствовал — что случилось?

— Человек замерз, — отвечал нехотя солдат, притопывая. — Однорукий тут ехал на слепом дупле.

На площадке полулежал мертвец, твердый и сухой, как дерево. Глаза его, чуть приоткрытые, были тусклы и туманны, затянутые молочной пленкой. Пустой размотавшийся рукав свесился с площадки, обледенел и покачивался, похожий на самоварную трубу. На другой стороне площадки, прислонясь к мешку и подобрав под себя ноги, сидел рыжий мужик, чем-то напоминая бессонного филина,— может быть, неподвижным взглядом невыразительных, черствых глаз, смотревших прямо перед собой.

— При тебе, что ли, замерз? — спросил я его.

— Должно, еще с ночи, — отвечал мужик. — Дело-то как, небось сам знаешь! Где тут за человеком усмотреть. Да мне за мешком и не видать было. Сперва курил, опосля, должно, заснул. Ну, к сонному, сам понимаешь, стужа не ласкова, а он еще к тому калеченый... — Мужик вздохнул и перекрестился. — Отмаялся, царствие ему небесное. Упокой, господи, душу многострадального раба твоего...

Я едва сдерживался, чтобы не заплакать.

Вдруг я увидел Котова и Киргизова. Я заставил себя быть спокойным и не выразил своих чувств ни быстрым движением, ни резким словом.

Киргизов немного опередил Котова и шел по узенькой, едва протоптанной тропинке, как полагается арестованному, заложив руки назад. Он тяжело ступал,

оставляя на снегу кривые, рваные следы. А Котов держал карабин наизготове, и полы его длинной, до пят, кавалерийской шинели разметали снег.

Став в дверях теплушки, Киргизов долго смотрел в синеватую, мглистую даль таким тревожным и усталым взглядом, словно прощался со всем тем, что видел в последний раз. И лицо у него было землисто-серое, как у мертвеца.

Еще сумерки витали над степью, пропуская все отчетливей очертания предметов.

Котов достал из кармана наган, видимо, не ему принадлежащий, и протянул его мне.

— Возьми, товарищ следователь! — От волнения у него пресекся голос.

С удивлением и беспокойством смотрел я то на арестованного, то на его конвоира, охваченный внезапным и тягостным предчувствием. Еще не зная, что у них случилось, я уже догадывался о своей оплошности: зря отпустил я арестованного. Без лишних слов взял я у Котова наган и осмотрел его — все семь патронов в барабане были расстреляны.

— В любой шкуре волк остается волком, вот и весь сказ, — проговорил наконец Котов и улыбнулся такой неловкой улыбкой, словно он все сказал и нечего ему больше добавить к тому, что сказал. Вдруг заторопился и понес одним духом, как если бы опасался, что собьется, запутается и не скажет всего того, что должен сказать: — Махнули мы с ним, товарищ следователь, еще затемно. Снежок пошел, а там и снова закрутило. Не вернуться ли, думаю, от греха подале. В такой темени да вьюге и заплутаться недолго. Однако, понимаешь, Надежда Федоровна мне покою не дает. Как она без молока будет? Его младенец, а мне морока. Тоже ведь лихо накатило. — Он говорил отрывисто, резко, угрюмо.

Странно, с полным равнодушием и безучастием, как будто его это вовсе не касалось, слушал Киргизов, устремив куда-то в пространство неподвижный взор.

А Котов продолжал рассказывать уже гораздо спокойнее и вдруг закричал, как бы испытав новый прилив возмущения, досады и злобы:

— Ох и гад! Кто мог подумать? Куда ему бежать — в степи, без харчей, без денег, без документов? Его живо сцапают. Опять же, у нас его супруга, дитё — вроде заложников. Идем, значит, и молчим. Пурга в лицо бьет, прямо кожу со скул сдирает. Ну, остановимся, постоим и снова боком пойдем. А я думаю про себя: «Ты все-таки за ним доглядай! Он человек, может, и конченый, но ведь его еще судить будут». Вдруг оступился я, чуть было не упал. Гляжу, у придорожья бугор снежный, вроде как кого-то замело. «А ну, говорю, полковник, не иначе тут кто-то есть. Давай-ка пособи!» Чуть снег поразбросали — я карабином, а полковник ногой, глядим: батюшки, человек сидит... Потормошил я его — какой там, застыл, бедняга... Совсем как лед сделался, твердый и холодный. А тут темнота рассеялась, метель угомонилась, небо серое, как мышь, совсем развидняло. Взяла меня тоска, сердца не чую. «Эх, говорю, полковник, сколько это русских людей зазря погибает». — «Верно, отвечает, товарищ командир, оттого и душа болит. Бьются русские люди, а за что и кому от этого польза?» Не с той, слышу, ноты музыку завел. Русские-то мы русские, только класса разного. «Темнишь, говорю, ваше благородие!» Только вдруг вижу — вроде наган на снегу. Я и сообразить не успел, а полковник хвать его, сиганул в сторону и на меня наводит. Точно какая-то сила надоумила меня, кинулся в сугроб, как раз позади покойника. А их благородие курком щелкает и щелкает, сыграл по всему барабану, и все вхолостую. Просчитался, на мое счастье... Который замерзал человек, все патроны расстрелял, на помощь звал... А полковник наган на снег бросил и закрыл лицо руками. А потом руки отнял от лица и говорит: «Примите, говорит, во внимание, товарищ Котов: я сперва оружие сложил, а потом уж повел разговор, так сказать, сложивши оружие. Был, дескать, враг, а теперь сдался». Вон ведь куда загнул. Я его, подлеца, хотел тут же застрелить к чертовой матери. Потом раздумал. Огреть бы его раза два кулаком, как у нас в деревне конокрадов бьют. Тоже не решился, — с лютого сердца и насмерть забить недолго. «Эх, говорю, твое благородие, сукин ты сын, пошли мы

с тобой для твоего дитенка молоко доставать, а пришли куда? Ладно, без молока обойдемся, давай обратно, живо! А мертвого донесешь на себе до сторожки. И не разговаривай».

Котов умолк и долго молчал. И все мы молчали, подавленные его рассказом. Мне было особенно горестно. Я оказался слепым, недалеким, мягкотелым и жалким интеллигентом, чья неосмотрительность могла кончиться печально. Ведь окажись в нагане хоть один нерасстрелянный патрон, страшно подумать, куда бы все повернулось...

Я весь кипел, когда спросил Киргизова, не глядя на него, что скажет он и может ли он что-либо сказать. Моему изумлению не было границ, когда Киргизов ответил, правда, чуть заикаясь от волнения, что убивать Котова не хотел и убегать не собирался, а только намерен был убедить Котова в том, что добровольно складывает оружие, попавшее ему случайно в руки.

— А щелкали курком для чего? — спросил я.

— Твердость руки пробовал. Поди знай, что весь барабан полон пустых стручков, — ответил он с судорожной гримасой горечи. И вдруг оживился и заговорил о том, что не такой уж он отпетый дурак в самом деле, чтобы затеять побег в степи без провизии, без денег и документов.

— С наганом нетрудно добыть и провизию, и деньги, и даже документы. Вы это отлично знаете. Не валяйте же дурака, полковник Киргизов! А убей вы Котова — у вас оказался бы и карабин. Но каким нужно быть последним человеком, чтобы оставить в руках врагов, бросить на произвол ради собственного спасения жену и ребенка, ни в чем не повинных...

И тут полковник Киргизов, как человек, припертый к стене и разоблаченный до конца, сказал с знакомым уже нам цинизмом, как тогда, когда он объяснял, на что рассчитывал, скрывшись под именем поручика Грибунина:

— Вот именно, ни в чем не повинных... Не станете же вы расстреливать младенца и женщину невинную...

Его откровенное признание потрясло всех.

Меня обуяла внезапная ярость, и я высказал полковнику Киргизову все, что думал о нем: дескать, человеком называться не трудно, куда трудней им быть.

— У вас была возможность сложить оружие, полковник Киргизов! — сказал я. — Я первый бы поднял руку за ваше помилование. Но ваша волчья природа взяла верх. Конечно, ничего не сделают ни с вашим младенцем, ни с вашей женой, это верно. Но ведь их не на курорт везут, а в тюрьму, черт вас возьми! А у нас и на воле тиф косит людей...

— Правильно! — поддержал меня Шутенков. — Назвался дьявол ангелом, а у него хвост торчит.

Было тихо, слышно было, как за перегородкой плачет Киргизова. Ее утешала Савельевна:

— Ну, ну, не плачь, милая! От этого молоко перегорает. А тебе девчонку кормить. Ничего, свет не без добрых людей. А уж коли такой отец, так лучше сиротой расти. Люди корить не будут.

Но от этого утешения Киргизова рыдала все горше и громче.

В вагоне было дымно, и тишина была наполнена отзвуком далекого церковного благовеста. Иногда попискивал новорожденный, которому не хватало молока.

Арестованные держались разобщенно, как если бы их не связывали, а, напротив, разделяли их недавние общие деяния и предстоящая им общая участь. Зато конвоиры держались все время вместе, как бы связанные сознанием своего единства.

— Однорукий по фамилии Лягавый померз, — задумчиво говорил Шутенков, вздыхая и почесываясь. — Жалко, товарищ следователь! Он эту фамилию менять хотел. Фамилия собачья, душа человечья.

— Не привелось, — ввернул было волосатый Баруличев, содержатель бандитской «штаб-фатеры».

Но его оборвал конвоир Перетятко:

— Не встревай, арестованный! Мабуть, у вашего брата язык лисий, а повадки волчьи. Помалкивай! Годя!

— А человек был хороший товарищ Перекопов. Такого жаль, — сказал с грустью Котов и подул себе на раскрытые ладони.

— Ох-хо-хо! — протяжно и гулко вздохнул Дядькин.

— Настоящий был человек, — снова сказал Шутенков. — Всех на Руси, говорит, надобно сызнова крестить, чтоб помнил народ про борьбу и трудности будущего времени. Переименовать всех по-революционному, рабоче-крестьянскому, по-солдатскому, чтоб старым режимом и не пахло.

— Ты скажи нам, как новорожденную девчонку окрестить, — допытывался Перетятко, лениво дымя толстой цигаркой.

— Страданья! — важно изрек Дядькин, пожевал пустым ртом, будто пробовал слово на вкус, потом сделал, судя по кадыку, такое глотательное движение, точно проглотил это слово.

— Страданья!.. Тоже надумал... — фыркнул Шутенков. — Ты еще, чего доброго, и смерть приплетешь, премногоумный ты человек, как назвал бы тебя кузнец Фома Танцюра.

— И що ты со своим Фомой во все двери лезешь? — рассердился вдруг Перетятко. — Тебе про Ерему, а ты про Фому. Поп свое, а черт свое. На кой ляд вин нам сдався? У нас вон тоже кузнец был, так вин своим умом жил.

Неестественно согнувшись, сидел в сторонке, с низко опущенной и непокрытой головой, полковник Киргизов. Теперь, когда у него не осталось ни одного шанса на спасение, когда рухнула последняя надежда и даже чудо стало невозможным, он окончательно сдал. Куда девались его изворотливость, выдержка, спокойствие, жизненная энергия, воля... Даже цепкость жизни его оставила. Он был словно мертвый. Вот уж про кого можно было с уверенностью сказать, что он умрет задолго до казни. В нем исчезло даже чувство сострадания к самому близкому существу, он больше не заглядывал к жене, к этой бедной женщине, которой ничто не могло возместить потери.

Равнодушный ко всему, закутавшись в чью-то холодную шинель, нахохлился «доктор», поблескивая в сумраке стеклами очков в золотой оправе.

Было очень холодно, мы замкнули дверь, мы все

безмолвствовали. Забившись в угол, строчил донос горбун огромным, колесным почерком.

Наконец за нами пригнали паровоз. Поезд двинулся и резво покатил, как бы стараясь наверстать упущенное время, не задерживаясь более ни одной лишней минуты на станциях и полустанках.

Мелькали верстовые столбы, шлагбаумы, переезды, курные избы, крытые соломой и заметенные чуть ли не до печных труб, торчащие из-под снега деревянные стойки с ржавой колючей проволокой, как безмолвный знак того, что здесь еще недавно шли бои, мертвые фабричные трубы, утонувшие в сугробах города, и бесконечная снежная русская равнина.

Нас было одиннадцать: я — военный следователь, трое арестованных из банды Киргизова, в том числе и сам главарь, трое конвойных красноармейцев и их командир Котов, красивый паренек в кавалерийской шинели, маленькая печальная женщина со своим новорожденным, вечно сонная Савельевна. Горбун Сидоренко на какой-то остановке исчез, то ли нечаянно, то ли умышленно отстал от поезда. Никто о нем не жалел, а Шутенков — тот прямо сказал:

— Шут гороховый! Проверить бы его, кто он есть такой. Как сказал Фома Танцюра: «Дурак дураком, а свою пользу не забывает».

Мы приближались к конечному пункту.

— Арестованные, взять бебехи и не разговаривать! — со скрытой угрозой в голосе произнес Котов.

А поезд шел сквозь зимнюю стужу и мглу, сквозь горе и скорбь, и высоко в вечернем небе блеснула вдруг одинокая, но яркая звезда.

1930—1957

КОНВОИР У ЧАН-СЯО

1

Комиссара сразил внезапный сон. Он спал, сидя за столом, с открытыми глазами, в которых блестело отражение коптилки. Его не разбудили ни тягучий скрип двери, ни ворвавшаяся острая струя морозного воздуха, ни сипловатый от стужи голос китайца. Тогда китаец со стуком опустил на пол винтовку.

От стука этого с губ комиссара сорвалась прилипшая, еще не погасшая махорочная цигарка и просыпалась на полу.

— А-а, товарищ У Чан-сяо! — сказал комиссар Тимофеич, улыбаясь и потягиваясь. — Устал я, брат, устал...

У Чан-сяо понимающе и сочувственно кивнул.

— Отведешь в штаб пленного. Приказали немедленно доставить. Погреешься и пойдешь. Дорогу знаешь?

У Чан-сяо и в другой раз молча кивнул, не сводя с комиссара умных раскосых глаз.

Китаец был ростом мал, но приземист, в коротком тулупе, валенках и малахае с длинными ушами.

Комиссар Тимофеич подал ему кисет. У Чан-сяо ловко свернул козью ножку, прикурил от коптилки, вобрав цигаркой весь огонек, так что на миг в избе сделалось совсем темно.

Комиссар тоже закурил, затянулся крепким махорочным дымом, чтобы разогнать одолевавшую его дре-

моту, потом сплюнул попавшие ему в рот махорочные крошки. Беспрерывные бои за последние недели вконец измотали его. Он не помнил, сколько времени не спал — неделю, месяц или больше: почти шесть лет войны — сперва с немцами, а теперь гражданская, — с окопной сыростью и грязью и вечным недосыпанием...

— Его живьем доставить надо, — снова сказал комиссар и умолк, попыхивая цигаркой. — Обязательно живьем. Ты смотри за ним в оба. Птица серьезная. Говорит по-русски хорошо, но он не русский. Это англичанин, понимаешь, из тех господ, что хозяйничают на твоей родине. Знаешь?

У Чан-сяо в третий раз молча кивнул. Еще бы не знать ему этих «белых господ», которые живут во дворцах на берегу великой китайской реки, тогда как китайцы ютятся в джонках на воде и мрут от голода и болезней!

У Чан-сяо был несловоохотлив, следуя древней китайской мудрости — больше слушать чужие слова и наблюдать чужие дела.

Ввели пленного, рослого, широкоплечего, с четырехугольной спиной. Низко надвинутая на глаза фуражка нерусского образца с широким козырьком скрывала верхнюю часть лица и оттеняла нижнюю, в особенности подбородок с заметной рыжеватой щетиной. К сапогам пленного пристали обледенелые куски снега, которые здесь, в комнате, оттаивали, оставляя на полу мокрый след.

— Ну и погодка! — сказал пленный, правильно и точно выговаривая русские слова. — Как говорится, добрый хозяин собаку не выгонит. — Он снял фуражку и вытер влажное от подтаявших снежинок лицо, красивое, усталое и недоброе лицо сорокалетнего мужчины.

Комиссар предложил пленному присесть и погреться, прежде чем двинуться в путь. Прочитав беспокойство и недоумение в глазах его, комиссар пояснил:

— Вы будете доставлены в штаб. Не беспокойтесь! В целости и сохранности.

Но предстоящая «пешая прогулка» на исходе короткого зимнего дня да еще в сопровождении конвоира-китайца явно встревожила пленного. Он внимательно посмотрел на китайца, но тот даже не оглянулся на него.

Для У Чан-сяо пленный был все равно что пакет, и думал он о том, что до штаба недалеко, стало быть, он успеет вернуться как раз вовремя и послушает русские песни, которые по вечерам распевают бойцы. А песни У Чан-сяо любил, особенно про крестьянскую нужду и про любовь, и частенько сам тихо выводил: «Не осенняя мелькая дождичка»...

— Разрешите закурить, — попросил пленный.

Комиссар молча подвинул ему кисет.

Пленный закурил и с непривычки закашлялся.

— Крепкий табак эта русская махорка, — сказал он. — Прямо глотку раздирает. И все-таки славная вещь, пожалуй, не хуже русской водки.

Тревога делала его многословным, даже болтливым. А зловещая обстановка деревенской избы: дрожащий свет коптилки; кисет на краю стола, похожий на крысу; босые ступни ног, свесившиеся с полуразрушенной русской печи; темный лик иконы с разорванным пулей ртом, застывшим в беззвучном вопле, — все это усиливало тревогу.

Захваченный при разгроме штаба белых, майор Джон Френсис Куллит не успел еще привыкнуть к мысли, что он в плену. И черт его дернул забраться чуть ли не на передовую...

Майор Куллит был не трусливого десятка. Трудясь на благо Британской империи, он не боялся ни опасности, ни риска. Опасность удваивала его силы, риск действовал на него как алкоголь. Сначала он и в плену повел себя дерзко, даже нахально, пока раздосадованный конвоир не стукнул его по затылку. Это отрезвило Куллита и потрясло: впервые в жизни почувствовал он себя беспомощным и беззащитным. Даже мятежный арабский шейх не посмел обращаться с ним так бесцеремонно. А майор Куллит немало побродил по свету, и повсюду с ним обращались как со знатным господином.

И вот он сидит в русской деревеньке, забытой богом и людьми, одурманивая себя смрадным махорочным дымом. Чувства тоски, страха и злобы, которые он так долго сдерживал и подавлял, вырвались вдруг наружу, ослепив его гневом и яростью, почти отчаянием.

— Вы не должны забывать, черт возьми, — я подданный Британской империи.

— Тем хуже для вас, — ответил комиссар. — Болтаете о невмешательстве, а, как воры, лезете в чужую страну.

— Нас позвали, и мы пришли, — возразил Куллит с неостывающим возмущением.

— А вы и спрашивайте с тех, кто вас позвал. Мы вас не звали.

— Но мы живем в цивилизованном мире. Я ваш пленник...

— Красноармейцы, которых три дня назад повесили белые, тоже были пленными... — И, помолчав, насмешливо добавил: — Не бойтесь! Вы будете доставлены в штаб невредимым.

У Чан-сяо молча курил, уставясь на колеблющийся огонек коптилки, и глаза его тепло искрились. Кто знает, какие мысли и воспоминания пробудил в душе его этот слабый, дрожащий, неверный огонек.

Может быть, У Чан-сяо видел тесную отцовскую фанзу, в которой было шумно от детских голосов, умолкнувших навсегда в голодный год. Может быть, он видел длинную каменистую тропу, по которой уходили из родного селения три брата, все оглядываясь на синий холм с воздушным храмом на вершине. Может быть, он прощался со старшим братом, нанявшимся в солдаты или хунхузы к северному генералу У, их знатному однофамильцу, или со средним братом, рикшей, которого заездил насмерть белый господин. И только он, самый младший из братьев, ушел из пределов своей родины, не давшей ему горсти риса, чтобы прокормиться.

Долго жил У Чан-сяо в русской тайге, промышляя охотой, потом работал в городской прачечной, где

хозяин-китаец выжимал из него пот, как воду из мокрого белья.

После Октябрьской революции У Чан-сяо добровольно вступил в Красную Армию. Впервые в жизни он почувствовал себя человеком. Мало того — он был сыт, одет, обут, его не обижали, с ним считались, даже кличка «ходя» в устах бойцов звучала дружески. В части он был один китаец, но он никогда не чувствовал себя одиноким.

У Чан-сяо отвел взор от коптилки, и глаза его, задумчиво и печально сиявшие, словно погасли. Но стоило ему взглянуть на пленного, как они вновь вспыхнули каким-то недобрым, мрачным огоньком.

Майор Куллит предпочел бы конвоира русского. До этой минуты он был уверен, что раз большевики не расстреляли его сразу, значит, ему нечего опасаться за свою жизнь. Конвоир-китаец поколебал эту его уверенность.

Пленный поежился. У него вдруг мелькнула мысль: не этого ли китайца-рикшу, бежавшего в упряжке, он нетерпеливо подгонял ударами трости? Откуда-то подуло, и майор Куллит погладил то место на голове, где заметно поредели волосы и обнажалась плешь.

— Ну, погрелись, ступайте! — сказал комиссар пленному.

Куллит помедлил, затем нерешительно поднялся, надел фуражку и пошел к выходу. За ним двинулся китаец. Тени их прошли по стене, слились в дверях и исчезли в темноте.

2

У Чан-сяо считал, что до штаба десять ли, то есть около пяти верст. Если пойти прямиком, можно срезать три ли. Однако У Чан-сяо предпочел более длинный, зато и более надежный путь.

Наступал вечер, ничто не предвещало непогоды. Снег резко скрипел под ногами. Кое-где в изузоренные морозом окна, словно оклеенные изнутри бумагой, пробивался желтый свет. Уходить от этих освещенных

окон, суливших уют и тепло, было тягостно и пленному и конвоиру.

И тогда Куллит вдруг заговорил с конвоиром по-китайски.

У Чан-сяо оторопел, потом лицо его расплылось в самую добродушную и приветливую улыбку, — он давно не слышал родной речи. Но улыбка тотчас растаяла в угрюмых складках по краям рта.

У Чан-сяо был человек осторожный и недоверчивый. Он встречал «белых господ», которые отлично говорили по-китайски и дурно обращались с китайцами. Он сделал самый неожиданный вывод: остановился, достал из кармана веревку и молча подступил к пленному с очевидным намерением связать ему руки.

Майор Куллит даже отшатнулся от него:

— С ума ты спятил... Вязать пленного! Комиссар тебе за это спасибо не скажет.

Но конвоир ответил:

— Моя тут комиссара.

Пленный попробовал было убедить китайца в бесцельности его затеи: куда может уйти безоружный человек, когда кругом сопки, а фронт бог весть как далек? Но конвоир стоял на своем:

— Вяжа, буду вяжа...

Майор Куллит понял, что сопротивляться бесполезно.

Конвоир не спеша отвел ему руки за спину, приладил на них кожаные, на меху перчатки и стянул их крепким узлом так, что пленный даже охнул. У Чан-сяо решил было ослабить веревку, но раздумал: пусть так, болтать не будет, да еще по-китайски, этот здоровенный и хитрый англичанин. Потом У Чан-сяо, не произнося ни слова, отстегнул свой ремень, продел его под локоть пленного, закрепил пряжку, а конец ремня обмотал вокруг своей руки. Он растер зазябшие пальцы, напялил варежки и, зайдя вперед, потянул пленного на поводу.

Некоторое время еще виднелось село, но вот исчез последний огонек; кончилась лощина, сжатая с двух сторон сопками, открылась степь. Задул ветер, гоня поземку низко над землей. Вдруг порывисто поднялась

пурга, засвистела, взвыла, осыпая людей роем стеклянных осколков, больно вонзаясь им в лоб, брови, скулы, закрутилась вихрем, понеслась, заметая огромным хвостом следы и вешки на дороге.

Мигом стемнело. У Чан-сяо не оглядывался, инстинктивно угадывая нужное направление.

Жгучие порывы ветра все чаще заставляли конвоира и пленного останавливаться и повертываться к ним спиной. Иногда ветер достигал такой силы, что люди едва-едва удерживались на ногах. Во тьме вырастали сугробы и тут же разваливались и рассыпались. Казалось, сама земля, исхлестанная гигантскими бичами, бьется, стонет, скулит, вопит на разные голоса, кому-то жалуясь, над кем-то насмехаясь, кого-то пугая, моля и оплакивая. Вокруг бушевало море снежной пыли, порой серебрясь в лунном свете, который вспыхивал на короткий миг, когда луна выскакивала из-за облаков, чтобы тотчас вновь нырнуть и исчезнуть.

— Не спеши ты... — проговорил пленный, тяжко дыша.

Но конвоир то ли не расслышал, то ли притворился, что не слышит, продолжая шагать и тянуть за собой пленного. Внезапно он оступился и упал, но тотчас вскочил, и майор Куллит с злобной горечью подумал, что «раскосый» силен и вынослив.

Сознание своего одиночества и беспомощности увеличивало его отвращение к конвоиру, и он злорадствовал, когда китаец оступался, падал:

«Так тебе и надо, гнусная образина!»

У Чан-сяо опять споткнулся и увлек за собой пленного. На этот раз конвоир не сразу поднялся, а с минуту простоял на коленях, покачиваясь. Пленный сам встать не мог.

— Развяжи руки. Ты! Азиат! — крикнул Куллит, лежа ничком.

Но голос его растворился в буйном вихре звуков.

У Чан-сяо потоптался над пленным, помог ему подняться, проверил, не ослабла ли веревка, увидел, что перчаток на руках пленного уже нет, и растер ему горстью снега закоченевшие руки. Он разумно рассуждал: ежели пленный начнет замерзать, то кому же, как

не ему, конвоиру, придется тащить его на себе и погибать вместе с ним! Конечно, У Чан-сяо на крайний случай мог бы его прикончить — и дело с концом, если бы не приказ комиссара.

А комиссара он уважал. Это был справедливый человек. Он никогда, бывало, не поест раньше своих бойцов. А когда вышли затруднения с подвозом, он отдал китайцу последний ломоть хлеба. У Чан-сяо оценил поступок комиссара как человек, который в жизни много голодал. Комиссар часто говорил с ним о его угнетенной родине, о которой У Чан-сяо не переставал думать, лелея мечту, что когда-нибудь возвратится в отчий дом.

Прошло минуты две, Куллит ощутил колотье и жжение в пальцах, потом живительное тепло распространилось по всему телу, смягчая ожесточенное сердце. Пленный вздохнул и снова заговорил по-китайски, теперь уже безо всякой задней мысли, отлично понимая, что надо во что бы то ни стало рассеять подозрительность конвоира. Он сказал, что всегда был другом Китая, где, к сожалению, людей слишком много, а земли слишком мало. Он не замечал двусмысленности своих слов.

У Чан-сяо никогда не опускал глаз перед белым, он и теперь уставился Куллиту в лицо, и майор, не вынеся этого неподвижного и напряженного взора, умолк и отвернулся.

Конвоир не удостоил «белого господина» ответом, лишь недобрая усмешка растянула обледенелую кожу губ, причиняя китайцу физическую боль. Он двинулся вперед, ведя англичанина на привязи.

Тогда взбешенный Куллит стал ругать его, обзывая «могильщиком» и даже «черепахой».

Ничего не могло быть обиднее для китайца. Ведь могильщик существо презренное, а черепаха и вовсе никакое не существо. Но У Чан-сяо молчал, а только про себя подумал, что правильно поступил, связав пленного: мало ли что можно ожидать от него ночью в безлюдном месте.

Неожиданно он начал озираться по сторонам, потом опустился на снег, что-то ощупывая. Не сразу до-

шло до сознания Куллита, что конвоир потерял дорогу. Он даже грубовато пошутил с ним:

— Что, следы нюхаешь?

У Чан-сяо ничего не ответил. Его молчание ошеломило Куллита.

— О-о, собака!.. Желтая собака!.. — пробормотал Куллит, сам не свой.

3

Они тащились, связанные ремнем, увязая по пояс в снегу. Они то приближались к сопке, то удалялись от нее. Иногда У Чан-сяо становился на колени и шарил задеревеневшими руками в снегу. Но дорога была безнадежно потеряна.

Близилась полночь, метель выдохлась, лишь по временам набегая судорожными и очень злобными порывами. В небе перекатывались тучи, как морские валы.

У Чан-сяо безостановочно шел. Он еще верил, что выберется на дорогу. А пленный ни во что больше не верил, он изнемог, земля словно расползалась под его ногами. Связанные на спине руки окончательно обессилили его.

Как бывает в последние минуты надвигающейся катастрофы, он вдруг почувствовал прилив спокойствия, ясности и решимости. Он уже жалел, что неосторожно обращался с китайцем.

«Но стоит в душе образоваться самой малой щели, чтобы в нее тут же полез черт», — вспомнил он с иронией старинную поговорку.

С былой грубой и властной самоуверенностью он приказал китайцу развязать ему руки. Он сказал, что ради собственного спасения китаец должен это сделать, что он, Куллит, никуда не уйдет и что вдвоем они выроют яму в снегу и переждут в ней до утра.

Его внезапная заботливость показалась конвоиру крайне подозрительной. Чем настойчивее был пленный, тем настороженней конвоир.

— О бог мой, бог мой! — закричал Куллит, пораженный гибельным упрямством китайца. — Ведь ты сам погибнешь... Пойми! Сдохнешь, околеешь тут...

У Чан-сяо посмотрел на него исподлобья и сказал по-русски:

— Моя бога, твоя бога — разный бога. Тайга гори — дерево не жалко. Моя твоя не жалко. Моя моя не жалко. Такая закона. Комиссара приказала. Много-много русский и китай голодай, умирай... Твоя бога злая. Моя большевика, понимай?.. — Он выпалил все это одним духом.

Оба не замечали, что давно остановились и притопывали на месте.

Тогда Куллит стал поносить русского комиссара, обзывая его разбойником с большой дороги. Он не подозревал, как много значит для бывшего кули русский комиссар.

«Лучше самому один раз посмотреть, нежели сто раз услышать от людей», — гласит китайская пословица. Никогда еще У Чан-сяо не сознавал так ясно, что враги русского комиссара — это и его враги и что один из них сейчас вот стоит перед ним. Ему хотелось ударить англичанина, но он сдержался. Он верил в силы света и тьмы, которые в вечной борьбе и вечных кознях склоняют человека то к добру, то к злу. Нельзя бить безоружного, тем более связанного, и потом У Чан-сяо боялся, что если он его хоть раз ударит, то уже не сможет остановиться, пока не убьет его.

— Господина, господина! — пробормотал он с непередаваемой яростью, отвернулся и пошел дальше, потащив пленного за собой.

Когда-то У Чан-сяо всех белых именовал «господина», хотя втайне был убежден, что белый уступает китайцу, как мизинец большому пальцу, управляющему всей ладонью. Теперь У Чан-сяо знал, что есть «господина» и есть «товарища».

Куллит понимал, что если он упадет еще раз, то уже больше не встанет. Ему жаль было себя, своей жизни, своего бесчувственного тела. Зачем только он пришел сюда, в эту варварскую, косматую страну!

Ужас обреченности, страх смерти, отчаяние вылились в какое-то чувство бессмысленного исступления.

Напрасно голос разума подсказывал ему, что не следует дразнить и раздражать китайца. Он начал снова оскорблять конвоира, говоря, что у того совсем крохотная печень, а может, и вовсе нет печени, которая, как известно, является источником мужества и отваги.

У Чан-сяо не произнес больше ни слова. Одна мысль владела им неотступно: доставить пленного в штаб живьем, как велел комиссар. Эта мысль жгла ему мозг, гнала и влекла его все вперед и вперед и вдруг преобразилась в призрачный огонек, явственно и близко блеснувший перед глазами.

Куллит тащился с безжизненностью механизма, в котором кончается завод. Ему мерещилась теплая деревенская изба и смутный лик иконы с разорванным, кричащим ртом. Ветер рванул волосы на голове его, и Куллит понял, что потерял фуражку. Вместе с холодом, пронизавшим его насквозь, в сердце его вошла предсмертная тоска. Какая-то сила толкнула его вперед, к теплу и свету, и он побежал, но тут же свалился, уже смутно сознавая, что с ним и где он.

Он увидел горящий камин, заливающий багровым отсветом полумрак галереи, и портрет сэра Джемса, с которого, по преданию, где-то, на каких-то чертовых островах, содрали кожу с живого...

На миг он очнулся оттого, что кто-то пинал его в лицо ногой. Это конвоир размеренно и методично бил его носком валенка.

Чем больше У Чан-сяо бил англичанина, тем злее хотелось ему бить его.

Понемногу У Чан-сяо разогрелся, успокоился и стал думать, как быть с пленным. Он попробовал было взвалить его себе на спину, но упал под тяжестью ноши. Тогда он снял с плеча винтовку и, работая ею как лопатой, разгреб снег, скатил в образовавшуюся яму пленного, лежащего ничком, и засыпал его снегом. Некоторое время он топтался на одном месте, не зная, что ему дальше делать, потом несколько раз выстрелил в воздух из винтовки, установив ее прикладом в живот. Когда-то ему объяснили и он сам убедился на опыте, насколько удобнее стрелять, упирая приклад в плечо. Теперь это уже не имело значения.

Незаметно для себя он присел на снег, поставил винтовку меж колен и привалился всей своей тяжестью к пленному.

Он сидел, сжавшись и скорчившись, борясь с подкрадывающейся дремотой; она обволакивала тело и мозг мягкими, теплыми сетями. Неожиданно услыхал выстрелы, близко, совсем рядом. Может быть, это запоздалое эхо откликалось на его выстрелы.

«Нет, это ищет меня комиссар», — сказал он себе в прояснившемся сознании.

У Чан-сяо понимал, что надо отозваться, но у него уже не было сил пошевелиться и сбросить колдовские чары сна.

Сознание его еще не замутилось, но уже полно было призраков, и перед сонным взором его вставали картины далекой и невозвратимой поры. Он увидел свою родную деревню на берегу реки и пагоду на вершине холма, где горели ароматические свечи, и отца в белой, траурной одежде.

— Ты вернулся, сын мой! — сказал ему отец. — Ты был добрый и нежный ребенок, совсем как девочка. Недаром тебя прозвали «сяо», тоже как девочку. Поди ко мне, мой сын!

У Чан-сяо почувствовал себя очень усталым. Ведь с тех пор, как они расстались с отцом, прошло так много времени, целая жизнь, полная нужды, лишений, горестей и обид.

Внезапно дорогу У Чан-сяо преградил «бессмертный». У Чан-сяо всегда боялся «бессмертных», всех этих колдунов, знахарей, астрологов, гадальщиков по старинным книгам. Он заробел.

— Постой, У Чан! — сказал ему «бессмертный», разворачивая свиток, испещренный иероглифами. — Не спеши! С чем ты возвратился домой? Стал ли ты богаче или знатней?

У Чан-сяо покачал отрицательно головой. Нет, он не стал ни богаче, ни знатнее. Но он жил среди людей как равный среди равных.

— Среди людей, принадлежащих к фамилии У, одной из ста китайских фамилий, — продолжал «бессмертный», — есть богатые и бедные, знатные и про-

столюдины. Но нет беднее и ничтожнее тебя, У Чан! Ты родился в октябре. А это несчастливый месяц.

У Чан-сяо загадочно улыбнулся. Он знал то, чего не знал «бессмертный»: все бедные люди на земле родились в Октябре...

На какой-то миг, как это бывает с замерзающими, У Чан-сяо очнулся от чудесных предсмертных сновидений.

В снежном дыму вставал бледный, туманный рассвет. Глядя во мглу, подернутую лиловой тенью, У Чан-сяо тихо сказал:

— Моя умирай, товарищ комиссара!.. Умирай!.. — И опустил голову.

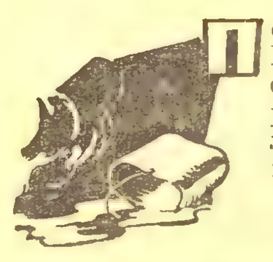
Тотчас снова его обступили видения и призраки, ветер запел над ним, запричитал, заголосил, и в ушах У Чан-сяо возник протяжный звон, ровный, долгий и мелодичный, как отзвук праздничного гонга. У Чан-сяо увидел веселое шествие молодежи в масках, с песнями и плясками в день праздника Дракона, увидел брата среднего и брата старшего. Взявшись за руки, три брата радостно пошли по дороге, поднимавшейся в гору...

Это было последнее чувство, испытанное У Чан-сяо в жизни.

Его нашли на рассвете в трех шагах от дороги. Он сидел, засыпанный снегом, заиндевевший, с открытыми глазами, одной рукой обнимая винтовку, а другой зажав конец ремня, который уходил под снежный холмик, к угревшемуся и живому пленнику.

1930—1962

ПОПУТЧИКИ



Порожняк шел с фронта. Я ехал в Поарм 4 по вызову. Теплушка, доставившая в дивизию военное снаряжение и боеприпасы, возвращалась обратно, и я был приставлен к ней вроде конвоира.

Теплый летний день пропах степной полынью, высоко в небе светились и сияли белые барашки. Изредка слышны были глухие артиллерийские раскаты. В настежь раскрытых дверях теплушки шумел сквозняк и хлопал, как парусина. Чем дальше от фронта, тем чаще попадались скошенные поля, но и здесь хлеб лежал неубранный, прибитый дождем и загнивающий.

На полустанке в теплушку попросился невысокий смуглый человек. Одна рука у него висела на перевязи не первой свежести, в другой — он держал вещевой мешок в великолепных ремнях.

— Товарищ, позвольти ехать, — сказал он, по-своему коверкая русские слова.

Мне, признаться, надоело одиночество, и я обрадовался попутчику. Однако я спросил у него документы. Шел 1919 год, гражданская война была в разгаре.

Малый подал мне бумажку, в которой значилось, что венгерский товарищ Шандор Каллаи, командир армейской автобазы, направляется на излечение в Саратов.

— Вы были ранены?

— Нет, болной, грижа, — отвечал Шандор Каллаи, смущенно улыбаясь.

Я молча посторонился. Но он в вагон не влезал. Тогда я соскочил на землю и помог ему.

— Благодару, — сказал он с какой-то величавой интонацией в голосе, положил вещевой мешок на нары, одинаковые по обеим сторонам теплушки, и сел.

На вид ему было лет тридцать, а может, и меньше. Лоб его затянуло сетью беспокойных морщин — следы забот и треволнений; черные глаза смотрели пытливо и в то же время насмешливо, а длинные, гибкие пальцы музыканта нервно подрагивали, точно перебирая в воздухе невидимые струны.

Он дурно изъяснялся по-русски. Узнав, что я понимаю по-немецки, он вдохновился и затараторил так быстро, что я вдруг с сожалением обнаружил, как много непонятных слов в немецком языке.

— Все одинокие люди, — говорил он, — крайне болтливы. Пример тому Сократ, Лютер, Диоген, болтавший наедине с собой, сидя в бочке. Сципион Африканский вслух обдумывал свои будущие походы, бросая при этом камушки в море.

Он, видимо, и себя причислял к категории одиноких людей. Вскоре я знал о нем довольно подробно: бывший служащий бывшей австро-венгерской армии, а в мирное время безвестный художник, который мечтал о славе Тициана, он попал в плен к русским в шестнадцатом году, жил в Сибири, отказался от мятежных козней против Октябрьской революции и перешел к большевикам. Сейчас у него русская жена и крохотный ребенок. Он производил впечатление человека искреннего, которому нечего прятать и нечего бояться...

Поезд медленно тронулся, густо поплыл черный паровозный дым, приторно пахнущий каменным углем. Выжженная однообразная степь, усеянная скупыми цветами, уходила назад, и серая придорожная тропа разматывалась бесконечной гладкой лентой, то взбегая на откос, то ныряя в овраг.

— Как мало красок, — сказал Шандор Каллаи задумчиво и вдруг заговорил о том, что все цвета и краски подвержены пагубному действию времени, неизменны лишь два цвета — белый и черный, но в природе чисто белого нет, а черный невидим.

— А красный? — не без удивления спросил я.

— Красный? Самый ненадежный. Во-первых, в нем слишком много оттенков, а во-вторых, никакой другой цвет так быстро не выветривается и не линяет, он способен выцвести до белизны.

Черт возьми, по тому времени суждения Шандора Каллаи казались необычными и даже символическими. Я ответил ему, что действительно красный цвет имеет не мало оттенков и оттеночков, что есть багровые, розовые и как редис, сверху только, по чьему-то остроумному выражению; но с тех пор, как угнетенные избрали красный цвет символом борьбы с угнетателями, он не только не вылинял, а, напротив, стал ярче от крови жертв.

Порожняк грохоча набирал скорость. Мимо проскочила сторожка под ржавой крышей, похожая на гриб. Садилось солнце среди синих туч; казалось, оно заходит за горные хребты. Степь заплывала длинными вечерними тенями.

Я забрался на нары и вскоре заснул. А когда проснулся, поезд стоял.

— Товарищ! Не выпить ли нам чаю? Я сбегаю за кипятком, — предложил Каллаи.

Я усмехнулся его наивному лукавству. Не может без посторонней помощи влезть в теплушку, а хочет сбегать за кипятком. Я молча взял у него из рук солдатский котелок и выпрыгнул из вагона. Вернулся я минут через пятнадцать с пустым котелком, на станции кипятку не оказалось.

В дверях теплушки стоял Каллаи, угрожающе размахивая здоровой рукой.

— Не можно. Комиссар придет. Не можно.

— Сволочная душа! — громче других кричал молодой скуластый паренек с лихим чубом, торчавшим из-под старой армейской фуражки с красным околышем. — Какое твое право не пущать бойцов? Я тебе покажу «не можно, не можно»! — передразнил он его с удивительной точностью интонации. — Я тебе хвост пообщипаю, сорока белохвостая! — Он рвался к побледневшему Каллаи, но его удерживали товарищи.

Мое появление было встречено недружелюбно.

— Ишь ты! Цельную теплушку вдвоем окопали. А еще комиссар! — проворчал чубатый паренек.

— А в чем дело?

— А в том, — отвечал он сердито, — я боец Чапаевской дивизии. Еду в командировку. От самого Василия Ивановича. А этот гад стоит и не пущает. — Чапаевец извлек из кармана махорочный кисет, развязал его, достал удостоверение, подтверждавшее все, что он говорил.

— Всех пускать — сам не уедешь, — сказал я, возвращая ему документы. — Одних мешочников и спекулянтов наберется на два состава. Ну давай, лезь в вагон.

— А с ними как быть, товарищ комиссар? Вместе едем с самого Оренбургу, — чапаевец указал на своих молчаливых попутчиков.

Один из них пошел вширь и был коренаст и грузен, как битюг. Звали его Бычок, ехал он на побывку домой, на двадцать суток. У него был маленький лоб и глубоко сидящие, острые глаза. Его товарищ вытянулся в длину, улыбался тонкими губами, щурил хитрые глаза и говорил бабьим голосом. Имени его я не упомнил.

Я, конечно, разрешил обоим ехать; тогда чапаевец весело скомандовал:

— Молодцы фанагорийцы! Сыпь в вагон!

Вскочив в теплушку, он подошел к Каллаи, оглядел его с головы до ног и строго допросил:

— Ты кто будешь? Какого ляда не пущал? Это есть контра. Мы теперь свободно могим тебя вышибить из вагона. Товарищ комиссар, а его личность проверенная?

— Да. Это иностранный товарищ.

— А-а! — растянул чапаевец. — Сиди, сиди, иностранный товарищ! — Он вдруг похлопал Каллаи по плечу. — Может, покурим, а?

— Можно, — согласился Каллаи, смущенно, даже виновато улыбаясь.

— Тебе трубой аль козьей ногой? — осведомился чапаевец.

Каллаи, видимо, хорошо разбирался в тонкостях солдатского обхождения. Он был добродушен и прост.

Через минуту оба уже дымили, а чапаевец окликнул меня:

— И ты крути, товарищ комиссар!

Поезд резко дернул. С нар слетел вещевой мешок Каллаи. Чапаевец поднял его, осмотрел ремни и даже понюхал их.

— Подходящая сбруя. — И неожиданно добавил: — Разор везде полный — ни гвоздя, ни веревочки. А беляк прет со всех щелей, и оружия у него вдоволь, и амуниции хоть отбавляй. — Он говорил озабоченным голосом. — Опять же продразверстка... Верстов в России много, а разверстывать нечего.

Мимо распахнутых дверей медленно проплыла станция, залитая светом вечерней зари. На деревянном перроне стоял босой начальник станции, смахнув на затылок красную фуражку. Мертвая водокачка, взорванная совсем недавно белыми, понуро свесила железную трубу, как хобот. Промелькнул дощатый забор, назад метнулись сложенные горы щитов — и снова степь, мутная, пыльная, безжизненная, в розовато-желтой дымке заката.

Чапаевец затянул было «Из-за острова на стрежень...», но его никто не поддержал, у него не было ни голоса, ни слуха. Я откровенно сказал ему об этом. Он не обиделся.

— Ладно. А я соображал: голосина у меня — во, не иначе как в архиерейском хору петь. А тебе не ндравится?

— На всех не угодишь, — вставил Бычок, поплевывая на пол. — Вот, к примеру: мы генерала Толстова бьем, а ему, ясно, не по ндраву. А то, скажем, белые поют: «Спите, орлы боевые...» А какой он, между прочим, золотопогонник, орел? Сволочь он, а не орел.

— И то верно, — подтвердил его товарищ бабьим голосом. — Какой дурак любит, чтоб его дураком обзывали? Напротив, всякий дурак себя умным величает. Однако как дурака ни ряди, он дураком останется.

Над полями рассеивался дневной свет, а у подножия неубранных стогов легли длинные тени, и соби-

рались сумерки. На западе пылал малиновый закат, растопляя снежные облака. Степь была безмолвна и неподвижна, раскаленный за день песок остывал, чуть заметно трепетал ветерок.

Я сидел подле чапаевца в дверях теплушки, позади нас стоял Каллаи. Степь быстро темнела.

— Красота какая, — мечтательно сказал чапаевец.

— Красиво, — согласился Каллаи. Он заговорил по-немецки, обращаясь ко мне: — Вы никогда не были в Карпатах? Божественный край! Закат там словно устлан рубинами, воздух чист, как хрусталь. Там пахнет морозом и еловой шишкой. И тишина неземная. А в ущельях на опушках диких лесов живут цыгане, охотники и укротители медведей... попадаются такие могучие звери... на них охота опасна и оттого особенно привлекательна. — Он говорил с огоньком азарта и страсти в глазах. Потом вздохнул. — Придет пора, и моя родина тоже будет свободной, — сказал он с искренним волнением, тронувшим меня. Нет чувства прекраснее любви к свободе; оно не знает корысти и эгоизма, лишено тщеславия и способно на величайшие подвиги и жертвы.

Я встретил вопрошающий взор чапаевца.

— На каком это он языке говорит?

— На немецком.

— Он разве немец?

— Нет, венгерец, мадьяр, — ответил вместо меня Каллаи.

Чапаевец дружески улыбнулся ему.

— Мадьяр? Не слыхал про нацию такую. Садись, браток, до нас поближе. Мы иностранцев уважаем. Мы есть мировой авангард. Стало быть, и для них бьемся. Нам ихняя помощь нужна для всемирного пожара и революции, — сказал чапаевец, уставясь на темные нары, на которых мерцали искры цигарок, то багрово вспыхивая, то затягиваясь лиловым пеплом. Он задумался и застыл, словно из бронзы отлитый в свете гаснущего дня.

В тишине однообразно и ритмично постукивали колеса, мимо раздвинутой двери пролетали паровозные искры и гасли на повлажневшей траве, белые клубы

дыма катились над самой землей, пахло чабрецом и мятой.

— Слышь, товарищ комиссар! — доверительно произнес чапаевец. — У меня стихотворения есть. Я их пишу. Давно пишу. Послал в родную газету «Красный боец», — может, пропечатают. Ежели хотишь, могу уважить. Есть, которые на память помню. Ты послухай! — Он неуверенно помедлил, затем высморкался, откашлялся и прочитал, как заправский оратор.

Стихи были наивные и не совсем грамотные, но все-таки в них чувствовалось раздумье, какое-то сердечное тепло. К сожалению, они ушли из моей памяти, но смысл их был такой: когда мы покончим с буржуями, мы будем счастливы; но мы не жадные и отдадим наше счастье всем бедным людям.

Я видел в его глазах смятение и ожидание. Я сказал ему, что думал.

— Оно конечно, учиться надо, — согласился он. — Без этого пути заказаны. Только сперва гидру кончим. Это теперь главное. А тогда и учиться станем. Эх, товарищ комиссар, ведь это все потом, а вот теперь как быть... Душа у нас — море кипучее, а слов таких нету... — В голосе его слышались нотки беспокойства и тоски. — У нас вон комиссар, чуток тебя постарше, тоже из ученых... «Мы, говорит, в дремучих лесах тропу прокладываем, оттого нам и трудно, другим со временем легче будет».

— Чайку бы, товарищи, станция скоро, — сказал Бычок с нар.

— Верно, — согласился его сосед бабьим голосом. — Чай пить — не дрова рубить. Это мы завсегда можем.

Погасли последние блики заката, прогорели облака, рисуясь темной грудой развалин, выступили звезды, и робкий месяц, словно из потертого серебра, медленно посветлел.

Спустилась ночь, из степи повеяло прохладой. Порожняк теперь мало задерживался на остановках, но после каждой стоянки прибавлялось все больше и больше народу.

На каком-то полустанке к нам попросились двое — усатый матрос с пулеметной лентой через плечо и гранатой на поясе и худощавый китаец в аккуратных обмотках и большущих трофейных, американских башмаках с бульдожьими носами.

— Братишки, — сказал матрос, сплевывая сквозь зубы, — дозвольте прокатиться до чертовой матери. Еду в Саратов третью неделю — и хоть бы хны. Полундра! Всю душу из меня винтом вымотало. А мне до Кронштадта добираться.

— А ты кто такой, морячок? — спросил чапаевец ради любопытства.

— Я-то? Замкомпоморде — вот кто.

— Чего-о?

— Замком, — говорю, — по морде. Ну, заместитель комиссара по морским делам. Ясно? А документ мой — вот! — И он слегка похлопал по гранате.

Но я настоял, чтобы был предъявлен более надежный документ. Матрос полез было на дыбы, кроя в Христа, в бога и всех святителей.

— Да ты кто? Ты что? Кого проверяешь? Красу и гордость революции. Как ты смеешь?.. — кипятился он, вспоминая Дыбенко, Крыленко, Коллонтай и еще бог знает кого.

Но, видя, что криком не возьмет, сбавил вдруг спеси и таинственно шепнул мне, что документ у него секретный и показать он его может только мне. Бумажонка удостоверяла, что Александр Кандыба действительно военный моряк и едет в Саратов по семейным делам.

— Ясно? — спросил он меня таким значительным тоном, что едва ли у кого-либо могло возникнуть сомнение в серьезности и важности его полномочий.

Китаец был несравнимо скромнее. На лице его расплылась улыбка, а раскосые глаза смотрели проницательно и умно из длинных узких щелей.

— Ехаля, ехаля до Самары, ехаля до стаба армии. Позволя! — пропел он.

Я не успел и рот раскрыть, как матрос одним махом вскочил в теплушку и, приказав китайцу «отдать швартовы», втянул его за руку в вагон.

— Ох, холера, вши, как псы, кусают! — выругался матрос, скребясь и почесываясь. — Развелось этой поганой живности...

— Это точно, — подтвердил бабьим голосом долговязый боец. — Кому грош, кому вошь. Обовшивел народ в окопах да теплушках. Седьмой год воюем без останову.

— Да, — вновь заговорил матрос, — еду, братва, с самого Каспия. И чего только делается! Шуруем, братишки, шуруем. Я ведь в Октябре семнадцатого вместе с самим товарищем Рошалем поднимал революционный балтийский флот... Товарищ Рошаль, кто его не знает. Зимний вместе брали. Как жахнем, понимаешь, всем бортом, батюшки-светы, гляжу, Зимний под основание, Керенский, Родзянка, Львов князь и прочая падаль капитализма наповал. Мне говорит товарищ Рошаль: «Жалко, говорит, Зимний, все-таки русская реликвия». Заметный человек. Мы с ним, понимаешь, ну прямо запросто. Бывало, спросишь: «Ну как, Яша?» — «Ничего, отвечает, Сашок!»

Бог его знает, куда загнул бы моряк, если бы его не прервал Бычок:

— Скучно, братцы, ох и скучно! Другой год бабы не видел. Душой обессилел. Как засну, мерещится, паскуда. Прямо дышать невмоготу.

— А ты дыши жабёрами, как рыба, — посоветовал матрос, недовольный тем, что Бычок перебил его.

— Домой ведь едешь, — удивился чапаевец.

— Ну и что? — сказал Бычок. — Дома-то у меня бабы нету. На действительную взяли, оженить не успели. Вон и пробавляюсь...

— А сифона не подцепил еще? — спросил матрос гнусаво.

Все засмеялись.

— Упаси бог, мы осмотрительные. И робею — вот беда.

— А у нас вон в полку баба-красноармеец, — сказал чапаевец. — Аккуратная. А сунешься к ней — так огреет, аж дух зайдется. Настоящинская, — добавил он с восхищением.

В темноте не видно было лиц, а голоса были тихие, глухие, тревожные и страстные.

Нигде так много не говорят о женщине, как в монастыре, в тюрьме и на фронте, особенно на фронте, и говорят грубо, обнаженно, с иронией и презрением, с показным бахвальством и тайной ревностью, с невысказанной горечью и замаскированной любовью, с жадностью, гневом и мукой от избыточной, неудовлетворенной и попусту испаряющейся мужской силы.

И так же, как вспыхнул внезапно волнующий солдатский разговор о женщине, точно так же он и погас.

Красноармейцы умолкли и задумались.

— Молодцы фанагорийцы! Давай песню затягивай. Чего носы повесили! — закричал чапаевец, нарушив тягостное молчание. И тут же затянул:

Смело, товарищи, в ногу,
Духом окрепнем в борьбе...

Голоса подхватили, сперва разрозненно, потом дружно и стройно:

Вышли мы все из народа,
Дети семьи трудовой...

Пели чапаевец и китаец, матрос и венгерец Каллаи, пели все.

Вдруг раздался певучий женский голос:

— Товарищи красноармейцы, дозвольте поехать. В которую дверь стучусь, а без толку — не пущают. Смилуйтесь!

Песня мигом оборвалась, точно подрезанная. Наступила тишина. В темноте вспыхнула папиросная искра, пересекла теплушку и упала к босым ногам женщины.

Постояв в нерешительности, женщина собралась было уйти, когда в дверях показался матрос.

— Ты кто? Откуда? Куда? — спросил он отрывисто.

— Из Шипова, — живо ответила она. — Разбеглись все. Потому — фронт. То белые, то красные, утром господа, вечером товарищи. А ошибешься — по морде стукнут. Вполне свободно. А тут старуха мать померла. Осталась я одна-одинешенька, куда деваться... Вот и решила податься к брату в Россию.

— А брат твой кто?

— Машинист на железной дороге.

— Ты не врешь?

— Зачем же, господи?

Матрос сплюнул, отошел от дверей и тотчас снова вернулся, напряженно вглядываясь в смутный женский облик.

— А ты, баба, не спекулянтка?

— Что ты? Отродясь таким поганым делом не занималась.

— А ноги чего раскорячила? Небось под юбкой пудовик соли.

Она безмолвно и покорно сдвинула ноги.

— И что ты ее, моряк, пытаешь? — сердито вмешался чапаевец. — Живая ведь душа. А ты ее наизнанку вывертываешь. Заладил: «Спекулянтка... Пудовик соли...» Прямо срамота.

Тогда женщина торопливо взмолилась:

— Пустите, родимые! Десять дён еду. Пропадаю. Сперва пустят, а там охальничают. Беззащитная я...— В голосе ее прозвучали слезы.

Тут Каллаи шепнул мне по-немецки, что как ни жаль ее, а пускать женщину не следует.

— Не пропадать же ей здесь, — ответил я по-русски, ответил скорей самому себе.

— Правильно, товарищ комиссар! — подхватил чапаевец. — Женщину пожалеть надо, а не куражиться тут... У ней горькая доля. А ну-ка, бабонька, влазь!..

Она засуетилась, но вагон стоял очень высоко.

— Дюже высоко, не одолею, миленький!

Тогда чапаевец соскочил на землю, стал на одно колено, как рыцарь.

— Становись мне на ногу. Не бойся! Эй, комиссар, дай ей руку! Раз-два, молодцы фанагорийцы!

Женщина очутилась в вагоне. Она странно, неестественно засмеялась и боязливо села на нары у самой двери, положив к себе на колени свой небольшой узелок.

— Зачем женчина пускаля? — спросил китаец.

— Это не твое дело, — отрезал Бычок.

— Что ты все кричишь «молодцы фанагорийцы»? — с беспричинной досадой сказал я чапаевцу.

— А что? — удивился он. — Слыхал я, народ жалели, стрелять отказались.

— То-то и оно-то, что все наоборот. Они-то именно и стреляли в рабочих. За это и удостоились царской похвалы. Николай Второй назвал их «молодцы фанагорийцы».

— Ну-у?

— Вот тебе и ну и тпру, — сказал боец бабьим голосом. — Слыхал звон, а не знаешь, где он. А языком мелешь. Эх ты, Емеля! Лил пулю — отлил дулю.

Чапаевец помрачнел, молча выпрыгнул из вагона и исчез, вскорости появился с вязанкой дров.

— А ну, ребята, давай чай варить. Раскладай костер. Живо! Пошевеливайся!

Тотчас теплушка ожила, все старались что-то делать, всем хотелось поскорей света, может быть, для того, чтобы разогнать темноту, которая действовала угнетающе, а может быть, в надежде рассмотреть женщину.

Затрубил паровоз, и поезд, лязгая и гремя буферами, двинулся. Затрещал костер, захлопал, осветив опоясанную тенями теплушку, побагровевшие лица и забившуюся в темный угол нар женскую фигуру.

Женщина была молода, но непривлекательна. Как говорится, черт сыграл на ее лице в свайку — оно было рябое, а широко раскрытые глаза выражали смятение и страх загнанного зверька. Вдруг она начала оправлять платье, стыдливо пряча босые ноги от солдатских взоров.

Тут послышался хриплый голос Бычка:

— Что ты, моряк, у самого огня сидишь, а у тебя, дьявол, граната. Взорвешь ты нас к свиньям собачьим.

— Не взорву, — равнодушно отмахнулся моряк и сплюнул в зашипевший костер.

Тягостно плелась тишина, такая новая, судорожная, полная шорохов и вздохов.

— Братцы! Седайте к огоньку поближе, — пригласил чапаевец, ставя котелок с водой на огонь. — Слазь, китай, чай пить будем.

— Попиля, попиля, спасиба, — ответил китаец, лежа на животе и глядя на людей внимательными и очень зоркими глазами.

— Ну и ты давай поближе, — сказал чапаевец, обращаясь к женщине. — Нас много, ты одна, будь нам заместо хозяйки. Чего дивишься? Не съедим.

— Баба — она болтать горазда, — сказал неразличимый в сумраке Бычок, на миг показывая свое багровое, потное лицо. — Баба — она и приласкать может, и утешить, и ублажить. Двоих-троих завсегда ублажить может.

— Это не резон, — откликнулся его товарищ высоким, бабьим голосом. — Ублажать — так всех. Не убудет, в ней телесов хватит.

— Вы что, братишки, ошалели? — пробормотал матрос и, подвинувшись к женщине, похотливым шепотом спросил: — А ты согласна?

— Женчину не можно, — взвизгнул Каллаи, весь дрожа.

— Помолчь, кила, — отрубил Бычок и, решительно обогнув костер, встал перед женщиной, трясущейся от страха и отвращения. — Мы не силком, мы добром, — проговорил он, как бы захмелев. — Поисстрадались мы вконец, изошли наши силы. А мы за всех бьемся. И за вас, женщины! Должна ты это понять...— Он передохнул. — Восьмой год воюем. И вот тебе наше слово: утешь нас, ублажи. Все мы тут здоровые, а который ежели больной, тот до Саратова потерпит. Ну! — произнес он нетерпеливо.

Женщина заплакала в голос.

— Слезами не поможешь. Мы погодим, — сказал Бычок.

— Чего с ней вожжаться! Наматывай ей на башку исподницу! — закричал на высокой ноте его товарищ, но с места не сдвинулся.

— Мы тебе глаза пообсушим! — крикнул матрос и, схватив обезумевшую женщину за плечо, повалил навзничь.

Все это было дико, безобразно, главное — неожиданно и внезапно. Тут с кошачьей ловкостью с нар спрыгнул китаец, перемахнул через костер и с криком

«Нелизя, нелизя!» вцепился острыми пальцами в матроса. Моряк отстранил его большой, как лопата, ладонью; китаец схватил горящую головню и, разбрызгивая искры, бешено ринулся на него.

Я поспешил к ним, расстегивая на ходу кобуру.

Матрос отпрянул, отбежал и Бычок к своему трусливому приятелю, подстрекавшему из темного угла. Чапаевец вырвал у китайца из рук головню и бросил ее обратно в шипящий костер, залитый водой из опрокинувшегося котелка.

— Подпалишь, дура! Сгорим мы тут все. — Он посмотрел на женщину, которая громко рыдала, припав лицом к обшивке вагона. — Что-то не пойму, невдомек мне. Ишь вызверились! На кого? Вояки! На женщину беззащитную. Что она вам, сука? Кобелям на потеху? Она, может, мать, у ней, может, мужик на фронте кровь льет против белой сволочи. Тогда зачем было революцию начинать? — молвил он сурово и безо всякого пафоса. — На нас мировой пролетарьят глядит, чает — лучшие мы люди, авангард, маяк и прочее. А выходит, на вас глядя, мы хуже скота. Срам! Позор! Вон мадьяр за нас кровь льет, больной он, и рука раненая. Затем, что ль, он в Россию приехал, чтобы вы баб насильничали? Опять же китаец... Вы ему в ноги поклонитесь...

— Будет ораторствовать! — крикнул Бычок, выкатывая красные, кроличьи глаза.

Но его с силой оттолкнул матрос, так что Бычок отлетел и стукнулся грудью о нары.

— Холуйская твоя закваска! Напустил туману, холера! Хоть бы какую буржуйку, а то ведь свою... Тьфу, жеребцы! — И блудливо пряча глаза: — Пошутил я, братишки!

Чапаевец внимательно посмотрел на него и с презрением отвернулся. Он подвинулся к женщине, рыдавшей все тише и глуше, и сказал ей:

— Не плачь! Тебе больше обиды не будет никакой.

Поезд резво бежал под уклон, и ночь пахнула прохладой и свежестью надвигающегося дождя. Развороshенный костер угасал, являя груду развалин, затянутых лиловой дымкой.

К чапаевцу подсел китаец, что-то сказал ему, в ответ чапаевец молча и нежно потрепал его по плечу. А погодя задумчиво добавил, должно ни к кому не обращаясь:

— Летошный год мы беляка кончали. А он чего говорит? «Надобно, говорит, вас, хамово отродье, истребить в пяти коленах, — может, ваши дальние внуки людями будут».

Небо обложило тучами, на крышу упали первые капли дождя. В степи было черно и пусто, тянуло сыростью. А поезд шел все медленней, пока наконец не остановился набирать пары, или «сифонить», как выражались в ту пору.

Бычок вздохнул и соскочил на землю, за ним последовал его длинный товарищ с бабьим голосом. Но разошлись они в разные стороны. Потом ушел и моряк, на прощание длинно и сочно выбранившись.

— Паразит, — сказал ему вслед чапаевец. — Граната пустая, пулеметная лента для форсу... Видать, он и моряк липовый. Фанагорийцы, сволочи!

Я захлопнул дверь и лег. Но сон разгоняли тягостные думы. Внезапно возникло звездное поле, сквозь дремоту я слышал, как долбит крышу дождь.

Проснулся я от холода на рассвете. Дрожа и зевая, я распахнул дверь. В сизой мгле низко висело седое, взмокшее небо, и молочный туман стлался над полями.

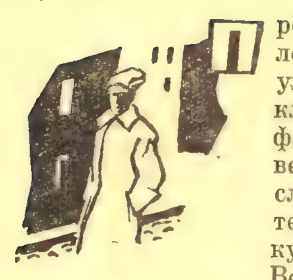
Спали чапаевец и китаец, лежа на нарах голова к голове, спал Каллап, накрывшись шинелью и свесив с нар ноги в широких сапогах. Женщина чутко дремала. Она открыла большие серые глаза и улыбнулась мне доброй бабьей улыбкой. Ее усталое, тихое лицо с едва заметными рябинками было прекрасно в рассветном сумраке. Она ежилась и дрожала. Я предложил ей мою шинель. Она молча поблагодарила кивком головы, прикорнула в углу и тотчас заснула.

А поезд снова затянул свою монотонную песенку, и коричневая тропа под насыпью убегала назад, как бы возвращаясь в минувшую ночь.

1930—1956

ГРИГОРИЙ ПУГАЧЕВ

1



Председатель Чека поднялся с тяжелого стильного кресла князей Туго-уховых, закрыл серую папку и на клочке бумаги кривыми иероглифами вывел: «В два часа ночи привесть ко мне в кабинет»; дальше следовало имя арестованного. Затем накинул черную кожаную куртку и нащупал в кармане револьвер.

Во дворе лежал грязный, исхоженный снег, некогда белый и чистый, как детская радость. Холодный зимний ветер дышал учащенно и горячо, ударяя в лицо мелкой, колючей снежной пылью.

Пугачев раздумал и вернулся в свой кабинет. Позвонил по телефону начальнику первого отделения. Когда пришел Арон Груздик — молодой, высокий, с прыщавым лицом, недобрыми черными глазами, бывший студент-медик и подпольщик,— Пугачев держал в обеих руках по телефонной трубке и раздраженно говорил то в одну, то в другую:

— Да, выпустют... ни при чем он. А этого — нет. И никакого разговора быть не может!.. Ладно, будет. Доложу, товарищ Агеев!

Повесив трубку, он сказал:

— Товарищ Груздик! За тобой Антонов числится. Малый попал ровно кур во щи.

— Завтра освобожу его.

— Зачем завтра? Надо сегодня.

— Да ведь поздно, товарищ Пугачев! Как он ночью пойдет?

— А ты отвези его домой. Всё.

За дверьми ждали тревожно и покорно люди, было их много, и нетерпеливо дергалась дверная ручка.

Пугачев закрыл глаза. Невыносимо ломило голову от бессонных ночей. Он не помнил, сколько ночей подряд не спал. Изредка дремал час-другой в глубоком, громоздком, хмуром кресле, но, разбуженный звонком, а подчас собственной мыслью, вскакивал и снова что-то делал, звонил по телефону, вызывал к себе людей, допрашивал.

Был час ночи. Высокие каминные часы, показывая восемь, тикали равномерно и звучно.

Из дальних комнат ворвался стук машинки. Пугачев, не любивший этот стрекочущий, долбящий звук, плотно притворил дверь. Телефон молчал; полевой аппарат недавно передал: «Спокойно, операций не предвидится...»

Пугачев снова оделся, пошатываясь вышел во двор. Здесь он широко глотнул морозного воздуха и медленно пошел по недавно выпавшему снегу, оставляя следы тяжелых, тупых сапожищ.

Дома жена его, Клавдия Антоновна, вышивала черным большое красное знамя на гроб убитого бандитами военкома Мордовцева. Пугачев тщательно вытер ноги о рогожу и спросил сиплым от холода голосом:

— Петька спит?

Петька, сын двенадцати лет, спал в соседней, темной каморке.

Пугачев опустился на диван, вернее — на то, что некогда было диваном, а теперь представляло нечто неопределенное, с дырявой клеенкой, вылезшей морской травой и кое-где оголившейся пружиной.

— Что, Гриша, устал?..

Но Пугачев не ответил, вытянул ноги и молча просидел, безжизненный, усталый, с полчаса, устремив глаза в темное окно, выходившее на пустырь. В окно глядела ночь, серая, одутловатая, в стекле отражался огонек угольной лампы. Пугачев вдруг тряхнул головой и хрустнул пальцами.

— Ну вот и отдохнул... А голова болит, заснуть не

мешало бы. — Он посмотрел на часы. — Еще полчаса... Я, пожалуй, кипятку выпью, а то холодно, зябко.

Он достал из ящика маленького письменного столика времен Екатерины, стоявшего еще не так давно в комнате княжны Тугоуховой, книгу, раскрыл ее и стал читать. Книга была без обложки, изрядно потрепана. На первой странице чей-то кривой почерк коряво вывел: «История Пугачевского бунта». Куплена она была четырнадцать лет назад у старого букиниста за последние восемнадцать копеек. Теперь она хранилась в маленьком, изящном, инкрустированном столике, на котором молодая княжна Тугоухова десятого января 1905 года написала следующую записку:

> «Дорогой Серж! Очень прошу вас прислать обещанный журнал за 1876 год. Вчера случилось большое несчастье: петербургский народ был расстрелян; много убитых и раненых. На меня эти вести произвели удручающее впечатление. Я не спала. А сегодня встала с мучительной головной болью. После всех этих ужасов остается одно: уйти в прошлое, там тихо и покойно и веет сладостной, щемящей печалью. Конечно, вчерашний день ужасен, но будет ужаснее, когда русская чернь вздумает повторить опыты французской революции. Хороший мой Серж, мы без пудреных париков, мы давно забыли кринолины, но шея у нас такая же тонкая и нежная, как и у сородичей Людовика XVI... Ах, Серж, как невыносимо болит голова, будто ее, как грецкий орех, сдавили щипцами. А книгу вы, пожалуйста, пришлите...»

Записка эта была написана по-французски, но кто-то на обратной стороне написал русский перевод. Пугачев случайно нашел ее защемленной между ящиком и верхней доской стола. Теперь она опять попала ему на глаза. Он прочел русский перевод и долго старался разгадать таинственные французские буквы, столь четко и красиво выведенные черными, помутневшими чер-

нилами. Он ухмыльнулся, отложил записку, затем снова вооружился книгой. «Историю Пугачевского бунта» он знал хорошо и часто перечитывал.

Однажды жена спросила его:

— Ты зачем ее читаешь так часто?

— А чтобы не забыть.

— Чего не забыть?

— Да того самого...— И Пугачев вслух прочитал: — «Я не ворон, — возразил Пугачев, — я вороненок, а ворон-то еще летает...» Панин... ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды...»

Пугачев положил серую ладонь на страницу и повернул щетинистое, усталое лицо к Клавдии Антоновне. Оно вдруг стало надменным, жестким, а зрачки расплылись и блестели точками, будто в них воткнули по иголке.

— Голову ему отрубили...

— Кому? — удивленно спросила Клавдия Антоновна.

— Потом народу показывали, — продолжал Пугачев таким тоном, как будто жена отлично знала, о ком он говорит. — А он как на помост взошел, на все четыре стороны народу поклонился... — И вдруг Пугачев залился детским, веселым смехом. Глаза его стали глубокими и темными, как вечернее небо. Потом перестал смеяться, поднялся и, уходя, сказал жене: — Ты пока чай вскипяти, Клаша, а я сейчас... — И толкнул дверь широким, словно морда бульдога, носком сапога.

Клавдия Антоновна ничего не ответила. Она слышала грузные шаги Пугачева на лестнице, потом затихло, а она все продолжала прислушиваться к тишине. Заерзала под половицей мышь, и снова тихо и мертво, и вдруг внизу, под ногами, глубоко и далеко, что-то щелкнуло раз, другой, третий, будто там перебрасывали костяшки на счетах. Клавдия Антоновна послушала, вдруг закрыла уши руками. Вздохнул спящий Петька, забормотал во сне.

На столе лежало вышитое черными буквами и окаймленное черным красное траурное знамя: «Спи спокойно, дорогой товарищ, дело твое в верных и крепких руках!».

2

Тяжелой походкой Пугачев спустился в подвал, прошел мимо патруля и распахнул дверь, обитую войлоком.

В первой комнате с низкими сводами было душно, накурено и грязно. Шелуха от подсолнухов скрипела под ногами; здесь никогда не было тишины. Сквозь едкий табачный дым светила, как в бане, тусклая лампа. Пугачев остановился в низеньких дверях, пригнул голову, чтобы не ушибиться о притолоку, и спросил:

— Здесь кто?

В углу за столиком сидел, опустив голову на руки, комиссар Чека Сверлов, старый балтийский матрос. Рядом лежал большой маузер. Пугачев внимательно посмотрел на комиссара и сощурился:

— Спишь, что ли?

— Нет, не сплю. — Сверлов поднял лицо, изъеденное оспой, подвинул к себе стакан со спиртом и залпом осушил. Он крякнул, вытер рукавом рот, и блеклые глаза его мгновенно оживились.

Оглядев его, Пугачев поморщился, но ничего не сказал.

В следующей комнате без окон горела такая же скучная, пыльная лампа. Здесь было людно. Следователь Пришвин, тонкий, худой, в дырявых сапогах, с большим шрамом через все лицо, как бы разделенное на две равные части, допрашивал арестованного. Выпучив испуганные, с поволокой, черные глаза, узник то и дело хватался за голову, издавая при этом горлом странное «у-у-у», — точно пугал ребенка.

Молодой парень Митька держал в руке наган, смотрел на меркнущий свет, и на потном лбу его колебалась тень от упавшей пряди волос. Когда арестованного увели и звук «у-у-у» донесся глухо, будто кто-то кричал в подушку, Митька, не отводя глаз от лампы, спросил следователя:

— Когда Карпову разменяют?

— Неизвестно. А тебе зачем?

Митька покосился на Пришвина и ответил:

— Да так... Хорошая баба... — Улыбка оголила его белые зубы, но в следующую секунду растаяла под угрюмым взором Пришвина.

Следователь махнул рукой и выкрикнул скрипуче, на горле:

— Ты смотри, не балуй! Смотри, как бы самого не разменяли... — Он круто отошел к Пугачеву.

Ввели человека в темно-серой рубахе, один рукав у него был засучен по локоть. Взъерошенные волосы дыбились, — казалось, что на голове у него надет парик.

Пришвин спросил:

— Коровин?

Человек молча стал у стены, откинулся затылком в большой теневой круг от своей же головы, широко перекрестился и прохрипел:

— Есть! — Это был морской офицер. У него дергался мелко левый глаз.

Пугачев, стоявший в дальнем углу, скраденный тьмой, поднял наган. Плюхнул выстрел, ему тотчас ответил странный звук, словно раскололся орех.

В соседней комнате кто-то протяжно взвыл:

— Ай-яй-яй...

Это инженер Гринбаум, полный, лет сорока, страдающий одышкой, ожирением и сахарной болезнью, приседал, будто собирался пуститься в пляс; он бил себя кулаками по голове. Его волокли волоком красноармейцы. Потом четверо приложили к плечу винтовки, раздался залп.

В комнату, где, прислонясь к окну и закрыв уши руками, стояла Клавдия Антоновна, долетали эти приглушенные щелкающие звуки, напоминавшие крупозный кашель. Когда стихло, Клавдия Антоновна опустила руки, с тоскливым ожиданием прислушалась к ночной тишине, такой напряженной, плотной и неподвижной, что, казалось ей, слышно, как стучит ее сердце.

Через час Пугачев поднимался по скрипящим ступеням. Вдруг остановился, вспомнив, как перекрестился морской офицер. Сам того не сознавая, он поднял руку, сложил пальцы щепотью, как это делали люди в

течение девятнадцати веков, и по старой, многовековой привычке, переданной ему многими поколениями безвестных предков, чуть было не перекрестился. Он вовремя спохватился и разжал пальцы.

«Ишь ты, сволочь! — сказал он себе с ненавистью. — Вытравить из себя не можешь раба и холопа!»

3

В три часа декабрьской ночи, когда мороз скрипел и трещал, изузорив побелевшие окна, Пугачев зашел к следователю Пришвину, который допрашивал арестованного графа Панина. Следователь добросовестно и подробно записывал показания графа.

Пугачев сел поодаль, не мигая глядя в лицо допрашиваемому. Взгляд его был до того упрямый, слепой и мертвый, что Панин то и дело отворачивался, пугливо ерзал, запинался, путался, но снова возвращался взглядом к глазам Пугачева, не в силах оторваться от них.

— Да, да... То есть нет, — бормотал он, — я никакого участия не принимал... И знать не знаю. Мне и лет много.

— А что вы скажете о письме генерала Постовского, найденном в стене? — спросил равнодушно следователь.

Лицо Панина вытянулось, задрожали усы. Панин стал отчаянно озираться. Но с одной стороны на него были устремлены страшные глаза Пугачева, а с другой на него смотрело непроницаемое, как стена, какое-то глухонемое, бесстрастное лицо часового. И следователь Пришвин выжидающе, с явным интересом супил брови. Панин продолжал бессвязно бормотать:

— Не знаю, ничего не знаю... то есть знаю, что не виноват... Делайте что хотите!

Пугачев ворочал мысли в голове, как камни. Он спрашивал себя: «Мог ли думать граф Панин, что Гришка Пугачев, пятнадцать лет назад служивший в графских конюшнях, будет допрашивать его сиятель-

ство?.. Не узнает он меня. Да и не помнит. А вот отца моего знал, и деда, и прадеда знал».

Испарина выбилась на теле Пугачева. Он вспомнил, что в имениях Панина отец его был убит в 1906 году, во время крестьянских восстаний, и был брошен в ров, где его сожрали голодные волки. Пугачев вспомнил, что дед его, по преданию, был засечен по приказанию деда Панина до смерти за одно только сходство с Емельяном Пугачевым, а прадед был собственноручно повешен графским предком на суку сосны за то, что не уследил за зайцем, — хотя, возможно, и за то, что бунтовал. И совершенно неожиданно в мозгу возникли подлинные слова любимой книжки: «...ударил самозванца по лицу до крови и вырвал у него клок бороды...» Тоже ведь Панин.

Пугачев поднялся. Панин стал вдруг скучным, ненужным, словно расстрелянный час назад спекулянт золотом: тот мародер и враг, а этот заговорщик и тоже враг, оба одинаково опасны для революции.

Долгие годы Пугачев думал над тем, что он потомок Емельяна и что знаменитый предок его не умирал, а, казненный, прошел века и остался живым поныне. И если его, Григория Пугачева, казнят вторично — ведь раз он уже был обезглавлен на Болоте в лице Емельяна, — то все равно он не умрет, он вечен...

Зимний рассвет долго боролся с ночью за обладание четырехугольником окна, наконец побледневшая ночь отступила.

В комнате сгущалась тишина. Пугачев читал протокол графского допроса, а между строками оживала другая история. И думалось Пугачеву, что вот он, потомок славного Емельяна, чью судьбу некогда решил панинский удар, нынче перерешал ее по-новому, вынося смертный приговор вековому своему врагу, потомку Панина, любовника Екатерины.

Перед глазами Пугачева вставали картины прошлого, а в мозгу тянулась нить раздумья, а когда нить оборвалась, он сказал:

— Самое зло — дворяне. Их, белую кость, жалеть нельзя. У нас буржуи еще не крепкие, а вот дворяне —

они крепкие, они, как бы сказать... ежели революция может погибнуть, так только через них.

Пришвин оперся головой на руку и смотрел мимо председателя куда-то вдаль задумчивым и утомленным взором.

— М-да... Верно, пожалуй... Только, наоборот, у нас буржуи сильнее дворян. Правда, сила их какая... чужестранная интервенция.

Оба помолчали, о чем-то задумавшись. Пришвин прикрыл глаза. Из продранного его рукава на локте вылез клок грязной рубахи. Пугачев поглядел на этот его рукав и неожиданно сердито спросил:

— Ты зачем рваный ходишь? Мороз лютый, а ты в какой-то кацавейке... дырки везде... вид босяцкий.

— А не все ли равно? — спокойно ответил следователь. — Все одно, что так, что этак... Революция от этого не пострадает. Тут вот вчера одного мужика я допрашивал, а он, знаешь, вдруг и говорит: «Скажи, говорит, товарищ, что есть такое человек?» Слыхал? «И почему, говорит, у одного мозги — целая голова и ум во всего человека, а другой умом не в голову, а в обратное место... Отчего один Ленин, а нас, холуев, и не счесть?..» А мужичок-то из бандитов, коммунистов сам резал... Хорошо, а?.. А главное, мужичок-то — голь перекатная. Вот где дырка, настоящая дыра, понимаешь?..

— Ты все мудришь, — перебил его Пугачев. — Ты лучше вот что, утром возьми себе комплект обмундирования. А то ведь совестно смотреть на тебя... Сейчас черкну.

Следователь встал, виновато моргая глазами.

— Пугачев, а Пугачев, не надо, отпусти-ка меня лучше на фронт, будь товарищем, по-коммунистически, отпусти, брат, душа, понимаешь, тоскует... Я знаю, скажешь: распределение коммунистов — дело партии и партии, мол, виднее, где быть коммунисту, где важнее... Это все так, но только в теории, а практически не мешает спросить и самого коммуниста. Особенно когда он на фронт рвется. Я по-товарищески, — будь другом, уважь, не могу я больше допрашивать. Я, конечно, не

могу мотивировать тем, что окопался, мол, в тылу и подлость чувствую в себе...

Пугачев откинулся на спинку кресла, взглянул устало и бегло на наморщенный следовательский лоб.

— Постой, — прервал он его, — будет чепуху молоть! Чека — тот же фронт. И чекист — тот же боец. Всегда на передовой, либо в секрете, либо в разведке... Небось воевал, знаешь. А ты — отпусти, отпусти! — передразнил он с усмешкой. — Климат не по тебе? Ты уйди, Пугачев уйди — и пожалуйте, господа белогвардейцы, перевешайте нас на фонарях! Эх ты, следователь! А еще с понятием! Взвалили мы на плечи самую тяжесть революции. Тяжеленько, слов нет. Не всякому по силенкам. Сверлова вскорости списать придется. Ему, вишь, без спирта работать невмоготу, кишка тонка. Того и гляди, как Брыков, с ума спятит. Ну, чего уставился? На фронте, что ли, с ума не сходят? Ладно, поговорили, будет. Силком держать не стану.— И вдруг тихо, спокойно, без раздражения и гнева: — А может, и разговора у нас с тобой никакого не было, а, Алеша?

Пришвин ничего не ответил. Он очень уважал Пугачева. Никто, быть может, не страдал так от своей жестокости, как сам Пугачев. А жестокость, казалось Пришвину, медленно опустошает и, как ржавчина, разъедает душу; этого Пришвин боялся.

— Знаешь ты, кто такой Панин? — спросил Пугачев погодя. — Не знаешь? — Он неуверенно улыбнулся. — А я сразу узнал его...

— Узнал? Ну и что?..

Тогда Пугачев схватил Пришвина за руку и заговорил быстро, сумбурно, поспешно. Понемногу успокоился, и речь его стала более связной.

В комнате расплывался и светлел серый зимний сумрак. Из угла выступил тяжело и напористо желтый шкаф, беспорядочно заваленный книгами, которые Пришвин читал без разбору и устали...

Есть на берегу Волги маленькая деревушка. Лет ей много. Сжигали ее десятки раз, начиная чуть ли не со времен Батыя. В этой-то деревне во времена пугачев-

щины жил старик Аким Худой. Была у него красавица внучка. Как звали девку — неизвестно.

Однажды ночью, когда за маленьким оконцем, выходившим на Волгу, бушевала непогода, а старик Аким Худой тихо охал за печкой, в дверь кто-то постучал. Путника пустили в избу и дали ему ночлег. Старик же Аким, хоть ничего не говорил и ни о чем не спрашивал, пристально поглядывал на гостя, как будто признал его и все сомневался, тот ли это человек. Он, похоже, что-то хотел сказать, но, видимо, голоса у него не хватало, и он раскрывал и закрывал рот, как рыба, вытянутая на берег из больших морских глубин.

А девушка, уйдя в соседнюю горницу, украдкой припала к щелке и, словно завороженная, смотрела на пришельца, на блестящие, черные, колючие глаза его, на белое пятнышко у левого его виска. Потом она услыхала, как гость что-то шепнул деду, после чего старик бухнул ему в ноги и зашепелявил:

— Государь мой, батюшка, прости!..

Приглянулась ли гостю с первого взгляда девка, может статься, что и она его полюбила, только ночевала она в его парадной горнице. А старик Аким крестился на печи беспрестанно в течение всей ночи и мурлыкал:

— Господи, твоя воля, господи!.. — и грел свои старые, совсем уже высохшие кости.

Рано утром гость подошел к окну, глянул на притихшую Волгу, нежившуюся под бледным осенним солнцем, и сказал:

— Ширь-то, ширь какая, благодать... Матушка Москва, гостя жди званого!..

Солнце скрылось, прибежала туча, Волга почернела. Тут на реке показалась баржа, на которой раскорячилась низенькая виселица и покачивались трупы, едва не касаясь ногами палубы. Гость долго стоял у окна, пока не скрылась баржа из виду. Об этих повешенных ему говорили, но увидеть их только сейчас ему привелось. Он отошел от окна. Он увидел девушку: скрестивши руки на груди, она тоже смотрела в окно по направлению исчезнувшей баржи. И лицо ее сияло какой-то мрачной красотой. Тогда гость улыбнулся ей и сказал:

— Ну, прощай, мне пора... Верно, буду в стороне твоей не скоро. Но ты жди меня! А может, я тебя ждать буду на Москве. — Он поцеловал ее и вышел к старику.

Девушка слышала, как старик с гостем о чем-то шептались, затем вздохнула тяжко дверь и в окне на минуту мелькнул дорогой человек.

Вскоре деревню спалили. Аким Худой с внучкой ушли неведомо куда. О госте никто не знал. Через год из пепла и грязи снова выросла деревня. У красавицы внучки родился сын, сама же она умерла в родах. Мальчика отдали людям. Старик Аким перед смертью покаялся и все рассказал. Приезжал правительственный чиновник, но старик уже был мертв, а с мертвого и спросу нет, а ребенка переправили к киргизам. Мальчик вырос. Звали его Емельян Емельянович Пугачев, вольный уральский казак. У него, как и у отца, было белое пятнышко на виске, только на правом. От него и пошли Пугачевы.

Пришвин с удивлением слушал Пугачева, немного отстранясь и глядя ему в глаза, глубокие и вязкие, как тина.

Пугачев продолжал рассказывать о том, как пытали Емельяна, как за кисти рук подвешивали на дыбу, как стегали его плетью и как бабы в обморок падали от взгляда самозванца, которого Панин в клетку посадил, словно зверя.

— Панин знал, что делал, — говорил Пугачев. — Отца, значит, во рву, деда до смерти розгами, этого на суку, а того на Болоте... Век шел одной дорогой. А Емельян не дурак, понимал он, может, и плохо, а все-таки чувствовал, что к чему, нутром угадывал... недаром насмерть воевал. Не умер он, — торжествующе закончил Пугачев. — Жив, жив! Голову ему отрубили, а ну-тка, мою рубани попробуй! — Он похлопал себя по шее. — Черта с два! А теперь что с ним, с Паниным этим, делать?

Следователь привстал и снова сел.

— Ты что говоришь? Ведь то бунт, понимаешь,

бунт, крестьянская стихия, а сегодня восстание, победоносное восстание класса... интернациональное, пример всем народам, всему мировому пролетариату. Разница тебе ясна?

— Так-то так, — председатель покачал головой. — Только корень он — там, глубже... корень один, с того и началось, пожалуй, даже раньше... Ворон-то летает.

Оба долго молчали. На уровень с окном поднялся наметенный сугроб. Следователь рассматривал чернильное пятно на столе и щурил близорукие глаза. Пугачев сказал:

— Посмотрел на Панина — пакостно стало... Жить умел, а умирать не может, не умеет. А еще голубая кровь, тьфу! Дрянь человек, и бледнеет, и синеет, совсем паршивец. Вроде как потертый пиджак, грош ему цена.

— Это ты правильно, — согласился Пришвин, продолжая щурить глаза. — Революция не мстит. И если мы сегодня проводим красный террор, то это вынужденно, в ответ, так сказать. И мы отменим его назавтра же после победы. Ах, черт, — воскликнул он, — до чего человек страдать нынче наловчился, так привык, что перестал понимать значение самого страдания! Ты пойми, Пугачев, человека сотни лет разные писатели учили понимать страдание. Всю жизнь на это ухлопали. Хвать — и ничего, точно оглоблей по голове ахнули... — Он умолк и начал усиленно стирать чернильное пятно на столе.

4

Рано утром привели к Пугачеву женщину. Была она старенькой, седенькой, сморщенной. Маленькая, хрупкая, игрушечная, точно из воска вылепленная, она так долго и жгуче выплакивала свои слезы, что комендант сжалился над ней и дал ей пропуск к Пугачеву.

Как вошла она к председателю, так и бросилась на колени. Ничего не говорила, а только тряслась, и половица под ней скрипела.

Пугачев поднял ее, усадил в мягкое большое кресло. Сидела она, словно маленький ребенок, взобравший-

ся на чересчур высокое место (и сидеть страшно, и слезть боязно). Терла одной рукой другую, дрожало у нее веко на левом глазу и голос срывался. Пугачев посмотрел внимательно на дрожащее веко и вспомнил вдруг серого моряка с засученным рукавом. Он отрывисто, резко спросил:

— Вы по какому делу?

Старушка, как бы почувствовав что-то неладное в переменившемся его тоне, сразу стала как будто еще меньше и тоньше, словно тающий воск.

— Я... я по делу... — она проглотила набежавшую слюну. — Коровина... морской офицер, восьмой день сидит.

Пугачев прервал ее:

— Ну и что же?..

Она в упор смотрела в лицо председателю и беззвучно плакала, гуськом сползали слезы по желобкам неподвижных морщинок, и старая, запыленная, в чернильных пятнах пропускная бумага на столе начала промокать в разных местах.

— Я насчет свидания... Увидеть сына. Еды ему немного и подушку... он ведь без подушки, так я... подушку отнести ему...

Пугачев вдруг улыбнулся старухе почти нежно.

— Сыну много лет?

— Двадцать девять. — Она ожила, ее морщинистое лицо выразило безмерную благодарность.

— А по какому делу взят?

— Заговор будто бы...

С лица Пугачева сошла улыбка, и лицо старухи тоже сразу стало унылым и скорбным.

— Хорошо, хорошо, — сказал председатель сухо, — подумаю. Пока свидания дать нельзя. Невозможно. — И вдруг явственно услыхал неповторимый треск расколовшегося черепа.

Пугачеву контрреволюция представлялась в образе многоголовой гидры, даже во сне он отсекал ей ее чудовищные головы. Но когда он сталкивался с каждой головой в отдельности в виде человека, сталкивался наяву, им овладевали нестерпимые чувства ненависти именно за то, что он должен казнить и убивать их,

людей. Он резко поднялся, почти вскочил и вышел из-за стола.

— Коровин, говорите, сын ваш? Так сказали? Заговорщик! Расстрелян сегодня в ночь. Расстрелян, — повторил он с какой-то простодушной жестокостью.

Старушка пощупала пыльный плюш кресла, поспешно сползла на пол и медленно, вяло двинулась к двери. Взялась было за медно-рыжую, с прозеленью ручку, потянула к себе, а когда дверь скрипнула, старуха испуганно и быстро обернулась.

— Так свидание будет?.. Мне ведь только подушку отнести, подушку... — У нее дергалось веко на левом глазу, точь-в-точь как у расстрелянного морского офицера, беспощадного и кровавого руководителя подпольной банды, а на рукаве болталась пуговица, повиснув на последней нитке.

Старуха постояла несколько секунд, потом боком вышла в дверь. Деревянные каблуки ее необычайно быстро застучали в соседней комнате, вдруг стук оборвался, что-то тяжелое тупо грохнулось на пол. Две минуты спустя мечущуюся старуху уносили красноармейцы. Она кричала пронзительно, тоненько и жутко, на одной ноте, как кошка, на которую наступили ногой. От рукава ее оторвалась пуговица, упала и покатилась к дверям пугачевского кабинета.

Пугачев выслушивал маленького, веснушчатого, небритого и волосатого человека с облезлой шерстью на лице, руках, голове — брата вчера ночью расстрелянного инженера Гринбаума — и барабанил пальцами по столу.

— Так, так... — сказал он, когда проситель умолк.— Ваш брат был спекулянт и мародер. Он наживался на страданиях народа. Он расстрелян. Ступайте!

5

Раненько, когда петухи только-только криком своим спугнули первый рассвет, нескольких арестованных женщин погнали из подвала мыть полы в Чека.

Лидия Карпова, перебегая двор, продрогла от стужи и еще оттого, что не успела отрезвиться со сна.

В дверях она зевнула, потянулась до хруста в костях и потерла серый красивый глаз. Лидия Карпова, или Лидка, была арестована пять дней назад. Во время пребывания белых в городе она пошла служить машинисткой в контрразведку и предала коммуниста X. Когда город снова заняли красные, она пряталась у друзей и знакомых два месяца, пока черноокий Ливанов, чекист, не увидел ее в окне. Она же его не успела заметить, оттого арест был неожидан как для нее, так и для ее друзей.

Лидка Карпова шестой день сидела в подвале и не знала, что подпоручик Игнатьев, кому она выдала коммуниста X., повешенного затем на Смоленской площади, уже давно «разменен» молодым кудрявым Митькой.

Она знала, что белые наступают и фронт находится в двадцати пяти верстах; об этом передавали каждые полчаса и все по-новому, так что в голове была невероятная путаница. Лидка надеялась на то, что в Чека не знают о ее предательстве, и еще на то, что белые придут раньше, нежели ее... выговорить последнее слово и даже подумать о нем было беспримерно страшно. И Карпова ногтями царапала до крови себе ладони. За эти дни, проведенные в подвале, Лидка сильно похудела, глаза ее впали, нос заострился, а по краям рта легли старившие ее складки.

Шпоры подпоручика, белый околыш, прекрасные цветы и шоколад «Миньон» потеряли для нее и цвет и вкус. Давно забытые, они валялись в памяти невысказанным проклятием. Вспоминая танцы на балу, когда в душных объятиях Игнатьева так сладостно кружилась голова и изнывала упругая, почти девичья грудь под кофточкой, Лидка закрывала глаза и видела пустую дыру, залитую кровью. Заплетая на ночь толстые русые косы, она с ужасом шептала: «Почернеют в земле...» И плакала так, как в те дни, когда не хотела идти в гимназию.

Все же где-то в потаенном уголке души, маленькой, злобной и хищной души, жила убогая, но яростная надежда — авось не расстреляют, авось придут белые раньше... а подпоручика Игнатьева уж наверно не поймают.

Днем среди женщин шли разговоры и долгие ссоры из-за пустяков; ночью их одолевал сон, и они спали у сырой стены, с которой стекали холодные капли воды, образуя к утру лужи на грязном каменном полу. Утром болела голова до того, что Карпова просила у бога смерти. Обхватив ревматически ноющие колени руками, она сидела и часами покачивалась, как человек, которого подтачивает неусмиримое страдание.

На четвертый день ее погнали мыть полы. Тонкими, холеными пальчиками с остренькими загрязнившимися и обломавшимися ноготками, она подолгу выкручивала тряпку. Затем смотрела в окно на взошедший зимний день, и сердце ее сжималось от вкрадчивого страха и мучительной жажды жить. На сырой пол падали слезы и смешивались с грязной водой. Потом раздавался хриплый окрик надзиравшего за работами комиссара, чье лицо почернело от угрей, а уши оттопырились и, казалось, вот-вот отвалятся.

— Ну, чего стала? Живо! Мыть пол!.. Шкура!..

Лидка снова склонялась, держа в руках тяжелую от грязи тряпку, и думала о старой матери, пропавшей два года назад, о маленьком братце, корчившемся сейчас от голода, о больших белых хризантемах и о своей страдальческой, загубленной молодости.

В это утро, как вчера и третьего дня, Лидку оставили в комнате наедине с помятым, ржавым ведром и рваной тряпкой. Лидка нагнулась над ведром, увидела в воде свое покачивающееся отражение. Ей показалось, что там, на дне, барахтается живая голова, отделенная от туловища, и она содрогнулась от ужаса. Она поправила мокрой рукой волосы, и вдруг горечь незаслуженной обиды захлестнула ей сердце.

— За что, господи, за что?.. — спросила она громко.

В это утро за работами присматривал Митька, белокурый вихрастый паренек со вздернутым носом, редкими усиками и карими глазами. Он увидел в открытую дверь Лидку Карпову, ее обтянутый юбкой круглый зад, оглянулся и быстро пошел к ней.

Восемнадцатилетний Митька, отважный фронтовик, который никогда не знал страха, теперь ступал крадучись, боязливо и настороженно. Напрасно говорил он

себе: «Не надо, не надо!..» — он был словно завороженный.

Подойдя к Лидке, он дотронулся до ее бедра, скользнул дрожащей рукой в сторону ляшек и почувствовал сладкую дрожь в коленях.

— Тебе что? — обернулась Карпова.

— Я... тебе что скажу... — со свистом произнес Митька.

Лидка знала его давно, часто шутила над его молодым задором. Она отодвинулась. Митька рвущимся голосом проговорил:

— Тебя расстреляют... все известно... ты выдала...

Лидка попятилась от него, ухватилась руками за ворот блузки, рванула, точно ее что-то душило. Треснула кнопка, оголилось плечо красивой и нежной формы. Митька же, наклонясь вперед, задыхался:

— Игнатьев того... Ты слушай, я все могу. Во дворе яма есть, я холостым выстрелю, а ты в яму упади, понимаешь, в яму... Что рот разинула? Сегодня в ночь, готовься! — Он подвинулся совсем близко и обдал ее горячим и шумным дыханием. Взял ее мертвую, покорную руку и вновь пьяно зашептал: — Поняла? Согласна? Говори... — Он потянул ее за собой.

Она посмотрела на его захмелевшие глаза и безвольно поплелась за ним в соседнюю комнату, где стоял диван. Она увидела танцующие Митькины руки и взялась за кофточку.

Но он не стал ждать, схватил Лидку дико, цепко...

Она оправила юбку, вытерла ногу, поднялась... Вернулась к оставленному ведру, погляделась в грязную воду, пригладила волосы и улыбнулась тихо и безумно.

-- Спасет. Верую, господи!

Стоявший сзади Митька, услышав ее шепот, почувствовал сухость во рту. Тогда он ударил себя ладонью по лицу и выбежал в коридор.

— Вымыто! — донесся его окрик.

Лидка намочила тряпку, выжала ее, бросила на пол, снова подняла, расправила и опять сунула в воду. И вдруг схватилась за голову и неистово закричала.

Прибежавшие женщины нашли ее лежащей посреди лужи ничком. Она билась головой об пол, скрежетала зубами и выла:

— Ой, страшно мне! Боюсь!.. — На оголившейся ноге ее виднелся край грязной вычурной бахромы белья.

Глядя на ее голую ногу, на вычурную бахрому, Митька вдруг понял, что Лидка Карпова предаст его. Он съежился, словно на морозе, с тоской посмотрел на обнаженное тело Карповой, почувствовав в душе отвращение и страх. Отвернулся и пошел прочь.

Два часа спустя Лидка Карпова, сидя в углу подвала, захлебываясь, говорила:

— Он спасет... Так и сказал: «Яма, говорит, вырыта, ты упади в нее, а я холостым стрелять буду».

Простоволосая женщина, спекулянтка с провалившимся носом и мясистыми щеками, размахивала огромными несоразмерно с телом ручищами и гундосила, показывая синеватые десны:

— Ты что его, кобеля, слушала? Он только так, молодостью твоей сиротской не погнушался. Теперь какие времена? Не то чтобы слово сказать по-людски, — нет же, сразу, сволочь, юбку задрал и за факты хватает... и весь разговор тут.

Карпова побледнела и отодвинулась.

— Н-нет... он правду сказал.

— А мы посмотрим, — резонерствовала спекулянтка. — Ежели тебя чиркнут, значит, набрехал. — Женщина кликушечьи заголосила: — Сирота ты моя разнесчастная! И какая теперь любовь, перепихнулся на ходу — вот тебе и вся любовь... она вся промежду ног.

Рядом сидела женщина с широким ртом мопса и золотыми зубами среди сгнивших корней.

— Вы бы, Лидия Алексеевна, отписали кому следует, хоть самому Пугачеву, а там видно будет.

— Нет, он правду... правду сказал, — тянула обезумевшая Лидка.

Тут из угла раздался злой, надменный голос:

— Чего раскудахтались, бабы? Аль она мужика не видала? У ней, видать, мужиков было больше, чем у

тебя, старая ведьма, волос на голове. Курва она, вот кто. Чего визжите? Зачем паренька губите, вороны, стервы горластые?!

Пять минут спустя арестанток разнимали красноармейцы. А худой, прыщеватый часовой толкал в спину спекулянтку, приговаривая:

— Конца-краю нет на вас, чертовы крали, паразиты!

Погодя арестантки вновь пристали к Карповой с требованием «отписать кому след». Лидка посмотрела на сгрудившихся женщин, перевела взгляд на решетчатое, под потолком подвальное оконце и тихо, упрямо сказала:

— Врете, все врете, не солгал он, спасет, вот увидите... — Она подняла с пола спичку и начала подчищать обломанные, грязные ногти.

6

Приложив щетинистую щеку к холодной, сморщенной масляной краске на стене, сидел Панин и беззвучно шептал землистыми губами. За ночь он постарел, стал пепельным, дряхлым. По виску прошла глубокая царапина, из которой сочилась кровь; он не заметил, когда и чем его царапнуло, может даже во сне. Изредка он машинально стирал рукой кровь с виска и размазывал ее по всему лицу.

Напротив него сидел рыжеватый сгорбленный еврей с седлообразным носом, усеянным множеством склеротических жилок и ниточек. Ему недавно принесли передачу, и узелок с провизией лежал тут же, насторожив белые уши, словно пугливый заяц. Еврей, арестованный за покупку пяти краденых гаек, думал о том, что у него дома сейчас много и горько плачут. От этой мысли ему стало непомерно тяжко, он сгорбился еще пуще и тихо покачивался, как на молитве. Вся его тщедушная фигура выражала столько безмолвной тоски, столько крутого страдания и отчаяния, что соседи невольно старались не глядеть на него.

Все обитатели этой камеры над чем-то молча думали, каждый о своем. Но всем им страшно было пове-

рить в то, что подвал этот есть их последнее прибежище, конец жизни, нелепый, жуткий конец.

Недавно передали последнюю сводку: фронт в десяти верстах, все коммунисты мобилизованы. Эти известия принесли крохотную надежду и потрясающее опасение: а что, если этой ночью придет конец?.. Самое же ужасное для человека — думать о смерти и, вопреки всему, питать надежду, когда надеяться, в сущности, уже нечего.

В решетку окна вполз день, не достигая темных углов этой обширной могилы, где было черно и смрадно и пахло затхлой сыростью и мочой. Люди приобрели уродливые формы теней. И сгустки тоски, как крови, лежали на их лицах.

Седеющий человек говорил медленно, тихо, будто баюкал ребенка:

— Попал я к товарищу Пришвину. Следователь спокойный, немногословный, деликатный, а вывернет тебе душу наизнанку за мое почтение, ровно на исповеди. Я ему говорю: «В чем моя вина? Не крал, не убивал, крови не проливал». А он отвечает: «Когда истребляют волчью стаю, один волк уже не в счет». — «Это как же, говорю, лес рубят — щепки летят?» А он отвечает: «Нет, говорит, люди не лес и человек не щепка. Мы, говорит, живем по закону военно-революционного времени...»

— Рискуешь сегодня, рискуешь завтра... А для чего? — заговорил другой, в такт речи ударяя себя рукой по сапогу; при этом уши его двигались, как у лошади. — Был раньше фабрикантом — разорили меня. Стал торговцем — арестовали. Потом освободили, и я занялся торговлей с лотка. Вы же понимаете, господа: человеку с фантазией и способностями — лоток! Это все одно что адвокату заикаться. Но ведь жить надо. Жена, трое детей, старуха мать, — что поделаешь... Я ведь ни к чему не пригоден, не приспособлен, как ремень без пряжки. — Человек погладил и почесал себе затылок. — Вшей, извините, наберешься здесь — на мертвеце столько этой пакости не бывает. Вошь с пятак величиной. Три дня назад арестовали. Говорят, завод расхищали. А скупщик краденого, говорит следо-

ватель, отвечает наравне с вором. Откуда, спрашивается, я знаю, что мне продают, краденое или нет?.. Вот и Цинман тоже по этому делу. — Человек умолк и выжидающе уставился на соседа. Видно было по его унылому лицу, что он ищет успокоения.

Сосед его поправил солдатскую шапку с поломанным козырьком, порылся волосатыми руками в корзинке и задумчиво проговорил:

— Говорят — дезертир, ну, а дальше что? Я, может, людей жалею... — Он вытащил две помятые папиросы, разгладил их, протянул одну скупщику краденого и добавил: — Покурим давай!

В двух шагах от них сидел мужичок в армяке и лаптях. Держа рукой остренькую бороденку и уставясь голубыми детскими глазами в стену, он вопрошал:

— Что есть человек такое? Откуда вышел он? — Мужик повернулся к рыжему еврею, дотронулся до его рукава и повторил: — Что есть человек такое? Откуда вышел он? В человеке зверь сызмала живет. Видал, мальчонка воробья мучает, птичьи гнезда разоряет? Подрастет, — глядишь, ему уж этой потехи мало. Давай собаке под хвост жестянку нацеплять. Ему смех, ей смертный страх, за ней сам сатана скачет и гремит. А вырос парень — его на войну. Чем больше крови пролил, тем больше тебе отличий и наград. Выходит, им можно, а мне нельзя. А почему? У меня и взять-то нечего. Жизню? Так мне и без того тошно среди людишек... — Устремив глаза в потолок, мужик умолк и поджал губы. Потом еще сказал: — Умереть не страшно, умирать — вот страшно, дьявол!

Рыжий еврей достал из узелка ломоть хлеба. Панин приподнялся, поглядел воспаленными глазами на еврея, затем схватил его за руку, конвульсивно сжал ее пальцами и заговорил визгливо, резко, картаво:

— Так и расстреляют, да?.. И все... Граф Панин, десятки тысяч крепостных, весь юг России мой... горы золота, блеск, слава и... — Он точно каркал, он задыхался. — Пустота, понимаете, господин еврей, пустота и ничего больше. Ведь это жутко. — Он еще крепче вцепился в руку еврея, совершенно больного, ослабевшего рыжего еврея с седлообразным носом, и вопил: —

Так что же делать, я спрашиваю вас, господин еврей, что делать? Расстреляют — и все.

Рыжий еврей по фамилии Цинман уронил хлеб на пол. Но во рту у него остался неразжеванный кусок, он давился, выкатив глаза, и участливо кивал головой.

А граф Панин твердил:

— Ничего, значит, больше, ничего... расстреляют — и все... — Он закашлялся, и на губах его выступила кровь.

Спускались сумерки.

7

Митька чистил револьвер, а следователь Пришвин, укутавшись в свою рваную шинель и позабыв обо всем на свете, не мог оторваться от небольшой черной кожаной тетради.

— Ну и написал, и написал... — твердил следователь про себя.

— Кто написал? — обернулся Митька.

— А? Кто? Да этот, граф...

Пришвин внимательно посмотрел на Митьку, отложил тетрадь, достал из кармана жестяную коробку из-под сапожной ваксы, щелкнул крышкой, затем скрутил козью ножку и долго, сосредоточенно насыпал в нее махорку. Закурил, пустил струю дыма и снова взялся за графские записки.

Митька молча прочистил револьвер, собрал его, зарядил, сунул в кобуру на поясе и подошел к следователю. Он окинул взглядом комнату, освещенную мутноватой электрической лампой, томительно помолчал.

— Ты ничего не знаешь? — спросил он наконец, запинаясь.

Пришвин поднял голову, глянул на пушистое лицо Митьки и ответил:

— Не мешай! Знаю.

— Что знаешь?

— Все знаю. И Пугачев знает, письмо получил...

У Митьки задрожали ноги.

— Да ты скажи, в чем дело-то? Какое письмо? Я ведь понимаю — глупость сделал, даже хуже... И как

спутался, — он развел руками, — не пойму. Две ночи не спал — из головы баба не выходила, а потом... тьфу, лахудра!.. противна стала. Как бы, думал, еще не подцепить от нее дурной болезни. А теперь сам себе противен. Глупость какая!

Пришвин перевернул страницу и, не глядя на Митьку, придушенно сказал:

— Не глупость это, а преступление. Весь город об этом говорит. В Чека, мол, баб насилуют, за этим и арестовывают. — Следователь вдруг вскочил, на миг потеряв привычную свою уравновешенность, ударил кулаком по столу, лицо его, разделенное шрамом надвое, налилось кровью и сделалось страшным, как маска. — Голова у тебя, дурак, где была? Чем ты думал, подлец?! — Осекся, постоял, хрипло дыша, погладил шею у раскрытого ворота и уже совсем тихо добавил: — Твое дело. Иди к Пугачеву, пока не вызвал...

Митька растерянно топтался на месте, нечаянно наступил на шнур от штепселя: погас свет.

— Не балуй! — крикнул Пришвин, прилаживая штепсель. — Отвечать сумеешь?

Митька утвердительно кивнул головой и медленно побрел к выходу. Следователь проводил его неподвижным взглядом и вдруг увидел, что там, где верх охотничьего сапога пригнулся на ноге Митьки, зияла на брюках маленькая белая дырка.

«Такой величины дырка бывает от пули. Дурак!..» — сказал себе Пришвин, опечаленный жалкой участью этого в сущности неплохого и доброго малого: он вы́ходил одинокого товарища в тифу, как заправская сиделка.

Митька нерешительно вошел в кабинет председателя и остановился у дверей, угрюмо и молча потупясь.

Пугачев, что-то писавший, поднял голову, сощурился и встал, разглядывая Митьку каким-то незнакомым ему взглядом, удивленным, недовольным, вопрошающим и злым.

— Ты зачем это сделал? — спросил он резко.

Митька молчал. Тогда председатель подошел вплотную к нему и шепотом спросил:

— Знаешь, что тебе за это будет?

— Знаю, — так же тихо и глухо ответил Митька.

— А знаешь, так зачем баловал?

Пугачев увидел в окне пляшущее отражение лампочки и представил себе, что Митьки больше нет и не будет и что эту молодую жизнь оборвет маленький кусочек свинца. От этой мысли Пугачев пришел в ярость и неистовство.

— Зачем бабу трогал?.. — Он грубо выругался, схватил Митьку за плечо и сжал так, что Митька даже охнул. — Дать бы тебе раза два, чтобы неделю не вставал, сукин ты сын! Забыл, где работаешь, — в Чека работаешь, в Чека... Ты здесь тысячу раз человеком был, а вот раз по-скотски сделал — и весь, весь насмарку пошел, к свиньям собачьим!

Он задыхался от гнева; подошел к столу и позвонил по телефону. Он был нетерпелив, раздражен и злобен.

— Что так долго? Под арест посажу! — крикнул он в трубку долго не откликавшейся телефонистке. — Комендатуру мне. Комендатура? Конвоира прислать! Живо! Через две минуты чтоб здесь был. — И, не оборачиваясь к Митьке, приказал: — Оружие положь на стол.

Митька, раздавленный тяжестью внезапно свалившейся на него беды, — казалось, тело его стремилось упасть в охотничьи сапоги, — вынул револьвер из кобуры, повертел в руках и стал отвязывать шнур, который, как змея, обвился вокруг его руки. Долго не поддавался толстый узел, наконец Митька развязал его. Он положил на стол револьвер, нежно и ласково погладил рукоятку дрожащими пальцами, точно любимую женщину прощальной лаской, и вернулся на старое место у двери. Здесь он стал, глядя себе под ноги и прикрывая рукой пустую кобуру.

Пугачев взял со стола револьвер и, рассматривая его, проговорил:

— Вывез я тебя с фронта, хороший был боец, учиться ведь собирался... Эх, ты!

В голосе председателя Митька уловил нотки горечи, укора и страдания. Он вдруг ясно осознал всю важ-

ность того, что сделал, и важность того, что ему еще следует сделать. Тогда он насупился, совсем по-детски, плотно сжал губы, и на подбородке его обозначилась ямка — не то детская, не то страдальческая. Он понял, что наступает его конец, от этого ему не сделалось страшно. Он вспомнил степи, по которым пришлось день и ночь отступать под палящими лучами летнего, знойного солнца, и ему стало больно.

— Молчишь? — спросил Пугачев, придвинувшись к Митьке вплотную. — Хорошим был чекистом... боевым. А смотри, как подгадил. — Он вздохнул. — В городе много болтают, а фронт, знаешь, совсем близко. Понял?..

Митька еле заметно пошевелил губами. Ему хотелось спросить Пугачева только об одном: является ли его проступок предательством? Ему было бы гораздо легче, если бы Пугачев застрелил его без всех этих жгучих слов, от которых у него в душе как после пожара — хаос и пепел. Но сказал он неожиданно для самого себя совсем другое:

— Прости, товарищ Пугачев! — Он откашлялся и заговорил спокойнее, хотя и с легкой дрожью в голосе.

Пугачев не мешал ему говорить.

Когда вошел конвоир, Пугачев стоял рядом с Митькой, смотрел на него и слушал его. Митька говорил о том, что оплошал, верно, но он коммунист, настоящий большевик, и у него старуха мать, о которой он только сейчас вспомнил, и ему очень страшно, что приходится погибать от бабы...

— Лучше бы меня, как в партизанах был, белые разменяли. Мне бы легче... — Он умолк и долго вытирал рот, полный кисловатой слюны.

— В первый подвал его сведи, — приказал председатель конвоиру. — Не в комиссарский, а в первый, — повторил он, отвернулся, сел и, не взглянув больше на бледного Митьку, взялся за исписанный лист бумаги.

В комнате звенела тишина. Сопел красноармеец, безучастно посматривая то на Митьку, то на Пугачева. Потом конвоир равнодушно сказал:

— Так что пойдем, товарищ комиссар!

Оставшись один, Пугачев долго писал, наморщив

лоб. Иногда он переставал писать, но подумает немного и снова пишет, откладывая исписанные листки. Митька окончательно вытеснил Панина, о котором он больше не думал. Грозная тяжесть легла ему на душу. Пугачев нашел Митьку в дивизии, совсем был мальчишка. Митька побывал с ним везде. В астраханских песчаных пустынях он вырос и окреп, обожженный солнцем и пулей. Для Пугачева он стал близким. Глядя на него, Пугачев часто думал, что вот этот сменит и будет драться, не уступит, не подведет. Свой под Царицыном, свой под Камышином и Ершовом, Шиповом и Уральском, Одессой и Астраханью — он рос на глазах у Пугачева. Два года изо дня в день, два года как непроходимая чаща воспоминаний. А теперь пришла какая-то бессмысленная потаскуха Лидка, и все два года полетели в пропасть. Митька уж совсем не Митька, а что-то новое, ненужное, тревожное, опасное, не менее опасное, чем Панин. Но ведь ему еще нет восемнадцати лет.

«Митька — парень исполнительный, — писал Пугачев крупными, уродливыми буквами, — толковый он, надежный, а оскользнулся на бабьей стезе...» И вновь отбросил листок, и вновь придвинул к себе бумагу, серую, шершавую, волосистую бумагу, цеплявшуюся за перо. «Он, Митька Ксенофонтов, с китайцем продержался на церковной колокольне шестнадцать часов, покуда не подоспели наши, и через это целая операция белых погибла, и еще полностью полк белых нами окружен был...»

Поставив последнюю точку, председатель закурил пайковую папиросу, потом, вспомнив о Пришвине, поднялся и пошел к нему.

Следователя, бывшего студента, сына мелкого буржуа, подпольщика, романтика и скептика, Пугачев очень ценил и любил. Иногда Пришвин был скуп на слова, а иногда разговорчив. В дни «разговорные» он был подвижным, живым и весьма веселым. Мягкий по натуре, он был неумолим, когда дело касалось его убеждений. В частной жизни он, наверно, мухи не убил, а здесь, в Чека, немало врагов по его заключению было расстреляно, ибо «логически выходило, что это

необходимо». Раньше он был следователем при ревтрибе, потом его назначили в Чека. Он был суров, непритязателен в быту, крайне сдержан и не позволял никому оказывать давление, застращивать арестованного и — боже упаси — коснуться пальцем. В этом он находил полную поддержку у Пугачева. Он считал, что человек отвечает не только за то, что сам сделал, но и за то, что сделали другие с его ведома, согласия, попустительства, поощрения, не говоря уже о подстрекательстве, и не делал различия между исполнителем и вдохновителем, между вором и скупщиком краденого. Он мечтал о той поре, когда террор сменится открытым, гласным судом, а режим диктатуры — широкой народной демократией. Из помещения Чека следователь выходил крайне редко. Проводил там круглые сутки, смотрел, слушал, записывал в маленькой тетрадке, а ночью, разостлав на столе рваную шинель, чутко спал, бормоча во сне непонятные слова. Однажды его Пугачев спросил:

— Ты что пишешь?

— Да так, для себя... историю записываю. Всему свое оправдание.

— Опять брешешь?

— Как сказать, не совсем... По-моему, тебе интересно будет прочесть лет через десять о красном терроре. Ты их тут небось пострелял, как куропаток?

Пугачев невесело улыбнулся.

— Много, это так. Но с куропатками ты их не сравнивай. Какие они куропатки? Либо мы, либо они, их тысячи, нас миллионы. С нами правда. Если бы мы их не постреляли, нас бы давно в помине не было.

— А ты зачем все сам делаешь? — спросил неожиданно следователь.

Пугачев подумал немного, потом озабоченно сказал:

— Значит, по-твоему, черную работу пускай за тебя другие делают, так, что ли, следователь?

— Нет, этого я не говорю.

— Ну, а тогда никаким делом брезговать не приходится. Это все, брат, революция. — Он считал себя мечом революции, а не слепым ее орудием. Сделай он однажды другой вывод, он пустил бы себе пулю в лоб.

...Пугачев застал следователя за чтением записок. Склонясь над тетрадью, Пришвин изредка хихикал, сохраняя при этом нахмуренный вид.

— Ты что читаешь?

Пришвин повернул к нему лицо и ответил вопросом:

— С Митькой как?

Пугачев прикрыл чернильницу рукой и сказал:

— В городе неспокойно. Сколько времени?

— Четыре. Светать не скоро. — И тревожно добавил: — Ты как?.. Неужто нельзя с ним... ну так, чтобы не на смерть?

Председатель отрицательно покачал головой.

— Счет один ведем, что для партии, что для народа, и ответ держать надо.

— Видишь, — сказал Пришвин нервно, — тут вот записки Панина, интересные, тебе их прочитать стоит. Он и про тебя пишет... «пугачевщина», так и написал.

Сегодня следователь был в «разговорном» настроении и стал развивать перед Пугачевым свои мысли:

— Чему нас учили, Григорий Емельяныч? «Ах, Россия!.. Эх, Расея-матушка... сермяжная, посконная, кондовая...» Слюнявый патриотизм! Уже японец показал, что этой России долго не протянуть. Если бы не Октябрьская революция, быть бы ей вторым Китаем. Но мы свернули шею ее диким правителям и открыли дорогу России...

В дверь просунулась голова.

— Товарищ Пугачев, к прямому проводу из Москвы вызывают.

Председатель встал.

— Ладно, записки прочту. — Он потянулся. — Днем не так усталость забирает. А ночью чувствуется.

8

Была оттепель. Снег стал рыхлым, серым и вытаптывался под ногами, словно белый асфальт. Кое-где на нем проступала желтизна смерти, особенно там, где с крыш падала капель, дырявя снег насквозь, до самой земли. Голые деревья, точно живые, дрожали под зим-

ним чахлым солнцем всеми своими белыми стрижеными ветвями.

Утром заседала коллегия Чека. Говорили отрывисто и кратко. В каждом слове была тревога, ибо там, за Островской заставой, взметала рыхлый снег вражеская конница.

Так же отрывисты и кратки были приговоры. На Митьке задержались немного дольше. Пугачев хриплым голосом говорил о заслугах и молодости Митьки.

Агеев, председатель губисполкома, возражал ему, наклонив голову и копаясь толстыми пальцами в большой своей черной гриве.

— Что говорить, парня жаль, но пощадить его нельзя, — говорил он, слегка картавя и растягивая слова. — В городе слухи разные идут. Все население мобилизовано на фронт, волнуется... Нельзя. Белые в шести верстах.

Пугачев хотел было сказать совсем другое, — ему хотелось сказать о Митьке, спасшем целый полк от гибели, о белой кавалерии, гнавшейся за Митькой по пятам, о своем, близком, как собственное сердце, парнишке, столь отважно дравшемся с бандитами. Но вместо всего этого Пугачев коротко проговорил, морщась, точно у него в горле болело:

— Что ж, товарищи, голоснем!

Днем в городе было тревожно.

К вечеру подморозило, поднялся седой туман.

В каждой подворотне кто-то испуганно шептал о том, что белые близко. Беспрестанно ухала артиллерия, трещали пулеметы. А люди нескончаемой вереницей шли рыть окопы и вооружаться винтовками. Когда зажглись первые огни, блеснув на снегу россыпью блесток и стекла, город, объявленный на осадном положении, притих. Отчетливо и близко рвались снаряды, и винтовочная стрельба отдавалась на железных крышах, точно по ним сыпали горох.

По улицам ходили патрули, зорко всматриваясь в ночную темь. К штабу обороны укрепрайона подходили беспрерывно люди, молча брали оружие и так же молча и сурово шли на шоссе, где гремели пушки.

Мороз пребольно пощипывал.

Неожиданно канонада стихла. Слышно было, как поскрипывают на снегу чьи-то торопливые шаги. Изредка раздавался одинокий выстрел.

Через час снова грянул залп, свирепо затявкал пулемет, и трехдюймовый снаряд ударил в затылок театру. Потом ночь заплыла грохотом, шумом и воплями. Бежали люди. Зажглись костры, вокруг которых прыгали длинные тени. До рассвета не умолкала пальба.

Когда же приползло утро с синей поволокой, на стене штаба обороны появилось печатное обращение:

> «Товарищи и граждане! Рабочие, крестьяне, красноармейцы и все честные люди! Мы оставляем город. Белые банды придут расправляться нагайкой и пулей с народом.
>
> Но мы вернемся, мы придем освободить вас от белых бандитов».

Во второй комнате подвала сидели Пришвин и Сверлов. Матрос сплевывал большие сгустки черных мокрот. Руки его посинели от холода. Следователь жался в своей рваной шинели.

Тут же красноармейцы, немилосердно матюкаясь «в бога и всех апостолов», курили и дули себе на руки; потом они начинали приплясывать, отогревая стынущие ноги.

В первом часу ночи приехал Пугачев с заседания совета обороны. Молчаливый, он прошел во вторую комнату подвала, стены которой побелели от времени и засохших человеческих мозгов. Не проронив ни звука, он простоял, созерцая мглу, минут пять. Думал он о том, что город, очевидно, придется сдать, что нужно скорей все кончить и отправиться в окопы и что надо напоследок увидеть Митьку. Неизбежность падения города переплелась в его мозгу с гибелью Митьки, более того, гибель Митьки стала признаком неотвратимого падения города. Пугачев вспомнил о Панине, но этот человек более не вызывал в его душе ни вражды, ни злобы, ни жалости.

— Через час, — сказал Пугачев следователю, — выступишь с отрядом на Землянское шоссе. Ты, кажется, был офицером?

— Нет, вольноопределяющимся.
— Но командовать сумеешь?
— Постараюсь.

Ввели Митьку. Он виновато взглянул на Пришвина и потупился. Сверлов протянул ему стакан спирта:

— Выпей!

Но Митька отодвинул от себя протянутый стакан. Матрос не настаивал и сам тоже не стал пить.

— Прощай! — сказал он, вдруг обнял осужденного и поцеловал. Поцелуй вышел громкий, с таким звуком, точно пробка вырвалась из горлышка бутылки.

Пришвин безмолвно подал Митьке руку, Митька пожал ее и коряво улыбнулся. Пришвин круто отвернулся и пошел прочь. У него вздрагивали плечи.

Митька переступил роковой порог. Было полутемно. Он ощутил сырость всем телом, словно его бросили в груду мокрого белья. Он оглядел подвал, потянул носом сырой воздух и вдруг совсем по-ребячески засмеялся.

— Здесь я разменял тридцать человек, — сказал он, кривя рот, — а теперь меня... И поделом! — Лицо его покрылось робкой тенью, а на лбу собрались морщины.

Вошли красноармейцы. Пугачев, все время молчавший, выступил вперед.

— Может, ты чего хочешь? Последнее свое скажи!

Митька задумался, у рта его легла глубокая складка, знак страдания и скорби. Он потер лоб тыльной стороной руки.

— Последнее?.. — переспросил он. — Нет у меня последнего.

Он двинулся к стене, отсчитывая про себя количество шагов. Не доходя на полшага, он быстро обернулся и опустил руки.

Лица были в сумраке туманными, больными от бессонницы, усталости и тревоги. Какой-то красноармеец все время вытирал потный лоб. Митька заметил, что у того на глазу растет ячмень. Он зажмурился, желая себе представить красноармейца без этого ячменя. Но увидел тину, а в ней старуху мать, Лидку Карпову, расстрелянную позавчера, Пришвина, читающего записки Панина, и блестящий кольт.

Он широко открыл глаза, в них отразился страх.

— Товарищ Пугачев, — сказал он, — дайте покурить!

Пугачев долго рылся в кармане, вытянул помятую кожаную табачницу, открыл ее и протянул Митьке. Приговоренный никак не мог взяться за кончик папиросы. Наконец достал ее, помял в пальцах курево. Пугачев зажег спичку, которая долго не разгоралась. Синий, смрадный огонек потухал. В конце концов спичка разгорелась, и в свете ее Пугачев увидел как бы сошедшие с лица глаза, полные ужаса. Он отбросил догоревшую спичку, прижегшую ему палец. Огонек на сырой земле еще несколько секунд упрямо боролся за жизнь, но посинел и погас.

Митька сделал затяжку, затем другую, втянул в себя дым со вздохом наслаждения. Все молча и мучительно старались не глядеть на него, но невольно, исподтишка посматривали. А Митька курил.

Здесь всегда расстреливали поспешно, без слов, без лишних жестов, а как-то скупо, расчетливо и чаще всего в затылок, чтобы человек не мучился. Оттого гримасы смерти с их страшной неожиданностью редко заглядывали в это сырое, затхлое подземелье. Но теперь пауза, заполненная короткими вздохами Митьки, затягивавшегося табачным дымом, и эта тишина и молчание, когда, казалось, останавливаются в тишине и перестают биться сердца людей, — все это напоминало о смерти и даже было выражением самой смерти, которая витала над всеми, выступала из всех глаз, лежала на всех лицах, стояла у Митьки за спиной.

А он все курил и улыбался.

Пугачев рассматривал высокие охотничьи сапоги Митьки и вспоминал, что год назад он видел эти же сапоги на ногах у Митьки, уткнувшегося усталым лицом в пахучий лесной мох. А Пугачев сидел над ним и стерег его покой и сон.

Красноармеец приложил палец к носу и робко высморкался. Этот звук как бы пробудил Митьку.

В папиросе оставалось еще на две-три затяжки. Митька поднес было ко рту пожелтевший окурок, вдруг зло отшвырнул его.

— Черт с ним, все равно... еще две затяжки только ведь, — сказал он, посмотрел на столпившихся людей, решительно выпрямился и бросил руки по швам. — Готово!

Молчание назрело, как нарыв, который вот-вот прорвет. Пугачев сказал:

— Руку положи на сердце, чтобы я... не того, Митька!

Приговоренный кивнул головой. Он положил руку на сердце, прислушался к его биению.

«Долго еще стучать будет?» — подумал он вопросительно. Рука лежала на левом боку спокойно, а в глазах Митьки недавний страх сменился печалью. И только брови страдальчески и удивленно приподнялись.

Пугачев поднял револьвер. Взор его медленно спустился с лица приговоренного на грудь его, на побледневшую узкую руку, которая заметно дрогнула и передвинулась чуть ниже сердца. И рука Пугачева тоже дрогнула.

Митька считал удары своего сердца, они были такие сильные и громкие, что казалось — их слышат все: семнадцать, восемнадцать, девятнадцать...

Митька почувствовал резкий толчок в грудь и тотчас услыхал выстрел. Он ударился затылком о стену, как-то весь грузно и мешковато обвис и упал на бок. Он увидел цифру 20, потом 21 и, наконец, 22 с оборванным хвостиком во второй двойке. Больше он ничего не увидел.

В дыму стоял Пугачев, опустив низко голову, и тупо разглядывал маленькую беленькую дырочку на брюках Митьки, немного повыше края сапога. У него было такое чувство, будто он пробил себе сердце.

Пришвин взглянул на привалившийся к стене труп, голова которого сонно и устало свесилась на грудь, и тягостно и больно отвернулся. Шея его вдруг удивленно вытянулась.

«Черт возьми, — сказал он себе, — окурок-то не погас...» — и наступил ногой на еще тлевшую искру.

Пугачев тяжело, как бык, давя земляной пол, покинул помещение.

9

Графа Панина втащили на руках двое красноармейцев. Он упирался, отбивался, кричал. Через двор он прошел спокойно и гордо. В дверях подвала, обитых войлоком, у него подогнулись колени. Дрожь в ногах не прекращалась до самого конца. Панин остановился. Ему было бесконечно жутко сделать хоть еще один шаг, переступить порог.

Он еще видел темное небо, усеянное звездами, и слышал, как по-зимнему гудит телеграфный столб. И небо, и столб, и хмурая крыша соседнего дома были несказанно близкими и родными.

Панин вдруг ощутил смерть всем своим старым телом, покрывшимся ледяной испариной. Тогда он вцепился в толстый волосатый войлок на двери и начал рычать и кусаться.

Красноармейцам с трудом удалось оторвать его от двери лишь с кусками войлока, застрявшими у него меж пальцев. Почуяв холод и сырость подземелья, он притих и оглянулся в последний раз. В щель приоткрытой двери он снова увидел разбросанные в небе звезды. Где-то кошка заплакала, совсем как ребенок.

Тогда Панин укусил красноармейца за руку. Конвоир крякнул, рванул руку, ударил Панина локтем в нос. В глазах осужденного поплыли красные круги, точно на него накинули кровавую повязку.

На мгновение он затих, увидев Пугачева, но в следующий миг опять стал с чисто звериной силой вырываться из рук конвойных, с воплем бросился на землю ничком, зажимая в кулаке волосатый, колючий клок теплого войлока.

— А-а-а-а!.. — выл он однотонно и страшно.

Пугачев подошел к нему, приказал красноармейцам отойти, склонился над Паниным и сказал:

— Вас не тронут. Вы свободны!

Красноармейцы выполнили его приказ и шагнули к дверям, а следователь Пришвин заморгал глазами, как застигнутая внезапным светом сова, и протянул:

— О-о!..

Пугачев повторил:

— Вы свободны, Панин! Уходите отсюда. Живо!

Сперва прекратился вой, и только редкие всхлипывания еще тревожили тишину, потом Панин поднял голову, безумно оглянулся по сторонам, отполз назад и тихо спросил:

— Я жив?.. — Он вскочил и крикнул: — Я жив! — Он рванул на себе волосы, и тотчас погладил заболевшее место на голове, и рассмеялся. — Жив, правда, да?.. Господи! Жив, жив!..

Взъерошенный, с блестящими глазами, смеясь и шатаясь, попятился он к выходу.

— Выведите его на улицу, — сказал Пугачев.

Панин испытующе посмотрел на председателя, потом на следователя и Сверлова.

— Идем, гражданин! — сказал Сверлов, беря его за локоть.

Панин побледнел, шарахнулся от него.

— Не сметь! Не трогать!

Вдруг повернулся и кинулся бегом к выходу.

Пуля настигла его у дверей. Одну ногу он уже занес было за порог. После выстрела он еще несколько секунд стоял, покачиваясь, удивленный, не понимая, что с ним случилось. Рука его скользнула вниз, точно оторвалась от плеча. И он как бы упал за ней следом на бок и покатился по ступенькам.

Пугачев опустил револьвер.

— Расстрелять, но не мучить. Лишней пытки не нужно... мы же не палачи.

Пришвин, всегда спокойный, сдержанный, подскочил к нему и, как бы обрызгав слова каплями слюны, закричал:

— Это и есть пытка...

— Разве? — удивился Пугачев. — А ты чего хотел бы? Допрежь смерти пусть на нее вдосталь насмотрится? И мне, что ль, позабавиться, глядя на него?.. Что ты, следователь! Человек умер успокоенный. Погляди на его лицо... — сказал Пугачев печально.

Действительно, лицо Панина было радостное, светлое, с открытыми, еще не потускневшими глазами, овеянное миражем жизни и свободы. А на пальцах висели клочья волосатого войлока. Лежал Панин грузно;

в свете тусклой, безжизненной лампы видно было, как на щеку Панина упала и поползла сорвавшаяся с потолка мерзлая капля воды.

Пришвин покрутил головой, словно ему воротник сдавил шею, потом сказал:

— Может, это и впрямь милость с твоей стороны... Кто знает. — Он пожал плечами.— Ладно,— добавил он в раздумье, — надо идти на шоссе.

Пугачев поднялся к себе домой. Клавдии Антоновны и Петьки уже там не было. Они сидели в последнем отходящем поезде. Пугачев вынул из столика князей Тугоуховых «Историю Пугачевского бунта», подержал книжку в руке, словно взвешивал, и бросил обратно в ящик.

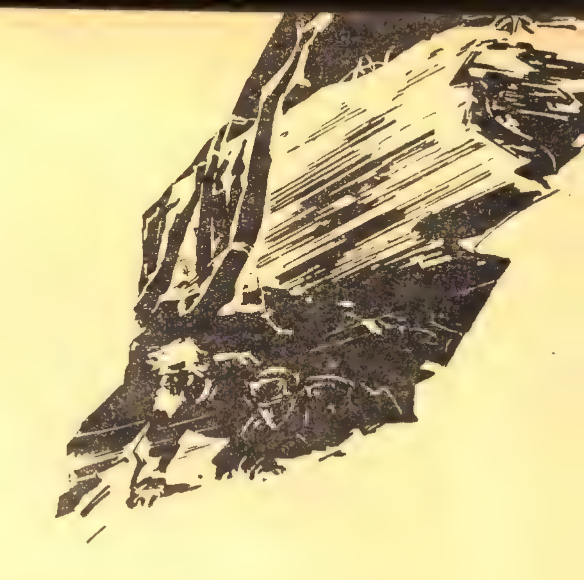
В комнате было холодно, пустынно. Устало бродила одинокая тень по стене. Тягучий зимний рассвет как бы запутался в оконном переплете, навевая усталость и сон.

Пугачев вдруг увидел забытый сыном альбом марок. Пугачев долго не понимал мальчишеской страсти — собирать марки. Но это занятие, видимо, изощряло ум и воображение мальчика, не было такой страны, где не побывала бы его фантазия. И в редкие минуты отдыха, когда Пугачев замечал сына, Петька сперва боязливо, а потом все смелее и смелее рассказывал отцу про далекие страны с чудными названиями...

Пугачев тряхнул головой, бережно подобрал альбом и сунул его в ящик вместе с «Историей Пугачевского бунта».

Было очень тихо. Он взял винтовку и, не оглядываясь, вышел на улицу. Потом широким, твердым, размеренным шагом отправился на Землянское шоссе, мимо больших башенных часов с погасшим циферблатом и без стрелок.

1925—1962



СТРАНИЦЫ ВЕРНОСТИ

МАЛЕНЬКИЙ РОМАН

Память человеческая — инструмент несовершенный. Теперь это путешествие кажется мне фантастичным.

А. Варяжский,
«Мои путешествия».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ
САНИТАРНЫЙ ПОЕЗД ИДЕТ НА ЮГ

Весной 1921 года врачи направили меня в Крым. У меня подозревали туберкулез колена. Я слегка прихрамывал. Я еще не сбросил красноармейской шинели, пропитанной окопной землей, и высоких кавалерийских сапог.

Мне было двадцать лет. Чудесная пора! Голос громкий, легкие здоровые, ноги быстрые, руки сильные, хватаешься за любую тяжесть, не боясь надорваться, и кажешься самому себе по крайней мере в три раза больше. Со временем начинаешь видеть свои настоящие размеры.

По профессии я был журналист. В лихой двадцатый год, будучи в рейде со Второй Конной армией, я, почти не слезая с седла, выпускал газетенку, размером с писчий лист, но такую воинственную, что известный генерал Слащев пообещался, попадись я ему в лапы, незамедлительно вздернуть меня.

Свои статейки я подписывал «Лев Красный». Этот псевдоним закрепился за мной, и теперь мало кто знал мою настоящую фамилию — Озарнин, Лев Львович Озарнин, или «Левка в квадрате», как прозвали меня с гимназических лет.

Санитарный поезд с первыми советскими курортниками ждал отправления.

Апрельский день был сырой и ветреный, в воздухе пахло крепким настоем из прошлогодних трав, талой земли, ржавых дубовых листьев, быстро облетавших перед тем, как дубу пойти в новый лист. Этот запах весны освежал, пробуждая в душе грустную нежность, когда ты готов обнять весь мир, хотя бы в виде одной только девушки.

Без особого интереса наблюдал я чужие проводы, слоняясь по мокрой платформе, вдоль темно-зеленых выцветших вагонов с окнами в двойных рамах, частью застекленных, а частью забитых фанерой. Вдруг меня окликнул знакомый мне актер-любитель по фамилии Саронов, представительный мужчина, выбритый до синевы, в широком пальто-реглан и широкополой черной фетровой шляпе. В те годы такие шляпы носили артисты и художники.

— Товарищ Красный, — сказал он своим приятным низким голосом, — вы, кажется, тоже едете? Позвольте вас познакомить. Моя жена, Анастасия Федоровна. Ехать вам долго. Уж вы, товарищ Красный, приглядите за ней на правах земляка.

Его безобидное и, в сущности, заботливое обращение ко мне почему-то смутило и раздосадовало его жену, молодую женщину с кудрявой головой и очень живыми карими глазами. Она вдруг вся зарделась, у нее покраснели лицо, шея, руки. Право, я никогда не видел, чтобы так краснели — чуть ли не до кончиков пальцев.

— Но это очень обременительно, Виталий! Присматривать за такой великовозрастной крошкой... — сказала она с оттенком иронии и недовольства в голосе.

— Нет, что вы, напротив, это нисколько меня не затруднит, — сказал я шутливо. — Я постараюсь вы-

полнить поручение вашего мужа с предельной аккуратностью.

Она посмотрела на меня, чуть сощурив свои веселые и лукавые глаза, в которых я прочитал удивление и настороженность.

«Черт возьми, — подумал я, — неужто она всерьез решила, что я согласен на роль Цербера при ней? Вот дура!»

Тут на платформе появился мой друг Борис Хижинский, распаренный от быстрой ходьбы, со связкой книжек под мышкой.

Глуховатый после тифа и оттого стеснительный и застенчивый, он увлек меня подальше от четы Сароновых. Театральный завсегдатай, он хорошо знал Виталия Саронова, который не без успеха подвизался в местной драме, продолжая в то же время служить в скромной должности бухгалтера в губсовнархозе. Искусство в ту пору кормило плохо, а Саронов, очевидно, предпочитал реальные пайки голодной славе Мельпомены.

Что касается Анастасии Федоровны, или Аси, как ее все называли, то о ней Борис был гораздо менее осведомлен.

— Хорошенькая женщина — и, кажется, больше ничего, — заявил он с добродушной улыбкой на длинном лице и причмокнул мясистыми, толстыми губами. — Я тут тебе книжки принес. В дороге пригодятся. На, возьми! Не знаю, угодил ли твоему вкусу, но я старался.

Милый Борис! Как часто выручал он меня в житейских трудностях! Бывало, продукты ли достать у военного коменданта, найти ли ночлег на марше — все сделает Борис, и притом без лишних слов.

Мы прошли с ним бок о бок по фронтам гражданской войны, пока его не свалил сыпняк. Десять суток я не сомкнул над ним глаз, слушая ночами его темный бред, наполненный страшными видениями и лирическими стихами. А когда миновал кризис, я вывез его из опасной зоны на тачанке, отбитой у махновцев. Он был слаб, как слепой щенок.

В дружбе, как и в любви, нет равенства, одна сто-

рона всегда менее эгоистична и более уступчива. Я всегда чувствовал себя в долгу у Бориса.

Изменчива апрельская погода: то вынырнет солнце, то скроется среди бегущих белых облаков, чуть пронизанных, особенно по краям, серебристым светом. И сразу станет пасмурно и скучно. А то вдруг потянет ледяным ветерком, и в воздухе запляшет, закружится редкий снежок, растворяясь на мокрой земле.

Я вскочил на подножку тронувшегося вагона. Саронова стояла на площадке, а муж шел рядом с медленно катившимся вагоном и говорил:

— Смотри за собой, Асенька, береги себя. Будь осторожна. Пиши.

Она молча кивала головой, в глазах ее блестели слезы.

Поезд набирал скорость. Саронов понемногу отстал, помахивая своей артистической шляпой. Потом платформа кончилась, и он исчез, напоследок улыбнувшись жене заботливой и нежной улыбкой.

Держась за поручни обеими руками, Саронова высунулась вперед. С поворота вновь открылась платформа, на краю которой как-то особняком стоял Саронов с непокрытой головой. Было что-то в его одинокой фигуре сиротливое и унылое.

Прошумели деревья с набухающими почками, шелестя повалили назад, и солнце, выскочив из-за облаков, залило слепящим блеском городские купола и вышки, исчезнувшие в тумане, как только солнце скрылось. С полей подуло жгучим и острым ветром, и белые клубы паровозного дыма окатили березняк, который потом как бы отряхался с живостью огромной белой собаки, вылезшей из воды.

Саронова отодвинулась в глубь площадки, поправляя растрепавшиеся кудри. И словно только сейчас увидела меня. А я висел на последней ступеньке подножки и даже подался в сторону, чтобы не мешать ей проститься с мужем. В лице ее изобразилось изумление.

— А вы, я вижу, уже приступили к исполнению своих обязанностей, — сказала она, сложив свои полные и яркие губы в презрительную гримасу.

Я был в недоумении.

— Какие, простите, обязанности вы имеете в виду? — спросил я, поднимаясь на площадку и становясь рядом с ней.

— Какие? А какие вам больше по вкусу — поклонника или стража, я не знаю. Вы, кажется, обещали присматривать за мной?

Мне и в голову не пришло, что она всерьез приняла мой разговор с ее мужем.

— Ах, вот что! — отвечал я. — А я совсем забыл. Но вы не беспокойтесь, я не очень строг. Для поклонника я, правда, слишком ленив, а для стража слишком рассеян.

— Это что же, ни богу свечка, ни черту кочерга? — И, рассмеявшись, ушла в вагон.

Наша взаимная неприязнь усилилась после ее странной и дерзкой выходки. Вечером, когда обитатели вагона собрались, чтобы как-нибудь скоротать долгие весенние сумерки, она вдруг во всеуслышание объявила, что ее муж поручил, мол, товарищу Красному приглядывать за ней, поэтому она без моего ведома и разрешения, дескать, никаких ухаживаний принимать не смеет.

Эта шутка показалась мне обидной, тем более что кто-то принял ее за чистую монету.

Я стал избегать Саронову. Я даже помышлял о том, не перебраться ли мне в другой вагон.

Но Саронова перестала обращать на меня внимание. Ей было не до меня, ей было тоскливо. Она спасалась от тоски, проводя большую часть дня за книгой.

Вот когда пригодилась та связка книг, которой снабдил меня в дорогу Борис.

Тут были стихи Демьяна Бедного и томик Блока, «Андрон Непутевый» Неверова, если память не обманывает меня, и «Манон Леско» Прево, «Письма Давида», живописца и якобинца, вышедшая повторным изданием книжка шлиссельбуржца Николая Морозова «Откровение в грозу и бурю».

Саронова не захотела обратиться прямо ко мне и прибегла к посреднику. Но, прочитав «Манон Леско» при свете плошки, она наутро поблагодарила меня и

даже высказала свое осуждение «этой легкомысленной и ветреной девке, не стоившей такой большой любви».

Признаться, мне не хотелось ввязываться в спор. Я помнил ее колкости, действовавшие как ожог крапивы. Все же я невольно вступился за бедняжку Манон, чьи несчастья и страдания были чрезмерны.

— Но она сама виновата,— настаивала Саронова.— Эта смазливая потаскушка испортила жизнь кавалеру де Грие, она погубила его. Как женщина, она была опытнее его. Но верность и постоянство ей были несвойственны...

— Если уж на то пошло, — возразил я, — то кавалер больше виноват. Манон была молода и доверчива, а он эгоистичен и легковесен. Она была совсем девочка, он мог лепить ее, как хотел. Он получил воспитание в семье, где внебрачная связь почиталась развратом. Таков был тогдашний век. Зачем же де Грие сделал ее своей любовницей? Единственное преступление этой чудесной Маруси заключалось в том, что она слишком любила жизнь. А кавалер оказался чересчур покладистым и терпеливым. Хорош был гусь, шулер и сутенер...

Я чувствовал, что придирчив и несправедлив в своей неумной морализации. Кавалер де Грие был достоин жалости и участия. Увы, он был рабом своего сердца, в котором не осталось уголка, не занятого Манон.

Но мне приятно было говорить Сароновой то, что было ей неприятно. Я видел по ее пылающему лицу, что сейчас она задаст мне жару. Тогда я вдруг вспомнил другую трагическую историю — историю «Дамы с камелиями», в которой губительную роль сыграли предрассудки.

Этой книжки Дюма-сына Саронова и вовсе не читала. Зато она отлично помнила «Травиату» Верди и даже тихо пропела первые две строчки из горестного дуэта:

Покинем край мы, где так страдали,
Где все полно былой печали...

У нее был хороший и от природы поставленный голос.

Потом она задумчиво сказала:

— Это ужасно, когда люди вмешиваются в дела двух сердец.

— Но дела двух сердец чаще всего задевают третье, — отвечал я, тронутый ее наивностью. — И потом общество, государство, а в буржуазных странах и церковь, они все заинтересованы в таких делах. Это называется проблемы семьи и брака. — И я произнес целый панегирик свободной, независимой, бесстрашной любви, которую революция освободила из-под власти условностей и предрассудков. Я вдруг смутился этой неожиданной вырвавшейся у меня довольно выспренной тирадой и замолчал.

Мы стояли в конце коридора у окошка. Неровная поверхность оконного стекла в узлах и бугорках преломляла мир криво и уродливо, как на жестоких детских рисунках. Береза с необычайно вытянутым стволом и утолщением книзу казалась исполином, подогнувшим узловатое колено. А дым выходил из печной трубы гигантскими зигзагами.

Мимо проплывали черные поля, с которых апрельский ветер уже согнал снег, коричневые полосы свежей вспашки, над которыми курился ранний утренний туман.

Поезд шел, погромыхивая на стыках рельсов и замедляя ход на временных деревянных мостах, рядом с которыми свесились в воду у каменных быков взорванные железные каркасы.

Повсюду виднелись следы войны: разрушенные водокачки, разбитые вагоны, мертвые паровозы, легкие окопы, огромные кучи колючей ржавой проволоки, напоминающие гигантских ежей, которые как бы охраняли доступ в заколдованные города, где не дымили фабричные трубы, дома были облуплены, витрины забиты, мостовые разворочены в уличных боях...

Глядя на эти разрушения из окна поезда, пересекавшего губернию за губернией, мы вспоминали вчерашние годы гражданской войны.

— Вы, я слышала, были на войне, — сказала Саронова. — Вы, наверно, немало повидали и можете многое рассказать?

Я был в затруднении, не зная, что рассказывать. Вдруг вспомнил казака из Конной армии, который обучал меня искусству рубки. Одним махом он сносил головы чуть ли не десятку подсолнухов. У меня не получалось, застревал клинок в первом же подсолнухе. Учитель мой был нравом крут, он пригрозил зарубить меня на месте, ежели я промахнусь еще хоть раз. Мне стоило больших усилий обратить все в шутку. «Нет, со мной шутки коротки! — кричал сердитый сумасброд. — Рубай, рубай, говорят тебе...»

Саронова весело смеялась, нежась и щуря слегка свои сияющие глаза под теплыми лучами весеннего солнца.

ГЛАВА ВТОРАЯ
ЛЮДИ НАШЕГО ВАГОНА

Санитарный поезд с кухней, баней и медперсоналом шел от города к городу, собирая курортников по разверстке. Нас кормили три раза в день вареной говядиной и лапшой в разных видах. На больших станциях мы старались пополнить наш скудный и однообразный рацион, меняя на продукты припасенные для этой цели вещи. Из административной предусмотрительности казенные алюминиевые ложки были продырявлены. Все же к концу путешествия оказалась недостача доброй сотни ложек.

У меня, кроме волчьего аппетита, ничего не было. Меня подкармливал старый рабочий Егорушкин, заботливый и добрый человек с испитым лицом язвенника. Бедняжка, он ехал совсем не туда, куда надо. Он совал мне «бутыльброды» и сердился, если я отказывался.

— Бери, коль дают. Как говорится, бьют — беги, а дают — бери! Пролетарьят от себя отрывает. Ты молодой, тебе много нужно. Небось наголодался?

— Да нет, Василий Кузьмич, я в армии был.

— Тем более. Значит, фронтовик, значит, заслуги имеешь перед мировой революцией. Поди, ранен?

— Нет, контузило меня под Уральском.

— Тем более. Любой раны хуже. Не спорь! Знаю. У меня вон родной брат, Дмитрий Кузьмич, рядовой

Привислинского полка, вернулся с империалистической вроде целый и невредимый. А по прошествии двух лет глаз у него ослеп. Теперь другой гаснет. Тоже контузия. Ты ешь, товарищ Красный, не митингуй, ешь на доброе здоровье. Сало-то, гляди, какое, ровно заря. — Его бледно-серые щеки с огрубевшей от жара плавильных печей кожей, на которой волос рос плохо и кустиками, покрывались легким румянцем.

Что привлекало Егорушкина ко мне? Быть может, Василий Кузьмич просто не мог жить без того, чтобы о ком-нибудь не заботиться. Своей семьи у него никогда не было, он был холост и помогал семье брата.

— Понимаешь, — говорил он мне, — поставить бы племянников на ноги. В люди вывести. Двое их, орлы. Это ведь не то, что в чужой дом пошел чужое дитя растить. Своя кровь. А братнина жена — что она может? Ей цена известная — где постирать, где пол помыть... Много ли проку! Да вот беда, здоровье мое сдает, — вздыхал он. — И то сказать — двадцать лет без передышки, машина и та изнашивается. А работа моя вредная — сталевар, понимаешь! За смену семь потов с тебя сгонит. А молодой был, — сказал он, оживляясь, — думал, силе моей износу не будет. Эх, милый, девки льнули. А поди ж ты, остался бобылем. Почему, спросишь? Изволь, скажу. Была одна — пригожая, бойкая и ласковая. Машиной голову ей задело. Царствие ей небесное!

Я смотрел на него и никак не мог себе представить молодым это изможденное, в плешинах, отмеченное недугом лицо. И от этого мне становилось грустно. Егорушкину не было сорока, а хлебнул горя, по его выражению, никакой слон на спине не унесет. Он участвовал в стачках и забастовках, попробовал казацкой нагайки и тюремной похлебки в революцию 1905 года.

По вечерам при свете плошек мы устраивали любительские концерты.

Поезд быстро катил под уклон, занося на поворотах, далеко и глухо трубил паровоз, а в черных окнах, отливая желтым тусклым блеском, подрагивали огоньки плошек и, точно в воде, покачивались отражения голов, свесившихся с верхних полок.

Тоненькая, остроносая Адель, делопроизводительница какого-то губкомтруда, сама никакими талантами не блистала. С появлением луны она уходила на площадку «романсоваться», как она говорила, с Костей Костиным, чернявым, быстроглазым, шельмоватым малым в синих диагоналевых офицерских галифе с малиновым кантом. Зато, когда луны не было, Адель охотно отпускала своего «романсеро» в общественное пользование.

А он превосходно играл на гитаре, пел с надрывом цыганские романсы, а на бис исполнял Вертинского картаво и нежно. Это был шутник, острослов, но шутки его были грубоваты, остроты двусмысленны, анекдоты скабрезны. Мы выпускали газету «В пути» на листах большого блокнота. Из его газетных заметок приходилось тщательно вытравлять дух пошлости и зубоскальства. А по ночам он во сне водил свой эскадрон в атаку и так кричал и ругался, что будил и пугал соседей.

Девятнадцатилетняя Вика, московская студентка, несколько старомодно читала Никитина и Надсона. Все в этой девушке было необычно, начиная с имени — Виктория — и кончая удивительным сочетанием огненно-рыжих искристых волос, бело-розовой чистой кожи без единой веснушки и родинки, темно-синих глаз. Ее овальное лицо нельзя было назвать красивым, но оно было одухотворено, как у Паганини. Она носила на левой ноге резиновый наколенник и едва заметно прихрамывала.

Саронова тоже не жеманилась, а с чувством и очень музыкально пела романсы Глинки. Ей вторил плавным баритоном высокий, стройный, веснушчатый Вениамин Берг, не расстававшийся с костылями.

В девятнадцатом году, будучи в подполье, как потом я узнал, он попался деникинской контрразведке. Его пытали. Он чудом уцелел. Его спасли ворвавшиеся красные части. Теперь он возлагал большие надежды на сакские грязи. Он был малоподвижен и уделял все свое время газете. А газетенка была веселая и задорная, читать ее приходили из других вагонов, у нее уже были свои рабкоры.

Моя роль в этих самодеятельных концертах была чисто просветительская. И если мои доклады о «международном и внутреннем положении» не отличались свежестью и новизной, то все же они обладали неоспоримым достоинством — краткостью.

Иногда разгорались споры, чаще всего о религии, волновавшей в ту пору одинаково и наивные сердца и изощренные умы.

Лысый Поляков, санитарный врач, которого все звали доктор, страдал тромбофлебитом — закупоркой вен на ноге. Она у него распухла и достигла устрашающего обхвата. На каждом шагу Поляков подчеркивал, что он человек русский, православный, верующий, что зовут его Иван Ермилович. Газет он не читал вовсе, надеясь узнать о событиях революции этак через двадцать пять лет, из книг. А пока что был занят решением чрезвычайной богословской проблемы.

— Ежели, — говорил он с ученым видом, — удастся искусственно оплодотворить женщину, то тем самым будет разрешена одна из самых древних и самых жгучих загадок — о непорочном зачатии святой девы Марии.

Я горячился:

— Оттого, что мы сегодня пользуемся электрическим светом, вчерашний день светлее не станет. И если мы со временем полетим на Марс, то от этого наш воздушный потолок сегодня тоже выше не будет.

— Напрасно вы так, молодой человек, — поучал меня Поляков. — Электричество люди знали и в древности. И летать они тоже летали, только одни — в образе ангелов, другие — в обличии демонов.

Тут Василий Кузьмич вставил и свое словечко: дескать, бог с ней, со святой девой Марией, и с ангелами тоже, не для того большевики революцию делали и нечего, стало быть, задурманивать простым людям мозги.

— Религия — это опиум для народа, — повторил он под конец известные слова.

На это Поляков с высокомерной образованностью возразил:

— В религии, как и в математике, существуют аксиомы, голубчик! Но тогда как в математике они неопровержимы, в религии недоказуемы. Их надо принимать на веру. А сомнения ведут прямой дорогой в ад.

Василий Кузьмич растерянно моргал глазами, не понимая туманной речи Полякова. Я собрался было резко отчитать доктора, но меня предупредил Костя Костин.

— Эй ты, недобиток! — крикнул он. — С твоей рожей да на суд божий — скажут, задом пятишься.

Грохнул хохот. Поляков багрово покраснел, он пытался что-то сказать, но его не слушали, а смеялись над ним. К вечеру он проковылял в другой вагон.

— Видать птицу по полету. Он кто? Кто не работает, тот не ест — вот он кто. И как затесался в наши ряды, стрикулист паршивый? — произнес Егорушкин свой сердитый приговор.

А Саронова сказала мне насмешливо:

— Сдался же вам этот остолоп. Охота вам тратить на него столько живого темперамента! Господи! И чем вы занимаетесь? Вы бы лучше прислушались к нежным вздохам такой красивой девушки, как Вика. Вы что, глухой? Вы воинственный задира! Право, можно подумать, что для вас еще не кончилась гражданская война.

— А разве она для кого-нибудь кончилась? Она еще долго будет продолжаться, только в других формах.

— Что значит долго? Год-два?

Меня рассмешила ее наивность.

— Не знаю. Я не пророк. Возможно, несколько десятилетий.

— Как десятилетий?! — воскликнула она с неподдельным ужасом. — И мы будем жить на пшенной каше и жмыхе?..

— Если понадобится. Мировая революция не может быть втиснута в сроки, как в рамки.

— Какой фанатик! — сказала она с удивлением.

Мы сидели с ней на площадке в дверях, вдыхая аромат ночных полей, по которым катились пронизанные искрами клубы паровозного дыма, пахнущего антрацитом.

Серебристые силуэты едва распустившихся берез вставали в лунном свете на косогоре, отбрасывая длинные тени. Березы казались необыкновенно высокими, точно одна взобралась на плечи другой и подпирала вершиной небосвод.

Поезд медленно поднимался в гору, слышно было, как пыхтит паровоз, заглушая щелканье соловья. Певец было пустил долгую трель, но оборвал и снова защелкал, как бы прочищая, настраивая и пробуя голос.

Мне вдруг вспомнилась такая же светлая ночь в уральской степи, когда я лежал, оглушенный взрывом, засыпанный землей, беспомощный, с тусклым сознанием. А надо мной кружилось темное небо, в котором звезды играли в догонялки.

Мои воспоминания, видимо, тронули Саронову, она молча, без слов потрепала меня по волосам. Вдруг заговорила со всеми повадками заправской свахи:

— Черт побери! А почему бы вам не поухаживать за Викой? Прелестная девчонка! А какие глаза? Озера! А эти медные волосы... Вы слепой. Будь я на вашем месте, я бы давно влюбилась в такую красотку. А что чуточку хромоножка, господи, так ведь и вы тоже не лорд Байрон... И лицом не ахти — скуластый, широкоротый, толстоносый, и лоб большой, а подбородок маленький... Одно только хорошо—волосы вьются как стружки, и глаза, пожалуй, тоже... грустные и добрые.

Непонятная боль сдавила мне сердце. «Она смеется надо мной», — сказал я себе с горечью.

— Право, вы несовременный молодой человек, — продолжала она, откидывая назад кудрявую голову и поблескивая в сумраке зубами. — Нет. Вы прямо-таки взяты напрокат из девятнадцатого столетия. То-то вы способны обливаться слезами над участью какой-нибудь ветреницы Манон или грешной Виолетты — она упорно называла так Маргариту Готье. — А вы лучше поглядите, с какой быстротой идет «романсование» у Адели с Костей. На всех парах, быстрее, чем наш экспресс. — Она засмеялась своим заливчатым и не совсем естественным смехом. — А что касается меня, то я скромница, как видите, я постница даже в своих снах,

великодушный поверенный моего благоверного! Единственный человек, с которым я согласна завести шашни, — это машинист, чтобы поскорее вез. Не то я зачахну и умру со скуки, не доезжая Харькова. — Она вдруг встала и ушла в вагон, оставив меня в смятении.

Внезапно меня словно прорвало, я разразился патетическим монологом, обращаясь к ней, хотя на площадке, кроме меня и ветра, никого не было. Речь моя была совершенно в духе своего времени, с митинговым пафосом и громом.

— Да, вы правы, — говорил я, — я неопытный юнец, над которым не грех и посмеяться. Что я знаю? Со школьной скамьи да прямо на войну. Курс университетских наук прошел я в окопах и теплушках. Но я усвоил истину: современный молодой человек кровью оплатил свое право именоваться сыном века. Он чужд корысти, эгоизму, себялюбию, он предан революции и озабочен будущим угнетенного человечества, он ни во что не ставит свои личные интересы. Кто этого не понимает, тот ничего не понимает в идеях современности...

Тут я услыхал голос Вики. Я сразу узнал этот насмешливый, игривый, кокетливый голос.

— Браво! Браво! С кем это вы разговариваете? С ветром? С луной?

— С собой. Я просто думал вслух.

Вика стояла в дверях с перекинутым через плечо полотенцем.

— В детстве я тоже любила думать вслух, — сказала она. — Я болтала с куклами, животными и даже с неодушевленными предметами. Теперь я предпочитаю думать про себя. Бьюсь об заклад, что вы ни за что не отгадаете, о чем я сейчас думаю. А я думаю о том, что вы очень невежливый товарищ. Я стою, а вы сидите. Ну, ну, не вставайте! Я сяду рядом. Только вы подвиньтесь немножко.

Она опустилась возле меня, натянув на колени платье. От нее пахло мылом и водой. А из-под косынки выбились влажные пряди, блестя в лунном свете.

Мимо нас пробегала светлая ночь, в которой, слов-

но в гигантском водоеме, купались, ныряли, плавали золотистые облака, прозрачные перелески, черные кустарники, тени которых лежали на поверхности этого водоема, как исполинские лопухи.

— Какая волшебная ночь. А сна ни в одном глазу. Помолчим, — сказала Вика.

Но молчать она не умела. Она была общительна и добронравна. Оказывается, она родилась в тюрьме, ранние годы провела на Байкале с матерью, которая по нашумевшему политическому процессу была приговорена к каторге. Ввиду беременности каторга была заменена ей ссылкой. Девочку в честь неизбежной победы революции назвали Виктория. Потом Вику взяла к себе бабушка, у которой девочка и жила, пока весной семнадцатого года не вернулись из ссылки ее родители.

Что у нее с ногой? Ушибла в детстве. Она приподняла платье, чтобы я мог сравнить и убедиться, что левое колено у нее заметно припухло.

Два года она была прикована к постели. Удивительное ощущение — всегда и на все смотреть снизу вверх, всегда чувствовать себя слабой и маленькой среди величия и простора окружающего мира.

— Я где-то читала, что люди видят в облаках всякие вещи, которые отвечают их характеру. Одни видят замки, башни, города, другие — зверей, драконов, чудовищ, третьи — фигуры влюбленных. Я видела все. Когда долго смотришь в небо, начинает казаться, что ты летаешь. А опустишь глаза — и все так близко и дорого, каждая былинка...

Ее можно было заслушаться. А лицо ее было задумчиво, мечтательно, проникновенно; синие глаза блестели, у виска, над нежным ухом, золотился пушок.

— Однако ветерок задувает, — сказала она вдруг, чем-то недовольная, может быть тем, что была слишком откровенна со мной. — Помогите мне встать.

Поезд приближался к Харькову, тень его скользила под насыпью, мелькая серебряными просветами. Потом разлилась серая предрассветная мгла и где-то на краю земли зажегся первый луч зари.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

МОЙ ПРИЯТЕЛЬ ЛИЛЯ

В Харькове поезд застоялся, и я пошел к Лиле, которую не видал с год. Я подходил к ее дому с бьющимся сердцем. Мало ли что могло случиться за год...

Мы выросли с Лилей вместе, и нашим родным казалось, что мы созданы друг для друга. Они и нас убедили в этом. И вот девочка, которую я драл, бывало, за косички и обстреливал, сидя на дереве, спелыми яблоками, стала моей невестой. Родные наши ждали, пока мы закончим образование, чтобы обвенчать нас. Но революция развеяла их ожидания. Лиля переехала со своими родителями в Харьков, а я носился по фронтам гражданской войны в комиссарской кожанке.

Однако, как только выпадала возможность, я наведывался к Лиле. Это случалось нередко, так как Харьков лежал на центральной магистрали гражданской войны.

Лиля встречала меня как родного. Она ждала меня и никуда не уезжала. Я называл ее «приятель», и она подписывалась в письмах: «Твой приятель Лилька».

— А, Левка в квадрате! — закричала она, увидев меня из окошка, и, подобрав юбку рукой, вмиг перемахнула через подоконник и очутилась рядом со мною. Благо окно было в первом этаже, совсем невысоко над тротуаром.

Мне приятно было услышать свое школьное прозвище из уст Лили.

Она странно изменилась за год разлуки. Худенькая, стриженная после тифа, она смахивала на мальчишку. Волосы уже начали отрастать и были зачесаны на косой пробор, но не укладывались и топорщились в разные стороны, это усиливало сходство и придавало ей озорную прелесть.

То ли потому, что она была не такая, какой я привык ее видеть, а возможно, и по другим причинам, еще неясным мне самому в ту пору, только встреча наша

тоже получилась не такой теплой и сердечной, как бывало в прежние годы. Я почему-то сразу предупредил Лилю, что у меня всего два-три часа и что мне не хочется ни есть, ни отдыхать.

К моим внезапным наездам на день-два она привыкла, но еще ни разу не было, чтобы я заявился на два-три часа. Она смотрела мне в лицо своими большими, изумленными, всепонимающими, немного испуганными глазами.

Когда в детстве мы играли в прятки, я обнаруживал Лильку за тюлевой гардиной по ее большущим, блестящим черным глазам.

— Ну как живешь, приятель?

— Надеюсь, ты войдешь в дом на эти два-три часа, — сказала она с оттенком досады и улыбнулась как-то неловко, виновато, точно ей было стыдно за меня, за мою неучтивость, нечуткость и дурное воспитание.

Мы шли рядом, разговаривая о наших родных. Бедняжка, она хватила горя за минувший год: болела тифом, а мать умерла, заразившись от нее; смерть матери состарила отца, он уехал в Екатеринослав, к сыну, теперь Лиля совсем одна.

— Как хорошо, что ты приехал! Я так ждала тебя...

Я нежно погладил ее по плечу, ощутив его округлость. В калитке она меня опередила. Куда девалась ее угловатость! Фигурка маленькая, грудь точеная, походка решительная, на ходу Лиля помахивает рукой. А голова все же мальчишеская. А какие у нее были волосы — пышные, волнистые, поднимавшиеся, казалось, как дым...

В комнате все было по-старому: на столе учебники и записи лекций, на стене знакомые портреты, в углу пузатый комод, рядом белейшая девичья кровать.

А хозяйка изменилась, и я никак не мог привыкнуть к ее новому облику. Должно быть, я также переменился, — я ловил на себе ее внимательные взгляды, пока расхаживал по комнате, присматриваясь ко всему, что было мне памятно. Какая-то отчужденность легла между нами.

Из окна виднелись сухие, костлявые дубы, которые сбросили наконец прошлогоднюю листву, зимовавшую на их ветвях. День был серый, похоже было, что на улице не весна, а осень.

— Что у тебя с ногой? — спросила вдруг Лиля озабоченно, и беспокойная складка легла у нее на переносице.

От ее заботы и беспокойства на меня повеяло теплом давней привязанности.

— Не знаю. Никто этого не знает, и менее всех — врачи.

— Но это серьезно?

— Наверно, не серьезно, иначе доктора залечили бы меня давно.

Она покачала головой:

— Когда ты, наконец, образумишься? «Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный!..»

Мне вдруг сделалось очень грустно, и она сразу отдалилась от меня.

— А ты уже совсем взрослая? Ну конечно, ты на год старше меня.

— Да, я уже совсем взрослая. Я ведь одна, позаботиться обо мне некому. Приходится все самой, дорогой! — И с гордостью добавила: — Через год я буду врачом.

— Ого! А я кем буду через год? Наверно, никем. Мне надо много учиться, много работать и очень много видеть, чтобы стать тем, кем я хочу.

Она улыбнулась.

— А кем ты хочешь быть? Ты никогда об этом мне не говорил. Сядь, посиди со мной. Довольно тебе колесить. — Она погладила меня по лицу, совсем как ребенка.

Я чувствовал, что она хочет поговорить со мной. Но сейчас это было бесцельно, и я спрятался за воспоминаниями о прошлом. А нам было что вспоминать.

Вся наша жизнь переплелась, как добротный морской канат. И вдруг у меня возникло такое чувство, что канат этот легко разъять на части и каждая часть будет самостоятельно пригодна для жизни. Это было

чувство неясное, смутное, неопределенное, и сказать о нем Лиле сейчас было преждевременно.

— На обратном пути, Лиля, я обязательно заеду к тебе, и тогда мы обо всем потолкуем...

Она вздохнула:

— Значит, опять ждать? Как это утомительно и грустно, если бы только ты знал!

Мне вдруг до боли стало ее жаль. В эту минуту я вновь любил ее.

Я обнял ее и прижал к себе так сильно, словно боялся, что ее оторвут от меня. Но она мягко выскользнула из моих объятий и отстранилась.

— Я долго боялась, как бы нам не потерять друг друга, — сказала она шепотом и сама прильнула ко мне всем телом. — Милый, я буду ждать, я никуда — слышишь? — никуда отсюда не тронусь, я буду ждать тебя...

Но чувство жалости уже остыло в моем сердце, и я тягостно взглянул на часы. Она улыбнулась печально и нежно и ничего более не сказала.

Она пошла провожать меня. Маленькая, хрупкая, она показалась мне вдруг снова угловатой и даже невзрачной. Мне стало скучно с ней.

Перейдя мост через замусоренную, захламленную речушку, распространявшую смрад гнилья и отбросов, я остановился, постоял немного и пошел дальше, не смея сказать Лиле то, что вертелось у меня на языке. Но, пройдя еще два квартала молча, я набрался духу.

— Ну, Лиля, до свидания. Мне пора. Я побегу, я могу опоздать. — И почему-то добавил: — Мне нужно зайти еще в одно место. — И оттого, что солгал, я рассердился не столько на себя, сколько на нее за ее непонятливость, за то, что она заставляет меня лгать. — Не надо, не надо провожать меня дальше. Нам лучше проститься здесь. До свидания.

Я видел изумление, растерянность, испуг в ее глазах.

— Прощай! Я дальше не пойду. Прощай, Лев! — промолвила она с покорной и горестной улыбкой.

Я не понимал себя, не понимал того, что происходит, я не отдавал себе отчета в том, что делаю. Я был

всегда с ней внимателен и нежен, а теперь мне хотелось одного — поскорей уйти от нее. Мы даже не расцеловались.

У меня защемило сердце, когда она завернула за угол, не оглянувшись. Она была с характером, эта маленькая Лилька. Я готов был бежать за ней. Но я действительно опаздывал на поезд.

Я не очень удивился, увидев у вокзальной калитки, ведущей на перрон, Саронову. Она кого-то обеспокоенно высматривала, щуря близорукие глаза.

— Что вы тут делаете?

— Ах, это вы? Наконец-то! — ответила она, вся вспыхнув и зардевшись. — Скажите пожалуйста! Что я тут делаю? Ожидаю поезда с луны. И он еще задает вопросы! Извольте ответить: кто за кем взялся присматривать — я за вами или вы за мной? Ваши милые прогулки нам могут дорого обойтись. Ведь поезд вот-вот уйдет. А он еще спрашивает, что я тут делаю! Просто великолепно! Хороши мы с вами будем, коли отстанем от поезда!

«Но почему это м ы с ней отстанем от поезда? М ы! Вот еще навязалась на мою голову», — подумал я в сердцах, еще не отделавшись от горькой оскомины, которая осталась у меня в душе от прощания с Лилей. Я обидел ее и теперь был полон раскаяния.

— Ну пошли! Живей! Мы опоздаем, — сказала Саронова и потянула меня за руку.

И вдруг я почувствовал, что Лиля убралась из моего сердца, и от этого мне не сделалось ни жалко, ни больно. Рядом со мной, дыша молодостью и красотой, шла отлично сбитая женщина. Легкая блузка облегала ее высокую, полную грудь, а закатанные рукава обнажили округлые загорелые руки с удлиненной и тонкой кистью. Все оглядывались на нее.

Мне было весело, радостно, лестно шагать, взявшись с ней за руки, смотреть на ее розовато-смуглое лицо с озорными, бесшабашными и страстными глазами, с родинкой у пухлых губ, открывших в улыбке стройные ряды зубов.

— Ася! — сказал я с необъяснимой тревогой и нежностью.

— Что? — отозвалась она тихо.

— Ася! Ася! — повторил я, словно завороженный звуком этого имени.

И мы оба засмеялись беспричинным и счастливым смехом.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

АСЯ

После Харькова Ася как-то притихла. Она больше не подшучивала надо мной, не дразнила меня моей юностью, не вспоминала мужа, которому стала как будто реже писать.

Теперь она подольше засиживалась со мной на площадке вагона, слушая мои фронтовые рассказы.

Я увлекался, я с детства любил фантазировать, украшать, исправлять жизнь. Мне частенько представлялось, что она течет совсем не тем руслом и не в тех берегах. Я был уверен, что умный человек не может быть неудачником, что это удел глупцов. Со временем я убедился, что неудачниками чаще всего бывают умные люди, и чем умнее, тем неудачливей.

Поезд шел на юг, и природа листала перед нами свои чудесные цветные альбомы. Голые, насквозь просматривающиеся кустарники, точно карандашные рисунки, остались позади. Появилась первая, нежная акварель — ранняя травка и ранняя листва, и голубое, безоблачное небо, а вот и густые, зрелые тона пастели.

Понемногу и Ася разговорилась, вспоминая далекие годы своего униженного сиротства. Она выросла в доме тетки Сосипатры, родной сестры отца, командира артиллерийской батареи, павшего на сопках Маньчжурии. Жизнь в доме тетки была скучной, лживой и тяжкой. Тетка Сосипатра поклонялась вещам, они были ее культом, богами, идолами, манией и проклятием. Ее сундуки ломились от вещей, которые пожирала моль. Бесчеловечная алчность тетки свела в могилу ее родную мать и мужа. Быть может, с той именно поры и возненавидела Ася вещи.

Я слушал про эту странную тетку с таким необычным именем Сосипатра и смотрел на красивые полные

руки Аси с шелковистыми знаками от противооспенной прививки, сделанной в детстве. Эти знаки приходились как раз на уровне моих губ, и я вдруг подумал: что скажет Ася, если я поцелую ее?

Неожиданный поворот в ее рассказе отвлек меня от этого моего желания. Ася была счастлива вырваться из дома тетки и без памяти влюбилась в Виталия Андреевича Саронова, когда он захотел увести ее оттуда. Ей было семнадцать лет. Он много старше ее. Но какой это умный, добрый, талантливый, ласковый, заботливый, нежный человек! Он создал ей такую жизнь, о которой можно только мечтать.

Мне казалось, что не будет конца этому неудержимому славословию. Единственный недостаток, который она в конце концов обнаружила в муже, — это его чрезмерная ревность.

Я был рад хоть одному этому недостатку при такой уйме добродетелей. Но при ближайшем рассмотрении этот недостаток превратился в порок, в бедствие.

— Говорят, любовь слепа, — сказала Ася со вздохом. — Не знаю, возможно. Но нет более слепого чувства, чем ревность. Оно слепо от рождения. Оно отвратительно, оно ужасно. Ревность порождает обман, ложь, лицемерие, подозрительность, недоверие, коварство, вероломство, жестокость. Вы знаете, почему он просил присматривать за мной? Из ревности, — сказала она с возмущением, как будто одна мысль об этом оскорбляла ее. — Это гадко, противно, но это так. Он ревнует меня к собственной тени. С каждым днем это становится невыносимей. Вы мальчик, вы безопасны, вам можно доверить.

— Но почему же тогда он отпустил вас на такой долгий срок одну? — спросил я, смущенный ее нежданной откровенностью.

Она ответила с прямотой, почти циничной:

— Мы женаты десять лет, а у меня нет детей. Врачи посоветовали мне погреться на крымском солнце. Он был бы счастлив, если бы я рожала ему каждый год.

«Она не любит его, она презирает его, коли рассказывает мне такие вещи», — подумал я, не видя в том

ни расположения, ни уважения ко мне. И я решил осуществить свое давешнее, казавшееся мне дерзким намерение. Я наклонился и без всякого удовольствия чмокнул ее чуть ниже плеча, ощутив на губах прохладу ее кожи.

Она изумилась, она смерила меня долгим взглядом, потом, ничего не сказав, поднялась и ушла в вагон.

У меня горело лицо, точно меня отхлестали по щекам.

На следующий день она не выглянула на площадку, может быть потому, что мы проезжали под охраной пулеметов вблизи Гуляй-Поля, махновского становища. Но она не вышла и на другой день. Мною овладело беспокойство.

Тут Вика охотно и стремительно начала разделять мое одиночество. Я с интересом слушал ее щебетанье. Она была словоохотлива, но не болтлива.

Несколько подвод, остановившихся за шлагбаумом, напомнили ей сибирский тракт, этапы колодников, звенящих кандалами, бритые лбы каторжников, скованных попарно, пересыльные тюрьмы и подневольные сибирские песни. А старая, почерневшая скворечня на березе напомнила воинственных скворцов, которые весной, возвратясь из заморских стран, выдворяют из своих гнезд трусишек воробьев, охотников до чужих жилищ.

Вика любила природу и знала ее секреты. Она умела по едва заметным следам на коре дерева обнаружить место, где белка прячет свои зимние запасы орехов. Ее воспитывали, как мальчишку. Она ловила рыбу бреднем, на блесну и с удочки. Она и сейчас не прочь посидеть на бережку. Она различала волчьи следы, идущие цепочкой, — это когда голодный волк выходит на добычу; скачкообразный след спасающейся от погони лисы; зигзаги, выписанные зайцем на снегу. И обо всем она рассказывала живым, смешливым языком, изображая голоса зверей и птиц. О чем она думала, мечтала? Она так же, как и я, хотела учиться, чтобы служить новой России.

Внезапно появилась Ася. У нее был такой недобрый

вид, что я невольно шагнул ей навстречу. В это время поезд занес на повороте и бросил ее в мои объятия. Быть может, я задержал ее на какую-то лишнюю долю секунды, а возможно, она сама прижалась ко мне на этот короткий миг.

Вика смотрела на нас с недоумением.

ГЛАВА ПЯТАЯ

ПРОЩАНИЕ

Поезд круче забирал на юг, нигде более не задерживаясь.

Днем было жарко и пыльно, а по ночам в открытые окна влетали бабочки, как бы внося на своих пестрых крыльях степные весенние запахи. Уже взошли зеленя, степь покрылась травой, которая под набегающим ветром подернулась, как вода, быстрой рябью. Цвели сады, окутанные белым дымом, так что издали казалось, будто на земле клубятся облака. И небо с каждым днем становилось все глубже и синее.

Поезд миновал Сиваш, простерший свои мелкие соленые воды до самого горизонта, пересек узкий Перекопский перешеек и вырвался на крымскую равнину.

Мы с Асей сидели в дверях на площадке. Я вспоминал прошлогодние бои, когда ветер выгнал из Сиваша воду, превратив его в болото, по которому наступали наши войска, иссеченные ледяной крупой, обожженные свирепой ноябрьской стужей. Я был во втором эшелоне, но мой друг Алеша Жаворонков был в первой цепи, его засосала топь.

— До конца своих дней я с болью буду вспоминать его.

У Аси были слезы на глазах.

Поезд медленно тащился по степи, усеянной красными маками. Они поднялись так густо, что степь, чудилось, полыхает и дрожит огнем, сливаясь на горизонте с пламенем заката.

Я соскочил с подножки вагона на землю, чтобы нарвать букет этих маков для Аси. Боясь, как бы я не отстал, она звала меня, спускаясь со ступеньки на сту-

пеньку. Ветер растрепал ее кудри, лицо раскраснелось, а глаза были испуганные и счастливые.

Мне приятно было дразнить ее. Я шел среди высокой травы с целой охапкой маков. Внезапно, словно что-то толкнуло меня в сердце, я испугался за нее, ступившую на последнюю ступеньку. А поезд начинал набавлять скорость. Я вскочил на подножку, растеряв добрую половину охапки.

Мы долго сидели на краю тесной площадки, притихшие, растроганные, опечаленные. Близилось время расставания: Ася ехала в Саки, я — в Евпаторию.

— Право, не знаю, как я теперь буду обходиться без вас. Я так привыкла к вам за эти три недели, — сказала Ася полушутя-полусерьезно.

— Мне тоже будет вас недоставать.

— Тоже? — повторила она иронически.

— Ну да, конечно. — Стараясь объяснить ей мои робкие чувства, я добавил: — Когда вы сошли на последнюю ступеньку, я очень испугался, мне показалось, что вы хотите прыгнуть за мной.

Она рассмеялась:

— Зачем? Чтобы отстать от поезда? Это ведь не Харьков. Кругом степь и степь...

«Не много же ты значишь для нее!» — сказал я себе с унынием.

Какая-то немолодая цыганка в большущем черном платке, проходя по вагонам вдоль всего состава, остановилась позади нас и сказала:

— Ай-яй-яй! Совсем одинаковые волосы, как одна голова. Хочешь, погадаю, красавица? Все скажу: что было, что будет, на чем сердце успокоится. Дай руку!

Но Ася отказалась:

— Нет, не хочу. Что было — сама знаю, а что будет — это мне сейчас знать ни к чему.

Ее отказ озадачил цыганку.

— Ну, как хочешь. Пусть по-твоему. Одно тебе скажу, красавица: была одна дорога — будет другая. Понимаешь? А счастье твое — как птичка в клетке: заперта — не поет, а выпустишь — улетит. Понимаешь? — И без паузы: — Дай мне хлеба.

Я вынес ей денег и хлеба.

Но вот и станция Саки. Пока выгружались курортники, мы долго и молча прощались с Асей, отойдя в самый край платформы, где было не так людно. Мне было грустно до боли.

— Вот и конец, — сказал я.

— Да, — подтвердила она. — Всему бывает конец.

— Да. Что имеет начало, имеет и конец, — повторил я чью-то фразу, которая могла сейчас показаться весьма банальной.

Мы снова помолчали.

— Если вы мне напишете, я отвечу, — сказала она.

Но я почему-то не поверил.

— Вы скоро забудете меня.

— Постараюсь, — ответила она с усмешкой. Вдруг с неожиданной злостью прибавила: — У вас тут поблизости нет подруг детства?

Я не успел ей ответить. Третий звонок слился со свистком кондуктора и гуденьем паровоза. Поезд рванулся с громом и лязгом буферов.

— Все-таки пишите, — сказала Ася, торопливо пожимая мне руку.

— А вы отвечать будете?

— Господи! Какой недоверчивый! Буду. Ну, ступай, ступай в вагон, безрассудный!

— До свидания! До свидания! — крикнул я, вскакивая в вагон на ходу.

Ася шла, ускоряя шаг, за вагоном, который катился все быстрее и быстрее, потом она начала отставать. А на сгибе ее руки, у локтя, пламенел букет багрово-красных маков, напоминая живые языки огня. По мере того как удалялся и потухал этот букет, на душе и вокруг меня становилось сумрачнее и печальнее.

Я долго оставался на подножке вагона, подставив лицо ветру, который не охлаждает, а горячит кожу. А когда обернулся, то увидел Вику. Она стояла, прислонясь к стенке, и вид у нее был такой строгий и участливый, как будто она готова была по первому моему зову прийти мне на помощь.

Она хотела что-то сказать, но мне было так горько, что я молча прошел мимо нее и забился на верхнюю полку.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

СМЯТЕНИЕ ЧУВСТВ

И вот я остался один. В ночной пустынный час я приходил к морю. Я слушал гул морских волн, идущих из вечности в вечность. Быть может, вчера они слышали ее смех, быть может, они пахли еще ее телом...

Море было неспокойно. Табуны взмыленных коней неслись к берегу, складывая на песок свои седые косматые гривы. Берег был весь в кромке пены и мыла.

Одиноко бродил я вдоль песчаного пляжа. В шуме прибоя мне слышался певучий голос Аси: «Все-таки пишите!.. Господи, какой недоверчивый!.. Ну, ступай, ступай в вагон, безрассудный!»

Я уже отправил оказией четыре письма, а от нее не было ни строчки. Она посмеялась надо мной и забыла меня.

Единственный человек, с которым я мог говорить о ней, был Егорушкин, но он не сочувствовал мне нисколько, — напротив, он даже осуждал меня.

— Была бы безмужняя, — говорил он, — а то ведь замужем. Ну ладно, это полбеды, не старый режим, насильно мил не будешь. Развод теперь дело плевое. Но ведь она, почитай, тебя на десять лет старше.

— На восемь, — поправлял я.

— Это уж все равно, что восемь, что десять. Себя не жалко — ее пожалей: ведь в слезах купаться будет.

Меня раздражали его мрачные пророчества.

В молодости он любил смешливую, работящую вострушку. Она погибла из-за несчастного случая на фабрике. Егорушкин и сейчас не мог слушать без слез песню «Когда я на почте служил ямщиком...». После пережитого им горя он считал, что разбирается в чужих чувствах и вправе быть арбитром.

— Ты вот что, товарищ Красный! — советовал он мне. — Ты ее из головы выкинь. Не годится она тебе, не пара. Рассуди сам. Она уже жизнь повидала, а тебе только начинать. Ей скучно — тебе плохо, а тебе скучно — ей еще хуже. Не сердись, право! Не туда, парень, смотришь. Ты лучше на Вику взгляни, вот это тебе

пара. Тем более. Хороша, добра и своего классу девка, отец, мать большевистского закалу.

Я пресекал ненужный разговор, но Василий Кузьмич нет-нет да снова затевал его, намеками касаясь запретной темы.

— Человеку много ли надо? — вопрошал он. — Надежная работа, теплый угол и верная баба. Бабу найти — дело сурьезное. Подвалит охотница до шалостей и баловства — ну и пропал человек. В рабочем классе такие бабы редко встречаются. Труженицы, с утра до ночи спины не разгибают, где уж им до шалостей и баловства! Вот бы тебе такую...

Вика держалась тактично, хотя порой и пускала стрелу то в зрелых кокеток, способных вскружить человеку голову скуки ради, то в наивных простаков, делающих свой слепой и капризный выбор среди самых обыкновенных бабенок.

Я платил ей признаниями, которые вряд ли могли прийтись ей по душе.

— Разве любят только необыкновенных? Разве любят за что-то? Кто знает, Вика, откуда приходит любовь? Порой она поражает, как молния, порой подкрадывается, как змея.

Вика слушала меня с насмешливым огоньком в глазах. А я продолжал чертовски красиво разглагольствовать:

— Вода, обыкновенная вода, которой кругом бог весть сколько, а для умирающего от жажды, Вика, она — спасение. Ему ни к чему самое превосходное вино. Вода, Вика, только вода!

Мы лежали рядом, зарывшись в горячий песок, головой под зонтом, а ноги наши облучало отвесное полуденное солнце. Вика была чудесно сложена: стройная, с длинными ногами и маленькой грудью, охваченной туго купальным костюмом. Мы часто касались головами друг друга, а лица наши порой так сближались, что между ними, пожалуй, трудно было бы продеть кисейную занавеску.

Эта игра, по-видимому, волновала нас обоих. Еще секунда — и наши губы слились бы, но тут Вика ото-

двинулась, положила горячую ладонь мне на рот и шепотом проговорила:

— Это нехорошо. Вы любите другую.

— Но ведь вы это знаете, — отвечал я также шепотом.

— Да, знаю. — Она помедлила, вдруг закрыла глаза, покорно подставляя мне полураскрытые губы.

Это было какое-то плотское наваждение. Мы избегали и искали друг друга. Я знал: чуть больше настойчивости с моей стороны — и она уступит мне. Это сознание удерживало меня в границах. Я чувствовал себя связанным с Викой, и наша благопристойная близость с каждым днем становилась интимнее.

«А как же Ася?» — вопрошал я себя жалко.

Неожиданно пришло письмо от Аси, короткое, ласковое.

«Не скрою, — писала она, — я не хотела писать вам. Но ваши письма так добры, что я понемногу начала привыкать к ним. И мне было бы очень жаль, если бы вдруг они прекратились. Это так приятно — чувствовать, что кто-то думает о тебе». И точно эти скупые строки пробудили меня.

В довершение лечащий врач предложил мне попытать сакские грязи. Мне строго-настрого было запрещено лечение грязью — она могла спровоцировать обострение заглохшего было процесса. Но я благословил опасное невежество врача. Единственно, что волновало меня с этой минуты, — как бы врач не передумал, не переменил бы решения.

Я пулей влетел к Егорушкину, сделал кульбит, прошелся на руках, схватил старика в объятия и закружил его. А когда он отдышался, я сказал ему, что еду в Саки.

Известие это огорчило старика. Огорчение его было такое искреннее, что я даже не решился возражать ему, когда он снова заладил свои уговоры:

— Чему ты радуешься? Плакать впору. Одумайся! Образумься!

Но мне уже невозможно было ни одуматься, ни образумиться. Я был точно одержимый.

Последнее свидание с Викой тоже вышло не очень веселое. Я не собирался бежать от нее тайно. Я вызвал ее на веранду, соединявшуюся с зрительным залом, где концертная программа была в самом разгаре. Кто-то безголосо пел там куплеты с рефреном: «Куда идем, куда мы заворачиваем?»

На веранде было темно и безлюдно. Слышно было, как во тьме плещет море, как набегает и ложится с шелестом на песок волна.

Вика была в хорошем настроении и так далека от того, что я сказал ей, что не сразу поняла меня. Я повторил, что уезжаю в Саки.

Она долго молчала, отвернувшись от меня и глядя в ночную гулкую темь, витавшую над морем, где не видать было ни одного рыбачьего огня.

— А я думала, что до осени еще далеко, — проговорила Вика с откровенностью, потрясшей меня. — Странно, — спокойнее прибавила она, — любить одну, а целовать другую, а потом так просто сказать: «Я уезжаю от тебя к той...» Не надо, не надо говорить... Молчите!

Я не мог простить себе, что затеял всю эту непристойную игру.

— Я виноват, я очень виноват. Сможете ли вы меня простить?

Я взял ее за руку, но она отдернула ее.

— Не прикасайтесь ко мне! Вы должны были с самого начала прекратить наши встречи.

— Но почему же я? — спросил я жалким голосом.

— Потому, что я любила, а вы играли!

Я был ошеломлен и пришиблен, но все-таки у меня хватило духу сказать ей, что умышленно я не играл.

Она резко повернулась ко мне:

— Не смейте оправдываться! Уйдите, уйдите прочь от меня! — Она стиснула руки и заплакала.

Я не в силах был уйти от нее, — я чувствовал себя виноватым, как если бы обольстил ее. Скажи она в эту минуту: «Останься!» — и я остался бы с ней. Но она вдруг рассмеялась. В сумраке блестели и косили от слез ее глаза.

— А я думала, вы умнее, — сказала она с презрением, отвернулась и быстро ушла в зрительный зал, откуда доносились бурные звуки рояля.

Долго я бродил по берегу моря, слушая рокот его и всплески. А когда вернулся перед рассветом в свою маленькую, одиночную палату, то нашел коротенькую записку:

«Я приходила проститься, чтобы не было этого жгучего осадка обиды, горечи и отвращения».

Я прилег. Мне приснилось, что море горит. С моря валили густые облака дыма, клубились над верандой, вползали в раскрытые окна. Я задыхался во сне.

Я проснулся с сознанием, что весь мир горит и некуда укрыться и спастись от этого пожара.

Был ранний час, солнце еще не взошло, и серый свет, как дым, входил в комнату, и море лежало в тумане серое, с закипающими гребнями волн.

С чувством безысходности и обреченности приник я лицом к прохладной стене и снова заснул.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

СНОВА ВМЕСТЕ

Сперва голая, выжженная равнина, потом запущенный парк, настоящий бор, темный, густой и дикий, — так и чудится, что вот мелькнет в чаще величавый лось или свирепый кабан. Неожиданно деревья редеют, открывается опушка, а там, за оградой, кладбищенская церковь, колокол которой будит по ночам печальное эхо, угасающее в протяжном шуме тополей. Ветер колышет лесные вершины, и кажется, будто они задевают идущие с моря облака. А в погожий день блеснет вдруг вдалеке море золотистой синевой и сольется с небом на горизонте. Это и есть Саки.

Я был в недоумении, — кого ни спросишь, никто не знает Анастасии Федоровны Сароновой. Не уехала ли она? Вот была бы насмешка судьбы. Но мне повезло, я напал на Адель и ее «романсеро» Костю Костина. В неизменных офицерских штанах, с обнаженной и за-

горелой грудью, он приветствовал меня пьяным голосом:

— А, товарищ Красный! Почет и уважение! Какими судьбами? Пожаловали на скучище? Ну что ж, очень хорошо. Выпустим газетенку «Сакский шутник» или «Курортная балаболка». От этого, конечно, нас не станут ни лучше кормить, ни добротнее лечить.

— Похоже, вы уже с утра назюзюкались?

— Ни-ни, — отвечал он. — Глаза у меня такие... Сегодня выпью, а они у меня хмельные с неделю, истинный бог, святая икона! — Он трижды поцеловал воздух. — Даже неудобно, ей-ей! Родной отец и тот, бывало, сомневался. «А ну, скажет, дыхни, стервец! Глаза у тебя шальные, Костька! Пропадешь с такими каторжными глазами». Вот дела какие. Я и сам не рад. — Вдруг прочитал странные стишки, может, даже его собственного сочинения:

Жизнь — малина, меньше сплина!
Тот, кто умер, молодчина,
Если нет у нас мадеры,
Выпьем, братцы, самогон.

А самогоном от него здорово разило.

Остроносая Адель смотрела на него влюбленными глазами.

— Скука здесь смертная, — сказала она кокетливо. — Романсоваться — и то невозможно. Помилуйте, товарищ Красный! В палате четверо. А ровно в десять устраивают на больных облавы по всем кустам, с собаками. Что это, санаторий или монастырь? — спросила она с обидой в голосе.

— Но-но-о! — торжественно растянул Костя. — Не ропщите, дорогая моя Перпетуя Мобилева, сиречь Аделаида Горгоновна!

— Озорник мальчишка! — засмеялась Адель и погрозила ему острым пальцем.

Мне не терпелось узнать про Асю.

— Да здесь она, здесь, — весело сказал Костя. — Небось решили, что станцевали с ней кадриль — она туды, а вы сюды.

— Ни с кем не знается, гордячка, — сказала Адель с досадой, шмыгая остреньким носом.

— Пример верной Пенелопы, — прибавил Костя, несколько косноязыча. — Живет затворницей, книжки читает, а ухажеров всех побоку. Парадокс: хорошенькая бабочка, а синий чулок.

Адель вызвалась предупредить Асю о моем приезде.

Ася не вышла мне навстречу. Она ждала меня в комнате, чтобы встретить без свидетелей. Я остановился в дверях, чтобы унять волнение сердца и перевести дыхание. Ася дрожала. Я чувствовал эту живую, трепетную дрожь под руками...

На следующий день мы встретились с Асей на глухой поляне, ставшей отныне постоянным местом наших свиданий, среди сожженных молнией, зловещих черных пней, в вечернем сумраке похожих на монахов. Ночь Ася не спала, весь день у нее все валилось из рук.

— Господи боже мой! Зачем ты приехал? — говорила она. — Я не ханжа, не лицемерка, ты видишь, я не сопротивлялась. Но у нас нет будущего. Что будет с нами, когда мы вернемся домой?

Я было робко заикнулся: дескать, там видно будет.

— Голубчик мой, это «видно будет» скоро приходит, — возразила она, привлекая меня и отталкивая.— Мы прожили бы рядом сто лет, встречаясь раз в неделю. И нам не пришло бы в голову влюбиться друг в дружку. А вот месяца оказалось достаточно, чтобы привязаться к тебе...

Ее искренность, ее взволнованная прямота трогали. В длинном, до земли, халате она казалась величавой и статной, а возбуждение придавало ее красивому лицу с прямым, чуть вздернутым носом и нахмуренными бровями одухотворенность мысли и страдания.

— Ты совсем мальчик, — продолжала она своим негромким, чуть приглушенным голосом. — Неужто на твоей широкой дороге не нашлось ничего более подходящего? Подумаешь, какое счастье! Двадцативосьмилетняя женщина, к тому же склонная к самокопанию и резонерству. — Она печально улыбнулась.

От этой улыбки у меня больно сжалось сердце.

Отныне ее тягостные сомнения стали лейтмотивом наших отношений. Буре ласк всегда предшествовали долгие терзания. Она часто плакала. Она роптала на жизнь и бредила своими страхами. Я был с ней, к сожалению, слишком робок, и это, очевидно, усиливало ее тревогу.

Странно, но чем больше она мучилась сама и мучила меня, тем крепче становилась наша взаимная привязанность. Все наши усилия оторваться друг от друга приводили к обратным результатам. Все мгновенно отступало перед страстью, поработившей нас обоих.

Ветер проходил в вершинах леса, пригибая их, но лесной рокот терялся где-то вверху, не достигая земли, где среди широких стволов было сумрачно и тихо, и каждое слово Аси звучало отчетливо и ясно.

— Рано или поздно, — говорила она, — а расстаться нам придется. Это неизбежно. Так уж лучше рано. Зачем ждать? Сейчас будет больно, я знаю, но потом будет еще больнее. А я не хочу боли, я боюсь ее. Подумать только — я ведь любила мужа, я так любила его, что у меня сердце болело от любви. Он сделал мне много добра, этого нельзя забыть. Не ревнуй! Я ненавижу это чувство. Да, я любила мужа, а теперь при одной мысли о нем у меня холодеет сердце. Я не могу быть неблагодарной, пойми! Не перебивай меня, я не оправдываюсь. Но нам придется вернуться домой. А я не смогу принадлежать двоим. Никогда! — Она говорила быстрым шепотом, чуть задыхаясь от душивших ее слез.

Я пытался успокоить ее, я имел неосторожность предложить ей стать моей женой... Черт побери, до сих пор ее хохот стоит в моих ушах. Она хохотала как бешеная. Я готов был ударить ее.

— Ты сошел с ума! — кричала она между приступами истерического смеха. — Нет, только подумать: муж — паинька, муж — мальчик, муж — слуга! Не хватает, чтобы в меня стали тыкать пальцами: «Вот она, обольстительница юнцов...» Ты действительно сумасшедший. Зачем тебе нужна будет такая старуха через десять лет? Ну, ну, не сердись, милый! Мне страш-

но — я кричу, мне больно — я плачу. Я боюсь потерять тебя и наперед знаю, что потеряю. Ты пойми, женщина всегда чуточку рассудочна, даже в самую счастливую минуту своей жизни. Что делать? Скажи! — Она разрыдалась.

Я терпеливо доказывал ей всю беспочвенность ее страхов. Откуда только рождались у меня такие слова!

— Кто сказал, что я тебя моложе? Гимназистом восьмого класса я участвовал в Октябрьском перевороте. Потом я ушел добровольцем на фронт. Я прошел путь гражданской войны от Волги до Черного моря. Я был контужен. Я не хвастаюсь. Не для того я все это говорю. Неужели ты и теперь станешь говорить, что я тебя моложе?

В своем пылком монологе я не забыл сказать, что теперь совсем другие времена и что ей нечего бояться будущего — она будет учиться и работать...

Она слушала меня, глядя из-под опущенных, чуть подрагивающих ресниц, и вдруг проговорила с какой-то буйной удалью:

— А-а, будь что будет, хоть год да мой! Довольно нюни распускать! Поцелуй меня. Крепче! — Пригнув мою голову, глаза к глазам, она вдруг шепнула: — Неужто ты никогда никого не любил? А харьковская подруга детства? А Вика? Господи боже мой, когда я вспоминала, что ты там встречаешься с ней, я умирала от тоски и ревности...

То ли оттого, что она сильно сдавила мне шею ладонями, то ли от чего другого, только я почувствовал, что краснею. Тогда она легонько оттолкнула меня и вновь стала дразнить и попрекать меня моей юностью. И я не выдержал.

— Эх, с какой радостью отдал бы я десять лет жизни! — воскликнул я с сердцем. — Почему мне не тридцать? Я никогда не думал, что молодость — это несчастье. Эй вы, лесные духи! — закричал я, и эхо поскакало по лесу. — Возьмите у меня десять лет, они мне лишние. Я дарю их вам, уступаю. И не требую за них, как добрый черт, никакой платы — ни душой, ни тенью.

В интонациях моей шутливой речи, а может быть, в моем лице или голосе было что-то такое, что поразило Асю.

— Прости меня, — сказала она очень тихо.

А на следующий день она вновь заявила, что я непозволительно молод, что нам лучше расстаться и что это последнее наше свидание. Она донимала меня невыносимо. В припадке исступления я с такой силой хватил тросточкой о камень, что тросточка разлетелась в щепки.

— Ого! Бешеный! Ведь это ты меня ударил, — проговорила Ася удивленно, с заблестевшими глазами. — Вот и свяжи с таким свою жизнь! Чудовище! Ты будешь меня бить.

Но с этого дня она присмирела.

Как-то раз мы отправились в море на паруснике. День был яркий, безветренный, тихий. Море сияло. Ася вдруг решила купаться. Сказано — сделано, повязала волосы косынкой, сбросила платье — и бултых в воду.

Купальный костюм оттенял каждый изгиб и каждую линию ее тела. Костя Костин выпялил на нее глаза, совсем забыв, что рядом стоит его остроносая Адель. Она ему тотчас напомнила о себе, ущипнув его так основательно, что он подскочил на месте.

Плавала Ася превосходно. Вдруг откуда ни возьмись — дельфин и давай играть и кувыркаться вокруг нее. Говорят, дельфин, ныряя, легко может задеть человека своим острым плавником.

— Назад, назад! — закричал я испуганно.

Но дельфин держался поодаль. Кувыркнется, нырнет, а потом высунет гладкую голову и смотрит по сторонам желтыми мерцающими глазами, как будто чего-то ждет.

Ася совсем его не боялась. Она звонко шлепала ладонями по воде, что-то кричала ему, смеялась, ныряла. Так вот они играли несколько минут — женщина и дельфин; то он нырнет, то она, а то оба разом.

А когда мы взяли Асю на борт, дельфин долго плыл за шлюпкой, заходя то слева, то справа, точно удивляясь, что так скоро кончилась озорная и безобидная

забава. Он еще раза два кувыркнулся и исчез в поднявшейся волне.

Я сам не знал, за что сержусь на Асю. Я укорял ее в неосторожности и сумасбродстве. Она отвечала, что это сказки, будто дельфин играючи способен распороть человека.

— Чепуха! Плавник у него мягкий. Слава богу, знаю, на море выросла. — И, слегка прищурясь, взглянула на меня так пристально и недоверчиво, что я сконфузился, и кровь прилила мне к лицу. — Ревнивец! И главное — к кому? К дельфину... Впрочем, это слишком необычно, чтобы обидеться. Это даже оригинально...

А вечером, в сухой, пахучей тьме парка, над которым всходила большущая медная луна, почти совсем не давая света, Ася шепнула мне, что, кажется, она беременна. Я молча приник лицом к ее горячим ладоням.

«Пожалуй, это будет счастьем для нас обоих, — подумал я.— Это придаст ей больше решимости, а мне — уверенности».

Несколько дней Ася была какая-то торжественная, спокойная, счастливая и вся светилась кротостью и добротой. Она пела, шутила, смеялась, щедрая на выдумки и шалости.

Рано поутру мы гуляли среди пирамидальных тополей, омытых росой. Они образовали прямое длинное ущелье, уходившее в гору до самого небосвода, от которого исходил чуточку темный, но ясный свет. Мы шли среди великанов, казалось поднявшихся до облаков. Может быть, со стороны мы казались маленькими. Но нас их величие не подавляло и не угнетало.

Вечером мы слушали скрипача Рудницкого. Это был отличный музыкант, «вундердедушка», как его прозвали, потому что лишь в сорок лет перед ним революция раскрыла двери консерватории. Он играл «Первый венгерский танец» Брамса.

В комнате было совсем темно. Свет звезд застревал в вершинах парка, теряясь в огромном ночном пространстве. И только в черной глубине леса вдруг вспыхнет фосфорический огонек какой-нибудь гнилушки.

Мы сидели с Асей, прижавшись щека к щеке; неожиданно я почувствовал на моем лице ее слезы. Один и тот же мотив вызывал у одного радость, у другого — слезы. О чем она плачет? Неужто ее надежды не оправдались? Я угадал: она не была беременна. К тому же близилось время нашего отъезда.

Я обнял ее, безмолвно стараясь ее утешить. И впервые, не отгоняя более от себя этой мысли, я задумался над тем, что ожидает нас впереди.

В это время прибежала обеспокоенная Адель. Пропал ее «романсеро».

Мы кинулись его искать. В паре со мной был Вениамин Берг. Он хоть бросил костыли, но передвигался медленно, опираясь на палочку. Зачем он ввязался в эту ночную экспедицию по темному парку, заваленному буреломом? Он был хороший товарищ, он и в плен к белым попал, выручая товарищей.

— Не торопитесь! — сказал он мне. — Я не могу поспеть за вами. Да и незачем торопиться. Ничего с ним не случилось, лежит где-нибудь мертвецки пьяный, вот и все.

Я умерил шаг. Мы шли в темноте. Парк шумел под напором ветра, гнавшего тучи к морю, где, наверно, бушевал шторм.

Берг часто спрашивал меня о Вике. Он, кажется, был уверен, что у меня с ней переписка. Я помалкивал на этот счет. Ему незачем было даже догадываться о наших с ней запутанных отношениях. Он и сейчас заговорил о ней.

— Любопытная девушка. Вы видали ее дольше меня и знаете лучше. Она хороша собой, не правда ли? — Он помолчал, видимо ожидая, что я отвечу. Но я молчал. Тогда он снова произнес: — Я никогда не встречал такой самобытной натуры. Вы обратили внимание: она никогда не притворяется девочкой и никогда не старается казаться чересчур взрослой. Она всегда остается сама собой. — В голосе его слышалась большая нежность. — И все-таки, я думаю, несчастлив будет тот, кого она полюбит. Знаете, есть любовь фатальная, обреченная. Не смейтесь!

— Что вы, я не смеюсь. С чего вы взяли?

Я затаил дыхание, мне почему-то подумалось, что он говорит обо мне и Асе.

— Я уверен, — сказал он, останавливаясь на миг, — Ромео и Джульетта были с самого начала обречены. У них не было спасения. И не вражда семей их погубила. Нет. Помните? «Любовь широкую, как море, вместить не могут жизни берега».

Вдали блеснули огоньки заброшенной кладбищенской церквушки. Там, очевидно, шла ночная служба или отпевали покойника. На всякий случай мы заглянули туда.

В церкви было совсем пусто, в свете зажженных лампадок и тоненьких восковых свечек мы сразу увидели распростертого на каменном полу Костю Костина. Мы узнали его по синим офицерским диагоналевым штанам с малиновым кантом.

А седенький попик служил панихиду, наполняя густыми звуками своего голоса высокие церковные своды, в глубоком сумраке которых мелькали тени потревоженных летучих мышей.

— «Во блаженном успении вечный покой подаждь, господи, рабу твоему Константину и сотвори ему вечную память. Вечная па-а-амять!»

Я окликнул Костина.

— Не мешай, о брате! — отвечал он, подняв голову и, видимо, узнавая меня. — Аще не видахом, панихиду по себе заказахом. — Заметив Берга, он воскликнул: — Изыйди, оглашенный! — И безо всякой паузы: — Думаете, окосел Костин? Черта с два! Разве окосеешь от этого кислого татарского пойла? Даром что вино называется, пьешь его, пьешь, пока из голенища пар пойдет, а толку все равно ни на грош. Только деньгам перевод. Да еще жрешь с него чрез меру. Ну-ка, братие, пособите встать. Вот черт, ноги не держут... А где это моя востроносая Перпетуя Мобилева? Я вам по секрету скажу... она окончила мариинский институт, и с детства ей кофею в постелю подавали... Тсс!

А маленький седенький попик служил скороговоркой:

— «Но жизнь бесконечна. Надгробное рыдание творящий песнь — аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!»

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ОБРАТНЫЙ ПУТЬ

Как быстро мчится время! Еще густа листва на деревьях и небо по-прежнему полно простора и синевы, еще пестрят цветники и морской свежак надувает облако, как парус, а все же чувствуется близость осени. Потускнела, выцвела, пропылилась и порыжела коегде зелень, и степь безжизненна и безмолвна, разве что суслик посвистывает, греясь у норки. Угасают цветы, бурливей и темнее море, и ветер срывает первый желтый лист.

Пора в обратный путь. Вновь санитарный поезд пойдет от города к городу, развозя нас по домам, окрепших, загорелых и обленившихся.

Задумчивый Берг как-то пожаловался мне:

— Никогда не думал, что безделье так томительно. Это же ни с чем не сравнимая работа. Так и свихнуться недолго, ей-богу, запить или пуститься в разгул. От безделья все пороки: пьянство, картежная игра, дебоширство, разврат и, извините, что ставлю рядом, несчастная любовь. Девять десятых женских трагедий — от безделья. Я выскажу сейчас кощунственную мысль. Не будь у Анны Карениной такого избытка праздного времени, она никогда не дошла бы до самоубийства. И мадам Бовари избегла бы своей горькой участи, будь она занята делом.

Его рассуждения казались мне попросту неумными, тем более что мне слышался в них намек на мои отношения с Асей.

Накануне отъезда мы с Асей побывали в Севастополе. Ася хотела повидаться с родными, а я увязался за компанию.

Взбираясь по каменным тропам, мы долго бродили по гористым улицам, расположенным ярусами и облепленным кое-где настоящими саклями. Город носил следы боев и многолетней запущенности. Не видно было совсем моряков. Здание штаба флота с фигурными железными фонарями у центрального подъезда было исцарапано пулями, а собор на площади, где по-

коились останки славных севастопольских адмиралов, был заперт на большущий, лабазный замок.

На рейде кое-где виднелись остовы раздетых кораблей, почти весь флот угнали белые, лишь рыбачьи ялики бороздили зеленые воды бухты.

Севастопольская панорама была закрыта, военноморской музей не действовал, оставались для обозрения херсонесские руины, заброшенное Братское кладбище, инкерманские пещеры, балаклавские красоты и... море, дремучее осеннее море с неисчислимыми стадами барашков.

Под вечер мы зашли проведать родню Аси. Мы проскучали битых два часа в обществе немолодой женщины с поджатыми губами и елейной улыбкой, в глухом черном платье с высоким воротником, призванным подчеркнуть ее скромность. Она с достоинством кивала головой и улыбалась, не разжимая губ. Бедная Джиоконда, она боялась обнажить свои гнилые зубы...

Ее муж, детский врач, в старомодном чеховском пенсне с черным витым шнурком, говорил одними лишь ласкательными словами: трамвайчик, бульварчик, живстик, ванночка, клизмочка — и все время муштровал долговязого сынка с ломающимся голосом, то и дело запускавшего грязную лапу в вазу с фруктами.

Когда мы наконец покинули эту милую, но не очень приятную семейку, я сказал:

— А вы, оказывается, нежнейшая родственница.

— Что поделаешь, это ведь родня мужа, — отвечала Ася, идя со мной рядом своей легкой, неслышной походкой.

Я вдруг почему-то опечалился.

Какая-то женщина с изможденным лицом попросила у нас подаяния. Видно было, что она знала лучшие времена. С внезапным волнением Ася шепнула мне:

— Дай ей побольше.

Мы спустились к морю. Набегала волна, бурля среди камней, сложенных у берега. Казалось, камни покачиваются и ныряют, блестя круглыми, отполированными спинами. При виде их мне пришла на ум еван-

гельская притча о стаде бешеных свиней, попрыгавших в море. Ветер душил волну, не давая ей подняться, срывая с нее белый гребень и разнося его по воздуху тучей соленых брызг. В вечернем сумраке вставал памятник затопленным судам. Где-то далеко в море переговаривались маяки.

Ася была молчалива.

— Ты какая-то сегодня невеселая, — сказал я.

— А с чего мне быть веселой? — отвечала она. — Счастливые сакские сны миновали. Что хорошего? Ах, — сказала она с неожиданным чувством боли и нежности, — нам бы не просыпаться с тобой, Левушка!

— Что ты, что ты, Асенька! — сказал я, целуя ей руки. — Все будет хорошо, поверь мне. Не думай об этом, родная!

— Да, верно, всего не передумаешь.

Было тихо, лишь море вздыхало на камнях. Мы поднялись по неровной дорожке, усыпанной гравием, пересекли пустынный и одичавший Приморский бульвар и вышли на темную, неосвещенную улицу, обсаженную тополями, от которых было еще темнее. Сентябрьская теплынь струилась в ночном воздухе.

— Как темно, я не вижу твоего лица...

— Но я рядом, милый! — отвечала Ася. — Скоро откроются звезды, и станет светлее.

По голосу я улавливал, что мысли ее далеко от меня. Потом, словно пробудившись, она проговорила:

— Как я слаба и несчастна! Нам надо расстаться, а у меня нет сил. Ах, господи! — воскликнула она с нетерпением. — Нам нельзя не расстаться, так уж лучше поскорее! Пойми, я не хочу боли. Но я слабая женщина, помоги мне. — Она с мольбой сложила руки на груди. — Эта нищенка не выходит у меня из головы. Какое у нее лицо! Камея! Она была красива. А руки? Ты видел ее руки? У этой женщины, наверно, был муж и любовник. А теперь — брошенная, больная, беспомощная, никому не нужная, ни на что не пригодная... Боже мой, какое это несчастье — быть зависимой... Ничего не мочь и ничего не уметь...

Я был подавлен, измучен и раздражен. Похоже, с

ней начинался очередной приступ бредового смятения.

— Но что я должен сделать, чтобы тебе стало легче? Скажи — и я сделаю.

Она встрепенулась:

— Уйти! Да, да, уйти! Кто-то должен быть сильным. Будь ты, раз я не могу.

— А уйду — ты будешь счастлива?

Она загорелась:

— Милый! Любимый! Пойми меня. Что было, то было. Я не жалею. Это наш праздник. Я никогда не забуду и никогда не перестану вспоминать его. Мне будет трудно, больно, очень больно. Но иначе нельзя. Пойми! У нас нет будущего. Мы можем только погубить друг друга. Тебе нужно начинать жизнь, а я свяжу тебя по рукам. Уйди, прошу тебя, ради любви ко мне, чтобы ты потом не проклял меня! Господи, как это страшно — так любить... — Она цеплялась за мои руки, отталкивая и удерживая меня, как если бы я собирался покинуть ее.

Я и сейчас не пойму, какое злое чувство владело мной, если я мог сказать ей то, что сказал.

— Хорошо,— сказал я с неожиданной решимостью, близкой к отчаянию, — хорошо, я уеду. Сегодня же, сейчас, сию же минуту. Но напоследок скажу вам: вы никогда не любили меня, вы и теперь не любите... Вы молчите, вам нечего сказать, потому что это правда. Да, да, молчите! Я вижу, я понимаю... Я ухожу. Я слишком долго клянчил и вымаливал вашей любви. Я жалок и ничтожен, если я так долго терпел вашу свирепую тиранию! — Похоже, я подбирал слова, наиболее обидные для нее.

— Уезжай! Уезжай! — крикнула она мне вдогонку. — И не забудь заглянуть в Харьков, к твоей подруге детства!

Мое терпение истощилось, я был унижен и взбешен. Я ушел на вокзал, сел в первый отходящий на север поезд, забился в темный угол теплушки и заплакал. Я плакал от сознания, что не могу жить без нее, а она не любит меня.

Все же инстинкт подсказывал мне, что я правильно поступил, уехав от Аси. Я разгадал ее характер. Она насквозь рассудочна, ее надо держать в беспрестанной неуверенности, не следует показывать ей слишком много любви. Сдержанность, даже сухость в обращении с ней — вот отныне мой девиз. Мне необходимо выдержать характер, чего бы это ни стоило, иначе я погибну.

Если бы я и дальше действовал так круто, мы избежали бы крушения. Увы, мне было двадцать лет. Я только сделал первые несмелые шаги, чтобы смирить ее строптивость, а уже был полон сожаления и печали.

А поезд уносил меня на север, выстукивая свой однообразный припев: «на север, на север, на север!..»

Я бежал, не взяв с собой в дорогу ни вещей, ни еды. А время шло к зиме, и было оно не сердобольное. Не часто встречались такие люди, как Василий Кузьмич Егорушкин. В воздухе веяло не только ранней стужей, но и леденящим дыханием страшного голода, — даже в такую даль занесло беженцев с Поволжья, убитого засухой.

На мое счастье, санитарный поезд с курортниками спустя сутки нагнал нашего «максима», который плелся, по выражению какого-то острослова, с быстротой черепахи вверх по зеркалу.

Голодный, усталый, грязный, продрогший до костей на ночном осеннем холоде, явился я в свой вагон с повинной головой. Мое появление переполошило всех, но встретили меня неприязненно, даже Василий Кузьмич. Поеживаясь, зевая в позднем сумраке сентябрьского рассвета, затянувшего окна бледной синевой, старик Егорушкин высказал мне без обиняков свое неудовольствие:

— Я думал — ты башковитый, а у тебя, гляжу, там ветер гуляет. Спасибо скажи, что мы подоспели. Набрался бы ты горя. К зиме идем, а ты, гляди, налегке, без припасов. — Он укоризненно покачал головой. — Опять же с чего это ты бежать вздумал, а? Не слыхал я что-то, чтобы смелые люди бегали... Говорил

я тебе, она в слезах купаться будет. Вот и выходит, моя правда. Эх, ты! Вторые сутки женщина не пьет, не ест, все глаза выплакала.

От Аси я не слышал ни слова упрека. Она смирилась, была покорна и нежна. Лишь однажды, улучив минуту, она шепнула мне:

— Я получила хороший урок. И поделом мне. Ты был прав. Нельзя безнаказанно тиранить. Но с какой ненавистью ты говорил со мной! Вспомнить жутко. — И еще тише: — Если бы ты не вернулся, я бы умерла...

Нас окружала атмосфера сочувствия и приязни. Соседка Аси уступила мне свою верхнюю полку. Теперь нас с Асей отделяла низенькая перегородка. Достаточно нам было привстать на локте, чтобы увидеть друг друга. Никто не мешал нам разговаривать или молча глядеть на бегущие мимо сжатые, колючие поля, прозрачные перелески, засыпанные опавшей листвой, на мрачные кладбища разоренных паровозов или сваленные под откос тележки разбитых и обгорелых теплушек.

А на станциях, где с введением нэпа полно было всякой снеди, слонялись голодные беженцы, беспризорные дети, которых было особенно много.

Нас кормили гораздо хуже, нежели весной, а для обмена у нас уже ничего не осталось, нам пришлось потуже подтянуть животы. А старик Егорушкин не без умиления вспоминал весеннее изобилие и благоденствие.

Ася, однако, умудрялась накормить голодных ребятишек, клянчивших по вагонам, она пустила в ход все свои сарафаны и даже сорочки.

У нас в поезде был создан комитет помощи голодающим, или, сокращенно, «компомгол». Председателем был избран Егорушкин. Месяцы санаторной жизни пошли ему впрок, он поздоровел и с лица стал гладкий. Увы, это была последняя вспышка догорающей лампы...

Василий Кузьмич был неутомим в своей доброте. Я старался помочь ему. Я написал обращение ко всем обитателям санитарного поезда:

«Несчастье, постигшее нашу страну, столь велико, а бедность и разорение наши столь огромны, что совсем не трудно понять, что ждет с наступлением морозов всю эту армию голодных, разутых, раздетых людей. Товарищи! Братья! Поспешим же на помощь им, кто чем может, — деньгами, продуктами, одеждой, бельем».

Вениамин Берг обнаружил недюжинные способности журналиста. Мы снова выпускали газету.

Берг свободно передвигался, рослый, стройный, легко опираясь на палочку. Он не отходил от Вики, похорошевшей и повзрослевшей. Ее глаза были полны неразгаданной печали, глубокой, как их синева. Меня она избегала, с Асей и вовсе не разговаривала. Ася не понимала ее поведения, а я ничего ей не объяснял.

Мы проезжали через Харьков, поезд, как назло, простоял здесь сутки. Но к Лиле я не пошел и даже отказался от экскурсии в город. Зато Ася не захотела остаться со мной. Правда, она недалеко ушла с экскурсией, так как у нее внезапно разболелась голова. От этой боли она удивительно быстро исцелилась в моих объятиях.

В Курске мы с Асей пересели в обычный теплушечный состав, отправлявшийся в город В., а санитарный поезд пошел дальше в Москву.

Нас провожали Адель и Костя, грустные в преддверии разлуки. У Адели поблескивал от слез острый носик, который она то и дело пудрила. На нее было жалко смотреть. А Костя был тягостно смешон в своей роли присяжного остряка.

Василий Кузьмич даже остановил его:

— Какие вы жирные слова говорите, товарищ Костин! Жеребятиной отдает.

К нам вышел Вениамин Берг. Вика не захотела с нами проститься и передала через него привет. Он сказал нам несколько добрых слов и, глядя мне в лицо открытым взором, вновь повторил ту мысль, которую уже не раз высказывал в разговорах со мной: работа, труд сохраняют длительность и свежесть чувства, а

безделье опошляет его, стирает с него краски и делает серым, невзрачным и скучным.

— А как же насчет роковой любви, обреченной в своем зародыше? — спросил я вдруг.

Я никогда не верил в теорию фатальной любви, придуманной писателями.

Он как-то загадочно усмехнулся.

— Я говорил о страсти любовников, а не о любви супругов. Это вещи разные. Страсть проходит, время связывает людей иными узами.

В эту минуту я понял, что Вика ничего ему не сказала и никогда не скажет, а сохранит, как и я, в тайне наш странный, мимолетный и неповторимый роман.

Десять лет спустя я встретил Вениамина Германовича Берга. Он был женат на Вике. У них был сын, красивый мальчуган. Похоже, они были счастливы. А еще через несколько лет, где-то за Полярным кругом, я вновь увидел Вику в толпе колодников. Я чуть не лишился сознания. Да, это была она, оборванная, изнуренная и хромая. Она шла этапом по той же дороге, по которой некогда проходила ее мать. С ней обращались сурово, как с женой расстрелянного врага народа.

Грустно простились мы с Егорушкиным. Всего лишь несколько месяцев, как мы познакомились, а сроднились, точно знали друг друга всю жизнь.

— Ты ее поддержи, — сказал он, отведя меня немного в сторонку. — Ей не легко придется. Но настоящая любовь — она ничего не боится — ни тюрьмы, ни сумы. Ну, а ежели подделка, так и жалеть нечего. Тем более. Кто, брат, верен в любви и дружбе, тот верен и в борьбе и в бою. Ну, не поминай, брат, лихом, я ведь от всего сердца... — Он обнял меня и прослезился.

Через несколько лет в странствиях меня занесло в город О., и я пошел разыскивать Василия Кузьмича Егорушкина. Я нашел его на старом кладбище, вблизи ограды, где он покоился на Коммунистической аллее под небольшим каменным обелиском, увенчанным красной звездой.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Воспоминания увядают, как цветы, но и увядшие — они прекрасны.

А. Варяжский,
«Мои путешествия»

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Осенним полуднем сошли мы на привокзальную площадь. Нас никто не встречал. Впереди тележечник катил наши вещи. Мы шли за ним среди опавших листьев, какие-то разобщенные и неуверенные.

Есть что-то трагическое в пришествии осени с ее медленным умиранием и тлением. Еще пламенеет клен, но уже выцвел и угас его опавший лист, прибитый дождем к земле, и лежит, словно в гербарии, с острыми, зубчатыми краями. Вдруг ветер подхватывает его, и лист, как живое существо, прыгает, кувыркается, катится.

А деревья стоят общипанные в куче своих листьев. И нет, кажется, нигде тишины: ни на земле, где полно шорохов и вздохов, ни в небе, где нагромождение облаков чем-то напоминает реку в ледоход.

— Когда я тебя увижу? — спросил я вполголоса, боязливо дотрагиваясь до ее холодных пальцев.

— Не знаю, — отвечала она, так же тихо и так же боязливо отстраняясь от меня. — Ничего не знаю. Господи, у меня камень в сердце.

— Тогда пойдем прямо ко мне. У меня ведь своя комната.

Она неслышно засмеялась:

— Какой ты ребенок! Такие вещи так не делаются. Разве я рабыня, чтобы тайно убегать?

Я невольно вздохнул, я не был уверен ни в ее любви, ни в ее свободе. Очевидно, она чутко разгадала мой вздох.

— Что ты, милый! Будь спокоен, я люблю тебя, — проговорила она едва слышно.

Мы вели наш разговор шепотом, как заговорщики.

Неожиданно на углу появился Борис Хижинский. Он переходил улицу, не глядя по сторонам. Это было доброе предзнаменование, к тому же отодвигало еще на несколько минут расставание с Асей. Я окликнул Бориса. Глуховатый, он не расслышал. Тогда я нагнал его.

— Здорово, друже! Ты, как чайка, добрый вестник земли, последним провожаешь и первым встречаешь.

Мы обнялись. Он с первого же взгляда понял все. На длинном лице его выступила добрая улыбка. Он снял шапку и низко поклонился нам. Ветер перебирал его прямые, редеющие волосы.

— Приветствую путников, достигших наконец спокойной гавани. А вы, смотрю, Анастасия Федоровна, расхорошелись. Нет, право, без комплиментов.

Ася, по своему обыкновению, сделалась пунцово-красной до кончиков пальцев.

Мы развеселились. Борис, хотя ему было не по пути, пошел с нами.

У ворот моего дома мы расстались. Борис пошел проводить Асю. Навстречу мне выскочил мой меньшой брат Вадик и повис у меня на шее.

Как ни радостна была встреча с родными, она не рассеяла моей тревоги.

За полгода почти, что меня не было дома, накопилось порядком дел. Об этом поспешил мне сообщить отец, как всегда в колючих выражениях.

— Во-первых, здравствуй! А во-вторых, ты вовремя приехал. Надобно немедля с комнатой выяснить, как бы не уплотнили. В другой раз из жилотдела являются. В-третьих, касательно Вадика похлопотать следует. В-четвертых и в-пятых, зима на носу, а дров ни полена. Загуляли, товарищ Красный, пора и честь знать. Cum deo! [1] — Он любил употреблять латинские слова в пределах своих фельдшерских познаний и произносил их на русский лад. Он говорил с иронией, не скрывавшей его раздражения, маленький, суетливый, вертлявый, с высоко поднятой головой, что не мешало

[1] С богом!

ему, однако, видеть все, что делается у него под ногами.

— Дал бы хоть с дороги отдохнуть ему, Лев Иваныч! — сказала мать своим негромким, спокойным голосом. — Что за спешка! День-другой потерпеть вполне можно.

— А ты, мать, не встревай, договоримся как-нибудь. Мы с ним, чай, сродни, сын все-таки. Правда, неслух, смутьян, недоросль. Ему бы на доктора учиться, а он куда махнул, не угодно ли, строчкогон, бумагомарака, пасквилянт, пёсатель. — Он желчно перечислял — во-первых, во-вторых, в-третьих — мои убийственные недостатки, каждый из которых мог бы легко и навеки погубить любую репутацию.

Отец всегда был мною недоволен, он всегда поучал меня, а в раздражении доходил до крайней степени накала, так что я даже побаивался — не прибил бы он меня.

Начиная с четвертого класса, я давал уроки, а на лето уезжал репетитором в деревню, к какому-нибудь маменькиному балбесу. Это не избавляло меня от отцовских попреков.

— А, керосин родительский жжешь, сочинитель! Думаешь, ничего не стоит? Врешь! Семь копеек фунт. А графа из тебя все равно не выйдет. — Так называл он Льва Толстого; на меньшее он не был согласен.

Я обманул его надежды. Старый фельдшер мечтал увидеть своего старшего сына врачом, раз самому ему не удалось им стать. Он заставлял меня с детства изучать анатомию по атласам, в которых человек был представлен вскрытым, освежеванным и выпотрошенным. Увы, медицина меня не привлекала. А когда я из восьмого класса собрался добровольцем на гражданскую войну, отец и вовсе осатанел.

— Недоучка! — кричал он, бегая из угла в угол. — Еще не известно, чем кончится вся эта катавасия. Баран! Головы не жаль, в петлю хочешь сунуть. Хоть бы мать пожалел. Доведешь ты ее до коллапса [1].

Возможно, что в дурном его обращении со мной

---

[1] Смерти.

были и другие причины: революция конфисковала его небольшие сбережения; в моем лице он видел прямого виновника.

Зато мать была мне всегда опорой и утешением. Молодая красавица, глядевшая на меня из деревянной рамы, сохранила мало сходства с той, которая, рано состарившись, стояла передо мною. Но и сейчас она была прекрасна: ее голова в серебряную искру пышных седых волос, ее задумчивое и печальное лицо, светящееся мягкостью и добротой, ее глубокие, светлые и мудрые глаза.

— Не огорчайся, Левушка! — молвила она тихо и грустно, когда отец, накричавшись вдоволь, выбежал из комнаты, высоко неся свою маленькую, птичью голову. — Ты ведь знаешь отца — горяч и несдержан. Но он тебе по-своему добра желает.

В делах и хлопотах пролетел быстро день. А когда я вернулся домой, уже стлались ранние сумерки, растворяя прилегающий к окнам сад.

— Что с тобой, Левушка? — спросила мать обеспокоенно. — Ты бы поел. Небось весь день голодный... Мало ли что не хочется. Я тебя пельменями угощу. Для тебя старалась.

Но мне кусок в горло не лез.

— Ну, тогда хоть приляг, отдохни! А то ведь деньденьской на ногах, все ходишь, ходишь...

В беспрестанном движении находил я подобие покоя. Стоило мне остановиться, как мною овладевала дикая тревога: что там с ней?

Чуткая от природы и деликатная по характеру, мать не торопилась с расспросами. Она догадывалась. Недаром же она всю жизнь провела среди благородных тургеневских героинь. Она только осторожно и как бы невзначай спросила, не заезжал ли я в Харьков, к Лиле.

Мне трудно было бы сейчас объяснить матери, что между мной и Лилей все кончилось, и я сказал, что на обратном пути из Крыма я к Лиле не заглядывал.

Вдруг в окошко кто-то несмело постучал. Я выглянул и не сразу узнал Асю в большом бабьем платке.

— Вот видишь, недолго длилась наша разлука, — сказала она с трогательной улыбкой. — Только полдня и смогла пробыть без тебя.

Мать встретила ее приветливо.

— Бывает, голубушка, — сказала она ей, и почему-то обе заплакали.

Потом мы с Асей долго гуляли по морщинистым, шуршащим тропинкам сада, продранным кое-где корнями старых яблонь. Моросил дождь, облетали деревья. Сад был небольшой, но во мгле наступающего вечера казался густым и глубоким.

— Вырвалась к тебе на полчаса, — говорила Ася, блестя в сумраке заплаканными глазами. — Ужасно как я беспокоилась о тебе! Прямо места не нахожу. Он еще ничего не знает. У него сегодня премьера. Какая ирония, — он играет мавра! Бедный, бедный! Смотрю на него, а не вижу, слушаю — не слышу, все мои чувства, все мои помыслы здесь, с тобой... Господи, как женщина несправедлива к тому, кого больше не любит!

Я настороженно ловил каждое ее слово, полное, казалось мне, любви к одному и жалости к другому, как если бы жалость стала тенью любви. Когда человек сознает, что он несправедлив к другому, едва ли тот, другой, ему безразличен.

— Я сегодня же скажу ему обо всем, будь спокоен, — продолжала Ася, чувствуя мою нервную настороженность. — Я преподнесу ему эту горькую пилюлю после спектакля. А утром рано приду к тебе в редакцию. И нам не надо будет больше таиться перед людьми. Не провожай меня дальше ворот. Мне надо бежать. Ему скоро нужно в театр. Ну, поцелуй меня!

В воротах нам встретился мой отец. Он галантно поклонился незнакомой даме и быстро засеменил дальше, высоко задрав голову, как норовистый конь в упряжке.

Я вернулся домой и долго ходил по комнате в вечернем сумраке.

Вошла мать, зажгла лампу, опоясавшую комнату длинными тенями.

— Ты даже чаю не предложил ей, — упрекнула меня мать.

— Нам было не до чаю, мама!

— Напрасно. Надо уметь владеть собой. Ты мог бы подать ей пример. Она замужем? У нее обручальное кольцо на пальце.

— Да, к несчастью, замужем.

— Это плохо. Твой отец будет возражать. В молодости он был шалун, теперь богомолен. Кто сам грешил, тот чужой грех не прощает, — сказала она с насмешкой, близкой к презрению.

Никогда не слыхал я от нее подобных признаний. Подойдя ко мне вплотную и положив руки мне на плечи, она вопросительно проговорила:

— Она как будто много старше тебя?

— На восемь лет.

— Это еще хуже. Мне жаль ее. Сорок лет, сказано, бабий век, а тебе только за тридцать перейдет. Смотреть вперед надо, мой сын! Когда женщина от нелюбимого мужа гуляет — это куда ни шло, а вот когда от любимого, — потому что всегда одна со своей кручиной и тоской, — это, Левушка, страшно. И вины на ней нет.

Моя мать говорила неслыханные вещи, мне вдруг боязно стало смотреть ей в глаза. Но она как бы не замечала моего смущения.

— Опомнись! Ничего хорошего из этого не выйдет ни для тебя, ни для нее. Только изломаете жизнь друг другу. — И тихо-тихо, точно шелест травы: — Ежели еще не поздно, не уводи ее от мужа.

— Поздно, мама! — ответил я так же тихо, впервые, быть может, осознав всю бедственную силу охватившей меня страсти.

Мать заплакала и, ни слова более не проронив, вышла из комнаты, светясь серебристой головой.

Час спустя ко мне ворвался отец. Он был в ярости.

— Ты что безобразничаешь! — крикнул он с порога. — Чужую жену уводить! Девок тебе мало? Да еще на десять лет старше...

Бесцельно было вступать с ним в пререкания. Но он вдруг резко переменил тон.

— С ума сошел, в упряжку, в хомут, в ярмо до-

бровольно лезешь! — Он бегал по комнате, выкликая свое «во-первых, во-вторых, в-третьих» и скрипя хромовыми сапогами на меху.

Он рано надевал теплую обувь, так как у него были больные ноги. Впрочем, у него всегда что-нибудь болело.

— И чего ты озоруешь, а? Тебе впору за ученье взяться. Аттестат зрелости теперь тебе дадут безо всяких дебатов. Даром, что ли, кровь проливал? А там — университет. Не хочешь врачом быть — бог с тобой, будь юристом, инженером, кем хочешь будь. Перед тобой все двери настежь. Guantum satis. Сколько схватишь, все твое будет. И происхождение у тебя подходящее, по отцовской линии. Не ценишь. Спохватишься, да поздно будет.

Он долго и обидно пилил меня, как в ту пору, когда я уходил добровольцем на фронт. Вдруг снова взъярился, точно вожжа ему под хвост попала:

— Ах ты сукин кот! У кого жену отбил. Муж-то ее, Саронов, в совнархозе главбухом, не чета тебе. Человек состоятельный. Актерство для него баловство одно, потехи ради. Душа играет. А у тебя, окромя идей, что есть? Ничего, ни синь пороху. А это капитал ненадежный, на рынок с ним не пойдешь, хлеба не купишь... Да и времена другие наступают, старым песням конец...

Но я плохо слушал его, далекий от занозистых его поучений.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

МАВР

Мне было невыносимо оставаться дома, и я пошел в театр в надежде увидеть Асю.

Там было по-осеннему сыро, еще не топили, а стены впитали холод предыдущих лет, когда зимой театр и вовсе не отапливался, а летом не успевал прогреться.

Я не пошел в партер, боясь на людях встретиться с Асей. И потом я не хотел, чтобы Отелло, окинув

взором театр, увидел вдруг меня. Я поднялся на балкон, откуда особенно было заметно, как полинял и обтрепался бархат на креслах и барьерах, как выцвела и потемнела бронза на люстрах. Отсюда я, наверно, смог бы, оставаясь незамеченным, увидеть Асю, сидевшую в партере, но на меня напал вдруг страх, и я панически забился в угол, как провинившийся школяр.

Спектакль запаздывал. Зрители уже трижды принимались нетерпеливо хлопать. Наконец раздался удар гонга, погас свет, и занавес осветился снизу огнями рампы.

Я всегда любил эту минуту, как будто ты стоишь на загадочном пороге, полный любопытства и ожидания: вот-вот взовьется занавес — и откроется какая-то неведомая, таинственная, волнующая жизнь... И почему-то мне начало казаться, что там, за освещенным занавесом, отбросившим на нас свой желтый, тусклый и туманный блик, сокрыта разгадка всей моей жизни.

С первой минуты появления мавра на сцене я почувствовал себя причастным к его трагедии.

Мавр играл великолепно. Он был кроток, нежен, великодушен, а в ярости неистов и безумен. Он так сверкал белками глаз, что страшно было смотреть. В нем буйно клокотали страсти, доводя его до бешенства, исступления и эпилептического припадка. Не помню, чтобы у Шекспира мавр страдал падучей. Но здесь припадок был почти натуральный. Я был зачарован, потрясен и с ужасом думал, что с этим человеком нам предстоит жестокая волынка, — он добровольно не отступится.

Сцену убийства Дездемоны я не в силах был смотреть. Когда мавр спросил жену: «Молилась ли ты на ночь, Дездемона?» — зрительный зал замер, так много чувств вложил он в эту фразу, и голос его был полон печали, усталости, покорности судьбе и последнего отчаяния. Я почувствовал вдруг, что этот человек знает что-то такое, чего никто из нас не знает. Я поднялся и ушел из театра и долго бродил в ночной осенней тьме, видя перед собой Асю и ее бушующего мавра. Я боялся за нее, страх погнал меня к ее дому.

Все шесть окон одноэтажного особняка были освещены, и по занавесям в окнах беспрестанно скользила тень. Я решил, что это мечется Ася. Мне было безмерно жаль ее. Чтобы приободрить ее, я начал насвистывать «Венгерский танец» Брамса — мелодию, вызвавшую у нее когда-то слезы горестного предчувствия.

Я стоял под облетающим деревом, ветер бросал мне в лицо пригоршни холодной дождевой воды и облеплял меня мокрыми листьями, словно чешуей.

Вскоре вышла Ася. Она куталась в большой шерстяной платок. Лицо у нее было заплаканное.

— Зачем ты здесь? — спросила она, уводя меня в тень, подальше от освещенных окон. — Какой ты нетерпеливый...

— Нет, нет, это совсем не то, — сказал я шепотом, как будто боялся, что он меня услышит. — Я был на спектакле, я видел мавра. Мне страшно за тебя.

Она нахмурилась, потом тихо засмеялась и, проведя рукой по моему лицу, молвила с грустной иронией:

— Я не Дездемона, а он не Отелло. Я обыкновенная неверная жена, а он просто муж, которому не повезло. Иди, голубчик мой! Я ему все сказала. Ты не свисти, ему и без того тяжко. Не будь жестоким.

В голосе ее послышались слезы. Они тревожили меня. Я старался успокоить ее, но мне это не удавалось.

— Раз ты все ему сказала, зачем же тебе здесь оставаться? — говорил я ей. — Тебе здесь больше делать нечего. Уйдем отсюда.

— Куда?

— Куда глаза глядят.

— Господи! Какой ты упрямый! — только и нашлась она что ответить. — Как я сейчас могу уйти? Это бесчеловечно. Я перестану себя уважать. Ступай, ступай домой, прошу тебя, будь совершенно спокоен. Утром я прибегу к тебе. Но чего ты боишься? Почему ты мне не веришь? — Она прикоснулась к моему лицу холодными и мокрыми от дождя и слез губами.

Я не мог ответить ей на эти вопросы, я сам не

знал, чего я боюсь и почему не верю ей. Я инстинктивно угадывал грозящую нам опасность. Ведь менее кого-либо знала она сама, что делается в ее душе.

— Я буду неслышно ждать тебя, — сказал я ей вслед, — хотя бы мне пришлось простоять здесь всю жизнь.

Ночь длилась бесконечно. Во тьме бормотал дождь на разные лады, и седой поток под водостоком брюзжал, плевался и брызгал слюной.

Когда Ася вновь выглянула, она ужаснулась, увидев меня.

— Что ты делаешь со мной? Не хватает, чтобы ты простудился и заболел!

— Так, пожалуй, будет лучше: по крайней мере это заставит тебя быть решительнее. Нельзя жалеть двоих сразу. Идем! — Я взял ее за руку, и она покорно поплелась за мной. — Довольно плакать! Я понимаю, не легко рвать с человеком, с которым прожито десять лет...

— Ох как не легко! — горько сказала она. — Если бы он кричал, бранил меня, мне было бы легче. А он винит во всем себя, только себя: зря, мол, отпустил одну так надолго.

Оказывается, он все знал еще до нашего приезда — севастопольские родичи постарались. Я невольно подивился его большой душевной силе: ведь, играя мавра, он играл самого себя.

Я вел Асю, нежно обняв ее за плечи. А дождь сеял и сеял мелкой водяной пылью, радужно сверкая под светом редких фонарей.

— Он всегда был заботлив, — снова заговорила Ася. — А сейчас он только обо мне беспокоится. Я чувствую себя преступницей. Он сказал, что не станет мне мешать, раз так случилось, и завтра же уедет и не возьмет ничего, а все оставит мне: и мебель, и квартиру, и продукты... Господи, какой это благородный человек!

У меня мелькнула мысль: не скрывается ли под личиной благородства и великодушия коварный ход с его стороны, не рассчитывает ли он таким способом сейчас удержать Асю или вернуть ее впоследствии?

Я напрямик предостерег ее от этой добродетельной ловушки. Святая наивность, она рассердилась на меня.

— Оставь, пожалуйста! Неужто ты не веришь в честные побуждения человеческого сердца? Ну хорошо, пусть так. Но ведь он все равно бросит на произвол квартиру и вещи. Не будь же мальчишкой, не напоминай мне, что я старше тебя на восемь лет.

Но я твердо стоял на своем: когда меняют жизнь, меняют и обстановку, берут только то, что безусловно принадлежит тебе, ни ниткой больше.

В ответ она залилась слезами.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

МОЙ ОТЕЦ И ТЕТКА СОСИПАТРА

Судьба была к нам немилостива с первых же шагов. Я привел Асю к себе домой. Когда я повернул выключатель в передней, чтобы осветить ей дорогу в мою комнату, на пороге показался отец. Он, видимо, еще не ложился спать. Красноватый электрический свет, горевший вполнакала, придавал ему зловещий вид. Что-то в нем было от коня, который вот-вот закусит удила и понесет.

— Это что такое, во-первых? — спросил он грозно. — Что за поздние визиты? Тут ведь не гостиница, во-вторых, не номера.

Я оторопел, Ася испуганно сжалась. Я никогда не думал, что отец при всей своей грубости способен на такой безобразный поступок.

— Папаша! Что вы говорите? Опомнитесь! Ведь это моя жена, — сказал я в крайнем замешательстве, заслоняя собою Асю.

— Жена? — заорал этот поборник нравственности. — При живом муже! Ты что, рехнулся? Тогда сядь в сумасшедший дом. Цито! Видали вы что-нибудь подобное? Распутничать в отцовском доме!

Я был вне себя, я был близок к тому, чтобы ударить его.

— Побойся бога, Лев Иваныч! — подала голос мать. — Кого гонишь? Из ума ты выжил.

Ее вмешательство лишь подлило масла в огонь.

— Молчать, старая дура! — взревел фельдшер необычайно высоким голосом. — Это ты... ты... Чтоб к завтрему духу его тут не было! К чертовой матери! — Его обуяла такая дикая злоба, что он уже не помнил и не слышал себя.

Я схватил Асю за руку и увлек ее подальше от его гнева. Я был убит и ослаб душой. Куда идти?

— Не горюй, милый, — сказала Ася, опираясь на мою руку и прижимая ее к своей груди. — Мы сейчас с тобой сквитаемся. Я покажу тебе тетку Сосипатру, она вполне достойна быть в паре с твоим отцом. Уважение приходит не сразу, а исчезает мгновенно. Зато мать у тебя чудесная. Ты в мать. Ну, прижми меня к себе, мне холодно. Я не ожидала, что все выйдет так смешно и грустно. Идем, милый! Нам все равно деваться некуда.

Она повела меня через весь город. Ветер дул нам в лицо, и дождь шел на нас сплошной стеной. В тумане дождевой пыли блестели редкие матовые электрические шары, почти не давая света. Они были на таком большом расстоянии друг от друга и между ними скопилось так много тьмы, что казалось, вообще ничего там нет, в этих черных, непроницаемых пустотах.

Было уже далеко за полночь, когда мы, промокшие до нитки, достигли наконец цели. Мы поднялись на второй этаж. Ася долго и тщетно тянула деревянную ручку бешено дребезжавшего колокольчика.

— Старуха живет с соседями чересчур дружно. Она может окочуриться, а они пальцем не двинут, чтобы помочь ей, — пояснила Ася, продолжая тянуть ручку звонка.

Наконец послышались шаркающие шаги и замерли за дверью. Тогда Ася крикнула:

— Тетка Сосипатра! Отпирай, не бойся! Это я, Ася.

Со стуком отвалилась щеколда, щелкнул замок, звякнула цепочка, распахнулась дверь. В слабом све-

13*

те, падавшем из передней от угольной, едва тлеющей лампочки, я не смог рассмотреть тетку Сосипатру. Увидав меня, она испуганно отпрянула.

— Не пугайся, тетя! — успокоила ее Ася. — Впусти нас, видишь, как мы промокли. Нам нужен приют до утра. А этот молодой человек прирученный, не кусается.

Подозрительно поглядывая на меня, тетка Сосипатра посторонилась. Она погасила лампочку в передней и вошла за нами следом в комнату, освещенную теплившейся перед иконой лампадкой.

— Свят-свят! — проговорила она сиплым мужским голосом. — Откуда ты, Анастасия? Какими судьбами? — Она зевнула и перекрестила рот.

— Сейчас, сейчас все расскажу, дай в себя прийти, — ответила Ася, снимая платок и пальто и вешая их на гвоздь у двери.

Но тетка Сосипатра продолжала говорить, покачивая седыми буклями в папильотках:

— Забыла ты меня, Настасья, забыла свою старую, больную тетку. Плоха ли, хороша ли, а все-таки тетка, родная кровь, единоутробная сестра твоего отца, царствие ему небесное. И выросла небось в моем доме. Худо-бедно, а жила не хуже родной дочери. Ей — обнова, тебе — обнова. Чай, подарками тебя не обносили, теплом и лаской не обходили. А ты вон какая гордячка. Знаю, не твоя вина. Это все Саронов твой, деспот, истинный тиран, разбойник, живоглот. Зачем только ты за него замуж пошла? Намедни узнаю от людей — племянница вернулась...

— Да я только вчера приехала.

— Ну, бог с тобой. А где была? В Крыму? Небось фруктов навезла вагон?

— Какие там фрукты! Месяц в дороге пробыли. Да и денег не было.

— Небось деньги были, как у меня в доме жила, — с ядовитой интонацией заметила старуха. — Скажешь, отец пенсию оставил? Велика ли? Да и обесценилась в войну...

— Что ты такое мелешь, тетя? Ведь я, слава богу, уже десять лет как замужем.

— Ну и что? А много ли за десять лет нажила? В черном теле тебя небось Саронов держит. И то ведь от него лучшего не жди — скуп, выжига, скаред, жаден...

— Ладно, ладно, тетка, — перебила ее Ася. — Зажгла бы свет, чем в темноте сидеть.

Загорелась лампа.

Со смешанным чувством удивления и любопытства смотрел я на тетку Сосипатру. Она была величава и безобразна, эта горбоносая старуха в шелковом японском пеньюаре с широченными рукавами, которые при малейшем движении обнажали ее желтые, дряблые руки. Меня взяла оторопь при виде этой старухи с маленькими, глубоко сидящими, как зверьки в норках, глазками, с выпуклым ртом и вылезшими из десен зубами, густо покрытыми зубным камнем цвета накипи на дне чайника.

Так вот она, тетка Сосипатра, питавшая всю жизнь больную страсть к вещам. Говорили, что эта женщина довела мать до апоплексического удара, отца — до психиатрической больницы, чтобы унаследовать их вещи. Родной брат при жизни не хотел с ней знаться. Дочь и сын оставили ее, не питая к ней ни любви, ни уважения.

Она ютилась в небольшой комнате, оставшейся у нее после революции от всей квартиры. Лохмотьями свисали обои, под черным потолком протянулись трубы уже приготовленной на зиму «буржуйки», а побелевший паркет был сплошь заставлен сундуками, от которых разило пылью, нафталином и острым запахом кошачьего помета. Постель была раскрыта, поражая тонкостью и белизной голландского полотна.

— Я ушла от мужа, — сказала Ася. — Не делай совиных глаз, тетя! Я ушла к этому молодому человеку.

У тетки Сосипатры действительно глаза на лоб полезли.

— Что ты! Окстись! Ушла от мужа! Ушла от Виталия! Свят-свят... И к кому? Разве сегодня первое апреля? Что за шутки? — Она взяла со старинного комода лорнет в черепаховой оправе и без стеснения

принялась меня разглядывать. — Ты спятила, милочка! Чем он тебя пленил? Мальчишка, щенок, молокосос. Ушла от мужа! И от какого мужа! А это что? Ты, матушка моя, угорела! Да сама ты что? Мужнина жена — и только. Будь ты со специальностью, врач, педагог, на худой конец акушерка, — другой разговор. Тогда и разница в годах не так заметна. А ты что? Красивая баба — и все.

— Хватит, хватит, тетя! — прервала ее Ася. — Не для того мы сюда пришли.

Ее миролюбие сразу успокоило старуху.

— Ладно, — согласилась тетка Сосипатра, потряхивая седыми буклями и отвисшими щеками. — Как знаешь, дело твое. Любовь, милочка, выдыхается, как нашатырный спирт, изнашивается, как башмаки, портится, как рыба. О мой бедный Анатоль! Как он любил меня...

Оправившись от растерянности и смущения, я как бы вскользь заметил, что не ожидал встретить Сосипатру Ермолаевну в такой глубокой бедности.

— Впрочем, — добавил я, — богатство иной раз, особенно в наше время, любит рядиться в рубище и отрепья.

Поглядели бы, что со старухой сделалось! Ее чуть было кондрашка не хватила. Она стала коричнево-багровой, как удавленница. Она отшатнулась от меня и вдруг затянула, как нищенка на паперти:

— Я бедная, несчастная вдова, беднее церковной крысы. Ничего у меня нет. Сундуки пустые. Пыль и сор. Хотите проверить? Пожалуйста! Пожалуйста, товарищ! — И пошла сердито и гулко хлопать крышками пустых сундуков, подняв при этом ужасающую пыль, от которой мы едва не задохнулись. Все же два сундука она ловко обошла и не открыла.

Шум переполошил разбуженных соседей. Какой-то верзила в туфлях на босу ногу заглянул в дверь, покрутил головой и гаркнул:

— С обыском? Из Чеки? Давно пора ее, чертову ведьму! Четыре сбоку — и ваших нет. — Он вовремя отскочил, сумасшедшая старуха запустила в него черепаховым лорнетом.

Я пожалел, что заварил эту кутерьму.

Когда успокоилось и жильцы разошлись по своим комнатам, тетка Сосипатра вновь заговорила мужским голосом:

— Так вот всю жизнь... В бедности и нищете, среди чужих людей, ждущих моей смерти... Теперь уже недолго. Слаба стала. Одинока. Мои дети... Тьфу, мразь! Господь бог наказал меня. Я вырастила змей и шакалов. Пресвятая дева Мария, смилуйся надо мной и пожалей меня, великую грешницу. Ты тоже забудешь меня, Настасья! Все забудут меня. Хоть на могилу придите. И вы, молодой человек! На моей могиле вырастет ракита, и по весне соловей-соловушка будет петь. — Она растрогалась от собственных речей и вытерла слезы с глаз. — Я праведница, я никого не обидела. Все врут про меня, будто я отца и мать со свету сжила, клевещут от зависти. Я добрая, я кроткая христианка. И возлюби ближнего своего, как самого себя. А меня все обижают, — сказала она, складывая губы в плаксивую гримасу. — И пуще всех твой Саронов. Уж не осердись, милочка, а я всю правду про него выложу. Плут, жмот, сквалыга, скупердяй, ревнивец, нахал. А хитер, — о мой бог, когда ему кто нужен, мелким бесом стелется, а не нужен — нос задирает выше облаков и не достать его оттуда, не видит тебя, не замечает. Вы с ним осторожней, молодой человек! Он ведь так не отступится, он еще палками загонять ее к себе в постель будет. Ах, подлец! И как меня обхаживал, когда ее, дурочку, из дому выманивал! Каких только посулов не надавал! Обманул, мерзавец. Грошовый полушалок пожалел. Но я, слава богу, не нуждаюсь в нем, даже сама кое-что оставлю... — Она хихикнула и тут же строго и мрачно произнесла: — Ты всегда мне была отрадой, Анастасия! Кроткая, терпеливая моя овечка! Да почиет на тебе благодать господня. Я скоро помру. Приди же глаза мне закрыть... — Она заплакала.

Мы сидели с Асей рядом, усталые, измученные, слушая бредовые речи тетки Сосипатры, и молча ждали утра. Оно медленно всходило из железно-мутного и ржавого осеннего рассвета.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

ВИТАЛИЙ САРОНОВ

Рано утром ко мне в редакцию пожаловал Саронов. Я не верил своим глазам. Зачем он пришел? Опасаясь, что он подаст мне руку, я инстинктивно заложил руки за спину. Он стоял неподвижно, перебирая пальцами свою черную шляпу артиста.

— Я к вам, товарищ Красный! — сказал он просительно. — Я хотел бы поговорить с вами наедине.

Он верно рассчитал: в любом месте я мог бы отказаться разговаривать с ним, но не в редакции, где я обязан выслушать всякого, раз ему взбрело в голову прийти сюда.

Никто из находившихся в комнате не подозревал, что у меня с Сароновым особые отношения. Когда мы остались одни, Саронов сел на краешек стула с видом крайней нерешительности и некоторое время молчал, видно раздумывая, с чего начать тягостный для нас обоих разговор.

Вид у него был утомленный, как у человека после бессонной и тревожной ночи. Под глазами легли темные тени, складки у губ стали глубже и горше, а на подбородке виднелся свежий порез от бритвы. Он смотрел моложе своих лет, хотя у него заметно серебрились виски. Он был красив, его портил хищный нос.

— Признаться, — начал он, потупясь, — не легко было мне прийти к вам. Унижение ведь тоже имеет предел. Но чего не сделаешь ради женщины, чья жизнь тебе дороже собственной! Извините, я подумал, что здесь самое подходящее место для того, чтобы нам переговорить. А разговора нам не миновать. Будь у нее живы отец, мать, брат, а то ведь никого, кроме сумасшедшей тетки. Может, познакомились?

Он говорил негромко и как-то доверительно, глядя куда-то мимо меня, так что и не понять было, куда устремлен его темный, больной взгляд. И вдруг посмотрел мне прямо в лицо, и я прочитал в его глазах такое страдание, которое способно превратить унижение в величие.

«Куда девался страшный мавр!» — сказал я себе насмешливо, стараясь рассеять охватившее меня смятение.

Странно, — я не питал к нему злых чувств, более того, мне было неловко перед ним и за то, что я отнимал у него жену, и за то, что он пришел ко мне, и за то, наконец, что я не могу, не смею не выслушать его. И все-таки в его приходе был какой-то тайный умысел. Что, собственно, ему от меня надо? О чем нам разговаривать? Если я прогоню его, он скажет Асе, что я человек невеликодушный, а если выслушаю, он, пожалуй, скажет ей, что я попросту дурак. А может, она знает, что он пошел ко мне? От этой мысли у меня похолодело в груди.

Как бы угадав мою мысль, Саронов проговорил:

— Я понимаю, вам, наверно, кажется нелепым мое поведение. Но, повторяю, меня сейчас занимает только одно — ее судьба. Она там складывает вещи, собирается... А куда, осмелюсь спросить? Вы скажете, — поспешно добавил он, словно боясь, что его не дослушают, — вы можете сказать: а какое вам, дескать, дело до нее, раз она уходит от вас и даже уже ушла? Это верно, но отчасти. К сожалению, мне ее судьба небезразлична и никогда не перестанет меня интересовать. В этом никто мне помешать не волен. Нельзя оторвать от человека его тень. А я — ее тень.

Я слушал, и незаметно во мне поднималось чувство гневного возмущения против него, против его навязчивой и всепрощающей любви. Вместе с тем к моей неприязни и даже отвращению примешивалось чувство робости перед этой большой привязанностью, способной на жертвы, самоотречение и подвиг, быть может и на преступление. Невольно сравнивал я себя с ним, таким бесхитростным, прямым и откровенным, и, должен признаться, не в мою пользу. Я начинал понимать, что отношение Аси к этому человеку, ставшему добровольной тенью ее, гораздо сложнее, нежели я думал. Как хочется порой заглянуть человеку в душу, как в чужие раскрытые окна... Чем дольше я присматривался к Саронову, тем удивительней и загадочнее казался он мне.

— Я не прошу вас, — продолжал он между тем, — покинуть ее и не прошу ее остаться со мной. Но я прошу вас, не лишайте ее привычных условий. Иначе она быстро зачахнет. Послушайте, — сказал он, предупреждая мою невольную горячность, — давайте по-мужски. Она покорна вам и не согласится ничего взять без вашего разрешения. А ведь надвигается зима, по всем признакам суровая и голодная. Ну зачем Асе скитаться по чужим углам? У нее своя квартира с запасом дров и продуктов. Ради бога, не поймите меня превратно. Я уезжаю, уезжаю совсем и навсегда.

Но я отлично понял его и не смог сдержаться:

— Вы, очевидно, рассматриваете ее уход как явление временное и хотите уберечь от разорения свое гнездо?

Он поднял руки, обратив их ко мне раскрытыми ладонями, словно обороняясь от меня, от этого несправедливого обвинения. Я впервые увидел, что у него руки рабочего — в мозолях и ссадинах. Как я потом узнал, он делал дома все сам — колол дрова, топил печи, ремонтировал квартиру, чинил мебель.

— Нет, — сказал он мягко и грустно, — если бы обстояло так, как вы говорите, поверьте, я избрал бы более разумный способ действий. В конце концов, нужда — плохой спутник любви. Несколько месяцев лишений способны охладить и образумить самое пылкое сердце. Но я не хочу ее страданий. Говорят, первый шаг к добру — это не делать зла. Поймите! Она жила всегда в достатке. Невзгоды и лишения убьют ее. Зачем же? Я вовсе не придерживаюсь такой эгоистической морали — если не мне, так пусть не достанется никому. Говорят, любовь к женщине не идет в сравнение с любовью к отчизне, к славе, к общественным интересам. Судьбе было угодно, чтобы в этой женщине соединилось для меня все — и родина, и слава, и доблесть. В ней все мои идеи, стремления и надежды. Я понимаю: если она могла внушить такое чувство мне, то почему не может быть человека счастливее меня?

Он как будто разговаривал с собой. Я с изумлением смотрел на него, задаваясь простым вопросом:

что это — человек необыкновенного великодушия или необыкновенной подлости? Мне припомнились слова тетки Сосипатры: «Когда ему кто нужен, мелким бесом стелется, а не нужен — не замечает, не видит тебя».

— Я не поклонник философии «лови момент», — снова заговорил он, помолчав немного. — Хотя это и красиво. Как говорит Гораций, мы не знаем, что предназначено нам богами, не будем же задумываться о будущем. Но я совсем не идеальный человек. Когда юный поэт, вроде вас, голодает на мансарде ради будущего, в этом есть смысл. Я уважаю его и завидую. Но мне уже за сорок, я заурядный человек, я хочу есть, пить, одеваться, кормить семью — словом, жить и пользоваться жизнью. Из всех видов искусства я предпочитаю величайшее искусство умения жить. Я честный коммерсант, теперь это ненаказуемо и даже поощряется. Когда мне запретят это делать, я вернусь в театр. Но это не скоро случится. Ведь обещано всерьез и надолго. Вам, конечно, претит моя философия, как и мое занятие. Но что поделаешь, каждый должен быть тем, кем может.

Я слушал его с тревогой и отвращением. Я не мог понять, как может уживаться в одном человеке одаренный актер и жалкий делец, осколок разбитой России.

Странно, — он вошел ко мне осторожно, робко, боязливо, и вдруг я увидел, что он развалился в кресле передо мной. Он продолжал рассказывать, в каких условиях жила до сих пор Ася, избалованная, требовательная. Похоже, он запугивал меня, похоже, он исподволь упрекал Асю в неблагодарности и эгоизме.

Тогда, не мудрствуя лукаво, я сказал ему напрямик: зря пришел он ко мне, Ася — человек свободный и вольна распорядиться собой, своими поступками. А с той минуты, как ушла от него, она, разумеется, вообще не нуждается ни в его советах, ни в его заботе, ни в его опеке. Я не знал, как дать ему понять, что разговаривать нам больше не о чем.

Он сидел, печально поникнув, глядя в открытое окно. Низко нависло темное, тесное небо, из которого

вместе с дождем, казалось, струится тяжелый, мокрый сумрак, пахнущий печным дымом. Березы под окном отсырели, темные, почти черные. Точно слепые путники, они шарили опущенными голыми, узловатыми ветвями в пустом пространстве, как бы отыскивая дорогу, затерявшуюся в холодном, белесом и мокром тумане.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

УХОД И ВОЗВРАЩЕНИЕ АСИ

Днем мы с Борисом поехали на завод посмотреть после долгого перерыва первую плавку чугуна. Какое сильное зрелище!

Ослепляя огненным блеском, разбрызгивая на землю золотые сгустки, изливается струя расплавленного металла в высокие изложницы.

Мимо нас проплывали ковши с жидким пламенем, словно маленькие светила. А дальше, в глубине цеха, выстроились в ряд, охлаждаясь и темнея, сотни брусьев разных оттенков — малиновые, вишневые, сливовые, наконец, черные матовые болванки, готовые для каления и проката.

— Грубая руда, очищаясь от шлака, обогащается, — сказал мне Борис, когда мы покинули завод и вышли на улицу. — Не так ли и человеческий характер? Пройдя сквозь горнило испытаний, он закаляется. И в этом весь человек. Он приходит в мир с плачем, а уходит среди плача людей, как говорит поэт.

Я был далек от его абстрактной болтовни. Меня не оставляла мысль об Асе, о странном визите Саронова, о том, как быть нам с жильем, куда приткнуться.

— Послушай, — сказал вдруг Борис, — чего ты таишься? Зачем к тебе приходил Саронов?

— Он очень озабочен, чтобы жена его, уходя к другому, не отказывалась от приданого. А он за ней дает немалое богатство — квартиру, вещи, запасы топлива и продуктов. Что ты на меня уставился? Я вовсе не шучу, мне не до шуток. Он за этим и приходил.

— Да-а... — сказал Борис, складывая в усмешку

свои толстые губы. — Это было бы остроумно, если бы не было так цинично. Саронов — дока. Он всегда казался мне неглупым человеком. А вот, поди, играет на верный проигрыш. Я ему не завидую. На что он рассчитывает? На чудо? Глупец! Ведь он — зола, пепел, а ты — огонь. Надо тебе устроиться с квартирой, да поскорей. Это может стать козырем в его игре.

Тогда я рассказал ему все без утайки — про то, как встретил нас мой отец, и про наш ночной поход к тетке Сосипатре.

— Ну что ж, — проговорил Борис, помолчав и подумав немного, — переезжай в мою комнату, пока не найдешь что-нибудь получше. А я временно поживу с матерью.

Я молча пожал ему руку. Я поспешил в редакцию, куда должна была прийти и Ася. Там ожидало меня письмо от нее. Дрожащими пальцами вскрыл я запечатанный конверт.

«Я люблю тебя, но у меня нет сил уйти от него. Я не могу быть такой жестокой и неблагодарной, я не могу отплатить ему злом за все добро, что он мне сделал. Я должна принести себя в жертву, я должна остаться с ним. Все равно у нас с тобой счастья не будет. Нам от него никуда не укрыться, я боюсь, он последует за нами хоть на край света и будет жечь наши следы, пока мы не разлучимся. Прости меня и забудь. Я так несчастна.

Твоя Ася»

Я ринулся к ней сломя голову, я бежал, не видя перед собой дороги. В передней меня встретил Саронов, он был удивительно спокоен. Мне вдруг неловко стало, когда я увидел, какие мокрые следы я оставляю на вылизанном паркете, и я почувствовал на своем лице жалкую улыбку, которую я потом не мог вспомнить без стыда и горечи.

Саронов оберегал Асю, как верный пес, он не пустил меня к ней, он не пустил меня дальше передней.

— Она больна и никого не хочет видеть, — произнес он ледяным тоном. — Она заперлась у себя изнутри, а ключ положила под подушку.

Как странно переменились наши роли!.. Еще утром он был, казалось, непоправимо несчастлив... Я смотрел на него с негодованием. Его крючковатый нос придавал ему выражение хищной птицы. Вчера он был львом, сегодня утром — ягненком, сейчас — злобным коршуном.

— Постойте, — сказал я, видя, что он собирается уйти. — Ваше утреннее посещение мне тоже не доставило удовольствия. Однако я выслушал вас. Я должен ее увидеть. У меня на это все права. Пусть она сама мне скажет. А посредники в таких делах ни к чему.

По-видимому, мои слова оскорбили его, он переменился в лице, глаза его сверкнули бешенством.

— Я уже вам сказал: она никого не хочет видеть, даже вас. Я выполняю ее волю. А нам с вами толковать вообще не о чем. Мое почтение, товарищ Красный! — и он захлопнул дверь перед моим носом.

У ворот меня дожидался Борис.

— Ну и ну! — промолвил он, глядя на меня строгими и добрыми глазами. — Еще пять минут — и я пошел бы тебя искать. Я просто испугался — не натворил бы ты бед. Эх! Серьезный человек, а ведешь себя как мальчишка! — сказал он с укором, шагая рядом со мной под проливным дождем.

Его слова меня не тронули, я был слишком поглощен своим горем.

— Зря ты так убиваешься, — сказал Борис, помолчав. — Саронов хитер, он на все пойдет, чтобы удержать ее. Утром разыграл ангела, а днем взвился чертом. Не исключено, что он снова придет на поклон. Он не понимает простой вещи: он — ее вчерашний день, а ты — завтрашний. Куда ему с тобой тягаться! Мне, право, искренне жаль его. Ну, бог с ним, поговорим о ней. Не помню, кто сказал: женщины чаще всего отдаются по слабости, и только редкие из них — по страсти. Ася твоя слабая женщина, иначе она не покинула бы тебя. Но она вернется. Она не может не вернуться, она не может отказаться от завтрашнего дня ради вчерашнего.

— Ты так думаешь? — спросил я недоверчиво.

— Не сомневаюсь. Только ты будь решительнее и круче. Она слишком уверена в тебе. Стоит поколебать ее уверенность — и она прилетит, как ветер. Не ищи с ней свидания. Прогони Саронова, коли снова пожалует. Будь сильным — тогда она будет послушной. А будешь слабым — станешь вьючным. В любви кто-то неизбежно должен быть сильнее. В любви кто-то светит лишь отраженным светом. А самое лучшее, что ты можешь сегодня сделать, — уехать на недельку. Разлука, как кнут, подстегнет события.

Я внимательно слушал его поучения, казавшиеся мне тогда откровением. Откуда, думал я, у него в двадцать два года такое знание женской натуры? Мой опыт с Асей убеждал меня в правоте его. Каждый раз, когда мне удавалось проявить твердость воли, она смирялась.

— Не знаю даже, когда я расплачусь с тобой, Боря! — воскликнул я порывисто.

— А ты авансом расплатился со мной на всю жизнь, — ответил он.

Я встрепенулся, воспрянул духом и начал насвистывать «Песню без слов» Чайковского. Борис стал мне помогать. У него это получилось забавно. Ведь ему, как говорится, медведь на ухо наступил. Про него еще в гимназии сложился анекдот: когда гимназический оркестр грянул «Карапет мой бедный», Борис Хижинский встал, уверенный, что играют «Боже, царя храни!». Мы оба посмеялись давнему воспоминанию.

Наутро я выехал в уезд.

Стоило мне переступить за черту города, как я погрузился в такую пропасть людских страданий, перед которыми были ничтожно малы и моя боль и моя печаль.

По осенним дорогам, размытым дождями и расползшимся жидкой грязью, в которой утопали колеса телеги, шли толпы мужчин и женщин, старых, и молодых, и совсем юных, их гнал голод, страшный голод. Изможденные, в рубищах, с остекленевшим взором, они шли куда глаза глядят, побросав свой скарб, спасаясь от людоедства и голодной смерти.

Когда неделю спустя я возвратился из командировки, Ася уже была свободна. Она развелась с Сароновым. Он уехал. Она бросила квартиру. Она взяла с собой лишь самые необходимые и лично ей принадлежащие вещи.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

НОВОСЕЛЬЕ

Мы поселились у Бориса. Комната была маленькая, светлая, но холодная. Под пышным абажуром висела восьмилинейная керосиновая лампа с треснувшим стеклом, заклеенным порыжевшей, выгоревшей бумагой. На частные квартиры электрический свет еще не давали. Я хотел было взять кое-какую мебель из своего прежнего жилища, но отец не позволил.

— Не валяй дурака и возвращайся домой, — сказал он мне как ни в чем не бывало. — Не всякий звон к набату, не будь болваном, не поднимай тревоги. У нас и без того комната лишняя. Теперь две будут. Уплотнят, как пить дать. Каково твоей матери будет на старости лет среди чужих людей!

Я наотрез отказался. Странная логика, — сам же меня выгнал из дома, а потом долгие годы попрекал за то, что благодаря мне в родительскую квартиру вселили дурных людей, сокративших жизнь моей бедной матушке...

Ася побледнела и осунулась, как после болезни. Бледность придавала ее лицу какую-то одухотворенность, а тени под глазами подчеркивали живой и яркий блеск глаз.

— Как я устала! — проговорила она, переступив порог нашего нового жилья. — Я всю неделю пролежала, пока тебя не было. Знаешь, это какая-то женская особенность — страдать, обязательно уткнувшись в подушку. Я чуть не умерла, когда узнала, что ты уехал. Какой ты злой! Я ринулась к тебе. Господи, как я бежала! Мне казалось, что за мной кто-то топает, — это стучало мое сердце.

Мы стояли, обнявшись, посреди комнаты. В три окна, расположенные в ряд, устремлялся свет осеннего солнца, глубоких небес, перистых облаков, сияющих белизной берез, желто-яркой листвы и, смешавшись в единый поток, ударял с такой ясной силой, что ничто не ускользало от глаз и все до последней черточки как бы обнажалось в этом блеске света. И ветхость самой комнаты с отставшими от стен и выцветшими обоями, с темным, в трещинах потолком и побелевшим полом, и убогость обстановки, эта железная койка с погнутыми прутьями, и накрытый клеенкой колченогий стол, и два табурета — все, решительно все возникало с предельной отчетливостью. И все же обилие света, как бы обнажая предмет во всех его нищенских подробностях, в то же время покрывало его каким-то веселым, юным, задорным, праздничным сиянием, смягчая и скрадывая трагические тона бедности, убожества и нищеты.

Комната обрела вдруг светлую перспективу, являясь словно продолжением того чудесного пейзажа, который открывался из окон, стоявших так близко друг к другу, что образовалось нечто похожее на арку. Достаточно, казалось, сделать короткий шаг вперед, чтобы очутиться среди простора лугов, садов, лесной гряды, синевшей на горизонте.

— Как здесь хорошо! — сказала Ася с восторгом. — Как много красок! И сколько света! Господи! Море света, торжество света, праздник света. Не жилище, а храм. — И она запела вполголоса балладу Маргариты из «Фауста». Я никогда не слышал такого тонкого, нежного и трогательного исполнения.

Потом она навела порядок, и комната приняла нарядный вид и еще более посветлела от всех этих белейших занавесок, наволочек, скатерок, салфеток, как будто вокруг выпал первый снег.

Мы устроили новоселье, свадьбу, званый пир. Матушка тайком от отца натаскала всякой снеди, а фельдшер прислал бутыль чистого спирта.

Ася радостно встречала гостей, она и отца моего встретила по-родственному, приветливо, без притворства, как будто ничего не произошло. Нисколько не

смущаясь, он отругал меня, «во-первых», за непокорный и строптивый нрав, а «во-вторых» попробовал оправдаться перед Асей:

— Вина моя большая, признаю. Мягкосерд и по-христиански жалостлив. Довлею скорби человечьей. Пожалел Саронова. Горючими слезами плакал предо мной. Как Иов, проклял день своего рождения...

Я не дал ему продолжать, не видя ничего приятного для Аси в его самозащите.

Ася была очень хороша собой. На ней было прелестное платье из серой тафты, в сборку, с белыми кружевными рукавчиками и кружевным воротничком, на поясе была приколота живая хризантема. А розовое, смуглое, томное и нежное лицо ее, согретое живой улыбкой и освещенное кокетливым, игривым блеском карих глаз, было приветливо и ласково.

Братишка мой Вадик прилип к ней, как если бы знал ее без перерыва все двенадцать лет своей жизни. Она обладала волшебным свойством притягивать и привязывать к себе сердца людей.

Ужин был скромный, зато питья вдоволь. А у меня из головы не уходили эти ужасные картины страданий и смерти от голода людей, которых я так недавно видел на дорогах. Мои товарищи по редакции держались не совсем уверенно до первой рюмки. Краснощекий Игнатий Бережков осовел, до неприличия пялил на Асю свои широко поставленные, как у птицы, глаза, так что к концу вечера я возненавидел его. Кто-то про него сказал: «В его большой голове мыслям слишком просторно, чтобы удержаться в ней». В ревности я был несправедлив и пристрастен.

Борис, который считал для себя недостойным разбавлять чистый спирт водой, быстро захмелел, сбросил «удавку», то есть воротничок с галстуком, разошелся и произнес заздравную речь.

— Внимание! Товарищи! — начал он. — Не помню, кто сказал, но кто-то сказал: в каждом из нас заложена пружина его судьбы, жизнь только разворачивает ее. Здорово сказано! Так вот, в том-то и вся штука... отныне жизнь будет способствовать этой пружине судьбы. Каждый может начинать сначала. И тот, кто

лишен был права учиться, и тот, кто остановился на полпути... Вот я и подошел к главному. Дорогие мои новобрачные! Вы стоите в самом начале своего жизненного пути. Я пью за то, чтобы пружина вашей судьбы развернулась во всем блеске ваших дарований и талантов.

Сначала Бориса слушали не очень внимательно, но по мере того, как он говорил, несмотря на опьянение, все яснее и звучнее, хмельной гул голосов стихал, а под конец стало так тихо, что слышно было, как посапывает заснувший на диване Вадик. Даже овеянная винными парами мысль Бориса работала прекрасно. Это отметил разгоряченный от вина отец, когда смолкли рукоплескания и крики «ура», разбудившие Вадика.

— Вы молодец, Борис Николаевич! Чем старше человек, тем сильнее ему мнится, что он маловато жил, а в преклонные годы ему и вовсе кажется, что он совсем не жил. Вы умница. Не то, что иные — вроде пустой консервной банки, привязанной к собачьему хвосту, грома много, а ни слова дельного, ни дела путного. Витают в эмпиреях. — Это полетел камень в мой огород.

Тетка Сосипатра кудахтала, закатывая глаза и тряся обвисшими щеками, и с вожделением поглядывала на вещи. А маленькую подушечку-думку в расшитой шелковой наволочке она не спускала с колен и ласкала ее, как котенка.

Отец и тетка Сосипатра быстро поладили, нашли общий язык и понравились друг другу. Опьянев, они тряхнули стариной и пошли отплясывать. Пляшущая тетка Сосипатра — это было зрелище для богов. На ней все тряслось, как глыбы студня. Она откалывала такие антраша, что ясно было, что у этой старухи железное здоровье.

А мать смотрела на плясунов своими умными, насмешливыми и печальными глазами и, наверно, думала: «Вот бы кому быть в паре, и были бы оба счастливы — и он и она».

Но за чаем фельдшер и тетка Сосипатра распетушились, повздорили и насмерть разругались. Они

были слишком похожи, это их раздражало, они напоминали двух заик, которым кажется, что один другого издевательски копирует и дразнит.

Началось с того, что отец, вспомнив речь Бориса, заявил вдруг, что раз старший сын не оправдал его надежд, то он сам, учившийся на медные гроши, теперь продолжит свой прерванный путь и выйдет в доктора.

Тетка Сосипатра хихикнула:

— Тоже придумал. Надеетесь, что на старости лет у вас вырастут новые зубы и новые волосы? Надейтесь, черт подери! Хе-хе!

Отец шуток не понимал и со свойственной ему грубоватой прямотой ляпнул: надеждам, мол, конец, когда из человека уже песок сыплется, — и почему-то закончил латинским словом: «Статим!»

Трудно сказать, что именно задело тетку Сосипатру — непонятное ли латинское слово или непростительный намек насчет ее старости. Она вдруг нахохлилась и вспомнила чеховских бурбонов, которые не умели отличить благородную даму от верстового столба. Брызжа слюной, она грохочущим голосом заявила: дескать, как павлина ни ряди, а узнаешь его по хвосту, а кучер останется кучером, даже если на него напялить фрак. И в довершение закончила обидной французской поговоркой: «Ты можешь быть героем, но только не в глазах своего лакея».

Отец мой побагровел, но, к удивлению моему, сдержался. С поразительной любезностью он сказал:

— Как ни плох кучер, а всегда сумеет отличить щегольскую коляску от разбитого рыдвана. — Все же сдержанность изменила ему, он брякнул: — Верно, как павлина ни ряди, а райской птицей не станет. И глупец прослывет умным, да только среди дураков. А сорта дураков неисчислимы.

Бог весть куда завлекла бы обоих при их несдержанности эта грубая перепалка, если бы гости не развели их в разные стороны. Вот когда сказалась инстинктивная классовая неприязнь дворянки и плебея.

Между прочим, речь Бориса запала, видимо, отцу моему в душу, — со временем он превозмог ложный стыд и, несмотря на свой пожилой возраст, поступил на какие-то двухгодичные курсы для фельдшеров и добился того, что ему присвоили звание врача-практика.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

СЧАСТЛИВАЯ ПОРА

Зима выдалась лютая, с непрекращающимися метелями и буранами. Город завалило сугробами, а расчищать было некому, люди ослабели от голода.

В то переходное время от военного коммунизма к нэпу все было неопределенно — и заработок и паек. Жалованье, например, исчислялось в миллиардах, а стоимость продуктов — в червонцах. Разница была столь разительна, что полученная, скажем, в полдень зарплата теряла к вечеру по курсу чуть ли не пятую часть своей реальной ценности.

Мы с Асей были чертовски непрактичны и пребывали в постоянном разорении. Нам бы жить коммуной с Борисом и его матушкой Глафирой Алексеевной, превосходной мастерицей, умевшей из полуфунта мяса приготовить полтора десятка котлет. Конечно, мясо разбавлялось черным хлебом и мяса было с гулькин нос, зато как вкусно пахли котлеты, как шипели на сковороде, покрываясь коричневой коркой... Правда, Борис всегда был голодный, и Ася по возможности подкармливала его.

По утрам, пока я спал, вернувшись из редакции на рассвете, Глафира Алексеевна затапливала «буржуйку», переговариваясь с Асей сиплым, простуженным голосом. Угрюмая, высушенная нуждой женщина, она держалась старозаветных понятий, признавая лишь церковный брак. Она считала, что мы с Асей состоим «в преступном блуде», она осуждала Асю и едва терпела меня.

— Сходили бы в церковь, — брюзжала она. — Язычники! Чай, не убудет вас. Зато ребенок, коли ро-

дится, не прослывет байструком. Вам-то что, а ему всю жизнь клейменым мучиться.

Ее Борис был незаконнорожденный и хлебнул из-за этого обид вдосталь. Он старался обратить мрачное ворчание матери в шутку, но она не сдавалась.

— Это только так говорится — времена другие. А на поверку — те же песни и на старый лад.

Асе эти разговоры были явно неприятны. Она мне об этом потом сама сказала. Ведь ее брак с Сароновым был освящен церковью, а расторгнут только в загсе. Таким образом, она считала себя почти что двумужней.

Когда накалялась железная печурка докрасна, Ася осмеливалась высунуть из-под одеяла розовую ногу. Потом она пекла лепешки из черной муки со жмыхом и отрубями. Днем она училась в театральной студии, вечером пела в «Птичках певчих» Оффенбаха партию одной из сестер, состоявшую из трех музыкальных фраз. У нее были вокальные способности, но она понятия не имела, как держаться на сцене. Бывший муж не позволял ей учиться, опасаясь развращающего влияния кулис, и не давал ей работать, очевидно полагая, что работа не женское дело и что женский удел — это, как говаривали немцы, Kinder, Kirche und Küche, то есть дети, церковь и кухня.

Ася окончила гимназию, любила читать, по характеру была трудолюбива, а, поди, оказалась ни к чему не приспособленной. Надо было с чего-то начинать, а с чего — она сама не знала, и я подсказать ей не сумел. Она часто задумывалась над будущим. Не поздно ли наверстывать упущенное и сесть за учебники в двадцать восемь лет? Хватит ли у нее решимости и воли? С завистливой насмешкой вспоминала она иногда Вику, эту юную студентку.

По ночам ее будил морозный лунный свет. В комнате было так холодно, что казалось, от лунного света идет пар, смешиваясь с голубым паром нашего дыхания. В серебристой мгле лицо Аси с закрытыми глазами представлялось мне загадочным и чужим, особенно когда она спросонок называла меня именем бывшего мужа.

Я был непростительно наивен, я совсем забыл, что она привыкла жить в лучах чужой заботы. Ведь недаром у Саронова огрубели руки. А сейчас ей приходилось самой убирать, готовить, да и постирать случалось изредка. Вдобавок — недоедание.

Я не слышал от нее ни жалоб, ни упреков, хотя по моему настоянию она отказалась от продуктов и дров, которые принадлежали ей в равной доле с бывшим мужем. Она потом призналась мне, что тайком бегала на старую квартиру в надежде хоть что-нибудь найти. Увы, пообещав ей оставить все, Саронов не оставил ей и нитки. Он был добр, пока надеялся извлечь пользу из своей доброты. Это немного приоткрыло ей глаза на него.

Наше счастье омрачалось нуждой и странными припадками Асиной ревности. Любой пустяк мог послужить запалом для этой гранаты, взрывная сила которой была ужасна. Однажды я выказал неосторожное внимание молодой актрисе, о которой собирался писать. Ася помрачнела, вдруг вспыхнула и залилась краской, по своему обыкновению, до кончиков пальцев.

Всю дорогу до дому она промолчала. Я не мог вытянуть из нее ни слова. Дома я помог ей снять шубку и ботики. Она оставалась в меховой шапке и длинном шерстяном шарфе.

— Послушай! — сказала она, не глядя на меня. — И запомни! Ты принадлежишь мне, только мне и никому другому. Я слишком дорого уплатила за тебя. Ты слышишь? — У нее задрожали губы.

Я хотел ей шутливо сказать: с каких пор она приобрела меня в собственность? Но она вдруг перехватила обеими руками шарф на своей шее и стала себя душить.

Я еле разжал ей пальцы. Мне стоило немалых усилий успокоить ее. Но я чувствовал, что прибавилась еще одна царапина в ее настороженной душе.

Теперь, когда оглядываюсь назад печальным и усталым взором, я вижу нашу гибельную ошибку. Асе следовало с самого начала работать, по-настоящему работать, — ни одного дня безделья, ни одного часа

праздного досуга. Какой сумбур царил в ее пылкой голове! — Она знала «Даму с камелиями» по «Травиате» и, кроме того, что лорд Байрон был хромой, ничего больше, кажется, о нем не слыхала. Зато она читала всего Арцыбашева, Вербицкую, Пшибышевского, помнила наизусть чуть ли не всего Игоря Северянина и весьма смутное представление имела о Блоке.

Меня же окружали героические образы гражданской войны, ожидавшие своего воплощения. Ася постоянно охлаждала мои мечты.

— А по мне, — говорила она, — так, кроме уютной комнаты и поющего самовара, право, ничего больше не нужно. А карточные домики, воздушные замки, дворцы, какие бывают среди вечерних облаков, — нет, милый, облака прогорят, и дворцы распадутся, и мы останемся ни с чем.

Я не спорил и не возражал, лишь иногда я рассказывал ей биографии великих людей, у которых в молодости, кроме мечтаний, ничего не было.

— Так ведь то были великие люди, — отвечала она, смеясь.

В этом был свой резон, конечно.

Не знаю, что привлекало к нам друзей, но наша комната незаметно превратилась в филиал клуба журналистов. За чашкой горячего, но пустого чая читались новые стихи Брюсова и Маяковского, Александровского и Гастева, раннего Есенина и Вадима Шершеневича, обсуждались литературные и театральные новинки: «Конармия» Бабеля и «Голый год» Пильняка, «Зори» Верхарна и «Дочь мадам Анго», «Гадибук» и «Великодушный рогоносец». Споры затягивались за полночь.

О чем только не велись дискуссии. О свободе художественных мнений и направлений, как о незыблемой основе для расцвета искусства: рядом со Станиславским пусть распускает крылья Всеволод Мейерхольд, «вождь театрального Октября», и рядом с Таировым пусть здравствует Форрегер...

Как-то зашел спор о долге. Все по-разному отдавали дань этому могучему понятию. Я ставил выше всего чувство долга перед революцией. А Борис сказал:

— Пусть самый маленький долг, а святой. Кто бесчестен в малом, бесчестен и в большом. — И он привел в пример не помню уж чей роман, в котором рассказывается про верность женщины, спасшей от чахотки любимого человека ценой неисчислимых жертв; он же покинул ее, когда она, заразившись от него чахоткой, умирала.

Мне пришли на память слова старого Егорушкина: «Кто верен в любви и дружбе, тот верен в борьбе и бою». И я повторил эти слова.

Асю, видимо, глубоко поразила история, рассказанная Борисом. Когда все разошлись, она долго и молчаливо сидела в раздумье. Я спросил ее, что с ней. Она тряхнула головой, как бы отгоняя тягостные мысли.

— Ничего, милый! Просто так. Задумалась. Кстати, я давно хотела тебя спросить. В тот день, когда я осталась у него, ты помнишь?..

— Еще бы не помнить! Разве такое забывается?

— У тебя с ним вышел крупный разговор. Я знаю, он обошелся с тобой грубо, но ты сказал ему, что у тебя на меня права мужа...

Я вспомнил этот разговор с Сароновым и беспомощную, жалкую улыбку, которую я почувствовал тогда на своем лице, и стыд обжег мне щеки горячей краской.

— Не мог же я сказать ему, что у меня права любовника... Впрочем, я не говорил ни того, ни другого. Не морщься! Он не совсем правильно передал мои слова, он вложил в них то, что ему хотелось бы услышать. — Я вдруг подумал, что тень этого человека встала навсегда между нами, и невольно ожесточился против него. — Странная у него манера. Является утром ко мне в редакцию, клянчит, лебезит, провоцирует на некрасивые поступки, а потом лжет и клевещет... Я не хотел тебе рассказывать...

— И ты много выиграл, — сказала она холодно.

Неожиданно я увидел себя в зеркале, как я бегаю взад-вперед, точь-в-точь как суетливый фельдшер, мой отец. Я замолчал, сел и закрыл лицо руками.

— Прости, — сказал я после паузы, — я, наверно, неправ. Лежачего не бьют. Он защищался, как мог.

Кто посмеет осуждать Одиссея, придумавшего Троянского коня...

Ася опустилась возле меня, нежно прижалась ко мне плечом.

— Ты сделал мне больно, но я не в обиде. Это по-мужски. Я даже счастлива. Ты слишком робок и боязлив в обращении с женщиной. Нельзя ласкать женщину, боясь попортить ей прическу. Смелей! Ты уже не мальчик. Я хочу чувствовать силу, опору. Ты помнишь, когда он тебя не пустил ко мне, я тотчас погнала его за тобой. «Хорошо, — сказал он, — я пойду, но никогда более не вернусь сюда». Это была не пустая угроза. Я хорошо его знаю. А сделай он что-нибудь с собой — и наша жизнь кончилась бы. Мертвый, он стал бы еще сильнее. А он сделал бы это, хотя бы для того, чтобы погубить нас. И я осталась с ним. Верни он тебя — я бы ушла с тобой. Но ты уехал. Ты сам удлинил путь нашего сближения. Надо быть решительным, тогда ты будешь справедливым. Ну, можно ли быть откровенней? Вероятно, надо очень любить человека, чтобы почти вывернуть себя наизнанку перед ним. Тебе нужно быть сильным, тогда и я буду сильной.

При всей рассудочности ее натуры я не улавливал в ее рассуждениях стройной логики, они скорее шли от смятения чувств. Одно в них звучало ясно: неодолимая боязнь перед прошлым и неверие в будущее.

Без всякого перехода и без какой-либо паузы она шепнула мне, притянув мою голову к себе поближе, шепнула нежно и покорно:

— Я беременна. Это точно. Молчи! Молчи! Это не ошибка. — И заплакала.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

ПРИШЛА ВЕСНА

Случилось так, что, обеспокоенная моим долгим отсутствием, Ася кинулась меня искать, оступилась и упала. На другой день я отвез ее в больницу.

Всю дорогу, пока мы тряслись на извозчике, она молчала. Я всячески успокаивал ее. В ответ она лишь

молча сжимала мне руку. Еще одна надежда рушилась.

Я долго сидел в холодном вестибюле, пока Асю купали, переодевали. Какие-то счастливые отцы пребывали одни — в безмолвном ожидании, другие — в состоянии восторженного блеяния.

Потом я увидел Асю — ее вели в палату на второй этаж. Она была какая-то испуганная, растерянная, в больничном халате, чуть раскрывшемся на груди. Она так жалостливо, виновато улыбнулась мне, словно винилась в том, что с ней произошло.

Я ушел домой совсем подавленный, мне не хотелось никого видеть, ни с кем разговаривать. Я долго кружил по опустевшему жилищу, не находя себе ни места, ни покоя.

Из окон открывался февральский сумрачный пейзаж, как бы рассеченный надвое прямой санной колеей. Слегка дымилась поземка. Ветер вдруг поднял снежную пелену и начал заметать дорогу, понемногу стирая ее в лунном сумраке, так что она вскоре и вовсе исчезла из виду. Потом порывы ветра участились, закрутилась и понеслась пурга, затянув весь мир молочной мглой, которую едва пробивал лунный луч.

Мне было так горько, что в поисках забвения я присел к столу и всю ночь напролет в каком-то стихийном упоении писал, писал смешную, забавную и трогательную историю беспризорного мальчишки, который в неутомимых своих приключениях попадает то в теплушки к красным бойцам, то в казармы к белым, то в лес, к зеленым дезертирам и черным махновцам.

В комнате становилось все холоднее, потрескивало пламя свечи, окруженное радужным сиянием, как луна в морозную ночь. Мне было некогда затопить печурку. Рука моя едва поспевала за мыслью, бросая строчки незаконченными, слова недописанными.

Я не помню, как под утро забылся сном, припав головой к краю стола. И, конечно, я заспался и опоздал в больницу к Асе. А она, бедняжка, после операции все глаза проглядела, ожидаючи меня. Она переволновалась, не зная, что и подумать, у нее поднялась температура.

Через несколько дней она выписалась из больницы. Мы возвращались пешком. Она осунулась, побледнела и была молчалива. Я бережно поддерживал ее.

В воздухе пахло тем предвесенним запахом чернозема, который чувствуется даже в городе. Деревья стояли неподвижно, с заиндевевшими ветвями.

— Ты странный, ты очень странный, — сказала вдруг Ася. — Это даже непонятно. Ты приносишь в жертву живого любящего человека каким-то несуществующим героям своего жестокого воображения. Какая же тут любовь...

Напрасно старался я объяснить ей, что в несчастье и горе одни ищут забвения в вине, другие — в общении с природой, третьи — в работе. Какой-то мудрец находил утешение после смерти единственного сына в беседе с морскими волнами. Все мои объяснения были тщетны, она не понимала, как это я, любя женщину, мог отдаться сперва вдохновенному сочинительству, а потом безмятежному сну, тогда как она лежала на операционном столе, страдая, мучаясь и теряя веру в любимого человека.

— Но, милая, родная, разве же я виноват, что усталость и сон свалили меня?

— Нет, конечно, — отвечала она грустно, — да я и не виню тебя. Ты просто мало любишь меня. Нет, нет, ты ничего не говори, словами тут не исправишь. Бывают такие часы в жизни, когда не надо оставлять человека наедине с собой, со своими мыслями, не надо давать ему задумываться. Право, лучше даже помешать ему. А то бог весть что только лезет в голову... Ну ладно, что было, то прошло. Не будем больше вспоминать.

К несчастью, тогда я не уловил предостережения в ее словах. Между прочим, она наотрез отказалась послушать мою забавную повестушку, написанную в ту роковую ночь.

Но вот пришла весна. На солнце блеснула первая капель, со звоном сорвалась с карниза и разбилась вдребезги сосулька.

Ася внезапно объявила, что устала от долгой зимы и не прочь поехать в Москву, к своей кузине, погостить, отдохнуть и рассеяться. Что же, я не возражал,

меня тоже утомили зимние невзгоды, душевные неурядицы, печальная неровность наших отношений.

Ася начала готовиться к отъезду, но чем ближе к назначенному сроку, тем медленнее и неохотнее. Ее вдруг обуяли сомнения: а нужно ли ей ехать? Я наивно убеждал ее, что не мешает ей отдохнуть. Мое простодушие ее раздражало, она сердилась, даже всплакнула.

— Ну, знаешь, милая, тебя не поймешь, — сказал я ей в сердцах. — То ты складываешь чемоданы, то распаковываешь... Я начинаю думать, что поездка твоя сущая блажь.

— Это по-твоему так, — огрызнулась она. — Ты лучше скажи, что не хочешь отпускать меня. Так будет вернее. А почему?

— Вот именно — почему? Да езжай, пожалуйста! Решила ехать — ну и поезжай. Обо мне не думай. Мне, конечно, без тебя трудно будет, скучно и тоскливо. Но я потерплю.

— Вот еще глупости какие! Две-три недели быстро пролетят, уверяю тебя. Отдохнешь от моих капризов, еще крепче любить будешь...

А весна выдалась дружная, быстро отшумели мутные потоки, полопались почки, выпустив свежую, пахучую, клейкую кисточку-метелочку, промчался первый буйный ливень с грозовыми раскатами грома, все вокруг зазеленело, засияло, расцвело, весна ворвалась к нам в раскрытые окна запахами ландыша, сирени, черемухи.

Тут неожиданно Ася собралась в один день и даже заторопилась с отъездом. Я действовал точно в полусне. Я купил ей на городской станции билет.

И вот мы по обычаю присели перед дальней дорогой. В эту минуту мне представилась вздорная ненужность ее поездки, и я не преминул сказать ей это без обиняков.

— Мы могли бы немного погодя поехать вместе.

— А зачем же ты меня отпускаешь? — спросила она таким странным тоном, как будто вся эта затея с поездкой принадлежала не ей, а мне.

Я был огорошен.

— Но помилуй, — закричал я, вскакивая с места,— да я об одном только мечтаю, — чтобы ты никуда не уезжала...

— Вот, видишь, младший и встал, — сказала она шутливо и рассмеялась коротким, судорожным, невеселым смехом. — Ну, поехали на вокзал. Мы опоздаем.

Снова, как год назад, поезд ждет отправления, на мокром асфальте толпятся провожающие, со всех сторон доносятся отрывистые, короткие слова прощания, вздохи, поцелуи.

— Ты пиши мне ежедневно, — говорит Ася.

— И ты, смотри, тоже, — отвечаю я. А мозг мой сверлит одна и та же мысль: зачем, собственно, она едет? И вдруг мною овладевает беспричинный страх. — Тебе, в сущности, незачем ехать, — говорю я решительно.

Ее точно передернуло от моих слов.

— Оставь, пожалуйста! Об этом следовало раньше думать. А теперь избавь меня от своего мальчишества, — проговорила она непривычно резко, зло, даже грубо.

Я покорно вошел следом за ней в вагон, неся ее небольшой чемодан. Я обнял ее на прощание, и тут она шепнула мне со слезами на глазах:

— Ты прав. Уйдем отсюда. Уведи меня. Мне не надо уезжать от тебя. Родной мой, любимый! — Она говорила с мольбой, но так тихо, что только я один слышал ее.

Нужно было действовать быстро, а я растерялся. А тут третий звонок.

— Ну, прощай, прощай! Пиши мне. Ступай! — сказала она поспешно тоном фаталиста, подчинившегося своей участи, и вдруг перекрестила меня. Это было тем неприятней, что было сделано на людях. Еще не поздно было взять ее вещи и выйти из вагона. Но смущение и досада на миг парализовали мои чувства.

Поезд тронулся. Я едва успел выскочить на платформу. Ася высунулась в окно, по лицу ее струились слезы.

Я шагал рядом с вагоном, все убыстряя шаг. Ася помахивала платочком. Не отрываясь смотрел я ей в лицо. Я едва сдерживал слезы, сжимавшие мне глотку.

На выпуклом изгибе пути исчез вагон, и вместе с ним исчезла Ася.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ПРОБУЖДЕНИЕ

С мертвящим чувством одиночества ступил я на привокзальную площадь. Вдаль уходила знакомая аллея среди юной, сияющей листвы деревьев.

Прошлой осенью, когда мы вернулись из Крыма, мы проходили по этой аллее. Но тогда на душе у меня было хоть и неспокойно, зато полно надежд. А теперь душа моя была как бы набита пеплом. И вдруг я увидел Бориса. Сама судьба посылала его мне. Впрочем, в трудные минуты он всегда оказывался рядом, милый Борис со своей доброй улыбкой на длинном лице. Он был чуток и никогда не задавал лишних вопросов, не навязывал ненужных утешений.

Мы пошли с ним бродить по городу. Где только мы не побывали, сделав добрый солдатский переход... Впервые я обнаружил, как живописен и просторен родной мой город В., раскинувшийся на холмах, среди садов.

Затемно мы перешли через мост на высокий берег реки. Отсюда открывался город, таинственный во мгле, мерцая и переливаясь огоньками. Невольно вспомнилась нам сентябрьская ночь девятнадцатого года, когда наши войска покидали город, сдавая его свирепой, мстительной деникинской орде.

Как и теперь, мы стояли тогда с Борисом среди исполинских берез, высоко вознесших свои гордые вершины. Чуть белели и колебались их отражения в речной глади, они были такие длинные, что казалось, достигают противоположного берега, словно мосток, брошенный нам под ноги.

Вокруг полыхало небо, вздрагивая при каждом взрыве; в багровом сумраке зарева едва проглядывались звезды; в воздухе не умолкали гул пальбы и гро-

хот разрывов. А мы прощались с городом, в котором мы выросли, не ведая, суждено ли нам вернуться.

Мы долго молчали, овеянные нахлынувшими воспоминаниями. Потом Борис прочитал стихи, исполненные лирического раздумья и печали.

Слово! Как много в нем сокрыто тайн! Резец оживляет камень, кисть наполняет краски живым дыханием, звук пьянит нам душу и исторгает из глаз наших слезы, а слово, простое, безыскусное слово, объемлет все. Нет власти волшебней и чудесней. Все, что есть в природе прекрасного и уродливого, благородного и низменного, отважного и трусливого, великодушного и подлого, великого и ничтожного, — все заключено в слове. И если бог создал человека, то человек создал слово.

Я возвратился домой поздно. Дома было неприютно и осиротело, как будто из этого жилища вынули душу. Все оставалось здесь в том беспорядке, какой бывает с отъездом хозяйки. Повсюду чудилась мне незримая тень ее.

А из окон виднелась пустынная даль, где собиралась гроза, поблескивая в темноте зигзагами молний.

Обычно, как ни тяжко было мне, я находил отраду и забвенье в работе. Сейчас я даже света не зажег, а забился в угол дивана, с трепетом глядя, как молнии, извиваясь, скользят мимо окон. Где-то отдаленно, глухо рокотал гром. Потом молнии засверкали ярче, освещая далекие лесные хребты, а гром стал раскатистее, все приближаясь и приближаясь, пока не раскололся над головой с ужасающим треском и грохотом и не рассыпался на множество ударов. И тогда хлынул ливень, стегая по крыше, по окнам тысячами незримых плетей. А молнии, как змеи, продолжали извиваться перед окнами, выискивая щелочку, чтобы пробраться, проникнуть ко мне.

Я был напуган и подавлен. Внезапно в свете их вспыхнула вся моя жизнь с Асей, месяцы, прожитые под одной кровлей, сомнения, искания, надежды, отношения то нежные и страстные, то слепые и яростные. Я вспомнил, как долго она готовилась к отъезду, отодвигая сроки, и как собралась вдруг в один день,

как до последней минуты с чем-то боролась, словно утопающий с захлестнувшей его волной, и, как, устав бороться, опустила руки и пошла ко дну.

«Она покинула меня. Она уехала в Москву к Саронову. Как я этого раньше не понял», — сказал я себе и содрогнулся от этой догадки.

Это была интуиция, озарение, ночное стихийное чувство, которое будит нас, предостерегая от опасности, инстинкт, подсказывающий правду задолго до того, как ее постигнет разум, судорожное пробуждение отравленного угаром человека перед тем, как ему навеки заснуть.

Точно затравленный, метался я в жалкой комнатенке, ставшей для меня тесней тюрьмы и тягостней звериной клетки. Мне чудился предсмертный крик самца лося, забитого насмерть удачливым соперником. Мое отчаяние было безмерно, я готов был наложить на себя руки.

Среди ночи я кинулся к тетке Сосипатре. Старуха не могла не знать правды. Она еще не спала в этот поздний час. Она боялась грозы и молилась, освещенная чуточным светом лампадки.

Она, похоже, обрадовалась мне, улыбнулась, оголив желтые, вылезшие из десен зубы.

С меня ручьями стекала вода. С места в карьер выложил я старухе, зачем пришел к ней в такой поздний и ненастный час. Она не умела хранить секреты и выболтала все сразу. Закатывая глаза, тряся седыми буклями и отвисшими щеками, она поведала мне всю правду о бегстве ее племянницы.

Сначала Ася не хотела отвечать на письма, которые Саронов присылал в адрес тетки Сосипатры. Тогда он сам приехал. Они встретились здесь. Он плакал, как ребенок, Ася — тоже, а с ними и тетка Сосипатра.

— Камень и тот растрогался бы при виде их страданий. Ах, какие страдания, какие страдания! — причитала старуха мужским голосом, смахивая с носа слезу, чтобы не скатилась на щеку и не размыла ей румяна.

Гром необыкновенной силы заставил старуху умолкнуть, она суеверно перекрестилась.

Я тупо молчал. Вдруг стиснул кулаки и подступил к старухе:

— Старая ведьма! Сводня!

Она в ужасе попятилась от меня и забилась за сундуки.

Не помня себя, я побежал прочь. До утра скитался я по городу, задыхаясь от гнева и отчаяния.

Утром я сказал Борису, что уезжаю в Москву.

— Да? — молвил он вопросительно — и только.

Меня ранило его безразличие. Я разъяснил ему, что еду за женой, хотя и не уверен более, есть ли у меня жена. Но он оставался равнодушным к моим страданиям, и это взорвало меня.

— Друг, товарищ, брат, можно сказать, — ты все видел, а молчал. Не отпирайся! Все видели, что она уходит от меня. Только я один был слеп, как крот. Но ты-то был зрячий! Ты и сейчас молчишь. Почему? Неужто недостаточно молчания? Неужто и теперь у тебя не найдется для меня двух слов?

Он горестно развел руками.

— А что мне тебе сказать? В таких делах нет судей и нет советчиков, и слепота, быть может, лучший вид покоя. Ты несправедлив, Лев! Впрочем, я ничего не знал, я и сейчас ничего не знаю, кроме того, что ты мне сам только что сказал. Но, может быть, все это лишь ночные призраки и страхи? Они сгинут в свете дня. — Он смотрел мне в лицо своими правдивыми и честными глазами.

И я заплакал.

— Ну-ну, — сказал Борис прерывающимся голосом, — поезжай, поезжай! Все образуется. Поверь мне. Она ведь любит тебя. Мы не могли все так обмануться.

Поезд отправлялся в Москву через день. Господи боже мой, я узнал, что сутки содержат тысячу четыреста сорок минут и каждая минута — это раскаленная игла, вонзенная в сердце...

Борис не отходил от меня. О чем только мы с ним не переговорили! Но об Асе он ни разу не вспомнил и даже забыл в последнюю минуту передать привет и поклониться ей.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

ПОЕЗДКА В НИКУДА

Занималась долгая июньская заря, когда́ я вышел на Красную площадь. Передо мной история развернула свой славный свиток в образах храма Василия Блаженного с мозаичными луковицами, Лобного места с поржавевшими цепями и каменной плахой, на которой сложили головы мятежные стрельцы, памятника гражданину Минину и князю Пожарскому, кремлевских колоколен и башен за древней крепостной стеной, среди взлетевших царских орлов и красного стяга, реющего в безбрежной синеве небес.

Час спустя я постучался у дверей Асиной двоюродной сестры Ангелины Анатольевны. Я сразу узнал дочь тетки Сосипатры: та же стать и тот же грубый, мужской голос. Такой, видимо, была тетка Сосипатра в молодости — с большими руками, стройными нога́ми, сильными бедрами, могучим бюстом и лицом новобранца.

Она тоже меня узнала, хотя ни разу не видела.

— Так вот вы какой, черт возьми, — проговорила она оглушительно. — А я думала, по меньшей мере удав.

— Это кто же меня так изобразил?

— Общими усилиями.

— И вы разочарованы?

Она пожала плечами.

— Садитесь! В ногах правды нет. Когда приехали?

— Сегодня утром. Но где же Ася? — спросил я, беспокойно оглядываясь по сторонам на старинную мебель и превосходные коллекции фарфора, полонившие всю комнату, довольно большую.

— Аси здесь нет. Она здесь не живет, — отвечала Ангелина Анатольевна, нервно закуривая папиросу и пуская дым из ноздрей. — Она на даче под Москвой... у моей подруги. Она в таком нервическом состоянии, что не может без слез говорить. — И резко, словно ее прорвало: — Какого черта вам от нее надо? Зачем вы приехали? Хоть бы недельку дали ей отдохнуть. Хотите уморить ее вконец? Радуйтесь! Вы почти этого

достигли. Она больна, измучена, разбита, раздавлена, уничтожена. Что вам еще от нее надо? Бедняжка, она потеряла самое себя... Еще немного, и она ляжет под поезд.

Это бесконечное нагнетание трагических понятий наполнило меня злобой против этой женщины, так бесцеремонно влезавшей в чужую жизнь. Но мое негодование сменилось страхом перед мыслью, что мы с Асей находимся во власти людей, которые могут нас разлучить. Эта мысль парализовала мой язык, с которого вот-вот готовы были сорваться необратимые слова. Вместо того я сказал почти заискивающе:

— Но ведь я должен ее видеть. Неужто она заболела? Что с ней сделалось? Три дня назад она была совсем здорова. Где она?

Ангелина Анатольевна ответила с неожиданным и непонятным смущением:

— Вы не поверите, но, право, я не знаю ее адреса. Честное слово! И на черта я стану вас обманывать! Я и так влипла в эту нехорошую историю. Сегодня после работы съезжу к ней, а завтра приходите сюда, завтра утром. Где вы остановились?

— Это не имеет значения.

— Как знаете. Не хотите ли чаю? Нет? Придерживаетесь восточного обычая — в доме врага не пьют воды, даже умирая от жажды?

— Все это мне сейчас ни к чему, — отвечал я смиренно. — Мне нужен только адрес Аси.

— Хорошо, завтра вы его получите.

Три дня я не заставал ее дома, три дня она не являлась домой.

Грустно слонялся я по Москве. Днем рылся в книжных развалах вдоль Китайгородской стены, где со временем нашел излюбленное место для уединений. А ночи проводил на бульварчике возле бывшей городской думы, откуда был виден Большой театр, над которым в лунном свете, казалось, мчатся кони, впряженные в колесницу.

Наконец я застал Ангелину Анатольевну. Она не испытала никакой неловкости, даже не извинилась. С солдатской прямолинейностью она заявила мне, что

там, где сейчас живет Ася, меня не ждут и что Ася напишет мне, когда это будет нужно.

Я догадывался, что кузина действует в сговоре с Сароновым, но не допускал мысли, что все это делается с ведома и участия Аси. Мне думалось, что ее насильно удерживают вдали от меня, что стоит мне добиться свидания с ней, как мигом рассеется туман, в котором мы оба бродим, не видя друг друга, разорвется паутина, опутавшая нас. Я просил кузину дать мне адрес Аси, я умолял, заклинал, негодовал, грозил.

— Послушайте, — говорил я, — вы женщина и, наверно, любили. Я никогда не поверю, что она поручила вам так со мной разговаривать. Вы взяли на себя недостойную роль.

— Но, возможно, она не любит вас больше, — подсказала мне Ангелина Анатольевна.

Эта фраза прозвучала в моих ушах погребальным звоном: ведь я давно, не смея себе признаться, понимал, что это именно так.

— Но и в этом случае она сама должна мне об этом сказать, — возразил я с отчаянием. — Я только ей могу поверить. Даже приговоренному к смерти дают последнее свидание.

Ангелина Анатольевна вдруг круто переменилась.

— Хорошо, — перебила она меня, — вы получите это последнее свидание. Я устрою его. На черта мне сдалась вся эта чехарда! Завтра вы увидите Асю. Будьте спокойны. Слово я сдержу. И почему у вас лицо горит? Что у вас, жар?

— Не знаю. Вероятно, простыл.

Два дня спустя она вручила мне письмо от Аси. Оно было на восьми страницах, я прочитал его залпом. Оно отпечаталось в моей памяти с фотографической точностью.

«Нам не надо встречаться. Это будет слишком тяжко для нас обеих. Совесть моя чиста перед тобой. Я долго не отвечала ему на письма, а когда он приехал, я долго не соглашалась на свидание с ним. И согласилась я только для того, чтобы сказать ему, чтоб он уехал. Я не говорила тебе об этом, потому что не хотела омрачать твоей доверчивой души. Теперь я ухо-

жу от тебя. Господи, как трудно выговорить это слово. А вот написала его — и точно сожгла мосты. Может быть, я не любила тебя, а если любила, так не той любовью, какая тебе нужна. Тебе нужна любовь умная, дальновидная и в то же время чувственная. А моя любовь простая, не мудрая, мещанская, как это принято называть. Она ограничена семейным уютом и сознанием, что ты мой. Ты никогда не будешь счастлив со мной, стало быть, и я буду всегда несчастлива с тобой. Я скажу тебе честно: я слишком люблю тебя и всю жизнь буду мучить и терзать тебя и за то, что я старше тебя, и за то, что боюсь будущего и не верю в него. Велика ли радость от верности без любви, от человека, который хоть разлюбит, а все-таки не уйдет от тебя, а пойдет с тобой до конца, пусть даже на свою погибель. Я много передумала, прежде чем решиться, я много передумала как раз в те часы, когда я ждала тебя в больнице. Не ищи меня, это бесполезно. Я ухожу сейчас, чтобы спасти тебя, потом ты уйдешь и погубишь меня. Тогда уж у меня не будет никакого выхода, разве что смерть. Ты помнишь ту серую, больную нищенку в Севастополе? Я углядела в ней свою судьбу. Куда я денусь тогда, жалкий обломок? А что это будет — никто не сомневается. И все правы. Он тоже ждать меня всю жизнь не станет. Когда ты не пришел тогда ко мне в больницу, я поняла, что жизни у нас с тобой не будет. Твое воображение унесло тебя в такую даль, что ты забыл про меня. А я живой человек, мне было безмерно больно. Ты живешь среди выдуманных людей, и мир твой — выдумка. Мне не найти в нем места, я обречена на одиночество. Нас мог бы связать ребенок. Но мне не суждено быть матерью. Ты живешь ради идей, а я хочу жить ради самой жизни с ее удобствами и благополучием. Ты это называешь мещанством. Но я хочу покоя, а не бурь, благополучия, а не нужды, уверенности, а не безумия ревности, которое состарит меня раньше времени. Трещина, легшая между нами, очень скоро превратилась бы в пропасть. Прости меня и забудь. Я плачу. Сквозь слезы я вижу твое лицо, твои печальные глаза и добрую улыбку. Я так благодарна тебе за все то, что я узнала,

живя рядом с тобой. Ты еще встретишь на своем пути и юность, и веселье, и любовь. Ты ведь так молод, досадно молод, тебе ли унывать! А я состарилась за этот год на десять лет. Прости меня, на коленях умоляю, прости твою бесконечно несчастную Асю».

Я давно заметил в себе это удивительное сочетание слепой доверчивости и необузданной, безумной горячности. Вместо того чтобы добиться адреса Аси, кинуться к ней, развеять ее сомнения, поколебать решение, сломить упрямство, наконец, увести ее хотя бы силой, я ничего не нашел умнее, как в припадке бешенства и безрассудства разорвать письмо в клочья, сложить в конверт и отослать эти обрывки ей обратно, как некий символ того, что она сделала с моей жизнью и моим сердцем.

Это было глупое мальчишество, которое лишний раз подтверждало правоту моих недругов, черніивших меня в глазах Аси. Через сутки я бы, вероятно, образумился... Но в ту же ночь меня свалил сыпной тиф.

Полтора месяца я провалялся в больнице, а когда вышел оттуда, едва держась от слабости на ногах, все уже было позади — Аси не было в Москве, ее увез куда-то Саронов.

Я зашел к Ангелине Анатольевне. Она испуганно отстранилась от меня.

— Не пугайтесь, — сказал я ей. — Если я не сделал вам зла в ту пору, когда я был почти что невменяем, то сейчас уж наверно не стану вам вредить.

Она все же была настороже. Я спросил ее об Асе, где она и как ей живется, и выразил опасение, что Саронов не простит ей прошлого. В ответ Ангелина Анатольевна разразилась слезами.

— Черт бы побрал меня с моим дурацким характером, — говорила она сквозь слезы своим еще более огрубевшим голосом. — Зачем было ввязываться мне в это дело? Видали вы дуру? Разжалобил Саронов. Тоже фруктец. Как взял верх — и на порог не пустил. «К чертям, говорит, родню, с ней только горе мыкать». Вот и прослыла вруньей и дурой. Вы его московский адресок знаете?

— А мне он ни к чему.

— Не зарекайтесь! Мы не знаем будущего. Не век он будет ездить по России. Сезон театральный кончится — в Москву пожалует. — И, чуть ли не скандируя, дважды повторила адрес гулким шепотом.

Она чертовски смахивала на свою матушку, не столько внешностью, сколько характером, трусливым. хитрым, мстительным и вероломным, эта милейшая Ангелина.

Между прочим, я вскоре получил странное известие: тетка Сосипатра затеяла тяжбу с моим отцом из-за наших вещей. Нелепо, но факт.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА

Без цели и смысла скитался я по Москве, не находя в себе ни мужества, чтобы смириться, ни стойкости, чтобы страдать. Беспрестанная боль точила мое сердце. Меня терзали воспоминания о минувших радостях и жгучее сознание, что Ася никогда не любила меня. Мне не хотелось жить, но я был чересчур слаб, чтобы на что-то решиться.

Видя мое бедственное состояние, фронтовые друзья дали мне пристанище, окружили вниманием и заботой, удивляясь про себя тому, что их боевой товарищ в век величайших освободительных идей и социальных потрясений погряз в болоте личной драмы. Не так уж много лет прошло, а время расхитило моих друзей, которых я не смел помянуть добрым словом даже в своих дневниках.

Однажды, после бессонной ночи, я вдруг очнулся, пришел в себя, точно после долгой летаргии. Был немой и мертвый час, какой бывает лишь перед рассветом, когда все кругом беззвучно, неподвижно и безжизненно, когда ночной сумрак особенно плотен и непроницаем и ярко, не мигая, горят звезды, освещая застывшее, пустынное и мертвое царство. И вдруг заметно дрогнет сумрак и быстро начинает редеть и таять, прошелестит первый звук, а звезды тускнеют и

гаснут, и проступает вдали на горизонте ранний свет зари.

Я загляделся из окна на восход солнца. Чуть багровея в блеске росы, разливалась заря среди удивительной тишины, живой и сонной, как будто еще не пробудившейся окончательно от предрассветного оцепенения.

И точно упала пелена с души моей, и она вновь стала чувствительной и зрячей. У меня было такое ощущение, словно я впервые в жизни увидел, как рождается новый день.

Боль сменилась глубокой и светлой печалью. Надо было жить, в этом чудесном мире и для меня было немало дел.

На стене висела карта России, исколотая булавками. Когда-то эти булавки, неся белые и красные флажки, отмечали линии фронтов. Теперь остались одни следы проколов, но и по ним легко было, увидеть, как многочисленны были фронты гражданской войны, проходившие по всей стране, так что не осталось и пяди земли, не обагренной кровью.

В тот же день я отправился в редакцию одной из московских газет, а неделю спустя уехал спецкором на дальний Север, затем на Дальний Восток.

Для меня началась долгая и щедрая пора скитаний: я исколесил страну вдоль и поперек. Я был в неустанном движении и возвращался в Москву лишь для того, чтобы тотчас вновь уехать.

Сначала Ася чудилась мне в каждой женщине. Понемногу ее образ как бы затянулся дымкой, не потускнел, а отдалился, и я уже более не смешивал ее ни с кем. Я часто беседовал с ней в вечернем сумраке, читал ей книги, путешествовал с ней, знакомясь с новыми местами и новыми людьми.

В дождь или пургу бродил я по улице, где она жила, в надежде встретить ее.

Однажды я увидел ее. Но где? Возле моего дома. почти у самого подъезда. Это было так неожиданно, что я окаменел.

У меня колотилось сердце где-то у самой глотки.

Она была в короткой шубке и высоких ботах. Ее

слегка прищуренные глаза испуганно, изумленно раскрылись, и она залилась краской, по своему обыкновению, чуть ли не до кончиков пальцев. Она стояла, не трогаясь с места, точно приросла к земле.

Было по-зимнему светло, свет шел от свежевыпавшего снега, который еще не успели размесить извозчики и пешеходы, от заиндевевших, покрытых седой щетиной деревьев, от голубоватого, просторного неба, свет шел от самой Аси, от ее карих глаз, ярких губ, смуглых, разрумянившихся щек, от всего ее замершего в тревожном, боязливом и счастливом ожидании облика.

Вдруг откуда-то хлынула толпа, разъединила нас и поглотила Асю.

Никогда не думал я, что достаточно одного беглого взгляда, чтобы воскресло и ожило прошлое и забурлило, как водоверть. Внезапная мысль осенила меня: а случайно ли оказалась она возле моего дома?

Я ринулся к Ангелине Анатольевне. Она встретила меня с удивлением, но без неприязни, среди своей старинной мебели и бесчисленных фарфоровых блюд, тарелок, чашек разных форм и с разными рисунками.

Она долго закуривала, пуская дым изо рта и ноздрей, и терпеливо ждала, пока я заговорю. Я тоже молча покуривал. Наконец она не выдержала.

— Вы, вероятно, интересуетесь Асей? — спросила она напрямик.

— Да, вы угадали.

— Так бы и сказали. Черт ее принес обратно в Москву. Вчера приехала.

— Вот как. А я встретил ее вчера у моего дома.

— А где вы живете? Вы ошиблись, вы обознались. В этом районе ей делать нечего.

— Но это была она. Я потерял ее в толпе. Простить себе не могу. Послушайте, — сказал я безо всякой дипломатии, — в свое время вы помогли ей уйти. Помогите мне сейчас встретиться с ней. Это будет справедливо.

— А на черта мне в это дело встревать! — отвечала она раскатистым голосом.

— Хотя бы из чувства элементарной порядочности. Если два человека годами ищут друг друга, так ведь надо им дать наконец возможность встретиться. Вы не раз вмешивались в пользу Саронова, а он не замедлил выставить вас за дверь в знак благодарности, — сказал я с внезапным приливом желчи, — и зря, конечно.

Она взглянула на меня искоса.

— Браво! Уроки пошли вам впрок. Вы стали зубастым. Буду также откровенна. Я никогда не считала вас подходящим для Аси человеком. У вас в руках был воск. А вы ни черта не сумели вылепить. Правда, вы были мальчишка. Может быть, время вас чему-нибудь научило. Наверно даже так. Хотя чувство могло сохраниться на долгие годы именно потому, что стало миражем, призраком. Оживите его — и оно исчезнет. Но, извините, это не мое дело. Я не чувствую себя виноватой перед вами. Пожалуй, в одном я была неправа: нельзя было лишать вас последнего свидания.

Такое признание показалось мне верхом лицемерия. Ведь допусти она тогда это последнее свидание — и оно не было бы последним.

— Хорошо, я исправлю свою ошибку. Приходите завтра.

Я понимал, что она может обмануть меня, как она это делала уже не раз. Но я не решался высказать ей свое недоверие, а хитрить я не умел. Очевидно угадав мои сомнения, она добавила:

— Не бойтесь, завтра вы ее увидите. В конце концов, я вовсе не обязана беречь и охранять семейный очаг Саронова. Черт с ним. Вам обязательно нужно встретиться с Асей; раз вы годами бродите в поисках друг друга.

Как ловко эта женщина усыпила мое недоверие!

Я до сих пор не понимаю, как пережил я эти сутки. Я представлял себе, как увижу завтра Асю, и холодел при мысли, что она не захочет меня видеть. Но зачем было ей тогда приходить к моим дверям?

И вот я вновь бродил вдоль евпаторийского берега, слушая неумолчный говор волн.

Шаг за шагом прошел я с ней весь путь нашей недолгой жизни. Я вновь видел ее рядом с собой и говорил ей все, что продумал и пережил в длинные бессонные ночи, которых было так много за последние годы.

«Да, я понимаю: ты боялась будущего, ты боялась моей молодости. Ты позволила себя запугать. Тебе говорили: «Он бросит тебя, ты будешь с ним несчастна». И ты поверила. Ты испугалась, что и тот, другой, тоже не станет ждать тебя всю жизнь. И ты останешься одна-одинешенька, как та севастопольская нищенка... «Женщина немного рассудочна даже в самую счастливую минуту своей жизни», — говорила ты. Но все-таки тут большая доля и моей вины. Я сумел увести тебя от него, а удержать не смог. Он оказался сильнее нас обоих. Когда-то мне говорили: «Есть любовь, обреченная в своем рождении, она простодушна и безоружна и семимильными шагами идет к своей гибели». Но это неправда. Мы живы, и жива наша любовь. И я жду не дождусь утра...»

Еще не рассеялась ночная мгла и не растаяли ночные тени, а я уже торчал у подъезда Ангелины Анатольевны. Увы, она обманула меня в последний раз.

Я увидел ее только через неделю. Она наплела какие-то небылицы, она божилась и клялась, что Аси в Москве нет.

Не знаю, что случилось со мной, но я не проявил былой настойчивости. Больше я Аси не видел.

Много лет спустя мне довелось побывать в памятных крымских местах. Они неузнаваемо переменились, и только море было неизменно. С шелестом и всплеском оно накатывалось на берег, а когда уходило, видно было, как светлеет и обсыхает песок.

Была осенняя пора, пора раздумья и печали. Пустынная и нарядная евпаторийская набережная с беседками, пальмами, разросшимися и одичавшими клумбами цветов выглядела неряшливо и сиротливо. Клумбы были забрызганы багрово-красными лепестками пионов и роз. Повсюду виднелись цветы, увядшие, потускневшие, и набегающие волны уносили их далеко в море.

Я поднял левкой, бережно отряхнул его; он был совсем еще свежий, словно только что срезанный заботливой рукой садовника. Глядя на цветок, я вспомнил прошлое. Оно сопровождало меня всю жизнь, как тень, которая укорачивается к полудню и удлиняется к вечеру. Сейчас, перед заходом солнца, тень достигла предельных размеров, и нет ничего, что сделало бы ее менее отчетливой и ясной.

Благословен будь призрак юности, ставшей мечтой художника и печалью путника, который достиг вершины и оглянулся назад, прежде чем начать спуск с горы.

1954—1962

СЕВАСТОПОЛЬСКАЯ ПОВЕСТЬ

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ ОДНОЙ БАТАРЕИ

Путник, ты идешь в Спарту, передай там, что мы лежим здесь, как повелел нам народ.

Древняя эпитафия на братской могиле

1. ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Незадолго перед рассветом старший лейтенант Алексей Ильич Воротаев, командир зенитной батареи, пошел проверять посты сторожевого охранения. Выйдя из теплого блиндажа, он сразу и резко ощутил кончиками пальцев сухой февральский холод. Когда-то он ошпарил руки, с тех пор они были у него крайне чувствительны к холоду.

Воротаев был измучен бессонными ночами, непрестанными атаками немцев и тем душевным напряжением, в котором жил последние дни. И хотя он старался держаться прямо, но невольно сутулился и оттого казался маленьким, даже тщедушным.

По ночам немцы, как правило, избегали воевать. Оберегая себя от вылазок окруженных русских моряков, они беспрестанно жгли ракеты, медленно оседавшие по нескольку на каждом парашюте, как люстры. В мертвом свете ракет все вокруг выглядело безжизненно и хаотично, и лицо Воротаева, давно не бритое и оттого словно припухшее, казалось неживым.

Когда Воротаев пришел сюда, было еще лето. По

склонам холма толпой сбегали низкорослые, с выбеленными известью стволами яблони, а по ночам не стихал топот падающих спелых яблок, особенно густой и быстрый, когда стреляли пушки. Тогда чудилось, будто во тьме мечется невидимое стадо, то убегая к подножию горы, то возвращаясь к ее вершине.

Теперь повсюду лежал черный от пороха снег, деревья торчали, как воткнутые в землю головешки, все вокруг застыло в каком-то диком оцепенении, словно после землетрясения: чернели трещины, воронки, на дне которых валялись точно перемолотые корни деревьев.

Следом за Воротаевым из блиндажа вышел старик Терентий, колхозный сторож. В свое время он не захотел уйти из колхозного сада и не покинул моряков, когда сада не стало. На шее у него висел автомат, с которым он не разлучался ни днем, ни ночью. Выпуклые, седые, косматые брови придавали его бородатому лицу выражение недоброе, пряча, однако, удивительно ласковый, заботливый взгляд поблекших от времени глаз.

— Прилег бы хоть на часок, Алексей Ильич! — сказал он. — Совсем, поди, из сил выбился?

— А и лягу — все равно не засну. Устал, до того устал — спать не могу, хочу, а не могу. Тьфу, черт, от этой воды порох во рту остается...

— Пороху тут, верно, пополам, можно сказать, со снегом, — согласился старик.

Внизу, под горой, была ключевая вода, прозрачная и острая, не то что эта теплая, мутная, горьковатая на вкус вода от подтаявшего снега. Но там были немцы. Старик послушал, как рокочут немецкие танки под горой, и сердито проговорил:

— Засуетился. Собака! Я его знаю, не впервой встречаемся. Что герман, что фриц — один черт.

Раньше, когда сад был еще цел, старик по утрам приносил Воротаеву корзину яблок, а ночью, когда налетала вражеская авиация, являлся за «железным кивером».

— Лупцуют меня яблоки, Алексей Ильич! — жаловался он. — Прямо невтерпеж, того и гляди башку мне

пробьют. Тебе ничего, ты при орудии, а мне без железного кивера никак нельзя. Я потому что беззащитный.

И Воротаев отдавал ему свою каску.

Но однажды, когда яблони стонали, мучаясь, по уверениям старого Терентия, от изобилия, как кормящая мать от избытка молока, налетели немецкие самолеты, и в какие-нибудь десять минут прекрасный сад исчез. Яблоки и листья, точно стаи птиц, снялись с ветвей и улетели. А стволы, черные, словно убитые молнией, и седые от яблочного сока, привалились друг к другу. И тогда в хмуром свете раннего утра как-то сразу открылось, что пришла осень с глубокой, подернутой паутинкой и оттого чуть рябящей синей далью, и Севастополь приблизился и стал отчетливо виден, разрисованный мрачной маскировочной краской, угрюмый и печальный.

Старик было собрался пойти с командиром в обход батареи, но старший лейтенант приказал ему остаться на КП, пока спит корреспондент.

— Есть, товарищ командир! — разочарованно ответил Терентий.

Он снял с ветвей кустарника высохшие на морозе бинты, которые с вечера выстирал в холодной воде с последним обмылком. Они затвердели и стучали, как деревяшки.

В ночи раскатился орудийный залп, прямо и низко над головой с воем пронесся снаряд. Старик инстинктивно отпрянул, но оступился и упал в кустарник, который тоже дрожал.

— Что, отец? — обеспокоенно спросил Воротаев, склоняясь над стариком и помогая ему встать. — Или слишком низко снаряду поклонился?

Старый Терентий смущенно молчал.

— Скажи пожалуйста, — произнес он виноватым голосом, — сколько это я всякого грому слышал... Ведь это я с виду такой неказистый, а Георгия имел и медаль за храбрость. Поверишь, Алексей Ильич, я лихо воевал. Раз двух пленных австрияков с пулеметом привел, в другой раз ротного из колючей проволоки вызволил, — вцепилась она в него шипами, а у него ноги перебиты. Я его две версты на себе тащил. А кру-

гом, скажу тебе, дождик сеет, глину развезло — шагу не ступить, и шваб насквозь чешет... — Старик растерянно помолчал и с сожалением добавил: — Видать, и смелость стареет.

— Ну-ну, отец, не огорчайся! С кем не бывает, особенно ежели невзначай. Я вон одного моряка знал — смельчак проверенный, а по сто граммов ваты в уши закладывал. «Я, говорит, как дикарь, грома боюсь, а молнии — нет, не боюсь». — Воротаев неслышно засмеялся и пошел еле различимой на снегу тропинкой.

2. ПОСЛЕДНИЙ ОБХОД

Он шел в последний обход. Снарядов на батарее осталось едва ли на день. А если немцы повторят вчерашнее число атак, то все будет кончено уже к полудню.

Воротаев шел в морской шинели, туго стянутой в поясе черным ремнем, чтобы не продувало, с трофейным автоматом, шел мимо братских могил; мимо разрушенного дальномера; мимо обгорелых обломков сбитого «юнкерса» с черным крестом и наполовину выдранной осколком снаряда свастикой; мимо руин бани, напомнивших Воротаеву ту невозвратимую пору, когда никто на батарее не смел появиться небритый.

Он шел и думал, думал о том, что со вчерашнего вечера, как выбыло из строя орудие «номер два», образовался на правом скате горы участок, который более не простреливается артиллерией.

«Если прикрыть его автоматчиками, — думал он, — оголится другой участок. Тришкин кафтан. Слишком мало осталось людей».

В конце лета номерная зенитная батарея обосновалась вблизи Севастополя, на высоте 60,4, как обозначена эта высота на военных картах. Ядро батарейцев составляли моряки. Они принесли с собой свои обычаи, привычки, свой трудовой распорядок от побудки до вечерней справки, свой язык: тропинки они называли трапами, площадки — палубами, землянки — кубриками, а Севастополь, когда они оказались отрезанными

от него, — Большой землей. Порядок на батарее был установлен, как на корабле: горнист играл побудку, «бачковую»: «Бери ложку, бери бак, нету ложки — кушай так»; играл авралы, боевые тревоги.

Батарее приходилось много и часто стрелять, так как немцы без устали бомбили главную морскую базу, минировали вход в бухту. В то же время батарея не переставала тренироваться в стрельбе по наземным целям.

И когда немцы прорвались в Крым, к Севастополю, зенитная батарея, воевавшая до тех пор с самолетами, стала воевать и с танками.

Оседлав господствующую над местностью высоту, батарея сковала противника на виду у Севастополя. Обойти ее немцы не могли, сбить с ходу не сумели, оставалось начать осаду этой неожиданной крепости, возникшей у них в тылу. Немцы обрушили на нее столько огня, что высота превратилась в действующий вулкан. Вокруг не стало живого места на земле.

Воротаев поднялся на вершину холма. В багровом сумраке вставали темные руины Севастополя. Ветер раздувал пламя пожаров, и свет от них, то сжимаясь, то расправляясь, далеко отбрасывал огромные корчащиеся тени, и до самого горизонта полыхало море в красных отсветах.

С моря дул ровный и резкий ветер, неся снежную пыль, соленую на вкус и пахнущую гарью.

Воротаев узнавал, вернее — угадывал во мгле знакомые места: красноватые развалины Херсонеса, всегда казавшиеся Воротаеву нетленными; большой рейд, ныне пустынный и бурный; Братское кладбище с запущенными могилами и покосившимися крестами и могилу бригадира Ивана Федоровича Воротаева, безвестного героя севастопольской обороны, быть может, дальнего родственника, а вероятнее всего, однофамильца, приблизившего мечтательного моряка к тем отдаленным и памятным событиям; Исторический бульвар, круглое здание Панорамы с незабываемой картиной Рубо, которая ожила вдруг перед глазами Воротаева: бледный свет ранней июньской зари; вытоптанная трава; черные, потные лица солдат; как будто

подрагивающие огоньки свечей на походном иконостасе; землистые ступни мертвеца; желтые клубы порохового дыма, сквозь который синие французские мундиры кажутся зелеными; и адмирал Нахимов на бастионе.

Воротаев любил Севастополь, в котором прошла вся его жизнь. Ему недавно сравнялось двадцать восемь. Он любил кольцевые улицы, смыкающиеся, как пояс; зеленые вагончики трамвая, на буферах которых не прочь был прокатиться маленький Лешка Воротаев; широкие каменные трапы со щербатыми ступенями, взбирающиеся на второй, на третий ярус улиц и еще выше — чуть ли не к весеннему месяцу, выглянувшему из-за широкого плеча собора, где покоятся останки создателей Черноморского флота.

Воротаев любил крутые переулки с обомшелыми, как сакли, домишками, как бы падающими с крутизны и чудесно застывшими в своем падении; и белый, словно высеченный из куска мела, домик деда на Корабельной стороне; и самого деда, капитана буксира, с широкой, покачивающейся походкой моряка, узловатыми руками и неожиданным тенорком. Про ветхую дедовскую посудину по имени «Труженик» с высокой, черной трубой и пронзительным гудком злословили, что она тонула по меньшей мере двадцать раз. И каждый раз, как она, таща непомерно груженную баржу, обрывала визгливый трос и опрокидывалась в море, дед успевал крикнуть в переговорную трубку машинисту: «Стоп! Без паники! Идем на дно».

Воротаев любил морскую службу, продолговатые серебряные тени кораблей на воде, алчный спор чаек за кормой, которые последними провожают моряка и первыми встречают, дремучие закаты, дальние плавания с их тяжким однообразием, солеными от матросского пота авралами и боевыми тревогами, суровой земной тоской, скупым досугом, постоянным недосыпанием и привычным, будничным героизмом, и неугасимый, пресный запах земли.

Воротаев любил прозрачные мартовские бульвары, пахнущие морским свежаком и влажной почкой миндаля, и первое цветение «иудиного» дерева — так на-

зывала Вера дерево, правильного названия которого и Воротаев не знал.

«Милая, милая Вера... Где она теперь? И каково ей с грудным ребенком на руках?» Она представилась его взору, худенькая, хрупкая, чуть сутулая, с серыми глазами и такими светлыми, блестящими волосами, что, право, когда она снимала шляпку, вокруг светлее становилось. Он знал ее давно, она была женой его друга, летчика Кирьянова, и он любил ее. Он долго сам не понимал, что любит, не подозревал, что болен, а болезнь, именуемая любовью, открылась вдруг — такая запущенная, упорная, неизлечимая. Он никогда не говорил Вере о своей любви. Зачем? Ведь эта любовь не имела будущего.

А Вера ни разу не подарила ему ни взгляда, ни улыбки, ни обнадеживающего слова. И все-таки где-то в глубокой тайне, быть может даже для него самого, жила в нем надежда, что когда-нибудь он ей понадобится. Потом он узнал, что Кирьянов улетел и пропал. Бедная Вера, теперь она была несчастливее его, Воротаева. Она прислала ему письмо, в котором спрашивала, не знает ли он что-либо о Кирьянове — где он, что с ним. К Воротаеву относился разве только один адрес. Но Воротаев так много раз перечитывал письмо, что понемногу ему начало казаться, что это о нем Вера пишет с такой любовью и тревогой.

И вот он смотрел на Севастополь, смотрел как бы со стороны на всю свою жизнь, и слезы текли по его лицу.

3. ФРОНТОВЫЕ ДРУЗЬЯ

Был тот немой и долгий час зимнего рассвета, когда только-только начинается первое, едва заметное таяние тьмы и звезды, бледнея и замирая и уходя куда-то ввысь, поднимают небо и наполняют его простором и воздухом.

Отчетливее, ближе проступили далекие холмы над долиной реки Бельбек, и звук приобрел особую весомость и гулкость, — казалось, слышно в тишине, как падает снег.

В этот именно час обычно на крейсере горн играл побудку: «Вставай, вставай, браток, пропел уж петушок», поднимая краснофлотцев для длинного трудового дня.

А до того, как старшина первой статьи Федя Посохин попал на флот, он в этот именно час поднимался, чтобы вовремя поспеть на шахту. В лиловом сумраке штольни его встречала слепая лошадь Машка, тыкаясь теплыми ноздрями в грудь коногону, и звучно вдыхала принесенный им с воли в складках одежды морозный воздух.

А еще раньше в этот именно зимний час, бывало, отец будил Федю, приговаривая: «Вставай, Федяй! Кто рано встает, тот дольше живет». И Федя вставал, зевая, потягиваясь, и шел с отцом в затон: отец — на работу, сын — в школу; шел прямиком по синему льду замерзшей реки, отражающему звездное небо, такое глубокое, что боязно ступить на лед — не провалиться бы.

Сейчас, лежа в дозоре, Федя вдруг почувствовал, что безмерно устал, как будто всю жизнь, начиная с самого раннего детства, недосыпал. Усталость, накопившаяся за многие годы, хлынула через край. Федя понял, что вот-вот заснет.

Тогда он стал рассказывать своему помощнику, Якову Билику, с забинтованной головой, небылицу — о каком-то чудаке, который, не имея компаса, взял курс на тучу и пришел черт знает куда. Рассказывал Федя строго, без улыбки, и оттого особенно смешно.

Яков слушал, слушал, потом сказал с удивлением и завистью:

— Железный ты, Федя, человек. Просто чудо. Вынослив и терпелив, как верблюд. Длинный ты. Ишь вымахнул, детина. Коломенская верста. Видно, всякому качеству в тебе много места отведено.

— Факт, — согласился Федя простодушно. — Меня и на флот за дюжий рост взяли. А других качеств у меня в ту пору не было. Длинный и длинный — только и всего. Серый я был. Поверишь, моря даже на картинках не видел. Прибыли в Севастополь — кругом, смотрю, горы и небо. «А где, спрашиваю, море?» —

«Как где? — отвечают. — Разуй глаза, повсюду море». — «Ну нет, отвечаю, это небо». Меня ребята засмеяли.

Ему, видно, приятны были воспоминания. Он помолчал немного и снова заговорил:

— Поместили в учебный отряд. Ввели в огромный двор. Скажу тебе, ужасная картина. Солнце печет, кругом камень раскалился, и сплошной топот ног. Погнали в баню, переодели, все вроде на одно лицо сделались. А меня, понимаешь, тоска мучает. Как засну, родную степь вижу. А тут говорят — на Неву списали. Вот, думаю, хорошо, в Ленинград отправят. «А когда, спрашиваю, на поезд?» — «Без поезда, отвечают, доберемся». Сели на катер. Я опять спрашиваю: «Далеко пойдем?» — «Нет, отвечают, недалеко». Смотрю — пароход. Ясно, в Ленинград пойдем. «Что это, спрашиваю, за корабль?» Отвечают: «Нева». Вот тебе и Ленинград. — Он грустно улыбнулся.

Про Федю говорили, что он на все руки мастер: он был и артэлектрик, и телефонист, и киномеханик, и радист.

Когда на батарее стало голодно, Федя повадился ходить к немцам в тыл «по интендантской нужде». Он знал здесь все тропинки, и даже такие, о существовании которых не подозревал старый Терентий.

К сожалению, вчерашняя экспедиция Феди не удалась, с досады он прихватил «языка».

С треском, точно стая диких уток, взвились немецкие ракеты, наполнив мглу бледным и тусклым сиянием.

— Ишь фейерверк пускают! Понавесили чистокровные фонарей, ночи боятся, — ворчливо сказал Федя, завидев Воротаева. — По мне бы, вместо этих фонарей живой Гитлер висел.

— Уж коли висеть будет, так не живой, — ответил Воротаев. — А что не по форме докладываешь, ставлю тебе на вид, старшина!

Федя вытянулся, как по команде «смирно», большой, широкоплечий, продолжая, однако, улыбаться удивленно и вопросительно: дескать, за что такая строгость?

Обычно каждый вечер подводились итоги минувшему дню: кто как воевал, какие у кого были ошибки и удачи. Вчерашний день не обсуждался, потому что выдался он трудный, с убитыми и ранеными, закончился поздно и люди едва держались на ногах, изнемогая от усталости и голода. Сейчас Воротаев счел нужным сделать Феде внушение.

— Не к месту лих был вчера. Лихостью никого не удивишь. Лих козел — стенку лбом прошибает. Нас слишком мало, и мы должны понимать цену своей жизни. Котелок-то у тебя, надеюсь, не пустой, варит? — Воротаев явно смягчил строгость тона, что было воспринято Федей как команда «вольно».

— Да ведь одна картошка в котелке, вот и котелок не пустой, но и не полный, Алексей Ильич! — ответил Федя в своей веселой манере.

Воротаев улыбнулся, он любил шутку, и почему-то вспомнил Федину крылатую фразу: «Еще не известно, кто в окружении — мы или немцы, попавшие в русский мешок».

— А вы как себя чувствуете, товарищ Билик? — спросил Воротаев.

Вчера вечером Яков Билик был легко ранен в голову и контужен. Он отлежался несколько часов и встал на вахту, чувствуя звенящую слабость во всем теле. Отлично наложенная повязка сидела на голове его как чалма, украшая его худое, острое лицо с карими усталыми, но живыми глазами, с мягкими завитушками волос на щеках, с неожиданной, не по возрасту суровой складкой у губ, старившей его.

— Ничего, товарищ старший лейтенант, — отозвался Яков Билик. — До ста лет жить можно.

— Вот и хорошо. Через час придете на КП, дело есть.

Яков знал, что это за дело: допрашивать фашиста, которого притащил Федя. Опять говорить с гитлеровцем, слушать его, смотреть на него и вспоминать керченский ров...

В декабре Яков участвовал в десантной операции под Керчью. На море бушевал шторм, у людей обледенели лица, покрывшись коркой соли, больно разъедав-

шей кожу, так что лицо горело, как рана, и снежный вихрь не мог его остудить.

Люди бежали, падали, вскакивали и вновь бежали вперед. Яков бежал со всеми, на лице его смешался острый пот с растаявшей морской солью, а ветер точно сдирал со лба его кожу.

Внезапно открылся противотанковый ров, тянувшийся до горизонта, до темных туч, весь доверху, до красных глинистых краев, набитый мертвыми людьми. Они были сложены аккуратно, как бревна, слегка присыпаны землей и припудрены порошей. И маленькая мертвая девочка с обрывками выцветшей алой ленты в косичках, положив бескровные руки на край этой чудовищной братской могилы, как бы пыталась выкарабкаться из нее.

До сих пор Яков не мог опомниться, уйти от этого страшного воспоминания, потрясавшего тем сильнее, что вся родня Якова застряла в Днепропетровске, у немцев.

Воротаев давно заметил, что Билику невыносима роль переводчика на допросах пленных немцев. И он сказал:

— Что поделаешь, товарищ Билик, нам без тебя чистокровного не причастить. Ты, брат, один у нас немецкий язык знаешь.

— Я хотел бы его забыть, — ответил Яков горько.

Тут вмешался Федя:

— Разрешите спросить, товарищ старший лейтенант? Как я понимаю, очухался фашист. Горластый попался, что твой ревун. И харя, прямо сказать, из Сухумского питомника обезьян. Я его малость долбанул, он и скис.

— Выходит, слабо долбанул.

— Да ведь отощал я, Алексей Ильич! На двух сухарях не больно-то раздобреешь. И на черта, извиняюсь, нам теперь «язык» сдался?.. — Последнее он сказал не без умысла: он хотел проверить — действительно ли положение батареи так безнадежно.

Понял ли его Воротаев или считал ненужным говорить неправду, потому что верил, что при всех обстоятельствах жизнь должна идти своим разумным хо-

дом до самого конца — без обмана, лжи, паники и малодушия, — но только он ответил:

— «Язык» всегда нужен, даже когда кажется, что он уже ни к чему. — И Воротаев пошел дальше.

4. КРАСНОФЛОТЕЦ АЛЕША ГОЛОДЕНКО

Воротаев увидел маленькую фигуру часового, застывшего в неподвижности у землянки, в которой находился доставленный Федей «язык». Часовой, не окликая, подпустил Воротаева очень близко, и это обеспокоило командира батареи.

«Спит он, что ли?»

Но часовой отрапортовал бодрым голосом:

— На боевой вахте краснофлотец Голоденко.

— А я подумал, что ты заснул.

— Никак нет, товарищ командир батареи! Я же бачу, хто идет. Я вас давно приметил и узнал, — проговорил Голоденко важно и вместе с тем обиженно, потому что всем было известно, что на батарее нет более зорких глаз и чутких ушей, нежели у Алеши Голоденко, лучшего разведчика, в просторечье «слухача», предупреждающего своевременно и безошибочно о приближении немецких самолетов.

Алеша Голоденко при случае не прочь был похвалиться своими боевыми качествами, особенно перед командиром. В прошлом году, когда Алеше Голоденко вышел отпуск, Воротаев отправил его на месяц к своим родным, так как у Алеши родни не было. Алеша прожил у матери командира месяц, который показался ему сказочным. С тех пор он считал Воротаева близким, своим человеком. Он всячески оберегал его. Недавно он выследил и ухлопал вражеского снайпера, специально охотившегося за командиром батареи.

С виду Голоденко был совсем мальчик, с большими, оттопыренными, всегда красными ушами, точно их ему надрали. Винтовка в его руках казалась чересчур громоздкой, а между тем он был превосходный снайпер.

Федя, сам мастер на великие безрассудства, как-то сказал про него: «Алешка Голоденко хитрый, он маленький, его никакая пуля не видит, вот он и лезет на рожон».

— Ты почему на холоде стоишь, тезка? — спросил Воротаев. — В кубрике-то небось теплее. Или заснуть боишься?

— Нет, заснуть не боюсь. Мне с фрицем трохи тесно. Куды ни гляну, в него упираюсь. А что я, Алексей Ильич, пытать вас хочу: мы его на разводку держать будемо или скоро кончим? — сказал Голоденко лукаво, не видя проку в длинной канители с бесполезным уже «языком», когда люди до смерти устали и всем необходимо поспать и отдохнуть перед трудным завтрашним днем, который, быть может, будет для многих последним. — А то вин теперь вроде приманки, — продолжал Алеша с достоинством, явно довольный тем, что так складно все понимает, а Воротаев внимательно слушает его. — Видать, важная птица. Оборзели фашисты, напропалую лезут. Я туточко одного гробанул. Вон лежит. Маскировочный халат напялил, дурень, за версту приметный стал. — Он указал на белое пятно, отчетливо выделявшееся на грязном снегу.

Гитлеровцы так же охотились за моряками, как моряки за ними. Но не случалось до сих пор, чтобы немецкому снайперу удалось проникнуть в такую глубь обороны.

— Как вернусь с обхода, так ко мне «языка» привести. Сдашь его Билику, а сам пойдешь отдыхать, — сказал Воротаев.

— Есть, товарищ командир батареи! — ответил Голоденко, повеселев.

5. СВЕТ УГАСШИХ ЗВЕЗД

В бетонированном котловане, укрывшись от ветра под защитой орудия, сидели трое: командир орудия, пожилой мичман Ганичев, про которого говорили, что он просолился на море, как консервы, и потому свеж и молод, и два бойца. Один из них, краснофлотец Иван

Бирилев, по прозвищу «Тоню», беспрерывно тараторил, не давая никому слова вымолвить.

Это был коренастый малый с короткой шеей, большой головой и довольно приятным лицом, которое портило нервное подергивание рта — точно надоедливая муха не давала ему покоя и Бирилев отгонял ее этим судорожным движением губ.

Вахту свою Бирилев отстоял. Но в кубрике было сумрачно и тихо, здоровые и раненые спали вповалку, совсем не слышно было храпа, так обессилены были люди. И Бирилев ушел оттуда, не вынеся тишины и одиночества. Но на людях ему было еще беспокойнее, и он без умолку молол, что подвернется на язык, стараясь отделаться от смутного, давящего предчувствия.

Очевидно угадав истинные причины его тревоги, мичман Ганичев сказал, по привычке артиллериста очень громко:

— Зря, Ванька, расходуешься. Побереги силенки. Видал, в какую тучу солнце с вечера окунулось? Примета верная, моряцкая. — И, повернувшись к сухопутному бойцу Усову, читавшему книжку при свете ракет, добавил:

Небо красно с вечера — моряку бояться нечего.
Село солнце в тучу — жди, моряк, наутро бучу.

В ночи роились и множились ракеты, белые, зеленые, желтые, красные, взлетали гроздьями, со звоном лопались, искрясь, тускнея, посвистывая и растворяясь в воздухе бледной искрой. И небо, озаренное этим хаосом огней, дрожало, мерцало, колебалось.

Глядя на неисчислимые эти огни, Бирилев вздохнул.

— Их вон как много... — Он сказал про огни, а думал про немцев.

Мичман Ганичев так и понял его.

— Их и вчера было не меньше. Ну и что из того?.. Боишься?

Именно потому, что Ганичев угадал правду, Бирилев возмутился:

— Чего мне бояться? Мне бояться нечего. Кругом товарищи, меня никто не хуже. И чего вы так яростно уставились на меня, Тимофей Яковлевич?

Но Тимофей Яковлевич ничего не ответил, а только покачал головой: дескать, по всему видно, что не боишься, — и отвернулся. А про себя подумал: нет, не тот Бирилев человек, с которым можно душу отвести.

А мичману Ганичеву необходимо было отвести душу. День-то сегодня наступал особенный: шестнадцать лет назад в этот именно день был впервые поднят военно-морской флаг на старейшем крейсере советского Черноморского флота. Ежегодно отмечалась эта праздничная корабельная дата. Подъем флага в этот день проходил по большому сбору, а казенная стопка в обед действовала особенно ядовито, — может, оттого, что не грех в такой день пропустить одну-другую чарку на стороне. А вечером, бывало, мичман Ганичев в черной паре, с острым, стоячим воротником, с черным матовым галстуком, повязанным однажды и навсегда, так что и надевался он прямо через голову на манер аркана, с тремя ослепительными золотыми шевронами на рукаве, означающими пятнадцать лет сверхсрочной службы, — так вот вечером, бывало, Тимофей Яковлевич выступал перед командой с традиционными воспоминаниями, становившимися год от году все сочнее и красочней.

И то сказать, ведь он помнил еще то время, когда спускали крейсер со стапелей Николаевской верфи. Только не захотел крейсер почему-то сойти на воду. Ему и дорожку салом смазали, его и на тросах тянули, ни в какую, не идет — да и все тут. А ночью, когда люди разошлись по домам, он вдруг крякнул и, к изумлению испуганных сторожей, самовольно полез в воду, ломая подпорки.

Поговорить бы с кем-нибудь — Ганичеву легче стало бы на душе. Но днем было не до разговоров, — шутка ли, отбить четырнадцать атак, — а сейчас не с кем. Усов — сухопутный человек, что он смыслит в морской службе, а Бирилев парень разбитной, трусоватый, себе на уме, перед начальством выслуживается, наушничает.

Давно дело было: снесло у Бирилева бескозырку за борт, он и попросился «сплавать за ней». А как вылез

на выстрел, так струсил и хоть сиганул в воду, а только сразу же поднял дикий вой:«Тоню, тоню!» С тех пор к нему и прилипло прозвище «Тоню».

— Покурить бы, до смерти хочется, — сказал вдруг Бирилев, беспричинно раздражаясь.

— А ты пойди в кубрик да покури, — посоветовал ему Усов, отрываясь от книги. Потрепанная книга эта — «Как закалялась сталь» — была единственной на батарее, ее берегли и читали в очередь, не смея задержать на лишние сутки.

— А то здесь покури, — язвительно сказал Ганичев. — Глядишь, на огонек пуля прилетит, не чужая, так своя.

Бирилев огрызнулся, он не любил уступать. Он подпустил Ганичеву острую шпильку, вспомнив вдруг некоего мичмана, который внял ехидному совету «друзей» — дескать, пить пей, но с умом, привяжи себя дома к койке и пей, напьешься — спи, а встать захочешь — койка не пустит, — так вот этот мичман послушался сдуру совета, привязал себя к койке и... чуть не задохся.

Тимофей Яковлевич побагровел от гнева и бешенства. Но не успел дать волю чувствам, как появился командир батареи. Мичман скомандовал «смирно», все встали, а Бирилев отодвинулся в тень. И мичман незаметно погрозил ему кулаком.

— Вахтенные? — спросил Воротаев.

— Точно, на вахте мичман Ганичев и боец Усов, товарищ старший лейтенант!

— Вольно! А Бирилев? Почему не спите, товарищ Бирилев?

С моря весомо и гулко ударил крупный корабельный калибр. Все невольно прислушались.

— У нашего голос грубее, — сказал мичман тихо. — Где наш-то теперь? Сколько времени не слыхать его... Говорили, наглотался воды под Феодосией, пятьсот тонн в пробоины набрал под Новый год.

Воротаев помнил Ганичева еще с тех времен, когда Тимофей Яковлевич внушал «салажонкам» — желторотым новичкам, пришедшим вместе с Воротаевым на флот по комсомольскому набору, — понятие о мор-

ской службе. Теперь Воротаев испытывал порой неловкость перед ним, как зрелый, самостоятельный человек под надзирающим оком бывшего школьного наставника.

— Возможно, крейсер наш под Керчью, Тимофей Яковлевич! — сказал Воротаев тепло.

— Точно, Алексей Ильич! А то Констанцу «сухарями» угощает. — Сухое, обветренное лицо мичмана с белыми, словно выжженными солью морщинами у глаз согрелось улыбкой.

Ему вспомнилось: давно, правда, тралили мины, одну решили взорвать, подошли к ней на катере, зажгли шнур, повернули обратно, и вдруг... скис мотор. И тут краснофлотец Воротаев не растерялся, мигом кинулся вплавь и буквально за секунду до взрыва потушил шнур. За подвиг Воротаев получил награду, а мичман — «губу», то есть гауптвахту, так как нарушил правила и пошел взрывать мину не на шестерке, как положено, а на катере.

— Вчерась, Алексей Ильич, — проговорил Ганичев извиняющимся тоном, — много снарядов ушло, девятнадцать на два танка. Многовато. Броня, вишь, у него шибко толстая, шрапнельным снарядом взять трудно.

— Трудно, верно, и не так уж много снарядов, в сущности... Но надо меньше, Тимофей Яковлевич, сам понимаешь...

— Как не понимать.

«Снаряды на исходе, это ясно. Все мы тут ляжем, все до единого», — подумал Бирилев и содрогнулся от этой мысли.

— Так почему же вы не спите, товарищ Бирилев? — снова спросил Воротаев. — Спать надо, непременно надо спать. День предстоит трудный, а сонный боец — не работник.

Бирилев молчал, потупясь.

— И я ему говорю, Алексей Ильич! — произнес мичман насмешливо. — «Куда, говорю, ты с корабля денешься? Дурак ты, Ванька!» А он свое заладил: «Немцев много, а нас мало». Оттого ему и не спится. — И, взглянув на Бирилева, у которого дрожал

рот плачущей дрожью, прибавил, уже не помня более на него обиды: — У всякого своя тоска. Русский ты матрос, Бирилев, и понимать должен, как понимали моряки с «Варяга».

Воротаев внимательно посмотрел на Бирилева, в какой-то миг вспомнив все, что знал о нем: в мирное время старательно выслуживал себе старшинскую нашивку на рукав, а в войну увял; в бой не рвется, но и не прячется; прикидывается слабым, а грудь снегом растирает.

— Немцев много, а нас мало, это верно, — сказал Воротаев, не повышая голоса. — Но все-таки нас не так уж мало, если считать, что каждый будет драться за десятерых. И потом: у нас три пушки, гранат много, патронов вдоволь... Одних трофейных автоматов сто двенадцать... — Но он подумал, что остроты неуместны, что говорит он совсем не то, что надо, а надо говорить правду, только правду. И заключается эта правда в том, что чем дольше они будут здесь держаться, тем лучше будет там, на Большой земле, и в этом их назначение — подольше стоять здесь, стоять до последнего как охранный дозор севастопольского гарнизона, пока Севастополь, пока вся страна не соберутся с силами.

Люди слушали Воротаева, а у Бирилева притих неспокойный рот.

Воротаев всю жизнь мечтал о подвиге.

Теперь он узнал, что приходит такое время в жизни людей, когда умереть — значит подать людям пример, как нужно жить, и это — подвиг, самый бескорыстный и чаще всего безыменный.

Чуть заметны были в небе звезды, свет от них почти не доходил до земли, где господствовал свет зарева, орудийных залпов, пожаров, ракет, трассирующих пуль.

«Но когда потухнет кровавый свет войны, свет от звезд снова придет на землю, — подумал Воротаев. И еще подумал он печально: — Как свет давно угасших звезд приходит на землю, так придет далеко в будущее, к людям, память о тех, кто отдал свою жизнь ради этого будущего».

— Ступай в кубрик, Бирилев! — сказал он строго и устало. — Постарайся заснуть, это тебе необходимо. Ступай!

— Есть! — ответил Бирилев и с облегчением пошел прочь, потом побежал, вероятно по вкоренившейся матросской привычке исполнять приказания бегом, а может быть, из опасения, что командир окликнет его и снова спросит, отчего он, Бирилев, мечется как неприкаянный.

В дрожащем свете ракет видно было, как бежит Бирилев, почему-то не прямо, а воровато петляя, словно заяц, спасаясь от погони. И Воротаеву вдруг неодолимо захотелось послать ему вдогонку пулю. Он даже ужаснулся такому дикому наваждению и подумал, что это у него тоже от усталости и ночной тоски.

Меж тем Бирилев споткнулся и упал. Теперь, когда он лежал распростертый на земле, Воротаев подумал, что Бирилев поспит и успокоится и вместе с ночью сгинут эти навязчивые, гнетущие чувства тоски, одиночества и обреченности.

6. СТРАХ СМЕРТИ

— И пойду, и пойду, — вставая с земли, бормотал Бирилев с злорадством и угрозой в голосе, как если бы его принуждали делать что-то нехорошее, а он этого не хотел и противился.

Он представил себе близящееся утро и то, как он снова будет валяться среди адского грохота и тысячи смертей, кого-то проклиная и моля: «Когда, когда все это кончится?» — и быстрей побежал к кубрику.

Ивана Бирилева взяли на флот сразу после окончания семилетки. Морские просторы никогда не дразнили его ленивого воображения, а трудная матросская жизнь казалась ему сущей каторгой. Он с унынием думал, что ему придется служить пять лет вместо двух. Но он быстро освоился.

Его рундучок являл пример образцового порядка, прилежания и аккуратности. На внутренней стороне крышки была прилеплена фотографическая карточка,

на которой был изображен Бирилев во всем блеске матросской формы, сверкая ленточкой бескозырки, надраенной пряжкой ремня, острой складкой на широченных брюках-клеш, прикрывающих ботинок полностью. Бирилев не пил, ревностно относился к службе и хранил верность невесте, ожидавшей его пятый год.

Война вначале окрылила его честолюбие, он мысленно видел себя в броне из орденов и медалей. Он верил, что погибнуть могут все, кроме него.

Но война оказалась совсем не такой, как о ней писалось в книжках, — этаким бравым маршем по чужой территории, чуть ли не под звон медных тарелок. На каждом шагу его подстерегала смерть, он был игрушкой в руках слепой случайности, он жил в неразлучном соседстве со смертью и не всегда имел оружие, чтобы защититься от нее. На его жизнь посягали ежеминутно, сотни раз в минуту, и вовсе не люди, — их он почти не видел, а какие-то взбесившиеся силы, в которые люди вдохнули свою злую, изобретательную душу.

Бирилев уже больше не думал о славе и орденах, он думал лишь о том, как бы живьем уйти отсюда: хоть бы легко ранило, простудиться бы, заболеть, попасть в госпиталь... Но он давно обнаружил, что там, где люди сутками мокнут под дождем, стынут по пояс в ледяной воде, коченеют на снегу под жгучим ветром, от которого слезы замерзают на глазах, там редко кто простужается.

При виде спящих в кубрике людей Бирилева сковала тяжкая усталость, и он на миг заснул с открытыми глазами, слепо уставясь на тусклый, подрагивающий огонек коптилки.

«Скоро наступит утро, — думал он. — Все встанут и выйдут на позиции, даже раненые. А к вечеру никого уже не будет». Он задрожал всем телом и очнулся.

И то, что смутно брезжило в сознании, вырвалось, как пламя из-под груды тлеющих углей.

«А действовать — так сейчас», — сказал он себе с внезапной решимостью и безотчетно оглянулся по

сторонам: не подслушал ли кто его мыслей? Вдруг сжал кулаки и заплакал. — Будь они все прокляты — и война, и немцы, и батарея».

Кто-то протяжно застонал в глубине кубрика. Это был Митя Мельников, смертельно раненный накануне. Чудом было, что он еще жив.

Невыносимо было смотреть, как большое, сильное тело его то покорно стихает, то содрогается вновь от головы до ступней, как руки его, пропитанные морской солью, порохом, землей, как бы отталкивают смерть прочь от себя, и она отступает перед этой лютой силой жизни. Его бескровное лицо уже заострилось, всеми своими чертами точно устремляясь куда-то вперед.

Митя Мельников попросил пить. Бирилев напоил его из жестяной поржавевшей кружки.

— Спасибо, Ваня! — медленно сказал Митя, растягивая слова. — Ребята спят, будить совестно. А ты чего маешься?.. Лег бы. — Он прикрыл глаза, но вздрогнул и тотчас испуганно открыл их вновь. Они были сухие, лихорадочные и блестели в сумраке, как фосфор. — Как глаза закрою, так меня будит...

— Кто?

— Будит меня: «Не спи, не спи, заснешь — умрешь...»

— Боишься? — тихо и напряженно спросил Бирилев, близко склонясь над умирающим, говорившим едва слышно.

Митя устремил на него неподвижный, скованный взгляд.

— А кто не боится? Все боятся. — Он перевел дыхание и некоторое время молчал, набираясь сил.

Молчал и Бирилев, безвольный и равнодушный: что ему до всех, ежели его не будет...

Митя Мельников, придя на войну из торгового флота, был отличный комендор. И воевал он весело и озорно. «Дозвольте, товарищ командир, Адольфу гостинчик послать, — говорил он, бывало, поблескивая белыми зубами из-под модных усов, которые недавно отпустил. — А то заскучал фашист». Он посылал снаряды с обязательными и не совсем цензурными на-

ставлениями и огорчался, если противник не отвечал: «Эх, молчит, дьявол, категорически молчит...»

Еще в начале осады, узнав о том, что его родные получили ложное извещение о его смерти, Митя не дал им знать о себе, что жив. «Похоронную получили — отмучились, — объяснил он свое жестокое поведение. — Легко ли будет им, ежели в другой раз хоронить придется...»

И вот он умирал в тиши кубрика.

Глядя на него и слушая его отрывистое, хриплое дыхание, Бирилев кротко думал:

«Что смерть? Может, и смерти-то никакой нету? А заснет человек, поспит и проснется, и войны не будет, и тоски не будет...» И точно отодвинулась от него война, и тягостные мысли покинули его, оставив после себя печаль и усталость, — так над погасшей свечой еще некоторое время дрожит и тает дымок.

— Думал: моряком жил, моряком помру, — проговорил снова Митя медленно и внятно, и лицо его осветилось улыбкой как бы изнутри, из-под прозрачной восковой кожи. — Думал... по морям-океанам, людей, страны смотреть. Земля на месте стоит, а море ходит, ходит и слышит разные речи и разные песни...

Начинался бред. Перед взором умирающего проходили картины, виденные им когда-то в дальних плаваниях: древний храм с кровавым следом на стене от руки султана, въехавшего, по преданию, на коне по грудам мертвых тел; старушка гречанка, говорившая своему сыну: «Пойди, сынок, к советским морякам и попросись в их страну. Ты молод и силен, а издыхаешь без работы»; вереница украшенных красными платками турецких рыбачьих фелюг, которые вытянулись в Босфоре на много миль, провожая советских моряков; и черный африканский человек, исполосованный бичом...

— Он в ярме, как буйвол... — отрывисто и бессвязно бормотал Митя. — С утра до ночи... а поет: «Земля моя пропитана слезой и кровью...» — Митя запел необычайно тонким, рвущимся голосом.

Он ослаб и умолк и лежал, вытянувшись и прикрыв глаза, как мертвый, пока новая судорога не по-

17*

трясла его невероятно длинное тело, и тогда он вновь начал жить, бредить, мучиться и предсмертно тосковать.

Бирилев исподлобья смотрел на него и думал с отчаянием, что вот так же, как Митя Мельников, и вместе с ним страдает, мучается и кончается вся батарея.

Вдруг темный, дрожащий огонек коптилки посинел, опал и, сбежав на самый край фитиля и повиснув, как капля на кончике капельницы, принялся так трястись и мигать, что у Бирилева дыхание захватило. Казалось, достаточно малейшего движения воздуха, слишком пристального взгляда, чтобы огонек погас. А Бирилев не мог отвести глаз, зачарованный видением агонии и смерти. Но в самый последний момент огонек выпрямился, пожелтел и успокоился. Это была последняя его передышка перед тем, как погаснуть.

Тогда Бирилев встал и поспешно шагнул вон из кубрика.

Им владела одна мысль, одно стремление — уйти отсюда, вырваться, проскользнуть бесплотно, незримо сквозь кольцо окружения и уйти куда глаза глядят, туда, где в этот ранний час спокойно мерцают бледнеющие звезды, поют петухи и рассвет приходит в тишине, от которой не болят уши. И вдруг обмер, покрывшись ледяной испариной.

«Куда же я? К немцам? С живого шкуру спустят. А в Севастополь пробьюсь — расстреляют за трусость и дезертирство». От этой мысли на него напал дикий страх.

Как затравленный, озирался Бирилев по сторонам. Все вокруг дышало смертью: обнажившиеся из-под снега прошлогодние травы и листья, обугленные деревья, голые обломки скал, покрытые мертвым сиянием ракет, кубрик, где кончался Митя Мельников, погруженная во мглу низина, Севастополь под темно-багровым небом...

Не обманываясь, не лицемеря, с опустошительной ясностью Бирилев подумал: уйдет ли отсюда, спасется ли — он все равно погиб, ибо, если уцелеет хоть один из батарейцев, узнается правда, а не останется

живых свидетелей, так мертвые будут преследовать его. Тогда Бирилев повалился на землю, царапая и грызя ее и проклиная час своего рождения.

7. ПОСЛЕДНЯЯ ВАХТА

С чем сравнить последние минуты предрассветной вахты, когда все вокруг беззвучно, неподвижно, сковано оцепенением и сном, когда тело бесчувственно, мозг пустеет и кто-то нашептывает: спи, спи! — и воспоминания превращаются в сновидения.

Уставясь на далекие холмы, окутанные редеющим сумраком, Федя боролся со сном. Ему мерещилась во мгле та, которую он любил, он видел ее доброе лицо, веселые глаза и нежный рот и слышал ее голос. Она тихо пела песню на слова какого-то черноморского поэта:

Любимая, прощай!
Уходим в плаванье
Из нашей гавани.
Наутро флаг взлетит
И пропоет гудок...
Любимая, не забывай того,
Чей путь далек...

Федя видел поля, по которым они с Надей бродили в те дни, когда он в последний раз приходил на побывку. И лес склонялся над ними, и лесные цветы касались ласково их лиц, и раздавленная земляника на платье Нади сверкнула вдруг как капля крови...

— Нет хуже, как стоять «собаку», — сказал Яков Билик черствым голосом.

— Чего? А? — отозвался Федя, судорожно пробуждаясь. — «Собаку», говоришь, стоять? Верно, вахта собачья! А последний час всего хуже, всякая напасть случается в этот час. Эх ты, сухопутный моряк! — сказал Федя с большой теплотой в голосе.

Как ни мучительна была предрассветная вахта, Якову Билику все же хотелось, чтобы она не скоро кончилась, эта последняя вахта.

Якова неодолимо клонило ко сну. Его воображению сон рисовался в виде матери, смыкавшей над ним

свои теплые объятия. Но его будила одна и та же мысль, жегшая ему сердце: жива ли она, его мать, живы ли отец, братья и маленькая сестренка с бантом в косичках, которую он вынянчил? Он все еще верил и все еще надеялся, хотя после того, что увидел под Керчью, после всего того, что ему рассказали люди, надеяться уже было нечего.

Яков писал свой дипломный проект по котлостроению, когда услышал речь Молотова по радио. Он сунул свой проект в ящик письменного стола и сказал матери, что дело это откладывается до окончания войны.

Сперва, вспоминая родных, застрявших у немцев, он плакал тайком. Он не хотел, чтобы люди видели его слезы. Они могли подумать, что он плачет оттого, что боится войны. А он боялся ее не больше, чем другие.

«Чем меньше, — говорил он себе, — ты будешь бояться, тем безопасней будет для тебя». И шел навстречу тому, что порождало этот страх.

Чтобы скоротать вахту и разогнать сонливость, Федя стал рассказывать про дневального, который при виде командира подал команду «смирно», а как появился другой командир, званием постарше, скомандовал сгоряча «еще смирнее». Вдруг почувствовал, что все это нисколько не смешно, а скорей нелепо и глупо, и умолк.

Молчал и Яков, упорно и неотвязно занятый своей думой.

— Куда, гад, залез — под самый Севастополь! — сказал вдруг Федя с горечью и болью. — Мы вроде как на острове, со всех сторон враг. — И помолчав: — Теперь вся моя родня под ним бедует. А слыхал я, крут немец с моряцкими семьями. Твои-то где, Яша, тоже под фашистом?

— Да, — односложно ответил Яков.

— Не надо убиваться раньше времени, — сказал Федя участливо.

Яков печально усмехнулся.

— Раньше времени... Я видел керченский ров. — И он рассказал Феде то, что слышал от людей.

Гитлеровцы приказали евреям собраться и каждому надеть праздничное платье и взять с собой лишь самые ценные вещи, так как их-де, мол, переселяют в гетто, где есть жилища с мебелью и утварью. Евреи поверили.

Их погнали по длинной, каменистой дороге, терявшейся на горизонте среди холмов. Они шли и плакали, покидая свой дом и свое добро, и каждый нес узелок, а иные дети несли куклы, потому что для них куклы были самым ценным их достоянием. А по обеим сторонам дороги стояли эсэсовцы в черных мундирах, и был повсюду немецкий порядок.

А когда показалось осеннее робкое солнце и обогрело людей своими косыми лучами, люди воспрянули духом и перестали плакать: не на веки же вечные запрут их в это проклятое гетто... А дети начали смеяться и радоваться. И тогда впереди, за поворотом, прострочила первая автоматная очередь. Люди не сразу сообразили, пока не услыхали страшные вопли... Сколько раз Яков мысленно проходил по этой трагической дороге. Теперь ему казалось, что он сам был там и все видел и все пережил. Ров завалили трупами доверху, засыпали землей. По рассказам очевидцев, земля шевелилась двое суток.

Чудом уцелевший старик Эфраим Белявский рассказал Якову все, как было. «Когда я встречусь с фашистом у престола всевышнего, — сказал он напоследок, — я и там схвачу его за глотку».

— А я так думаю, что мы с фашистом на земле сквитаемся, — сказал Федя, глубоко пораженный рассказом Якова. — А то не стоило бы умирать. Нам сердце нужно, как кремень, — искры из него высекай, а само не горит. Воевать нам долго, очень долго... Конца не видно.

— Да, пожалуй, конца не видно.

Они были вдвоем и могли быть безбоязненно откровенны.

Якову пора было на КП.

— Зря я чистокровного не ухлопал, — сказал Федя с сожалением. — Теперь мне одному скучно будет.

— Скоро смена придет. Смотри, Федя, не заснуть бы тебе... — сказал Яков озабоченно.

Оставшись один, Федя начал всячески развлекать себя. Вдруг увидел колышущиеся на волне щиты, по которым крейсер ведет учебную стрельбу тяжелыми железными болванками. И в тот момент, когда с бурным всплеском упала болванка, он вздрогнул и проснулся.

— Ох, братва! — воскликнул он, завидев смену, и так потянулся, что в костях у него хрустнуло.

8. «ГЛАВНОЕ, НЕ ДУМАТЬ О СЕБЕ»

Федя шел, большой, сутулый, как бы взбираясь в гору, с поднятым воротником бушлата, в низеньких, с короткими голенищами сапогах морского пехотинца. Он мечтал о том, как заберется в кубрик, согреется в тепле и тесноте людских тел, покурит и заснет.

Когда-то в такую же критическую ночь по приказу командования на высоту пришел стрелковый батальон, чтобы занять оборону до утра и дать батарейцам выспаться и отдохнуть. И Федя стал вглядываться в ночную мглу — не покажется ли вновь этот чудесный батальон.

Но вокруг было пустынно, и зарево, тускнея и сжимаясь, приобрело ровный желтоватый оттенок, точно оно вставало над большим, мирно освещенным городом. Скоро покажутся первые городские огни, а там тепло, покой и сон... Но как бывает перед самым концом долгого и трудного пути, Федя почувствовал такое изнеможение, что не в силах был ступить ни шагу дальше. Тут вдруг блеснул огонек, за ним высыпала веселая и дружная ватага огней, перемигиваясь, играя и маня... Федя оступился и проснулся — он спал на ходу.

Было темно и тихо, кто-то тягуче скулил в тишине. Федя было подумал сперва, что это скулит собака. Но откуда тут собаке взяться? При виде Бирилева, бьющегося на земле в припадке отчаяния и безысходности, Федя оторопел. Он знал, что такое случается в

часы затишья, когда на человека вдруг находит стих и человек уже не владеет собой и бог весть на что способен.

Федя осторожно тронул Бирилева за плечо и быстро отодвинулся, памятуя, что у этих одержимых бешеная сила. Бирилев испуганно вскочил.

— Ты что, очумел? Ну, чего выпучился? Кругом минами засеяно. В ангелы захотелось, что ли? Дура! — прикрикнул на него Федя.

Бирилев провел рукой по глазам, как бы отгоняя какое-то видение, неожиданно усмехнулся криво и судорожно.

— Душно в кубрике... В пот вгоняет. Ребята спят намертво... А мне невмоготу... Не спится мне.

— Да ведь ты замерзнуть тут можешь. И утащить тебя, дурака, вполне могут.

Бирилев безнадежно махнул рукой.

— Чего уж... по волосам плакать... Отвоевались. Какая это война? Ждем ката, чтоб он нас за хрип и на рею... — И в приступе внезапной ярости прокричал одним духом: — Всем нам амба!

Федя не питал никаких иллюзий относительно ожидающей их всех участи. Но он был военный моряк, который по закону и обычаю разделяет участь своего корабля, какой бы она горестной ни была. А неуемная жажда жизни не делала его ни слепым, ни чрезмерно эгоистичным, ни трусливым.

Когда-то Федя панически боялся моря. А море било его за это смертным боем. Он жестоко воевал со своим страхом, пока не одолел его. Однажды в шторм он вызвался пойти за птицей, чуть живой упавшей на палубу. Он пошел, держась за протянутые канаты, которые лопались, как нитки, скользил, падал и полз с разбитыми в кровь коленями и ободранными руками. И в тот момент, когда на борт вскочила гладкая черная волна с зелеными глазами и остановилась на миг, высматривая, на кого бы ей кинуться — на обессилевшего человека или на птицу, цеплявшуюся обломанными коготками за обледенелую палубу, — Федя опередил волну и прикрыл птицу грудью.

— Ты не один. Всем не сладко, — сказал он. — На-

перекор идти надо. Главное — не думать о себе. А то, знаешь, и дров наломать недолго. Будет тебе психовать, Ваня, пойдем давай в кубрик. А то застыл я тут с тобой, все шпангоуты трещат. — На него напала дрожь, передалась голосу, и он умолк.

Молчал и Бирилев, тревожно думая: хорошо еще, что попался ему Федя. И только у самого кубрика остановился и прошептал порывисто и с чувством неловкости:

— Спасибо, Федя! Никогда тебя не забуду.

Федя пожал плечами, не понимая, за что благодарит его «этот малахольный».

9. ОЗАРНИН

Воротаев побывал на всех огневых точках. Он обошел оборону, занимавшую по окружности немногим менее километра. Время осады и убыль в людях привели к сокращению фронта батареи. Люди глубоко зарылись в землю. Между орудиями, поставленными на склонах горы, помещались выдвинутые вперед пулеметные гнезда, удаленные от орудийных двориков на пятьдесят метров, чтобы немцы не могли слишком близко подойти к орудиям и забросать их гранатами. Дальше шли траншеи, окопы полного профиля, блиндажи с накатами из рельсов и подземными ходами сообщения, а еще дальше — посты сторожевого охранения, два ряда проволочных заграждений, рвы, завалы, минные поля.

«Тут бы держаться и держаться, были бы только снаряды», — подумал Воротаев с горечью.

Он постоял у пушки образца 1928 года с расколотым стволом, покрытым снежной щетиной. Было в этой устаревшей и разбитой пушке что-то бессильное и все же грозное.

Воротаев наметил место на вершине горы для новой круговой обороны. Чем яснее вырисовывалась близость конца, тем упрямей, лихорадочней изощрялась мысль в поисках каких-то мер, могущих если не предотвратить, то хоть отодвинуть неизбежную катастрофу. О себе Воротаев не думал, непривычно ему было

заниматься собой. С детства, со школьной скамьи, ему внушали мысль, что нет ничего мельче и ничтожнее себялюбия и эгоизма и нет ничего возвышеннее любви к людям.

Продолжая обход, Воротаев заглянул и на камбуз, где рыжеватый, веснушчатый кок Шалва Лебанидзе с неунывающим оптимизмом почти из ничего готовил что-то, напевая приятным тенорком грузинскую песню. Этот музыкальный паренек помнил неисчислимое множество песен, романсов, арий, услышанных по радио. Он всегда пел, порой даже не зная, что поет, и превосходно изображал то флейту, то гобой, то кларнет.

Воротаев любил музыку, его мысли часто сопровождались неясными мелодиями, звучавшими в его мозгу. Возможно, это свойство привило ему море, неумолчный и вечный орга́н, не ведающий безмолвия и тишины даже в штиль.

Командир батареи обсудил с коком, каким образом хоть ненадолго обмануть голод людей, а уходя, спросил, что за песню тот пел. Шалва просиял, его лицо расплылось в довольной улыбке.

— А хорошая песня, товарищ старший лейтенант! — сказал он с мягким, певучим акцентом, придававшим его речи какую-то особую прелесть добродушия. — Я ее от деда слышал. Понимаешь, дед сам песни сочинял, а потом, понимаешь, люди пели. — И Шалва перевел, как умел, слова песни по-русски: — «Три вещи у меня, друг, — песня, конь и кинжал. Песня — для любимой девушки, конь — для себя, кинжал — для врага».

Слова были под стать мотиву. Воротаев ушел, повторяя их про себя.

В кубрике автоматчиков он задержался подле Мити Мельникова, который тихо бредил. Он неузнаваемо переменился с того часа, как его ранило, совсем другой человек.

Бывало, по вечерам, улегшись под черным южным небом, в котором мерцают и перемигиваются осенние звезды, бойцы шутили, смеялись, и всегда слышен был зычный голос Мельникова, его раскатистый хохот. Потом устраивали немудрящий оркестр, именуя его джа-

зом, — кто играл на ложках, кто на баяне, на балалайке, и здесь заводилой был Митя Мельников...

Воротаев вздохнул, склонился и поправил осторожно бушлат под его головой. Митя открыл глаза, посмотрел на Воротаева темным и тусклым взором и не узнал его.

— А-а... ты... маешься все... — произнес он, тяжко дыша. — Смерти боишься? Знатный швабрист... А народ не боится... Народ себя не жалеет. А ты?.. Ты... — На миг придя в себя и признав Воротаева, удивленно сказал: — А где Бирилев? Он тут только что был.

— Ну как ты, Митя? — спросил Воротаев участливо. — Может, на КП перейдешь? Там тебе лучше будет.

Но Митя отрицательно покачал головой.

— Не-ет! Я еще на позиции выйду... Во мне еще крови осталось... — сказал он протяжно, вновь погружаясь в бред и забытье.

Продрогший до костей возвратился Воротаев на КП и обрадовался, увидев, что заботливый старик Терентий прибрал в блиндаже, вскипятил воду.

За высоким ящиком, заменявшим стол, под полуслепым светом коптилки Озарнин, корреспондент флотской газеты, что-то писал, склонив низко голову с поблескивающей в спутанной шевелюре сединой. Он прибыл на батарею на несколько дней и застрял здесь.

— Пишешь? Что ты пишешь? — спросил Воротаев.

Озарнин поднял утомленные глаза и несколько секунд смотрел на Воротаева невидящим взором разбуженного, но еще не очнувшегося от сна человека.

— Что пишу? А? Вот заполню вахтенный журнал.

— Рано. Сутки еще не кончились. Еще «языка» допросить надо. И как ты можешь писать при таком свете, почти что в темноте?

— А близорукие вблизи хорошо видят, — ответил Озарнин, отодвигая тетрадь, в которую изо дня в день записывалось обо всем, что происходило на батарее. У него был глуховатый голос, а серые глаза смотрели с близорукой настойчивостью и чуть косили.

Он недавно разбил очки. Бойцы не знали, как помочь его беде, а Федя даже раздобыл ему превосход-

ный цейсовский бинокль, полагая, что коли нельзя приблизить человека к предмету, то можно приблизить предмет к человеку.

Некоторое время Воротаев сидел, обняв закоченевшими ладонями кружку с кипятком, безжизненный и безучастный ко всему, потом отпил несколько глотков горячей воды.

— А с Мельниковым плохо.

Озарнин ничего не ответил.

Батальонный комиссар Лев Львович Озарнин был старший по званию на батарее. В сущности, со смертью комиссара батареи Кобозева он выполнял его обязанности.

— Ну и шерсть, все лицо зудит! — сказал Озарнин, почесывая заросшую щеку. — Скосить бы — так ни бритвы, ни мыла. Черт! Ничто так не освежает, как бритье, — точно десять лет за борт сбрасываешь. В девятнадцатом году у нас был комбриг, который говорил: «Бритый командир перед строем — это почище всякой агитации».

Воротаев удивленно посмотрел на него.

«О чем думает! Значит, поспал». А вслух произнес:

— Что ты там начеркал в вахтенном журнале? Прочти-ка, Лев Львович! — Воротаев придавал журналу особое значение и проверял каждую запись. Это был дневник, летопись жизни и подвигов одной зенитной батареи.

Короткая, сухая запись, сделанная Озарниным, содержала, однако, все, что надо.

«На батарее 42 человека. Легкораненых 10, тяжело — 1. Моральное состояние людей удовлетворительное. Выбывшее из строя орудие № 2 нарушило систему круговой обороны, обнажив сектор, не защищенный более артогнем. Людские резервы исчерпаны и этой бреши не заткнуть. Снаряды на исходе. Для рукопашной схватки люди слишком истощены...»

Воротаев слушал, одобрительно кивая головой, потом сказал, как бы подытоживая запись Озарнина:

— Маленький сторожевик подставил борт торпеде, предназначенной линкору.

Эта фраза поразила Озарнина своей емкостью, ла-

коничностью и драматизмом. Он было по привычке достал записную книжку из брезентовой сумки, служившей ранее для противогаза, брошенного за ненадобностью, но повертел ее в заскорузлых пальцах и отложил. Следовало сделать над собой усилие, принудить себя писать, но Озарнин, быть может, впервые за многие годы уступил, не противясь, своему безволию.

По правде говоря, Лев Львович Озарнин был человек слабохарактерный. Ему только перевалило за сорок. Он много скитался, кое-что видел и кое-что знал. Его очерки в свое время печатались в центральной прессе, они не лишены были наблюдательности и колорита. Но все это было не то, и никто другой, пожалуй, так ясно не понимал, что это не то, как сам Озарнин, который втайне лелеял серьезные литературные надежды.

Достигнув вершины горы, путник оглядывается на пройденный путь. Тем горше было Озарнину сознавать, что он пришел к финишу почти ни с чем.

Война застала его в Севастополе, где он проходил двухмесячный проверочный сбор на крейсере, историю которого ему поручено было написать. Ему так и не удалось повидать семью и проститься с ней.

Он побывал в осажденной Одессе, где городской трамвай подходил чуть ли не до самой передовой, а неунывающие одесситы, распевая песенку, состоявшую из одной строки: «Ой, Одесса, ты самый лучший город», научились делать гранаты из пустых консервных банок. Он слышал первый залп дальнобойных перекопских батарей, повернутых дулами к северу, откуда по непредвиденным путям наступали немецкие танки. Он пережил первый штурм Севастополя, когда в ноябрьском небе без умолку гудели «юнкерсы» и «мессершмитты» и с шумом ливня падали на мостовую осколки зенитных снарядов, когда бомбы рвались над Инкерманскими пещерами, где некогда также прятались от ядер и бризантных бомб жители осажденного Севастополя.

А на рассвете, в короткий час затишья, Озарнин со стесненным сердцем слушал сводки Информбюро с их невыразимо страшными подмосковными направления-

ми — Можайское, Клинское, Волоколамское, Малоярославецкое...

Озарнин увидел на войне так много людских страданий, что его собственные стали казаться ему совсем ничтожными.

В блиндаже было тихо, чуть покачивался огонек коптилки. Спал старый Терентий, задумался, а может, задремал, подперев голову рукой, Воротаев. Озарнин перелистал свою записную книжку, мало-помалу углубился в записи, воскрешавшие впечатления, мысли, встречи первых месяцев войны.

10. ИЗ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ ОЗАРНИНА

Самолет не вернулся

Самолетам, ушедшим с ночи на бомбежку, пора было возвратиться. Я и старший лейтенант Воротаев, командир зенитной батареи аэродрома в Сарабузе, отправились их встречать.

Аэродром начинался за колючей проволокой в ста шагах от штаба и в трехстах от авиационного городка — десятка закамуфлированных двухэтажных домишек, живописно разбросанных среди клумб, газонов и английских дорожек, матовых и влажных в легком предутреннем тумане.

Пропускная будка, покрытая грязноватой краской для маскировки, все же сохранила кое-где свою белизну, особенно заметную в рассветном сумраке. Шлагбаум был опущен. Оперпшсь на него, молоденькая и очень миловидная женщина, жена летчика Кирьянова, озабоченно смотрела куда-то вдаль.

— На небо все смотрите, Верочка?! — сказал ей Воротаев приветливо.

— Что поделаешь, у меня муж летчик, — отвечала она, кутаясь в большой платок, накинутый на плечи. Потом спросила — каково решение штаба относительно жен летчиков, оставят ли их здесь обслуживать кают-компанию, как они просят, или эвакуируют.

— Скорей всего, придется уехать, — прямо ответил Воротаев.

— Но почему? Чем мы мешаем?

— Воевать мешаете, — сказал Воротаев с излишней серьезностью.

— Ну вот еще, придумали — воевать мешаем, — возразила Вера, сдвигая брови, что придавало ее лицу выражение детски-недовольное, обиженное и вместе с тем очень строгое. — Что вы, Алеша, такое говорите? Воевать мешаем... Ведь по целой неделе мужей не видим. Вчера заскочила в палатку, а Вася спит. Только цветы поставила, поцеловать побоялась. Ах, Алеша, вы не знаете, как это больно — оставлять близких людей...

— Почему не знаю? Напротив, отлично знаю. Оттого и говорю вам: Верочка, надо уезжать, и чем скорей, тем лучше. Эти беспрерывные тревоги, эти ожидания... И все на глазах... Нет, Верочка, нельзя, нельзя вам здесь оставаться... — Его голос выдавал его чувства. Спохватившись, он добавил грубовато и небрежно: — Как говорится, с глаз долой — из сердца вон.

Мы пошли с ним дальше.

В степи было тихо, безмолвно, сонный ветерок то начинался, то затухал. Есть что-то усталое и печальное в этом неторопливом пробуждении утра, как будто сама природа не в силах сбросить с себя оковы сна и старается продлить очарование покоя, робости и тишины.

— И это фронт! — воскликнул я невольно.

— А то как же! Такое оружие. Пятьсот километров над морем да триста над сушей — это до Плоешти. До Констанцы ближе... Они пока что разведчиков засылают. Ежедневно гостят в нашем небе, только попозже. Ну, мы их и лупим, любо-здорово, все небо в яблоках.

— В яблоках? Хорошо сказано. А вы не пишете?

— Нет. Что вы! Перо не мое оружие. Эх, — добавил он, вздыхая, — мне бы обратно на море... Когда я слышу слово «море», у меня в глазах синеет.

Небольшого роста, с бледноватым, подвижным и живым лицом и смелыми до дерзости глазами, в морской летней фуражке с белым верхом, вымазанным зеленой краской в целях маскировки (наивная предосторожность), Воротаев показался мне непозволительно юным.

— А вы долго на море служили? — спросил я.

— Шесть лет. Краснофлотцем начинал. Я артиллерист. На берег недавно списали. Сам попросился. На суше дел побольше, А теперь, будь моя воля, я бы сегодня же, немедля, поднял «буки».

— Отчего такое нетерпение?

Но Воротаев ничего не ответил.

Нет ничего трогательней и привлекательнее беспокойного, ищущего человека. Говорят, когда человек облеплен репьем — это верный признак, что он идет не по проторенной дороге.

В этот ранний час особенно чувствительно сказывалась усталость — дни без отдыха, ночи без сна, да еще в полной, пропыленной до нитки «сбруе», согласно приказу «спать не раздеваясь».

Воротаев молчал, все чаще поглядывая на часы. Молчал и я. Подле санитарной машины пожилой врач осторожно курил, пряча папиросу в кулак.

Пустынное небо, тронутое зарей, посветлело, и природа пробудилась сразу и шумно: зашелестели травы, протяжно вздохнул кустарник, роняя красные, как ягоды, капли росы, и выкатился большой диск солнца. Высоко в небе парил коршун, вдруг замер, сложив крылья, и черной молнией упал на землю, упал туда, где, выбравшись из норки, в счастливом неведении грелась на солнце и дышала утренней степной прохладой землеройка. В следующее мгновение, широко и сильно взмахнув крыльями, он снова взвился, держа в когтях землеройку.

Провожая хищника взглядом, Воротаев сказал:

— Уж коли суждена пуля, так пусть наповал.

Кто-то закричал:

— Летят, летят!

Я слишком близорук, чтобы разглядеть возникшие на горизонте точки. Но Воротаев быстро сосчитал, сколько их, и помрачнел: не хватало двух самолетов.

Сделав круг, скользя как бы по незримому скату горы, самолеты пошли на посадку. Они пролетели совсем низко, гоня высокую траву. Аэродром наполнился грохотом и суетой, и ветер поднял сухую, красноватую глинистую пыль.

Большие сухопутные машины, издали похожие на огромных стрекоз, были все изранены. Эти рваные раны на металле как нельзя выразительнее говорили о тяжелом труде, опасностях и превратностях войны.

Пока штурманы докладывали о результатах бомбежки, затем сбрасывали грузные, неуклюжие комбинезоны, вылупляясь как бы из меховой шкуры, мы не спускали глаз с неба — не покажутся ли Кирьянов и Якушев.

Воротаев был молчалив и озабочен.

Было еще рано, а уже чувствовалась в воздухе близость июльской степной духоты. Еще пахло мятным холодком трав, а когда налетал ветерок, пробивался теплый запах уже разогретого песка.

Глухо, прерывисто, далеко зарокотал самолет, сообщив сердцу волнение и надежду. Самолет снижался рывками, он точно падал, как если бы им управлял человек почти в бессознательном состоянии. Оно так и было. Якушева извлекли из кабины полумертвого от потери крови. Видел ли он Кирьянова? Да, видел. Они вместе устраивали в Плоешти иллюминацию. Якушев еще пытался острить, хотя голос его едва звучал. Потом над морем на Якушева напали истребители и стали прижимать его к воде, чтобы утопить. Он уже видел, как со всех сторон сбегаются барашки к тому месту, куда вот-вот упадет его тяжелая сухопутная машина. Спасибо, Кирьянов выручил... Якушев совсем ослаб, он терял сознание. Его увезли.

Мы тягостно молчали. Мы шли к выходу, поминутно оглядываясь. Мы еще издали увидели Веру, она неподвижно стояла на старом месте, у шлагбаума, ожидая нас.

— И что я ей скажу? — проговорил Воротаев со сдержанным волнением. — Один раз Вася уже пропадал. Двое суток носился по морю в резиновой шлюпке. Двое суток, сорок восемь часов — на войне это такой срок, состариться можно. Полковник сказал мне: «Пойди, брат, к ней, ты друг его, у тебя выйдет». Чёрта у меня вышло. Я и рта раскрыть не успел, а она побледнела, шитье выронила, — смотрю, детская рубашонка.

А я стою как пень и молчу. «Спасибо, говорит, что молчите, Алеша! Не надо меня утешать...»

Я вдруг увидел, что Воротаев не так уж молод, как кажется сначала.

Вера молча стягивала на груди дрожащими пальцами концы шерстяного платка.

— Запаздывает Вася, — сказал ей Воротаев, судорожно улыбаясь. — Беспокоиться, конечно, рано. Должно, на чужой аэродром сел.

— Да, да... — прошептала она побелевшими губами и вдруг спрятала лицо в ладони. Ее светлые, пышные волосы, искрящиеся в блеске солнца, словно пролились ей в ладони потоком золотых искр.

И тогда Воротаев сделал такое движение, точно хотел обнять ее, успокоить, утешить. Столько страдания и нежности выразилось в его лице, что совсем не трудно было понять, почему он так нетерпеливо рвется прочь из бригады.

Внезапно послышался шум мотора. Мы замерли. У Воротаева дрогнули губы в изнеможенной улыбке. А Вера открыла заплаканное, настороженное лицо.

Кирьянов огибал аэродром, приветственно покачивая крыльями самолета.

Озарнин покосился на неподвижно застывшего, похоже задремавшего Воротаева и перевернул страницу.

11. ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗАПИСНОЙ КНИЖКИ

Свадьба

Как ни старалась Вера отодвинуть свой неизбежный отъезд, ничего из этого не вышло. Неожиданно Кирьянову дали отпуск на сутки, чтобы устроить семейные дела. А семейные дела его заключались в том, что после двух лет совместной жизни с женой он хотел зарегистрировать свой брак с ней в загсе. Мало ли что может с ним случиться... Ведь за первые месяцы войны летный состав бригады обновился полностью. И потом Вера, уходя, по ее горькому выражению, в эвакуацию, была беременна.

Так как Воротаев отправлялся к месту нового назначения, а я получил предписание вернуться в Севастополь, то мы выехали все вместе.

«Пикап» быстро и бесшумно катился по темному, блестящему асфальту среди пирамидальных тополей, провожавших нас протяжным шуршанием.

Кирьянов всегда был малоразговорчив, а теперь из него и слова не вытянуть было. И по тому, как он машинально подносил потухшую папиросу к губам, видно было, что он задумался и что невеселое выражение его лица относится вовсе не к тому, что он видит перед собой, а к тому, о чем думает.

Мы нагнали обоз беженцев. Лошади, утомленные длинным переходом, тащились медленно, безразличные к понуканию. А люди, едва держась на ногах, были молчаливы и подавлены. И стадо дородных коров пересекало дорогу под мирный свист бича. Повсюду виднелись кордоны, патрули. Склоны холмов были изрыты противотанковыми рвами, усеяны надолбами, опутаны колючей проволокой. В этой обстановке приближающегося фронта было странно, что ребятишки играют в войну.

Севастополь открылся нашим взорам весь в красках моря, неба, рыжей листвы, такой воздушной, пышной и легкой, как бы готовой от малейшего дуновения ветерка сняться с ветвей деревьев и улететь.

Вблизи город выглядел настороженно и нелюдимо. Окна перечеркнуты бумажными крестами, на заставленных рогатками перекрестках груды песку, кое-где дымятся развалины — следы ночного налета, и везде свежие траншеи и укрытия. И море — по-осеннему сумрачное и беспокойное.

Еще издалека мы услышали гул взрывов и тявканье зениток. Но только мы въехали в город, как послышался протяжный рев сирены с Морского завода, подававшего сигнал: «Отбой воздушной тревоги».

За углом, из глубины обгорелых развалин, над которыми еще не осела пыль и не рассеялся дым, доносился голос диктора — единственно живое, что уцелело в этом доме: «Внимание! В главной базе Севастополя подан сигнал «отбой».

С дурным воем клаксонов промчались санитарные машины с жертвами бомбежки. Слева над крышами все выше поднималась полоса дыма — то горели привокзальные рабочие бараки.

— Вот тебе и бомбежка, — сказал мне Кирьянов, очевидно вспомнив наш давешний разговор, когда я просил его рассказать о последнем его полете. — А я какой рассказчик? Никакой. Полетели, отбомбились, прилетели — и весь сказ. — Он говорил серьезно, это подчеркивало скрытую иронию в его словах. А смуглое сухощавое лицо его с ленивыми и умными глазами оставалось совершенно непроницаемым.

— Это верно, — подтвердил вдруг Воротаев. — Что сверху видно? Пустяки. Черно-красные разрывы, вроде цветов, и точно кто-то там, внизу, на земле, спички чиркает... Разве что наверху сильнее чувствуешь свою привязанность к земле. Два раза летал стрелком-радистом, а запомнил на всю жизнь. Помню, попали мы в грозу. Такая гроза — не то что летать, думать о полете страшно. Тучи как горы — вот-вот вмажешься, и молнии как огненные горные ручьи. А тут еще самолет набит бомбами, как стручок горохом. Летчик тучи пробил, гляжу — небо чистое, ясное, как заводь, и звезд полно. А внизу гроза, война...

В загсе мы задержались недолго и вышли оттуда оживленные, но невеселые. Какая-то женщина продавала высокие, курчавые, снежные хризантемы. Мы опорожнили ее корзину. Вера улыбалась, но в глазах ее была тоска.

— Раз свадьба, так свадьба! — сказал Воротаев, сдвигая на затылок фуражку. — Надо спрыснуть. Когда опять свидимся... Пойдем давай, Лев Львович, за вином, заодно проездные документы выправим, а молодые пусть погуляют. Потом ко мне. — Он напомнил Кирьянову свой путаный адрес: угловой дом, рядом с пустующей фотографией, там его квартира.

Мы довольно быстро управились с делами, но Воротаев не торопился. Он не хотел мешать друзьям в их последнем уединении. И я не спешил. Мне хотелось побродить по знакомым и памятным местам моей юности.

Мы попали домой в сумерки.

— Ура! — закричал Воротаев с порога. — Умираем от жажды. Давай первый тост! — И он выгрузил на стол бутылки с виноградным вином.

Кроме Кирьяновых, здесь была сестра Воротаева, такая же маленькая, с такими же смелыми, как у брата, глазами, с густым пушком на верхней губе. Звали ее Антонина. Она с трудом выбралась из Одессы и теперь работала в военных мастерских, укрывшихся в Инкерманских пещерах, недосягаемых для немецких бомб.

— Где это ты пропадал? Бессовестный! Вырвался на полдня, а когда пришел... — укорила она брата.

Он неумело оправдывался. Его выручил Кирьянов, весело смеясь:

— А мы тут гадали — не загреб ли вас комендантский патруль? Фуражка-то у тебя, Алеша, не по форме, цветистая.

— Ну, не будем тратить дорогое время, — также смеясь, отвечал Воротаев. — Давай-ка лучше выпьем. — И, наливая в стаканы вина, он между прочим сказал, что поездом ехать уже нельзя, а рано утром будет морской транспорт до Керчи, откуда Вера переберется через пролив в Краснодар. Потом он сообщил, что батарею его переводят из Сарабуза под Севастополь.

— Ты что же, Алеша, окончательно в сухопутные переходишь? — спросил его Кирьянов.

— Похоже, что так.

— Вот уж чего не могу представить себе — как бы я на сухопутье воевал, — сказал Кирьянов. — Случалось не раз прилетать на решете. И когда свистят пули в миллиметре от носа или по тебе шпарят из пушки, тоже, скажу, удовольствия не много. Но каков я буду в пешей атаке — это один бог знает, и то приблизительно. Летчики любят летать. Они и во сне летают.

— Морякам тоже снится море, — сказал Воротаев. — Ну, давай выпьем. Поехали!

Пили мы много — за новобрачных, за близких людей, за всех нас вместе и за каждого в отдельности, а главное, за победу. Но вино не разгоняло тревожной грусти и не прибавляло бодрости.

Стемнело, окна наглухо занавесили, потом зажгли настольную лампу под желтоватым шелковым абажуром, и в комнате сразу сделалось уютно и тесно. А мы все уже разговаривали громкими голосами и смеялись, и только Вера сидела задумчивая и тихая, поблескивая в полумгле золотистыми волосами. Антонина, сестра Воротаева, попробовала было расшевелить ее, но сама поддалась ее настроению.

— Надо быть стойкой. Мне об этом муж твердил в каждом письме. Я стойкая, куда же дальше, три месяца как от него ни строчки. — Ее глаза наполнились слезами.

— Ну-ну, Тонечка! Грех плакать по живому, — сказал ей брат строго и ласково.

— Скажите пожалуйста, три месяца, какой срок большой, — поддержал его Кирьянов. — И полгода — не срок, и даже год. Мало ли что на войне бывает... Человек жив-здоров, а писать не может. — И хотя он говорил не обращаясь к жене, но видно было, что он это для нее говорит.

— Надо терпеливо ждать, — сказала Вера, обняв Антонину за плечи. — Я знаю, ждать больно, очень больно. И чем дольше ждешь, тем больнее. Я ведь дочь моряка. — Обращалась она к Антонине и на мужа не смотрела, но всем было ясно, что это она ему отвечает, его успокаивает. И вдруг засмеялась. — Зарок ведь дала — ни за что не пойду замуж за моряка, а выскочила за летчика. Хрен редьки не слаще. Вот и стало для меня небо беспокойнее моря.

Неожидан и приятен был переход от угнетенного настроения к мягкому юмору, за которым скрывалась приглушенная печаль.

— Выпьем за наших женщин, — предложил Воротаев. — Им всегда здорово достается. У них равные права, но неравные обязанности. У нас редко какая женщина ничего не делает. Обычно она служит, а потом за мужем ухаживает, за детьми присматривает, хозяйство ведет. Выпьем за наших женщин. — Он залпом осушил стакан. — Вот вы и уезжаете, Верочка! Я рад, я очень рад, — сказал он с улыбкой, говорившей не столько о радости, сколько о боли. — Везде

жизнь, везде люди. Свыкнетесь. Глядишь, и забудете понемногу старых друзей.

Его слова звучали не то упреком, не то сожалением.

Вера удивленно и вопросительно посмотрела на него:

— Это вы серьезно?

— Конечно. Забывать — это в нашем характере. Зачем же рассматривать людей в полевой бинокль, чтоб они казались лучше и рослее?

Вера покраснела.

— Я всегда буду помнить, что старый друг лучше новых двух, — сказала она кротко. И вдруг в глазах ее вспыхнула такая озорная и нежная искра, что я невольно оглянулся на Кирьянова.

Понемногу мы все опьянели, расшумелись, завели патефон, танцевали. Вера шла плавным шагом, не делая резких движений, слегка притопывая каблуком. А Воротаев выделывал вокруг нее такие кренделя, что дух захватывало.

Кирьянов был задумчив и молчалив. Он смотрел на жену с любовью и тревогой. Когда увидит он ее вновь и увидит ли? За два месяца войны полностью сменился летный состав бригады.

— Ох и везет же тебе, Вася! — воскликнул Воротаев, сияющий и потный. — Какую жену достал! Двух таких не бывает. Напоследок скажу: завидую.

— Знаю, — спокойно отвечал Кирьянов.

— Что знаешь?

— А что двух таких не бывает. И что ты завидуешь.

Неожиданно в ночной тиши заревела сирена — грубо, низко, отрывисто. Есть что-то гнетущее в самом звуке сирены. Мигом все затихли и протрезвели. Кирьянов погасил лампу, достал карманный электрический фонарик и засветил.

— Где тут у тебя, Алеша, убомбище? — спросил он шутливо.

— Постой! Вот черт! — сказал Воротаев, делая рукой такое движение, точно останавливал вертевшуюся вокруг него карусель. — Дай-ка сообразить. Тут место

есть одно... восемь перекрытий, никакая бомба не возьмет. Вспомнил. Пошли! — Он взял у Кирьянова электрический фонарик.

Белый сноп света упал на Веру, она держала цветы на сгибе локтя, как младенца.

— Когда я вижу цветы, мне хочется плакать, — сказала Антонина.

— Зачем плакать?—отозвался Воротаев. — Не надо плакать. Корреспондент, я бутылку прихвачу, а ты — стаканы. И яблоки возьми! А сыр не нужно. Оставь его черту, сухой, как мозоль. Ну, двинулись!

Мы пошли за Воротаевым, вернее за бледным кругом света от фонарика, передвигавшимся на полу.

Сирена умолкла, было давяще тихо.

— Что я спросить хочу, — шепотом сказала мне Антонина. — Брат мой дурачок, говорит: «Уезжай, здесь будет жарко». А куда ехать? Мы там слезами изойдем. Вере иначе нельзя, она в положении. А я, я-то зачем побегу? Шкуру свою спасать? Раньше — из Одессы, теперь — отсюда... Нет, я останусь здесь, со всеми. Ведь их сюда не пустят, правда?.. — Она продела мне под руку свою маленькую, горячую руку. Я чувствовал, она вся дрожит. — Подумать страшно — куда немца пустили. Неужто дальше пустим? Дальше-то ведь некуда.

Я постарался успокоить ее.

Загрохотали зенитки, деревянно застучали зенитные пулеметы, и дом наполнился дрожью, гулом, дребезжанием.

— Пришли. Приземляйся, народы! — объявил Воротаев. — Черт с ним, с немцем, будем пить. «Пить так пить», — сказал котенок, когда его стали топить.

Но нам не хотелось пить. Мы сидели на каких-то сыроватых ящиках, с отвращением прислушиваясь к резкой, короткой, плюхающей пальбе зениток. Где-то глухо, тяжко рвались бомбы, а здесь как будто кто-то с силой пытался распахнуть двери.

— И зачем все это? — с недоумением и тоской спросила меня Антонина. — В этой каменной коробке еще страшнее.

В ответ я молча, без слов погладил ее.

Кирьянов начал вдруг рассказывать, как они с Верой два года назад весной искали памятник «хазарскому потомству».

— Нас ввел в заблуждение краснофлотский поэт. У него в стихах были такие строчки: «Там памятник стоит хазарскому потомству». Ну, я в стихах мало что смыслю. А Вера, она стихи любит. Вот и потащила меня искать этот несусветный памятник. А была весна, севастопольская весна... Небо, воздух, море, ходишь весь день пьяный и беспричинно чему-то радуешься. И сам не знаешь, отчего ты захмелел...

Он забавно рассказывал. Вино сделало его разговорчивым. И где только они с Верой не побывали! В музее, где старинные мортиры похожи, по словам Веры, на жаб; на английском кладбище, где какой-то Джемс Бора напомнил Вере новороссийский ветер — тоже бора, она ведь оттуда родом, из-под Новороссийска; даже попали на биологическую станцию, где от камней ревматизмом веет, где много чудных рыб вроде морских лисиц, похожих на резиновые грелки, морских петухов с голубыми плавниками, смахивающими на крылья...

Заметно светало, в тишине оседали звуки, как оседают песчинки в стакане воды. Мы слушали Кирьянова, как он рассказывал про смешные поиски несуществующего памятника «хазарскому потомству». Дело в том, что на Краснофлотском бульваре стоит памятник капитан-лейтенанту Казарскому, командиру «Меркурия», который предпочел гибель позору турецкого плена. На цоколе этого памятника была надпись: «Казарскому — потомству в назидание». Время стерло «в назидание», а маляры закрасили. Вот и все.

Я смотрел на Веру, у которой было счастливое лицо. Она с Кирьяновым искала немыслимый памятник, а нашла любовь, и теперь муж перед разлукой рассказывал ей про эту любовь.

Внезапно Кирьянов умолк, поднял лицо к потолку и стал что-то пристально разглядывать в посветлевшей мгле. Мы тоже взглянули вверх. Антонина испуганно ахнула: вместо обещанных восьми перекрытий над нами была стеклянная крыша пустующей фотографии.

— Алеша! — позвала она брата.

Но он спал.

В это время протяжно загудела сирена — воздушная тревога кончилась.

Дочитав запись и живо вспомнив комизм последней сцены, Озарнин рассмеялся.

12. СОМНЕНИЯ И ДУМЫ

— Чего ты смеешься? — спросил Воротаев, повертывая к нему лицо.

— Да так, — уклончиво ответил Озарнин. — Я думал, ты спишь. Вот прочитал запись про свадьбу Кирьянова. Помнишь?

— А-а! — протянул Воротаев. — Так недавно, а точно в другой жизни. Даже удивительно. — Он помолчал, как бы что-то вспоминая. — Мечтать о морских подвигах, а воевать на суше, мечтать о любви, а влюбиться в чужую жену, в жену друга... и не сметь даже признаться ей. Да что ей! Самому себе я не вправе был признаться. Ведь малейшая моя оплошность могла обернуться катастрофой. Понимаешь, что значит неурядица, смута в душе летчика? Порой я ненавидел Веру, Кирьянова, себя. И я бежал, бежал от них, от себя... Надо же быть таким невезучим!.. Я зря, конечно, наговорил ей обидные вещи тогда, на свадьбе. Она не такая. Никаких новых привязанностей она не найдет. Верная душа! Такие любят однажды и на всю жизнь. Знаю, к несчастью, я сам такой...

Озарнин с изумлением слушал Воротаева, еще никогда не говорил Алексей о Вере так откровенно.

— Ты бы все-таки поспал немножко, — сказал Озарнин заботливо.

— Не спится, — отвечал Воротаев. — Проклятый участок покоя не дает. Обнаружат его немцы — гадать не приходится, а прикрыть его нечем. Что-то надо придумать, а в голове хоть шаром покати...

В слабом свете коптилки лицо его казалось старым, утомленным и больным.

При упоминании об участке, уподобившемся открытым воротам, в которые почти беспрепятственно смогут проникнуть немцы, Озарнина пробрала нервная дрожь. Чтобы унять ее, он закурил. В сущности, всем было ясно, что конец близок и неотвратим, что даже чудо невозможно, и все-таки трудно было в это поверить, еще труднее примириться.

— А не все ли равно, прикроешь ты или не прикроешь этот участок, не все ли равно? Часом позже, часом раньше...

Воротаев взглянул на него изумленно и укоризненно.

— Как это все равно? Совсем не все равно. Выиграть время, пусть хоть час... не для себя, а для тех, кто в Севастополе. Им каждый час дорог. А ты говоришь—все равно. Ты знаешь, что значит время? Минутой раньше кладу руль на борт — я тараню, минутой позже — меня таранят. Это слова адмирала Макарова.

— Знаю, знаю... — усмехнулся Озарнин. — Эх, Алеша!.. Рано, слишком рано уходим... Еще темно, еще ночь кругом... В этом вся горечь. Хоть бы в щелочку посмотреть, как бегут с нашей земли фашисты... Не так тяжко было бы уходить.

Воротаев посмотрел ему в глаза — они полны были горя.

Оба помолчали.

«Время!» — повторил про себя Озарнин, вслушиваясь в это простое и беспредельное слово. Он вдруг припомнил, как два дня назад покинул воронку за несколько секунд до того, как в нее угодила мина. «А разве э т о не может повториться со всеми?» — подумал он, и ему страстно, слепо захотелось, чтобы в тот именно час, который выгадает Воротаев, э т о повторилось.

Тогда он напомнил Воротаеву, как тот однажды хитро использовал найденную у немецкого снайпера-корректировщика ракетницу, чтобы вызвать огонь немецких орудий на немецких автоматчиков, захвативших котлован.

Воротаев улыбнулся какой-то бледной улыбкой, это было подобие улыбки.

— Разучился думать. За всю жизнь столько не передумал, сколько за последние дни. И мозг сдал, понимаешь, Лев Львович, сдал... Отупел мозг, стал какой-то тусклый... Мне хочется протереть его, вот так... — И Воротаев сильно потер лоб пальцами, так что скрипнула кожа.

— Разучиться думать еще труднее, чем научиться, — проговорил Озарнин. — Нигде так много не думает человек, как на войне. Мне вспоминается: лежал я, раненый, под Уральском, в девятнадцатом дело было. Лежу, пошевелиться не могу... Ночь, тишина, кузнечики трещат, звезды играют, а я думаю: кто на меня наскочит — свои или чужие? Ведь лежал-то я, как сейчас принято говорить, на ничейной земле. А белый наскочит — не хуже нынешнего гитлеровца отделает. О многом передумал я в ту ночь... — И вдруг прервав себя, сказал: — Тебе надо отдохнуть, Алеша, хоть часок. Заставь себя.

Но Воротаев молча покачал головой: дескать, не могу заснуть.

Оба опять помолчали. Теперь и Озарнин задумался над тем, как выиграть время. «Отстаивать высоту возможно дольше, — думал он, — и притом ничтожно малыми силами, — в этом не только военная задача, но и та нравственная идея, которая так ясно выражена Воротаевым: выиграть время не для себя, а для других, для Севастополя, для всей страны».

Может, оттого, что Озарнину вспомнилась далекая пора его военной юности, может, оттого, что он немного поспал и отдохнул, в мыслях у него посветлело.

Его трубка погасла, он вдруг вспомнил смешную примету: гаснет папироса, — значит, кто-то близкий думает о тебе. От этого милого воспоминания повеяло щемящим теплом родной семьи, о которой Озарнин старался не думать и не вспоминать, чтобы не чувствовать себя еще более несчастным.

С последней почтой, сброшенной с самолета, он получил письмо от жены.

«Я знаю, — писала она из эвакуации, — ты в относительной безопасности. Не посылают же тебя на передовые. И все-таки к моей злости, ревности и тоске

примешивается страшное беспокойство о тебе. В такой ли ты безопасности, как пишешь?»

На миг вдруг предстала она его взору — сильная, стройная, красивая женщина. Он как-то судорожно тряхнул головой, отгоняя жгучее видение.

— А пожалуй, и не в усталости дело, — проговорил он снова. — Мы слишком мирные люди. Мы никогда не хотели войны, это правда. Не для того мы строили Магнитку и Днепрогэс, не для того перенесли столько лишений. Но мы всегда знали, что война неизбежна, а оказались неподготовленными. Как это случилось? Всему свету было известно, что немцы готовят нападение на нас.

Последние годы сделали его несловоохотливым. Но теперь уже никто не мог ему помешать говорить начистоту.

— Не надо обладать большим умом, чтобы понять, как велики наши потери, если враг дошел до Москвы и Севастополя. Если мы потеряли едва ли не треть страны по населению, промышленности, хлебу, железу, — продолжал Озарнин. — Арифметика простая. Надо думать, наш танковый парк и воздушный флот тоже не остались у нас в целости. Кто виноват? Приказ Сталина называет предателей. Не знаю, как в других местах, но здесь я только на батарее раздобыл пистолет, и то трофейный. Зато приходилось таскать этот тяжелый и бесполезный противогаз, за потерю которого людям давали семь лет тюрьмы. А людские наши потери?.. Не мне тебе рассказывать!

Воротаев слушал его с невольным чувством досады. Озарнин говорил жестокую правду, но разве Воротаев не знал ее?

Всю жизнь, сколько помнил себя Воротаев, он жил с сознанием, что война неминуема. Это сознание сопровождало его со школьной скамьи. В далеком заграничном плавании, когда Воротаев смотрел великое Юстинианово чудо — Айя-Софию с ее чудесной мозаикой и гигантским куполом или могучие развалины Парфенона, в тени которых спали бездомные греческие моряки под начертанным мелом именем Ленина, когда Воротаев видел вечный дым над Везувием, се-

рые развалины необитаемой Помпеи, неаполитанские дворцы, а рядом узенькие, грязные, заплеванные улочки, как извечный символ соседства роскоши и нищеты, угнетения и рабства, — везде и всегда думал он о великой освободительной миссии советских людей. А на поверку война все-таки застигла страну врасплох.

— Где резервы? Где запасы оружия и амуниции? Где опытные командные кадры? — спросил Воротаев скорей самого себя, как бы продолжая думать вслух.

— Я тоже задаюсь этим вопросом, — ответил Озарнин. — Мне вспоминается: когда после гражданской войны я приехал в Москву, куда, бывало, ни пойдешь, обязательно встретишь земляка, фронтового товарища или друга. Я уже не помню, когда в последний раз встречал хоть одного из них... «Иных уж нет, а те далече...» — сказал он тихо и печально. А он встречал многих замечательных людей той эпохи, о которых не смел говорить.

Воротаев посмотрел на него долгим взглядом, вздохнул и проговорил, не помня уже своей досады:

— Да, ты прав. Мы пели с детства: «Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». Нам говорили: «малой кровью на чужой территории». А нас вон куда загнали! Мы только сейчас начинаем постигать ум войны, ее организацию и систему — все эти клещи, клинья, окружения...

— В девятнадцатом году положение было не легче. Враг стоял у Тулы. Ничего, одолели, — сказал Озарнин в раздумье, сказал не столько, видно, для Воротаева, сколько для себя.

На пороге показался пленный немец в сопровождении конвоира и переводчика Билика.

13. НАЦИ

Федя сильно преувеличил, сравнив пленного с обезьяной. Это был невзрачный чернявый малый с несоразмерно длинным лицом, выражавшим одновременно растерянность, тревогу и презрение, с неспокойными глазами и кляксой так называемых чаплинских усиков, ставших за последнее десятилетие привиле-

гией фюрера Адольфа Гитлера и коврных клоунов почти во всех цирках мира.

Воротаев принял было его сначала за румына, но пленный высокомерно окрысился, заявив, что он вовсе не румын, а немец, чистокровный германец. Впрочем, его полевая сумка достаточно подробно объясняла, кто ее хозяин. Не ожидая вопросов, он продолжал неторопливо, как парламентер, уверенный в своей неприкосновенности. Это граничило с наглостью и даже смутило и озадачило тех, в чьей власти он находился. Но потом Озарнин понял, что высокомерие и наглость пленного происходят от страха, неуверенности и потрясения.

— Я майор германской армии Пауль Фридрих Иоганн Бауэр, — говорил пленный с достоинством. — Вы храбрые русские моряки. Вы держались долго. Это безумие, но это отвага. Как солдат, отдаю вам дань уважения. Однако дальнейшее ваше сопротивление бесцельно и бессмысленно. Ненужная героическая, я бы сказал, нелепость. Я вижу, в каком вы состоянии. Оно ужасно и безнадежно. В обмен на свою жизнь предлагаю вам всем жизнь и безопасность, даже тому матросу, который меня украл. Он дурно обращался со мной. Я не в претензии — на то война. Сколько вас тут — батальон или больше?.. Я уйду с вашим последним солдатом...

Пока переводчик Яков Билик исполнял свои обязанности, пленный майор Пауль Бауэр не сводил глаз с Воротаева, угадав в нем главного начальника. Он заранее обдумал свою речь и был уверен, что она будет встречена как ворвавшийся в темницу солнечный луч, как помилование за пять минут до казни.

Тем неожиданней было для него выражение равнодушия на исхудалом, щетинистом лице русского офицера с глазами, пьяными от усталости. Решив, что его не поняли, пленный повторил свое предложение, нервно прижимая к груди руку с бледными, холеными ногтями, широкую, прямую, чем-то напоминающую секиру.

Воротаев и Озарнин переглянулись, потом командир батареи сказал:

— Переведи ему, товарищ Билик! Он уйдет отсюда раньше нас, а мы еще здесь побудем. И скажи ему, чтобы молчал, пока его не спрашивают.

Лицо пленного выразило крайнее недоумение, как если бы он ослышался. Похищенный русским матросом вблизи немецкого штаба, пережив страх, стыд и отчаяние, Пауль Бауэр, казалось ему, нашел единственное надежное средство и сам поверил в него, а оно на поверку оказывалось мыльным пузырем.

— Но это невозможно! — воскликнул он, не допуская и мысли, что на пороге смерти люди отвергнут без каких-либо обсуждений предложение, сулящее им жизнь. Он возмутился с искренностью вора, уличенного в краже. — Война кончается, — проговорил он быстро. — Об этом твердит весь мир. Последний солдат в германском обозе знает, что русским капут. На что вы надеетесь? Чудес не бывает. Завтра же с вами все будет кончено... — По тому, с какой ненавистью на него смотрели люди, он понял, что зарвался сгоряча. Он умолк и сгорбился, хотя при его росте можно было стоять в блиндаже выпрямившись.

Тут раздался спокойный голос Воротаева:

— Скажи ему, товарищ Билик, что война еще не кончилась, война только началась, и началась разгромом немцев под Москвой. Скажи ему, товарищ Билик, что нас на батарее гораздо меньше батальона. Нас всего сорок два человека. Скажи!

Пленный был ошеломлен, он не поверил, ведь только за вчерашний день немцы потеряли несколько десятков убитыми и ранеными и два танка.

В сумке пленного среди разных вещей личного обихода была найдена карта местности, на ней высота была обозначена красным карандашом и перечеркнута крестом, к которому со всех сторон тянулись стрелки, указывая направление готовящегося удара.

— Это что, старый план или новый? — спросил Воротаев.

— Последний. Мы уверены, что другого не будет. — Пленный отвечал толково и пространно, все еще, видимо, надеясь, что несговорчивый русский офицер образумится.

А русский офицер не торопился рассеять его заблуждение, дабы пленный был разговорчивей и откровенней.

Майор Бауэр рассказал, что немцы тщательно подготовились к завтрашнему штурму батареи. Им надоело, мол, с ней возиться. Они подбросили свежие силы: пехотный батальон в полном составе, группу автоматчиков, пять танков. Немцы решили во что бы то ни стало покончить с батареей, занять высоту и повести наступление на Севастополь. Германское командование обещало солдатам с захватом города горячие бани, вкусную пищу, мягкие постели, три дня полновластного хозяйничания в городе, а потом месячные отпуска и поездки к семьям с захваченной добычей.

Майор Бауэр проговорился, что германское командование чуть ли не в лице самого Манштейна обещало вернуть солдатам отнятое у них теплое обмундирование, как только они займут Севастополь, тем самым понуждая их к решительным действиям.

— А пока что зимнее обмундирование в избытке заменяется водкой, — сказал Воротаев.

— Водкой не следует пренебрегать, — отвечал пленный. — Одной сознательности мало. Недаром говорится: пьяному море по колено.

Пленный не скупился на показания, он назвал номера частей, прибывших на смену румынам, которые топчутся на одном месте. Вообще, кроме немцев, все их союзники воюют, как наемники, одинаково дурно, и это лишний раз подтверждает превосходство германской нации.

Сам Бауэр недавно воюет на советском фронте. Раньше он воевал во Франции и Норвегии. Чем он занимался до войны? Он был художником. Его сверстники во всем подражали фюреру. Как известно, основатель тысячелетнего рейха рисовал. Картина Бауэра «Арминий Германец перед битвой в Тевтобургском лесу» имела заметный успех. К сожалению, война отняла у него кисть и сунула ему в руки автомат.

Он охотно разговаривал, этот махровый нацист, повторяя всем известные расистские премудрости вроде того, что «стремление к господству — свойство истинно

великой нации, а гуманизм, человеколюбие — все это вздорные понятия, жалкий отблеск вчерашнего дня».

Озарнин слушал пленного с таким чувством, как если бы стоявший перед ним гитлеровец был существом иного мира, иной планеты. Ему вдруг пришла мысль, что нацисты уподобились уэллсовским марсианам, которые видели в земных людях существа низшие, неполноценные, пригодные разве что в пищу или для рабского труда, и которые, безусловно, были обречены на гибель, как только ступили на землю. Что же удивительного было в том, что фашистов так ненавидели. В Севастополе, например, пленных немцев водили по улицам только ночью; даже плакаты, изображавшие нацистов, содрали со стен.

Озарнин подумал о том, что молодое поколение немцев нацисты сумели отравить ложью и демагогией еще в том возрасте, когда оно не могло сопротивляться. Но вот старшие поколения, они-то ведь знали, что такое идеалы, гуманизм, величие человека, как они поддались на лицемерную и лживую демагогию узурпатора и тирана? Или их застращали пытками, казнями, лагерями смерти?

Озарниным вдруг овладело чувство насмешливой злобы.

— А что, — спросил он, — знаете ли вы Гейне?

— Какого? Генерала?

— Нет, поэта.

Пленный внимательно посмотрел на Озарнина, и клякса усиков на его верхней губе дрогнула и растянулась в лукавой улыбке.

— Да, я кое-что слышал о нем, — сказал он вызывающе. — Он пачкал бумагу, ненавидел Германию и умер от сифилиса.

— О, вы знаете о нем довольно много! — сказал Озарнин. — У вас, видно, с ним старые счеты. Не вас ли он имел в виду, когда мечтал о тихом деревенском домике с тремя-четырьмя березками под окном, на которых болтались бы его враги, хотя бы по трое на каждой березе?

Билик в роли переводчика был сдержан и точен. И только однажды выдержка изменила ему. Отвечая

на вопросы, пленный между прочим сказал, что слышал, будто есть секретный циркуляр о поголовном уничтожении целых народов, таких, как евреи, цыгане, и что этим делом занимаются гестапо и СС. Переводчик побледнел и уставился на пленного таким лютым взором, что Бауэр невольно попятился от него.

В эту минуту Яков понял, что близких его нет более в живых и что его маленькая сестренка и есть та самая мертвая девочка, с обрывками алой ленты в косичках, как бы пытавшаяся выбраться из керченского рва. На какое-то мгновение у него пропал голос, потом он овладел собой и перевел слова пленного, который вновь напоминал о своем предложении.

Воротаев помолчал, давая пленному время помучиться между надеждой и сомнением. Он думал о своем, о незащищенном участке, который неминуемо обнаружат немцы. Внезапно у него мелькнула мысль: а не применить ли ему способ психического воздействия, на что так падки немцы, не взять ли этот опасный участок, когда его обнаружат враги, в клещи, сосредоточив на нем ураганный огонь соседних орудий? Ведь если гитлеровцы шарахнутся в сторону, то они неизбежно попадут под огонь автоматчиков, которые действуют столь быстро и подвижно, что у противника возникло ошибочное впечатление, будто высоту защищает целый батальон. Но немцы могут и перехитрить его, отвлекут огневые средства батареи к одном месте, а ударят в другом, тогда что? Он посмотрел на пленного и вдруг задался вопросом: а как поступил бы майор Бауэр в таком случае?

Пленный сразу понял, о чем спрашивает русский офицер. Тем разумнее, ответил он, его предложение, потому что немцы, обнаружив слабое место, не задумываясь, ринутся напролом и быстро решат дело несравнимым перевесом сил.

То важное, но смутное, что ускользало так долго от Воротаева, словно капля ртути, сделалось простым и ясным, изумив Воротаева своей простотой. Он улыбнулся.

Майор Бауэр ложно, ошибочно понял его улыбку и тоже улыбнулся, заискивающе и подобострастно. Он

сказал, что коль скоро не подходит его первоначальное предложение, можно устроить простой обмен: скажем, десять — пятнадцать военнопленных за него одного.

— Что говорить, цена завидная! — отвечал Воротаев. — Будь у нас достаточно снарядов. Вот на снаряды обменять его — это я согласен. Так и скажи ему, товарищ Билик!

С лица пленного сошла улыбка, оно побелело и заострилось, как у покойника.

Тут из темного угла в полосу света от коптилки высунулось бородатое лицо старого Терентия с нависшими, как хвоя, бровями.

— Вот ведь что, — сказал он, подмигивая, — Гитлер, слыхал я, хочет, чтобы каждому фашисту досталась русская деревенька с колокольней. А мы даем на каждого по три аршина земли с крестом. Вот и рядимся.

Все засмеялись, а пленный быстро, судорожно затараторил, пытаясь урвать у жизни еще хоть минуту. Однако Воротаев не захотел продлить ему жизнь ни на минуту.

14. КУБРИК

В кубрике было тесно и смрадно, пахло давно не мытым телом, слежавшимися перевязками, пропитанными кровью и гноем, и плошка пустила длинную струю копоти.

Бредил Митя Мельников, ворочался Федя, спал как будто Алеша Голоденко, и во сне у него странно подрагивали плечи, точно он плакал. А Бирилев лежал лицом вниз, подложив под голову руку, и думал свою неотвязную думу. Вероятно, если бы его не застиг Федя, когда он бился, как бесноватый, он бы поплакал, поскулил и пополз бы дальше, к немцам. Теперь ему казалось, что со страхом покончено, что не боится он больше смерти и даже способен на подвиг. От этой мысли сердце его наполнилось умилением. Тоска нет-нет, а все же теснила грудь, но где-то в тайниках души родилось стыдливое и робкое сознание своего малодушия, безволия. Так человек, проснувшись от кош-

мара в темной комнате, не ведая, где он и что с ним, вдруг обнаруживает освещенную под дверью щель.

Осторожно ступая среди спящих, Яков Билик прошел к плошке, чтобы поправить ее.

— Зачем, зачем тушишь?.. — закричал Митя Мельников.

— А я не тушу, что ты! Ну как, легче тебе? — спросил Яков, склоняясь над ним.

Но Митя Мельников никого не узнавал, а метался, что-то невнятно бормоча.

— Ложись, Яша, сюда. Тут места на двоих хватит,— сказал Алеша Голоденко. Оказывается, он вовсе не спал, а смотрел на Якова блестящими в сумраке глазами.

— А ты почему не спишь? — спросил Яков, укладываясь рядом с ним.

Алеша пожал плечами.

— А я и сам не знаю. Уж как спать хотелось, а теперь — ни в одном глазу. — Он вдруг увидел, что Билик невероятно постарел, и подумал, что и он, Алеша Голоденко, должно быть, тоже постарел и переменился.

— По-очему та-ак? — растянул Яков сквозь охвативший его мгновенно сон.

Алеша ничего ему не ответил, так как Яков уже спал, беззвучно и мертво, как камень.

Тогда Алеша достал письмо, бережно разгладил его. Это письмо только и осталось от Ханона, верного друга. Его сразила снайперская пуля вчера перед вечером в час затишья. Письмо это было давнее, от матери Ханона, веселого и смелого цыгана, единственного человека, который мог поспорить с Алешей по тонкости слуха и зоркости глаз.

Что может быть ценнее письма на фронте? Недаром же почтарь с его кожаной сумкой — это существо почти священное.

И вот Алеша Голоденко в тишине кубрика перечитывал письмо от матери Ханона, горюя над погибшим товарищем и над страданиями его матери.

«...все только об тебе думаю, сыночек мой, встаю с этой думой, день-деньской хожу с ней, и спать ло-

жусь с ней, и во сне ее вижу. Про нашу жизнь что сказать? Живем как все, работаем сколько надо и у каждого сердце на фронте».

Незаметно Алеша заснул, но и во сне он вздыхал и всхлипывал совсем по-детски.

В кубрик сунулся кок Лебанидзе, притащивший термос с кипятком.

— Эй, молодцы, кому горло промочить, налетай! Пустопорожний чай, первосортный капиток, сладкая какавелла на сахаре, шоколад-фри, черт его побери!

— Не трепись, Шалва! — остановил его Федя, досадуя на то, что кок разбудил его, когда он только-только начал засыпать. — Перебил ты мне лучшие сны. Попал я в продовольственную базу... Эх ты, «капиток»! Где твоя совесть? Как у тебя со стыда печенка не лопнет.

— Какой грозный, скажи пожалста! — буркнул ошарашенный нелюбезной встречей кок.

— Будешь грозный: на ремне дырок не осталось, затягивать некуда.

В ответ, как бы приставив к губам невидимую флейту, кок вдруг заиграл тихий и нежный мотив.

— Черт! На тебя и сердиться нельзя, Шалва! — сказал Федя и улыбнулся.

Кубрик оживлялся, одни вставали, чтобы заступить на вахту, другие возвращались с вахты. Все потягивались, зевали, облизывали пересохшие губы. Первую кружку с кипятком поднесли Мите Мельникову. Он пришел в себя.

Некоторое время люди молча и жадно прихлебывали горячую воду, вместе с которой, казалось, в них вливаются новые силы. Потом Алеша Голоденко с сердцем сказал:

— До чего как глупо человек устроен, жрать ему каждодневно подавай. В радости жрет и в горе не отстает. Крестины, свадьбы, поминки для того и придуманы, чтобы пожрать. Ох, хлопцы!

Белугу паровую с хреном
Умял бы, братцы, с три кила
И выпил бы, ей-ей, без крену
Бочонок крымского вина...

— Здорово! — с восхищением сказал кок. — Сейчас куплет придумал?

— Как же, держи карман шире. Не подсолнухи, вирши все-таки, понимать пора. Тут тебе и рифмы и ритмы.

— Стишки вроде и ничего, — сказал Федя. — Кружка пива — пены много, а пить нечего.

Алеша было обиделся. Но тут вдруг заговорил изнуренный лихорадкой раненый боец Панюшкин с горящими глазами.

— Чудной мне сон приснился. Будто провожают меня всем колхозом на войну. Ну, дома какие проводы — слезы. Слезы... — повторил он с хлипом. — А у меня жинка с характером... когда уходил на фронт, ни одной слезинки не проронила.

Митя Мельников, к которому ненадолго вернулось сознание, прерывисто засмеялся.

— Видать, у меня... никакого у меня характера. Слезами заливался, — проговорил он медленно, врастяжку.

Люди улыбнулись: кто-кто, а Мельников был известен своим непреклонным характером!

— А характер тут ни при чем, — сказал Федя. — Мы вон как провожали отслуживших срок службы — и то всплакнули. Пять лет вместе, не шутка. Боцман уж на что человек-кремень, а и тот прослезился. Какие там проводы без слез, да еще на войну...

— Нет! — упрямо и резко сказал изнуренный боец Панюшкин голосом, полным мучительного раздумья, смятения и страдания. — Оно и лучше... зачем нюни распускать? И без того муторно, полное расстройство чувств. — Он смотрел прямо перед собой каким-то сумасшедшим взором, точно видел свои злые воспоминания, и вдруг, сжигаемый мукой поздней ревности, обдал жену ушатом брани и проклятий.

Федю особенно поразил этот взрыв предсмертного отчаяния человека, который всегда отличался ровным, спокойным, сдержанным и деликатным характером. В то же время Сергей Панюшкин был малый ершистый и никому не позволял ездить на себе и воду возить. К женщине он относился с уважением, никог-

да не разрешал себе сальностей и не любил слушать скабрезные анекдоты. Воевал он вдумчиво, толково, с пленными обходился без лишней жестокости... Что же с ним случилось?

Федя было попробовал, по своему обыкновению, пошутить и начал рассказывать про боцмана, чей язык считается «самым длинным концом на корабле», но тут вмешался Яков Билик.

— Ну и гуся же ты поймал, Федя! Стопроцентный гад! Чистый ариец. «Сколько, говорит, вас здесь, на батарее, — батальон или больше? Валите, говорит, всем табуном к нам, мы вас помилуем». Слыхали, братва? — И, ожесточаясь с каждым словом, Яков рассказал, что немецкое командование обещает своим солдатам со взятием Севастополя бани, отдых и отпуска.

— Ишь паразит! — возмутился Федя. — Дорого ценит свою собачью шкуру: батальон или больше русских моряков... Ну, бани — это можно, пожалуйста, горячие, свинцовые, и отпуска тоже дадим — бессрочные, на тот свет.

Он вдруг подумал, что неспроста фашист предлагает за себя такой выкуп: чего-то боится, не прорвали ли наши кольцо окружения?

— Может, он чего пронюхал? — сказал Федя, всем сердцем поверив в то, что говорит. — Мы ведь отрезаны, ничего не знаем, а там, может, заварушка началась... Как под Москвой: отходили, отходили — и вдруг «в последний час»: на триста километров отбросили.

— А ведь верно! — подхватил Яков с заблестевшими глазами. — Как это я раньше не смекнул... Голова! Десант был под Керчью, а Севастополю вышла передышка. Как в лесу, крикнешь здесь, а эхо там...

И Мельников медленно проговорил, прерывисто и шумно дыша:

— Нам отсюда не видно... Собрались наши с силами. Довольно отступать... Будет... Куда пустили немца. Может, в другом месте штормит, а сюда волна пришла... — Он говорил отрывисто, негромко, с необыкновенной значительностью и верой.

И так желанно было людям, чтобы действительно

начался перелом, и так страшно было им уходить из жизни с сознанием бесплодности их жертв, что они затаив дыхание слушали Мельникова, стоявшего уже одной ногой в могиле. Они верили в правдивость и сбыточность каждого его слова. А он говорил все тише и медленнее, вдруг охнул и умолк, и весь исказился от боли, зажегшей все тело его адским костром, и по лицу его покатился пот.

Все задумались и молчали. Бирилев презирал «все эти пустые, глупые мечтания» Феди, Якова, Мити. Он не улавливал в них искренности и правдивости, они казались ему привычно казенными, лживыми, парадными. Он вновь почувствовал тоску и злобу, вновь страх смерти обуял его.

— Пустое, — сказал он вслух, отвечая своим мыслям. — Пустое, говорю.

Федю покоробило от его слов. Он был простоват, но не наивен и уж конечно не глуп. Он подчас принимал людей такими, какими им хотелось казаться, хотя и видел их сущность.

— Молчи, припадочный! — бросил он Бирилеву с угрозой в голосе.

Бирилев испугался, — как бы Федя не вздумал болтать о том, что было... Предупреждая воображаемую опасность, он кинулся ей навстречу.

— Я что, я ничего... Пустая, говорю, надежда. Ведь чего придумал, фашист. «Сдавайтесь, морячки! Мы вас помилуем». Как же, помилуете... Ах ты, зараза! Пересчитают, ровно скотину, и марш за колючую проволоку. А там бурда-похлебка и кожура от картошки — и работай, рус, работай.

И то, что мучило его, терзало и унижало, подавляя и разрушая его волю, его человеческое достоинство, его гордость, то, с чем он боролся, что было его пыткой и казнью, воплотилось вдруг в образе этого проклятого воображаемого фашиста.

Он говорил с раздражением, неудержным, как рвота, и вдруг оборвал на полуслове, встретив неподвижный взгляд Феди. Тогда он заговорил с заискивающей улыбкой на дергающихся губах, стараясь отвести от себя подозрение Феди:

— Ведь такое придумать надо... «Сдавайтесь, русские моряки!» Когда ж то было, чтоб сдавались моряки!

Федя прислушался, и не столько к его словам, сколько к звуку его голоса, в котором было что-то настораживающее. И внезапный вороватый блеск в глазах Бирилева, словно пойманного с поличным, как бы обнажил самые сокровенные мысли его: пусть без руки, без ноги, но только живьем уйти отсюда...

И Федя отмахнулся от него одним словом, в котором выразил всю меру своего презрения:

— Сопля!

— А ну, братва, притихни, спать надо, — сказал Яков, потягиваясь.

Но Феде в эту ночь больше спать не суждено было. Когда затихло, он увидел, как Бирилев, осторожно оглянувшись, выполз из блиндажа.

— Уйти, уйти, — бормотал Бирилев с безумной решимостью.

Ночь еще не кончилась и даже темнее сделалась, как всегда перед рассветом. Но теперь темнота была Бирилеву на руку, он боялся света, он пережидал, укрывшись в воронке, пока погаснут певучие, звенящие, посвистывающие ракеты. На его счастье, немцы реже жгли ракеты.

Он ползком спускался по крутой, острой, закаменевшей тропинке, изрытой минами и перетянутой обнаженными, красноватыми, словно из глины, корнями деревьев. Он был точно одержимый и думал только об одном — как бы уйти отсюда, спастись. А какой ценой достанется ему спасение — этим вопросом он не задавался. Он знал, конечно, что немцы не жалуют русских моряков, которых прозвали «полосатые дьяволы» или «черная туча», даже, говорят, в плен не берут. Но, вероятно, думал он, все это сильно преувеличено. И потом Бирилев шел сдаваться добровольно, немцы, разумеется, это примут во внимание.

И вот последний дозор. Бирилев бросил оружие. И вдруг застыл. Кто-то быстро нагонял его. Тогда он достал нож.

15. ВОЕННЫЙ СУД

Сон наконец свалил Воротаева. Это было какое-то хаотическое забытье, наполненное видениями, беспорядочно несущимися, как несутся льдины в паводок, налезая друг на друга, громоздясь, ломаясь и крошась. Он видел себя юным краснофлотцем, впервые пришедшим на корабль. Крейсер стоял в сухом доке, на ремонте. Открытый от киля до клотика, то есть снизу доверху, огромный, подпертый со всех сторон бревнами, он возвышался среди каменных стен на гигантских подставках, меж которых зияли просветы. И юный Алешка Воротаев пролез в просвет, чтобы прихвастнуть потом — побывал, дескать, я под килем корабля.

Пока Воротаев спал, Озарнин дополнил запись в вахтенном журнале о допросе «языка».

В блиндаж, словно пущенный из пращи, влетел Бирилев и распластался на земляном полу. Следом за ним появился Федя.

Воротаев проснулся и с недоумением уставился на обоих, не понимая, что случилось. После короткого сна, не давшего ни отдыха, ни покоя, он чувствовал себя еще более разбитым.

— В чем дело? — спросил он сердито.

— К немцам полз, — сказал Федя прерывистым голосом, еще не отдышавшись от быстрых движений.

— Врет, все врет!.. — взвизгнул Бирилев, вскакивая на ноги.

— А зачем мне врать? — удивился Федя, проникаясь все бо́льшим отвращением к нему. — Мне врать ни к чему. — И, отвернувшись от него, добавил: — Руку мне прокусил, пес бешеный! — Он оттянул рукав бушлата: действительно, рука выше кисти припухла и покраснела. — Я и нож у него отнял.

Воротаев вдруг побледнел.

— Где ты его задержал? — спросил он тихо.

— У последнего дозора, товарищ командир батареи! — Не ожидая более вопросов, Федя рассказал все, как было, начиная с того момента, как он, возвращаясь с вахты, увидел Бирилева, катающегося по земле в приступе страха.

Странно, но Бирилев не перебивал его, а молча слушал, как будто рассказ шел не о нем, а о ком-то постороннем, не имеющем к нему, Бирилеву, никакого отношения.

Стало очень тихо, и как-то глухо, сдавленно прозвучал голос Воротаева:

— Куда ты полз, Бирилев?

— Никуда не полз, — отвечал Бирилев со слезой в голосе.

— А у последнего дозора оказался, — сказал Воротаев, вспомнив вдруг, как странно бежал Бирилев, петляя, точно заяц, спасающийся от погони. И тут же вспомнил свое удивительное, ничем не объяснимое, темное желание застрелить его. — Как ты, такой, на флот попал? — спросил Воротаев. — Как тебя не разглядели до сих пор? «Немцев много, а нас мало...» Но оттого, что тебя с нами не будет, нас меньше не станет.

Тут безысходность и отчаяние Бирилева, так долго сдерживаемые чувства, прорвались неожиданно клокочуще и бурно.

— Всем нам конец. Как курей передушит... — Им овладело вдруг изнеможение и безразличие утопающего, окончательно выбившегося из сил, и он умолк.

Озарнин смотрел на Бирилева со смешанным чувством удивления и боязни. Самое страшное заключалось в том, что еще вчера этот человек был своим, а сегодня он уже навсегда и безнадежно потерян. Но что погнало его на измену? Трусость? Смельчак со страху способен струсить в первом бою, а трус — полезть на рожон. Смерти все боятся — и тот, кто нисколько не дорожит жизнью, и тот, кто безмерно любит жизнь.

— Э, черт, действительно, сутки еще не кончились! — сказал Озарнин раздраженно вслух, не умея объяснить себе «этого проклятого Бирилева».

Тут кажущееся равнодушие вновь оставило Бирилева, и он заговорил быстрой, невнятной скороговоркой. Нет, нет, к немцам он не полз! Разве он не знает, что моряку в плену хана? Это известно всем, даже малым детям. Зачем же он пойдет на верную погибель?

Но Воротаев приказал ему замолчать.

— Довольно! Объяснишь все суду. Сейчас же, сию же минуту!

Он тут же своей властью назначил состав военного суда: батальонный комиссар Озарнин — председатель, мичман Ганичев — член суда.

Воротаев не хотел самолично решать участь изменника. Он понимал, как тягостно будет людям узнать о предателе, но он также понимал, как важен для них суд над предателем.

И, пока старый Терентий, озадаченный и потрясенный случившимся, бегал за мичманом, Озарнин записывал в вахтенный журнал обвинительное заключение. Он писал, близоруко щурясь, порой вглядываясь то в Бирилева, совсем ослабевшего и прислонившегося к стене, то в долговязого Федю, который превратился в обыкновенного конвоира. Чем яснее становилось дело, тем ожесточенней — сердце.

Явился Ганичев. Он, видимо, еще не совсем усвоил это поистине «чрезвычайное происшествие». С опаской и недоверием смотрел он на Бирилева. Он не был о нем высокого мнения, но все же измены от него не ожидал.

Начался суд. Сперва Озарнин зачитал обвинительный акт, написанный скупо и ясно. Затем Федя повторил свои показания, ставшие много подробней и сумбурней. Потом Бирилев, дергая ртом и заикаясь, стал всеми правдами и неправдами отстаивать свою жизнь, понимая, что погиб.

Оттого, что люди делали резкие движения, огонек коптилки дрожал и колебался, и по стенам блиндажа метались большие, уродливые тени.

«Хоть бы сухопутный был, — думал Ганичев. — И как его, такого, занесло на флот?» Он вспомнил, как еще по первому году службы Бирилев, которого укачало в море, не захотел вернуться на корабль и его пришлось тащить силой. Но все-таки от трусости до измены далеко. Тогда что же толкнуло Бирилева на измену? Может, он чем-нибудь был недоволен, может, родня его пострадала в коллективизацию? И хотя мичман никаких вопросов Бирилеву не задавал, потому что не знал, как эти вопросы задают, он мучительно искал на них ответа у себя.

Озарнин вел дело как заправский судья. Он припер Бирилева к стене, вырвав у него наконец признание: да, он полз к немцам, но измены не замышлял, а только хотел спасти свою жизнь.

— Как это можно предавать, не будучи предателем, и изменять, не став изменником? — сказал Озарнин.

Эти слова почему-то взорвали Бирилева. Он закричал с пеной у рта. Он сыпал быстрой скороговоркой, отрывистой, сбивчивой, бессвязной, почти нечленораздельной. Слова наскакивали друг на друга, ломаясь и корежась, лишенные окончаний и смысла. Нельзя было понять его речи. То он твердил, что действовал в припадке безумия, то каялся, просил прощения и пощады ради старой матери, на которую падет позор его преступления, то вдруг вспомнил своего классного руководителя в школе, которому ничего не стоило в ученическом сочинении прибавить две лишние запятые, чтобы неугодный ему ученик получил «неуд». Вдруг Бирилев стал молиться матери, чтобы она заступилась за своего сына.

Мичман Ганичев, который всегда и безотказно всем помогал, кто ни попросит его, почему-то вспомнил, что он и Бирилеву отвалил полтораста целковых, чтобы послал своей больной матери.

— Когда мать вспомнил! «Тоню, тоню»! — сказал он зло.

И старик Терентий угрюмо заметил:

— В России матерей — вся Россия.

Воротаев сидел в стороне, не вмешиваясь, хотя и находил, что суд слишком затянулся.

Как водится, Бирилеву было предоставлено последнее слово. Он испуганно озирался. Он был окончательно сломлен. Его лихорадило, его трясло, он икал. Все в нем отупело, остановилось, в нем не стало больше ни страха, ни жизни. И если он продолжал еще цепляться за жизнь, то, как утопающий, судорожно и безотчетно.

Когда Озарнин спросил мичмана Ганичева, каков будет его приговор по долгу и совести, Тимофей Яковлевич не задумываясь ответил:

— Расстрелять!

— Мстишь, сука?! — крикнул Бирилев диким голосом. В нем снова вспыхнула жажда жизни; это была последняя вспышка.

Ганичев опешил, его лицо стало медленно заплывать кровью. Он был оскорблен и взбешен: никогда не станет он из личных побуждений приговаривать человека к смерти.

— Разве ты моряк? — сказал он негромко. — Какой ты моряк! Крыса ты, вот кто.

Никто еще не видел Тимофея Яковлевича в такой ярости. Старый Терентий даже заробел.

«Крыса бежит с корабля», — думал печально Озарнин, оглашая приговор.

Воротаев тут же приговор утвердил, приказав Феде поднять людей по тревоге. Как ни подл был Бирилев, но Федя по доброте своей теперь жалел его: «Дать бы ему разика два, чтобы скособочило его, — и дело с концом».

Вдруг все вокруг смолкли. В тишине раздались мелодичные звуки московских позывных, потом торжественно, призывно и хорально зазвучала песня «Идет война народная, священная война», и знакомый голос диктора возгласил: «В последний час...»

16. НАЧАЛО ДНЯ

Бирилева расстреляли перед строем в орудийном дворике, даже не накрыв его, по морскому обычаю, брезентом. Он кричал, плакал, молил о пощаде, но на всех лицах читал смертный приговор и в последний миг притих, точно тронулся рассудком. Его труп столкнули с горы вниз, туда, где валялся неубранный труп фашистского майора.

Никто не произнес ни слова, лишь Ганичев, полный неутихающего негодования, коротко бросил:

— Собаке собачья смерть.

Вставало утро среди тишины и того едва уловимого предвесеннего запаха обнажившейся кое-где земли, который ударяет в голову, как брага. Еще все сковано морозом, и снег поскрипывает под ногами, а уже чув-

ствуется, что скоро, очень скоро, быть может через несколько часов, сверкнет на солнце первая весенняя капель. И как ни удручен человек, ни болен, как ни несчастлив, все равно в нем возрождается жизнь, проникнутая смутными, но целительными надеждами.

Распускалась заря, красно-желтая, как рябина, освещая и окрашивая гряду холмов, опаленную горную долину, Севастополь, весь в дыму, и море, блеснувшее сквозь туман так ярко и заманчиво, что Воротаев не мог отвести от него глаз. Ему слышались далекие всплески волн.

И Федя, возвышаясь над всеми, смотрел как зачарованный на море. Он вдруг увидел его как бы с высоты фор-марса. Море казалось неподвижным и прочным с чуть заметными морщинами и складками. Но вот оно начинает медленно приближаться то слева, то справа, и морщины на поверхности его превращаются в клокочущие бугры, и так же медленно, стихая и каменея, оно отступает в такую глубь, что сердцу на миг тягостно и пусто становится в груди. А навстречу, неся твердые, как дробь, брызги, летит ветер, на который смотреть и радостно, и глазам больно.

Яков, стоя в другом ряду, как раз напротив, не мог понять, на что именно устремлен взгляд Феди, такой печальный и тревожный. И Алеша Голоденко, возбужденный и гордый от сознания, что его сегодня приняли в партию, смотрел на море, на товарищей и улыбался слабой и тихой улыбкой.

Подобно тому как лучина, погруженная в банку с кислородом, горит необычайно ярко и сильно, так люди в эти последние часы дышали особенно сладостно и не могли надышаться. И Воротаев помедлил с минуту, чтобы дать людям насладиться.

Озарнин ни о чем не думал, а только дышал, поглощая сухой морозный воздух, в котором уже чувствовались ранние запахи южной весны, горьковатый запах миндаля, близкого половодья, первой почки, лопающейся в ночной тиши с звуком приглушенного поцелуя и выпускающей втайне от людских взоров первый нежный росток. Эти запахи будили ненужные воспоминания о прошлой жизни, почти потусторонней и

неправдоподобной, о близких людях, о которых лучше бы не думать и не вспоминать, чтобы не расслаблять сердце.

Так хорошо, так славно дышалось ему, и тело, утомленное, давно не мытое, измученное и зачерствевшее, расправлялось в каком-то могучем, всепобеждающем порыве жизни.

Потом Воротаев сказал батарейцам несколько слов. Это были прощальные слова, и все это понимали.

Он сказал, что враг собрал огромные силы и рвется в Севастополь, не считаясь ни с какими потерями.

— Но если за каждую пядь земли ему придется платить, как за нашу высоту, намного ли его хватит? Пока мы здесь, наши собираются с силами там, там...— резким, коротким движением руки он указал на север. — А нам отступать некуда. За нами суши нет...

Оборванные, заросшие, с черными от порохового дыма губами, стояли люди в строю. Многие дрожали от холода, слабости, недоедания, от неисчислимых бессонных ночей.

Люди сознавали свой долг и свою безысходность. Они были суровы и спокойны. И все понимали, что через несколько часов батарея, расстреляв последние снаряды, уподобится тонущему кораблю, который со всем своим экипажем погружается в морскую пучину.

С моря раскатисто грохнул крупный калибр, тотчас откликнулись ревом шестиствольные немецкие минометы..

Пробиваясь сквозь дым, поднявшийся с земли, скользя, исчезая и вновь появляясь, взошло огромное лиловое солнце.

Наступил новый день, такой же, как вчера и третьего дня, высоту объяло пламенем, люди невольно разевали рты, чтобы не оглохнуть.

Сорок минут невозможно было поднять голову из укрытия. Люди неподвижно лежали, потные, тяжело дыша, беспомощные и ничтожные, оглушенные и подавленные хаосом и буйством звуков — от нежного посвиста смертельных осколков до невыразимо мощного грохота землетрясения и горных обвалов. Казалось, сама земля разверзлась, выбрасывая невидимые снаряды,

которые пролетали над людьми с воем, скрежетом и свистом и возвращались в землю, дробя ее, коверкая и сжигая. Вдруг звякнул осколок, ударившись в железную каску Воротаева.

А когда смолк гром артиллерийской подготовки немцев, сделалось сразу невыносимо тихо, до звона и боли в ушах. Воротаев приказал Феде выяснить, каковы потери в орудийных расчетах. Но телефон не действовал. Тогда Алеша Голоденко выскочил из укрытия и на виду у оторопевших людей передал приказ командира немым морским кодом с помощью двух бескозырок вместо флажков. И тут же принял ответ: ни повреждений, ни потерь.

17. ВОЮЮТ ЛЮДИ, А НЕ МАШИНЫ

С того места, где находился Воротаев, ему хорошо был виден незащищенный участок. Что ни делал Воротаев, куда ни глядел, он ни на секунду не забывал об этом участке, и настороженный взор его то и дело обращался в ту сторону.

Воротаева беспокоило странное поведение немцев. После ожесточенной артиллерийской подготовки они не пошли в атаку, а лениво, для отвода глаз, постреливали. То танк выскочит из-за пригорка, пошумит и нырнет обратно, то приблизятся пьяные и шальные автоматчики. И только мины ложились методически и беспрестанно, да через голову проносились снаряды, направляясь в Севастополь. Похоже, неприятель что-то замышлял.

Уверенность Воротаева в том, что немцы атакуют батарею с этой именно стороны, была столь непоколебима, что, когда началось движение противника совсем в другой стороне, Воротаев воспринял его скептически, как отвлекающий маневр.

Тут появился самолет-разведчик. Лихо и назойливо кружил он над высотой, явно стремясь спровоцировать батарею. Но Воротаев приказал разведчика не трогать, дабы не обнаружить своих огневых точек. И по-

том батарея уже давно перестала стрелять по самолетам, экономя снаряды для боев с танками и пехотой.

Федя передал приказ командира батареи по телефону, который к этому времени был уже исправлен.

День выдался совсем весенний, Федя вдруг услышал, как струится вода по коре дерева, уцелевшего под насыпью. Ему захотелось перекинуться с кем-либо словечком. Но Воротаев был поглощен своим делом, а старик Терентий, задрав голову и выставив острый старческий кадык, искал в небе разведчика.

Тут из-за спины Феди вышел корреспондент и улыбнулся ему такой доброй, хорошей улыбкой, словно угадал его мысли и желания. И Федя ответил Озарнину дружеской, благодарной и доверчивой улыбкой, которую нельзя было не понять. Она, казалось, говорила:

«А хорош денек! Не наглядеться, не насытиться. Пройтись бы по Приморскому с баяном, надвинув бескозырку на самые брови... А кругом весна, и девушки ласкают тебя взглядами, а иная так вздохнет, аж листья с деревьев посыплются...»

Озарнин вдруг вспомнил, как Федя просил его: «Напишите в своих сочинениях привет нашим родным. Только правду, без прикрас, настоящую! Им приятно будет узнать, что напоследок мы думали о них. Книги, известно, живут дольше людей». И почему-то вновь подумалось о Бирилеве с каким-то странным чувством неловкости и печали, как если бы он, Озарнин, был неуловимо причастен к тому, что Бирилев стал изменником и предателем.

Поблизости взлетело лилово-желтое пламя разрыва, и последняя ветка на дереве, как раз над головой Воротаева, отскочила, сбритая начисто осколком. И в том месте, где из-под обожженной коры обнажилась темно-желтая, как бы в струйках копоти, древесина, чем-то напоминающая древнюю мамонтовую кость, выступил густой, молочно-белый сок. Воротаев взял его на палец. Сок был пахучий, вязкий, смолистый, на вкус сладковатый. Воротаев был поражен: дерево, как будто изувеченное и мертвое, оказалось, таит искру жизни,— так под грудой пепла чуть тлеет уголек.

— Этой яблоне жить недолго, засохнет, — заметил

старый Терентий сокрушенно. — Человек — тот отходчив. Про себя скажу. С той войны воротился, а она за мной ровно тень. За что, бывало, ни возьмусь, войну вспоминаю, и свет мне не мил. Поверишь, Алексей Ильич, годов пять я во сне все в атаки ходил, от собственного крику просыпался. Спасибо, добрый человек меня до яблонь приставил. В труде да заботах присмирела память.

Воротаев слушал старика и думал: «Люди умеют забывать. Они должны забывать. Не будь у человека этой счастливой способности, он был бы рабом своей первой обиды и первой боли».

— Двадцать три года при яблонях жил, — продолжал старый Терентий. — Говорили, на соленой земле не привьется яблоня. А ведь что получилось? Каждую яблоньку собственноручно вынянчил, можно сказать. Можешь ты это понять, Алексей Ильич? — В голосе его слышалась нестерпимая тоска.

— Понимаю, понимаю, — отвечал Воротаев участливо.

— Товарищ командир! — закричал Федя. — Убит подносчик снарядов Панюшкин.

Воротаев помолчал, подавленный; у него было очень мало людей. Потом сказал старику:

— Пойди, отец, — заменишь.

— Есть, товарищ командир батареи! — отозвался старый Терентий, в душе недовольный тем, что Воротаев отсылает его от себя. Он давно привязался к Воротаеву, как человек, долго проживший в одиночестве и нелюдимости.

Что-то легко толкнуло Воротаева в руку, пониже плеча, и рукав сразу наполнился влажным и липким теплом. Инстинктивно, еще до того, как понял, что с ним случилось, Воротаев поднял руку, чтобы удержать кровь, которая быстро закапала на снег. По тому, как рука свободно, почти безболезненно повиновалась, он решил, что кость не задета. Но когда попытался выпростать руку из рукава, то весь покрылся холодным потом.

— Ничего, ничего, отец! Не задерживайся. Ступай! — сказал он отрывисто и хрипло испуганному ста-

рику, который беспомощно топтался на месте, не смея ни уйти, ни ослушаться командира. — Перевяжи-ка, Лев! — сказал он подбежавшему Озарнину. — Надо кровь остановить. Она мне пока еще нужна.

В голосе Воротаева послышались насмешливые нотки. Это немного успокоило старого Терентия. Все же уходил он медленно и все оглядывался: не окликнет ли его Воротаев, не позовет ли обратно?

Озарнин исполнял обязанности санинструктора. В детстве отец, фельдшер, учил его анатомии, теперь ему пригодились его скудные познания.

Пока Озарнин перевязывал дрожащими пальцами рану, Воротаев, морщась от боли и от прикосновения жесткого, царапающего бинта, ощущая слабость в груди и коленях, не сводил глаз с злополучного участка. Что-то там происходило, в скалистом ущелье, откуда вдруг потянулся серый плотный дым. У Воротаева даже мелькнуло тревожное опасение: не приказать ли надеть людям противогазы? Дым, все гуще клубясь и чернея, закрыл ущелье непроницаемой завесой. Теперь уже неизвестно было, что немцы там делают.

«Начинается», — подумал Воротаев с чувством напряженного ожидания и какого-то злого, мальчишеского задора: дескать, мы еще посмотрим, кто кого перехитрит.

В это время показался Яков Билик. Он запыхался. Повязка сползла на ухо, открыв пятна засохшей крови на лбу, они оттеняли серую бледность лица. Он прибежал с того края горы, по которому фашисты били с особым остервенением.

Много раз прятался Яков в старых воронках от мин и снарядов. Мины выли особенно противно, и, когда Якову становилось уже совсем не по себе, он, спасаясь от чувства одиночества, начинал громко командовать, как если бы за ним следовало целое подразделение. Со стороны могло показаться, когда он выкликал: «Ложись! Куда прешь, чертов сын!», что он просто спятил.

Все вокруг него было черно и мертво, только грохотали взрывы, подавляя душу, и земля кувыркалась. Яков перебегал сосредоточенно от воронки к воронке,

прижимаясь к земле в поисках защиты у нее. Ему надо было торопиться, но какая-то сила вдруг припаяла его к воронке.

«Ну чего ты дрожишь?» — говорил он себе, стыдясь того, что дрожит, презирая себя и не умея унять дрожь.

Но как только он увидел людей вдалеке, чувство страха, одиночества и обреченности как рукой сняло. И пока Яков докладывал командиру, что немцы обнаружили незащищенный участок и накапливают пехоту для атаки, он не сводил глаз с безжизненно повисшей руки Воротаева.

Всякое несчастье, как ни подготовлен к нему человек, всегда неожиданно. Воротаев знал, что рано или поздно, а немцы неминуемо обнаружат этот гибельный участок, он даже заранее выработал план действий, чтобы обмануть неприятеля. И все-таки, когда он услышал весть, принесенную Биликом, у него больно сжалось сердце в предчувствии конца.

И, как всегда с ним бывало в решительные минуты, он стал спокоен, сух, краток. В этот страшный час он обнаружил такое душевное спокойствие и такую трезвость ума, как будто всю жизнь готовился к этому часу. Несчастье, которое повергает слабых, делает сильных еще более сильными.

Воротаев отдал приказ: всем огневым точкам по сигналу открыть ураганный огонь по участку, который более не простреливается. Он хотел психически подавить немцев, выкурить их из безопасного для них места, чтобы они, отклонившись в сторону, угодили под огонь автоматчиков. Конечно, его приказ нуждался в объяснении, но ему объяснять было некогда. Тогда он приказал Озарнину пойти по всем огневым точкам с его приказом.

— Ты понял?— спросил он нетерпеливо.

Лишь секунду длилось колебание Озарнина, отразившееся в его потемневших глазах.

«Пустить на ветер последние снаряды в призрачной надежде, что немцы не выдержат сосредоточенного, но безопасного для них огня, — какая самонадеянность!» Озарнин готов был сказать, что не понял приказа. Но у него возникла другая мысль — что, в сущности, у Во-

ротаева нет иного исхода, что только таким вот образом он может выгадать тот единственный час, о котором они говорили ночью. И потом, подумал он, ведь воюют люди, а значит, воюют ум, хитрость, сообразительность, изворотливость, выносливость...

— Да, понял, — сказал Озарнин решительно. — Воюют люди, а не машины.

Подобно тому, как молния, рассекая темь, выхватывает из нее своим мгновенным светом какой-либо предмет во всех его подробных и ясных очертаниях, так ответ Озарнина осветил Воротаеву то, что он сам не мог ни объяснить, ни выразить словами.

— Точно, точно, не машины, а люди воюют, — сказал он порывисто и благодарно.

— Слышу шум моторов! — доложил Алеша Голоденко и почти без паузы крикнул: — Самолеты курсом прямо на батарею.

18. ЗЕМЛЕРОЙКА

Разговор с Воротаевым занял не более минуты, а у Озарнина осталось такое впечатление, как будто они сказали друг другу очень много. И все-таки самое главное ускользнуло от него, как пропущенный сквозь пальцы песок. Теперь он старался припомнить это главное.

Мины густо вспахивали местность, прижимая Озарнина к земле. Он полз с зоркостью опытного солдата, знающего кое-какие секреты войны: так, например, два снаряда в одно место никогда не падают, бомбы — крайне редко, а мины — довольно часто. Но какое-то шестое чувство, рожденное на войне, предостерегало от опасности, подсказывая, куда летит мина и где взорвется.

Люди свыкаются с грохотом и визгом взрывающихся снарядов, бомб, мин, свыкаются с запахами дыма, гари, паленых ран, с видом крови, гноя и грязи, с лишениями и жестоким ратным трудом, с беспрестанной опасностью. Люди на войне ко всему привыкают, даже спать рядом со смертью, и перестают замечать эту вездесущую, многоликую опасность, не думают о ней, воспринимают ее проще и фатальней. «Двум смертям не

бывать», — говорит Голоденко. «Когда-нибудь помереть все равно придется», — любит повторять старый мичман Ганичев. А старик Терентий, когда заходит речь о неизбежной солдатской участи, вспоминает с мудрой иронией: «Мне еще в детстве предсказывали — мальчонка землю ест, мальчонка долго жить не будет». И люди шутят, смеются, спят под гул и гром орудий, потом снова идут в бой, в дозоры, разведки и воюют чаще всего без хвастовства и показного героизма.

Как ни старался себя успокоить и подбодрить Озарнин, а все же ему стоило немалых усилий ползти под огнем. Ему хотелось лечь, распластаться, войти в землю, раствориться и исчезнуть в ней. Никогда не подозревал он, что земля так неодолимо огромна, что можно ползти по ней бесконечно, и все будут те же кусты, те же камни, и те же воронки, и тот же лиловый червь, вырванный из земли.

Озарнин полз с сознанием, что не ползти он не может, полз, ни о чем более не думая и не находя в себе того, что могло бы ослабить его тоску.

Где-то в неизмеримой дали от него были жена и сын, мать и брат, которых он любил, его работа, его жизнь. Все это осталось где-то там, в невообразимом отчуждении, за чертой реального, все это было безразлично, ненужно, бессмысленно, и только неукротимая боль была единственной реальностью, да еще чувство одиночества и заброшенности, которое, казалось ему, никогда уже не пройдет и не оставит его.

В какой-то миг, когда припал к земле, он вдруг услышал тихий звон таяния. У самого лица его с коротким хрустом провалился снег, сразу намок, порыжел, как постный сахар, и быстро потаял в проступившей воде. Бурля и пузырясь, прибывала вода, словно из-под снега забил ключ, и вдруг вырвался тонкий ручеек, блеснув на солнце.

Маленьким мальчиком Левушка Озарнин, бывало, бегал за таким вот ручейком, пробивавшимся с лепетом и слабым треском сквозь снежный покров. То исчезая, то вновь появляясь, то обходя препятствия, то перехлестывая через них, мчится ручеек в теснине ледовых берегов, весь в пузырях и пене, расширяясь,

темнея, превращаясь в широкую, многоводную, могучую для какой-нибудь Лилипутии реку с островами и поймами, порогами и водопадами. И внезапно с гулом и ревом впадает в море, образовавшееся под горкой в конце улицы.

От этого воспоминания повеяло на Озарнина спокойствием и даже иронией. Это было воспоминание о начале жизни, почти об истоках ее.

Вдруг услышал людские голоса, узнал тенорок кока Лебанидзе и скатился в котлован, к людям, вставшим при виде его. И сразу исчезли и боль, и гнет одиночества, и тоска. Только глубокая усталость от пережитого да страх перед тем, что через две-три минуты снова надо будет идти дальше, делали его медлительным, беспокойным и угрюмым. Он очень обрадовался, когда старшина Седых, сильно заикаясь, о чем-то спросил его. И хотя Озарнин с первого слова угадал, что старшина хочет сказать, он не перебил его, а дослушал до конца и даже огорчился, когда старшина умолк.

Противник пристреливался, а кок Лебанидзе деловито пояснял:

— Недолет. Перелет. Опять перелет. — И вдруг побледнел и крикнул: — Вилка!

Все тотчас легли. Слышно было, как с жужжанием и гулом летит мина, потом она зашуршала где-то над головой и смолкла.

Озарнин лежал с мертвящим чувством ожидания, припав лицом к земле. Прошла долгая секунда, на протяжении которой Озарнин успел о многом подумать, многое вспомнить и многое понять.

«А может, и не взорвется», — подумал он (такие случаи бывали) и покосился стерегущим взглядом на лежавшего немного впереди, поближе к мине, старшину. Тот осторожно приподнимался. «Ну, значит, не взорвется», — решил было с облегчением Озарнин.

Но тут взор его резанул ярко-белый свет, от которого зарябило в глазах, звон и визг лопнувшей мины оглушили его и заставили плотнее прижаться к земле.

«Вот и все», — сказал он себе покорно, и снова потянулась бесконечная секунда, открыв ему понемногу, что он не убит и не ранен.

Тогда он решительно встал. Старшина сидел на земле, бледный, растерянный, вопросительно улыбаясь: дескать, что это со мной? — и на груди его быстро расползалось черное пятно крови.

— Не ранило вас, товарищ командир? — спросил старшина, совсем не заикаясь. Он, видимо, не понимал, что с ним произошло.

Вдруг изменился в лице и, как бы поняв, что смертельно ранен, и ощутив ужасную боль, возможно не столько от раны, сколько от сознания, что ранен, он протяжно, громко, жалобно застонал, и тотчас стон его перешел в хрипение.

Позабыв обо всем, не помня себя, Озарнин бросился к старшине, чтобы помочь ему, спасти его, но старшина был уже мертв. Озарнин постоял над ним в тупом и тяжком оцепенении, не зная, кто из них двоих счастливей. Наконец он покинул котлован.

И, как только опять остался один, им сызнова овладели прежние гнетущие чувства, еще более омраченные гибелью старшины. Он в нерешительности остановился перед балкой, где свирепствовал ад.

Неожиданно из глубины неба послышался странный, вибрирующий звук, точно между небом и землей натянули и тотчас отпустили струну: то пикировал самолет. По мере того как звук этот приближался, звонкий, зудящий и бесконечный, как будто летел гигантский невидимый комар, в груди у Озарнина делалось щемяще пусто. Он нащупал рукой возле себя что-то гладкое и теплое, как человеческое тело, — то был осколок зенитного снаряда, и он зажал его в горсти.

Загрохотали взрывы. Озарнин закрыл глаза, как перед смертью, но они открывались сами собой при каждом взрыве. Вокруг сиял весенний день, слышно было, как вздыхает, оттаивая, холодная крымская земля — зима была невиданно лютая даже здесь. Вонзив пальцы в землю, чтобы не смело его ветром, порывы которого налетали со всех сторон, Озарнин думал, думал о том, что через двадцать лет маленький сын его будет так же, быть может, валяться в грязи, как валяется сейчас его отец, как валялся дед его в ту войну.

«Нет, — говорил он себе, — эта война должна быть

последней. А тех, кто жаждет войны, связать, судить, казнить как величайших злодеев».

Ему представилась вся его жизнь, жизнь человека, который всегда хотел мира и ненавидел войну и вынужден был воевать.

Семнадцатилетним юношей в ответ на покушение на жизнь Ленина он ушел добровольцем на фронт.

Юный Озарнин был ранен, а когда окончилась гражданская война, он приехал в Москву, ничего не имея, кроме молодости и красноармейского вещевого мешка.

Пройдя пешком от влажной и пустынной Каланчевки, где некогда была укатанная ледяная горка, визгливая и шумная в крещенские морозы; по кривой Мясницкой со старинной церковью Трех святителей на углу, светившейся лампадками и огоньками свеч в этот ранний час; вдоль белой Китайгородской стены, по верху которой могла бы вскачь промчаться тройка; по Никольской, где сохранился древний дом первопечатни, на крышу которой, по преданию, залетели осколки бомбы, брошенной Каляевым в коляску великого князя Сергея Александровича; пройдя пешком длинный путь, Озарнин вышел на Красную площадь, освещенную июньской зарей, чтобы земно поклониться Кремлю, в котором жил и работал Ленин.

Прошло немного лет, и Ленина не стало. Никогда не осмеливался Озарнин написать о том, что пережил в те студеные ночи, когда горем переполнилось сердце народа. Никогда еще природа не выказывала такого безразличия к людям, как в этой несправедливой, несвоевременной смерти. Никогда природа в своей холодной неразумности не наносила людям такого жестокого удара.

Озарнин без конца ходил в ночной студеной, жгучей тьме прощаться с Лениным. Пройдет в стройной, неторопливой толпе под звуки несмолкающих похоронных маршей, пройдет мимо возвышения, на котором лежит мертвый Ленин с его чудесным лбом и золотистой бородкой, и снова станет в хвост новой толпы, и снова пойдет с другими людьми среди музыки, плача и ливня шагов. Так ходил он много раз, а проститься

не мог, не мог навсегда расстаться с тем, в чью смерть нельзя было поверить.

За полночь, когда прекратился доступ к телу Ленина и толпы разошлись, Озарнин вдруг остался один среди угасающих костров, огненные языки которых как будто застыли в поредевшем от стужи воздухе. Никто его не остановил, и он беспрепятственно возвратился в пустынный, сумеречный зал и стал позади родных и самых близких Ленину людей. Огни повсюду погасли, и только здесь горело несколько ламп. Очевидно, Озарнина принимали за близкого Ленину человека, никто не обращал на него внимания.

Он видел ближайших друзей и товарищей Ленина и узнавал их, кого по портрету, а кого ему уже приводилось видеть и встречать. Они были поглощены своим горем.

Ушел титан. Его ученики, его последователи и сторонники были всегда свободны, им не приходилось ни лгать, ни льстить. При нем закон был законом и был поставлен выше самых высокопоставленных людей. При нем дело никогда не расходилось со словом, и в личной жизни он был так же кристален. Скорбь людей была беспредельна.

Озарнин стоял в стороне, за колонной, смотрел на Ленина, прощался с ним, думал о нем, вспоминал все, что знал о нем, разговаривал с ним мысленно и тихо плакал. В эти минуты он поклялся в душе быть до конца своей жизни верным Ленину.

Не слышно было музыки и шороха шагов, и тишина поднималась во всю высоту огромного зала, утопавшего в сумраке. Потом к Озарнину подошел какой-то старик и спросил его, кто он.

Озарнин вытер слезы и ответил:

— Я большевик.

...Бомбежка стихла, но немецкие самолеты еще продолжали кружить над батареей. Внезапно мимо Озарнина скользнула огромная тень птицы и тотчас вновь вернулась, и подле него поднялись и вспыхнули на солнце струйки пыли. Похоже было, будто кто-то невидимый, быстрый скачет у самой его головы, взбивая маленькие фонтаны сухой земли. Это были следы от

пулеметных пуль. А тень птицы скользила все ближе и ближе, распространяя леденящий холод.

«Он за мной охотится», — сказал себе Озарнин, с необычайной отчетливостью вспомнив вдруг раннее утро на аэродроме в ожидании запаздывающих бомбардировщиков и черного коршуна, охотившегося за землеройкой... И таким чудовищным показалось Озарнину то, что делается, наполнив все существо его отвращением и злобой.

— Нет, я тебе не землеройка! — прошептал он в том состоянии возбуждения и неистовства, когда человек уже не чувствует никаких преград, и ему ничего не страшно, и он силен могучей силой.

Он сел и начал из автомата обстреливать хищника, низко кружившего над ним. Автомат стал как бы продолжением его руки, которой он хотел достать, схватить и стянуть на землю эту дьявольскую птицу, чтобы раз и навсегда уничтожить ее.

Впереди, совсем неподалеку, вырос неожиданно моряк в бушлате. Он шел и падал, вставал и снова шел. Озарнин по близорукости не узнал Митю Мельникова.

В беспамятстве Митя выбрался из кубрика, чтобы умереть на людях. Он совсем ослаб от потери крови и полз с нечеловеческими усилиями, цепляясь за каждый кустик, выступ, камень.

А мины падали, вздымая черные валы, точь-в-точь как на море в шторм. И солнце стояло в дыму совсем синее. Тогда Митя из последних сил поднялся на ноги и пошел, шатаясь, к морю, мерещившемуся его угасающему сознанию.

Что-то крича, задыхаясь и плача, Озарнин вскочил и кинулся к этому чудесному матросу, ставшему для него самым дорогим человеком. Но между ними взметнулся косматый столб земли, а когда рассыпался в прах, матроса уже не было.

Озарнин постоял, не совсем уверенный в том, что матрос ему не померещился. Как слепой, который был некогда зрячим, хранит в памяти смутные очертания полузабытых предметов, так Озарнин смутно помнил, куда и зачем он направлялся. Наконец вспомнил, встряхнулся и быстро пополз дальше.

19. МИЧМАН ГАНИЧЕВ И ДРУГИЕ

— Последние резервы в бой вводим, папаша! — сказал мичман Ганичев, завидев старика Терентия, который явился заменить подносчика снарядов Панюшкина.

— Похоже, Тимофей Яковлевич! — отвечал старик. Опасаясь всем известной требовательности мичмана, он счел нужным предупредить его: — Так что в антиллеристах не служил. Весь век в пехоте. Уж не взыщи!

— Зачем же? Взыскивать не буду, папаша! — И покровительственно объяснил чудаковатому и достойному старику, добровольно оставшемуся в «таком гиблом месте», его обязанности: — Немец нынче шабашит. Супротив вчерашнего и не сравнять. Прямо воевать обленился.

Старик Терентий пересчитал ящики со снарядами и вздохнул.

— Чего, отец, приуныл? — спросил заряжающий Усов, у которого из кармана бушлата торчала недочитанная книга.

— Да вот маловато...

— Чего? Снарядов? Да уж сколько есть, папаша! — сказал мичман Ганичев и помрачнел.

На пустынной равнине со стороны Мекензиевых гор показались два немецких танка. Они шли, прикрывая, как всегда, пехоту и выбрасывая из длинных хоботов орудий серые клубки дыма.

Мичман подал команду «приготовиться», произвел нужный расчет, быстро определил дистанцию и крикнул:

— Огонь!

От выстрела по непривычной цели, находившейся ниже линии горизонта, зенитное орудие сотрясалось всем корпусом и даже как бы пыталось отпрянуть. Два снаряда совсем не попали, третий разорвался под башней танка, нисколько не повредив ей.

Танк продолжал стрелять по орудийному расчету Ганичева, снаряды оглушительно рвались поблизости, забрасывая орудийный дворик осколками.

Старик Терентий встревожился.

— Броня у него, Тимофей Яковлевич! Его небронебойным не возьмешь.

— Да уж какой есть, папаша! — недовольно сказал мичман. — Бронебойный, небронебойный, а взять его необходимо нужно.

Танк приближался, и снаряды его ложились с угрожающей точностью. Люди замерли в укрытиях, понимая, что если танк не остановят, то кому-то придется пойти против него со связкой гранат или с бутылкой горючей смеси.

Вся надежда была на Ганичева, потому что на этом склоне горы хозяйничало его орудие.

Мичман внимательно, с невыносимой медлительностью примерился и, нащупав тот пояс, где башня танка прикреплена к его нижней части, пятым снарядом наконец свернул башню набок. Танк вздыбился и остановился, напоминая черепаху с высунутой из-под панциря головой.

Другой танк, шедший левее, тотчас повернул назад и скрылся за пригорком.

Заряжающий Усов даже крякнул от удовольствия.

Мичман Ганичев, смахивая с глаз капли пота, снисходительно сказал старому Терентию:

— Вот тебе, папаша, и небронебойный. Как подопрет, из метлы стрелять будешь. Конечно, пять снарядов—многовато... при нашем, как бы сказать, бюджете. Опять же, сколько лет переходящее Красное знамя держал по стрельбе... тоже учесть надо.

— Какое там многовато... Это ты зря, Тимофей Яковлевич! — с неподдельным восхищением проговорил старик. — Ах, ты! Ну и взял, прямо сказать, пригвоздил... А ты говоришь, многовато!

Мичман Ганичев был растроган.

— Подходящий ты старик, папаша! Мы вон года три назад рыбаков спасали. Такой штормяга грянул — на все двенадцать, в каюте все перевернуло вверх тормашками, словно после сражения. Растрепало рыбачьи лайбы до самых кавказских берегов. Море, ночь, ветер глаза сечет и режет... И представь себе, папаша, там колхозный был бригадир, вроде тебя, ни за что не схотел шхуну оставить. Уж она из последних силенок бры-

кается, вот-вот даст овер-киль, перевернется, значит, кверху килем ляжет. А он не идет. Что ты скажешь? «Я, кричит, вроде капитана и должон нырять со своей посудиной». Его силком сняли...

— А я думал, море людей сердитыми делает,— сказал вдруг старик Терентий.

— Это почему же? — удивленно и недоверчиво спросил Ганичев, не понимая, с чего это старик заговорил об этом.

— Штормы да бури — сердитая стихея. Я его, моря-то, всегда опасался. Влезешь окунуться, а оно тебя, глядишь, с головой и накроет. Откуда там доброте быть? А ты, вишь, какой...

Снова показались немецкие танки, с них на ходу соскакивали автоматчики, рассыпались по равнине и прятались в складках местности. Снова началось отражение атаки.

— По пехоте картечью, беглым! — командовал Ганичев.

А когда настало затишье, когда враг откатился, понеся большой урон, старый Терентий в изнеможении опустился на пустой ящик из-под снарядов. Его точно измолотили, он оглох от грохота, глаза его слезились от дыма.

Ганичева душило молчание, и он снова заговорил подобревшим голосом:

— Знаменитое дело — это когда мы рыбаков спасали. Шумное дело. Комиссар крейсера сказывал, будто заграничные газеты лаялись на большевиков: по какой, мол, нужде гоняют свой военный флот... Дураки! У нас свое понятие: рыбак — рабочий человек, моряк — тоже, только в военной форме. Правильно говорю, папаша?

Против обыкновения, старик был молчалив и мрачен. Но он угадывал природу ганичевского многословия и, чтобы не обидеть мичмана, коротко ответил:

— Бессомненно.

Тимофей Яковлевич ударился в воспоминания. Он вспоминал былые маневры, осенние, так называемые культпоходы, когда шли вдоль Черноморского побережья, чтобы знакомить команду корабля с достопримечательными местами: одесская мраморная лестница,

увековеченная в картине «Броненосец «Потемкин»; последний путь следования на остров Березань лейтенанта Шмидта; вечная батумская зелень, обезьяний Сухумский питомник; галерея Айвазовского в Феодосии. Он вспоминал товарищей, друзей, заграничное плавание, и видно было, что он способен до бесконечности говорить о своем корабле.

Старик Терентий поощрительно кивал головой. А сухопутный Усов, слушая Ганичева, вспоминал о той невозвратимой поре прошлого, казавшейся ему теперь олицетворением наивозможного счастья на земле.

А Ганичев все дальше и дальше углублялся в прошлое, вспоминая, как жилось матросу до революции: семь лет каторжной службы, тринадцать часов рабочий день, а чуть что не так — брань, мордобой, карцер или во фрунт на два часа со всей выкладкой. Адмирал Чухнин, например, запретил матросам появляться в городских садах и на главной улице в Севастополе, а градоначальник Николаева — тот приказал отдавать честь дому, в котором он жил.

По какой-то неожиданной ассоциации мичману пришел на память Бирилев, который не любил его слушать и бесцеремонно обрывал на полуслове.

— Вот ведь, — сказал он с грустью, — и чего трусость с человеком делает? Сколько мук и страданий принимает, до измены доходит...

Снова кончилось затишье, на этот раз возгласом сигнальщика «воздух».

Один за другим заходили самолеты.

Прислонясь спиной к срезу котлована, закрыв глаза, старый Терентий прерывисто дышал. Усов лег ничком. Лишь мичман Ганичев замер у орудия в ожидании команды: «По стервятникам — огонь!» Но такой команды не последовало, надо было беречь каждый снаряд.

Осколком ранило Усова в голову. Видимо, осколок был на излете и рассек ему кожу на лбу. Но кровь мигом залила Усову глаза и ослепила его. Он перевязал рану, но кровь просочилась и сквозь бинт.

— Дойдешь до КП? — спросил его мичман заботливо. — А то старик проводит.

— А как вы один останетесь? — сказал Усов, вытирая рукавом кровь с лица. — Нет уж, мы вас не оставим, Тимофей Яковлевич! И куда я пойду? Идти мне некуда. Пока живой — воюй!

— Это верно. Идти некуда. На вот, возьми! — и мичман протянул ему свой бинт.

В это время в дыму и пыли, еще не улегшейся после взрывов земли, появился Озарнин с приказом командира.

Мичман до того был сбит с толку странным приказом Воротаева, что в ущерб своему авторитету переспросил батальонного комиссара, этого штатского человека, хотя и облаченного в военную форму.

— Что-то в толк не возьму. Затмение нашло. Последними снарядами да по пустому месту... Как можно? Ведь снаряды не горох...—По его здравому разумению, следовало хоть врукопашную, а отбить врага.

Но Озарнин с предельной ясностью объяснил ему сущность приказа. Это все же не поколебало сомнений мичмана, привыкшего к точности математического расчета, а не к каким-то психологическим тонкостям. Однако возражать он не стал.

«С командирского мостика виднее», — рассудил он про себя и с тяжелым сердцем приступил к делу.

20. ПУШКИ УМИРАЮТ, КАК ЛЮДИ

Замысел Воротаева удался: немцы действительно пошли напролом, но, выйдя за пределы узкого ущелья, недосягаемого для снарядов, попали, по верному расчету Воротаева, под кинжальный огонь автоматчиков, заметались и были накрыты снарядами.

Чтобы спасти остатки своих рот от полного истребления, противник возобновил артиллерийский и минометный обстрел батареи.

Крупным осколком рассекло в одном месте ствол пушки Ганичева, при этом сам мичман был ранен в щеку.

Стрелять из такой пушки было небезопасно, ствол могло разорвать от первого же выстрела. Но стрелять

было необходимо. Не обращая внимания на рану, заливавшую ему лицо кровью, Тимофей Яковлевич решил «спробовать», предварительно загнав всех в укрытие. К счастью, пушка работала нормально, выпуская снаряд за снарядом. Для последнего снаряда мичман подождал достойной цели. Но волнение помешало ему, и он промахнулся.

Вражеская атака захлебнулась, но обошлась она батарее непоправимо дорого: кончились снаряды.

И такая водворилась внезапная тишина, что люди потерялись, продолжая действовать механически и, по обыкновению артиллеристов, говорить чересчур громкими голосами. Как-то резко, визгливо прозвучал голос мичмана:

— Вот мы и пехота, папаша!

— Не уважаешь? — спросил старый Терентий с нарочитой и безнадежной усмешкой.

— Почему? Уважаю. Непривычно только.

— Все люди, сказано, происходят от Адама, а военные все — от пехоты, — сказал шутливо Усов в ярких от крови бинтах.

— Окромя моряков, — серьезно ответил Ганичев, снимая замок с раскалившегося, пышущего удушливым зноем орудия, на котором совершенно сгорела краска.

Мичман достал из кармана новенький носовой платок, новогодний подарок неизвестной девочки по имени Варюша, отца которой убили немцы, бережно расправил и приложил к ране на щеке. С нежностью и сожалением подумал он о бедном, осиротевшем ребенке, просившем в письме «поскорей кончить фашиста, чтобы было поменьше сироток», и еще подумал о том, что у него, Ганичева, нет семьи и это печальное обстоятельство отрадно по настоящему времени; он закалился в одиночестве.

В этот момент пуля сразила сухопутного бойца Усова наповал. Он едва ли даже успел что-либо сообразить и понять. Удивительное и жуткое сияние мгновенно накатилось на лицо его откуда-то снизу, и засохшие пятна крови сразу почернели.

Косые лучи солнца, прорвавшись из-за тучи, осветили это лицо вечерним, сумеречным, точно отражен-

ным, светом, придав ему выражение покоя и скорби. Старик Терентий всхлипнул. Мичман снял шапку застывшей рукой. Потом они молча, не проронив ни слова, приготовили могилу и похоронили Григория Усова. А уходя, Ганичев подобрал книгу, которую не успел дочитать Усов, и спрятал ее за пазуху.

Они покинули артиллерийский дворик. Ганичев часто оглядывался. Он видел, как немцы в упор расстреливали мертвую пушку, как она в последний раз грозно вскинула жерло, как бы пытаясь отразить нападение, потом со скрежетом и лязгом повалилась набок.

— Пушки, отец, умирают, как люди! — сказал Тимофей Яковлевич и прослезился. Устыдясь своих слез, добавил сердито: — Слезы — дело бабье, глупость одна.

— Не говори, Тимофей Яковлевич! Слеза — она душу мягчит,—ответил старый Терентий с теплом и участием в голосе.

21. ОНИ СТОЯЛИ НАСМЕРТЬ

Близился вечер, когда батарейцы отступили и заняли новую круговую оборону на вершине горы. Отсюда отчетливо виден был Севастополь, весь в дыму, из которого нет-нет, а вырывались широкие полосы огня.

Заметно похолодало, кружились снежинки, толпясь и убегая от места разрывов. Не слышно было громкого голоса, не видно было улыбки, люди держались из последних сил.

И странно было, что маленький Воротаев, в котором едва теплилась жизнь и, казалось, просвечивала от потери крови, переходил от одной группы к другой, подбадривая бойцов добрым словом, шуткой.

Он жестоко страдал от ран и, может быть, никогда еще так не жаждал жизни, как в эти минуты. Он чувствовал, что умирает, что жизнь уходит вместе с теплом и кровью из его жил.

Когда началось это умирание? То ли сегодня днем, когда Воротаева впервые ранило, то ли попозже, когда осколок вонзился ему в бок и Воротаев заткнул рану серой ватой, выщипанной из-под подкладки матросского бушлата? Может быть, это умирание началось

еще вчера, когда он узнал, что снаряды на исходе, или много раньше, когда батарея была окружена..

Нет, подумал Воротаев, то было не умирание, а жизнь, настоящая жизнь. Разве он жил когда-либо такой глубокой, полной жизнью, как в этот короткий отрезок времени? Никогда. Ведь он испытал все чувства, доступные человеческому сердцу: он любил, надеялся, страдал и ненавидел, и мысль его достигла той вершины, с которой виден весь мир и будущее его. Всю свою жизнь Воротаев любил людей, воевал ради людей, боролся ради их будущего, верил в них и теперь, умирая, был полон забот и дум о них.

И все же он умирал с печальным сознанием, что из всего того большого, что хотел и мечтал сделать, он сделал очень мало. Он отвоевал у врага какое-то время, вот и все. А он всю жизнь мечтал о подвиге. Поистине, скромность его была безгранична. Как легендарный рыцарь, который пошел искать по свету свою судьбу и прошел мимо нее, не узнав ее в образе нищего, стоявшего у ворот его замка, так и Воротаев, встретясь лицом к лицу, не узнал своего великого подвига.

Он всячески противился смерти, держась на ногах и подбадривая себя: «Я — как старый слон, лягу — не встану».

Люди, окружавшие его, видели, что он умирает. В их отношении к нему появилось что-то бережное. Они старались держаться к нему поближе, чтобы слышать его тихий голос, чтобы ему не нужно было повторять команды. Они предупреждали малейшее его намерение и желание. А Федя, увидев, как Воротаев глотает снег, чтобы погасить сухой жар в глотке, принес ему полную бескозырку чистого снега, набранного в лощине, где незримо роились пули, обдавая лицо ветерком.

— Мичман Ганичев, — сказал Воротаев медленно, раздельно и тихо, придерживая осторожно свою раненую руку, — приказываю: в последнюю минуту, когда она придет, вызвать огонь севастопольских батарей на нашу высоту.

Люди не подали виду, что слова эти их взволновали и потрясли.

— Есть вызвать огонь севастопольских батарей на нашу высоту! — отвечал Тимофей Яковлевич громко, чтобы все слышали.

А про себя подумал: «Какой силы человек! Кровью исходит, чуть живой, а держится. Настоящий командир. Такого жалко».

Только сейчас Ганичев по-настоящему осмыслил значение того, что сделал Воротаев своей бесподобной и на первый взгляд неладной выдумкой. Отразил смертельную атаку немцев, нанеся им такой моральный урон, что они от него до сих пор не оправились, и отстоял для батареи еще один день жизни.

— Сколько это я, Алексей Ильич, снарядов зазря перевел, — сказал мичман, прикрывая рукой щеку, к которой прилип окровавленный носовой платок. Он, похоже, оправдывался, точно по его вине не стало больше снарядов, которые могли бы продлить жизнь батарее.

Воротаев ничего не ответил, а только легко и нежно потрепал его по плечу.

Между тем немцы, отброшенные в одном месте, пошли в атаку в другом, подтверждая показания майора Бауэра о том, что они решили сегодня же во что бы то ни стало покончить с батареей.

Теперь, когда оборона была мертва, когда и гранаты были на исходе, батарейцам ничего не оставалось, как отражать атаку ручным оружием.

Воротаев, который вконец ослаб и непрестанно доставал из Фединой бескозырки горьковатый, но все же освежающий снег, приказал подпустить немцев как можно ближе, чтобы достать их гранатами.

Немцы шли во весь рост, по обыкновению пьяные, паля на ходу из автоматов. Они кричали, тогда как батарейцы безмолвствовали, и это приводило в трепет старого Терентия.

— Молчи, молчи, папаша! — говорил ему мичман Ганичев, видя, что старик вот-вот панически закричит. — Чуешь, что говорю тебе? Закрой глаза и молчи! Молчи!

Старик в отчаянии огляделся по сторонам. Он увидел Билика, очень бледного, с вылезшим из-под скосившейся повязки чубом, придавшим ему лихой, воинственный вид, увидел Озарнина, который щурил близорукие глаза на приближающихся немцев, и устыдился, что он, старый солдат, повидавший виды еще в ту войну, так слаб сердцем.

Озарнину казалось, что немцы еще довольно далеко, он не различал лиц на таком расстоянии, а видел что-то тусклое, серовато-зеленое, как дощатый забор.

На всякий случай он держал пистолет наготове, чтобы не даться живьем.

Справа был пулемет, которому, пожалуй, пора было начинать, и Озарнин испугался, не случилось ли несчастья с пулеметчиками.

Нет, с ними ничего не случилось. Их было двое: Федя и рыжий кок Шалва Лебанидзе. Прильнув к амбразуре, они следили за приближением врагов, ожидая того мгновения, когда можно будет внезапным огнем остановить и опрокинуть их. Немцев следовало подпустить близко, очень близко, но не слишком, чтобы они не смогли одним броском преодолеть оставшееся расстояние и ринуться врукопашную. Вместе с тем нельзя было торопиться, чтобы не дать им опомниться и залечь. Задача требовала хладнокровия, выдержки, зоркости, спокойствия, а откуда было все это взять, ежели Федя совсем изнемог и сдал от усталости, голода и недосыпания. Да и не ждать же, пока вплотную приблизится немец, не ждать же «ката, чтобы он нас за хрип и на рею», по выражению этого собачьего сына Бирилева. К тому же Федю днем слегка задело взрывной волной и теперь сознание воспринимало все, точно запотелое зеркало, — тускло и расплывчато. А тут еще кок Лебанидзе нервничал и что-то испуганно и неясно бормотал.

Никогда еще от Феди не требовалось такого напряжения всех его умственных, физических и нравственных способностей. Он был отличный снайпер, терпеливый, умелый и решительный охотник за «языками», отважный человек, он всегда готов был встретить опасность лицом к лицу, хотя и не обладал той чуткостью,

которая безотчетно предостерегает человека от удара в спину. Теперь ему представилась совершенно непосильная задача: нельзя было позволить врагам перейти какую-то черту и нельзя было напасть на них прежде, чем они не достигнут этой черты, а вот где проходит эта невидимая черта, он определить не мог.

«Как зайдет крайний немец за тот камень, так начну», — говорил он себе.

Немец «заходил» за камень, а Федя не начинал, инстинктивно угадывая, что еще рано. Он уже ни о чем другом не думал, и о себе не думал. От страха, что он упустит решающее мгновение, у него вспотели и дрожали руки.

А немцы шли и шли, и палили, и кричали. Уже слышны были отдельные их возгласы, уже отчетливо видны были их лица. И кок, не выдержав страшного напряжения безмолвия и ожидания, взвизгнул:

— Палимет, палимет давай!..

Но Федя не отозвался и не взглянул на него, а весь закаменел, и глаза его по-совиному совсем не мигали. И только полминуты спустя он сказал ошалевшему коку:

— Не барахли, Шалва! — Скорей всего, он сказал это самому себе, потому что мужество его истощилось.

Тут одинокий выстрел уложил крайнего немца, и тотчас из брошенного окопа выскочил маленький Алеша Голоденко и с криком «ура» кинулся один в штыковую атаку.

У Феди судорогой свело пальцы, а кок Лебанидзе крикнул:

— Не стреляй, не стреляй, ты его убьешь!

Издали Алеша Голоденко казался еще меньше, а винтовка в его руках — еще больше.

Застигнутый атакой немцев в дозоре, далеко от своих, он не мог поползти незаметно назад, к своим, а притаиться в окопе тоже нельзя было, так как окоп лежал на пути у немцев.

«Ну, теперь тебе гроб с музыкой», — сказал себе Голоденко лихо, но сердце у него екнуло.

Он не знал, что будет делать, и не думал о том, что станется с ним. Он видел этих бритых фашистов, печа-

тавших шаг, и подумал, что, пожалуй, для него в настоящую минуту лучше было бы, если бы он их и не так хорошо видел. Будь он не один. А то ведь их вон сколько, а он один. А что они с ним сделают, попадись он к ним живьем? Живого в землю закопают. Он и не такое про них слышал. И он почувствовал к ним омерзение, точно это были и не люди вовсе, а так только, похожие на людей.

Особенно раздражал его крайний долговязый немец своей механической безжизненностью. И Алеша Голоденко решил прежде всего убить этого немца. Вся его воля сосредоточилась на том, как бы не промахнуться.

Смерти он не боялся, он не понимал ее; чувство бессмертия свойственно юности. В его возрасте человеку часто кажется, что совсем и весь он умереть не может, что-то останется от него и это что-то будет живым свидетелем его смерти. Невозможно было представить, как это вдруг угаснут лучи заходящего солнца, которые в эти минуты так мягко светят и чуть ощутимо греют, как исчезнут эти редкие, порозовевшие, крутящиеся на ветру снежинки, и в нем самом прекратится жизнь, умолкнет сердце, которое так слышно бьется, и он умрет, обледенеет, как чурка... И все-таки он представлял себе, что так именно будет, но только не с ним, а с кем-то другим, до чрезвычайности на него похожим.

Говорят, в последний, предсмертный миг перед человеком может промелькнуть с молниеносной быстротой вся его жизнь. Возможно, что и так бывает.

У Алеши Голоденко были какие-то беспорядочные, отрывистые, бессвязные, можно сказать, даже пустяшные мысли и воспоминания, от которых, однако, у него больно щемило сердце. Он вспомнил, как впервые пришел на крейсер, смутно представляя себе, что такое военный корабль. Он был полон опасений и очень удивился, что трап — это обыкновенная лестница с пологими ступенями и перилами. Сначала он тосковал по земле, потом полюбил морскую службу и гордился тем, что «плавает на коробках», то есть на кораблях.

Странно, хаотично возникали воспоминания. То чудилось ему, будто он в кубрике, и ребята обступают

его, и нет больше чувства одиночества и тоски. То представлялось ему море, коричневое в предвечерний час, когда воинственно и шумно спешат в поход полчища барашков, свинцовое в сиянии луны, черное в шторм, когда волна отваливает от носа корабля, как чернозем от плуга. А то вдруг вспомнилось, как несколько лет назад на него напали волки и он укрылся от них за костром.

Может, оттого, что все вокруг подернуто было багровым светом заката, Алеше вдруг померещилось, будто он притаился за костром, а впереди волки. Он видел их очертания и зеленый, фосфорический блеск их глаз. Он услыхал чье-то шумное дыхание и не сразу сообразил, что это он сам так взволнованно дышит. Вдруг из хаоса дум и чувств вырвалась разумная, ясная мысль: надо напасть на фашистов внезапно, неожиданно, огорошить их, чтобы они подумали, что он не один, что за ним сейчас выскочит целая орава матросов...

Когда Алеша Голоденко появился перед немцами, действительно словно из-под земли, распахнув бушлат и сверкая полосатой тельняшкой, до смешного юный и до ужаса смелый, они оторопели. Он был тотчас убит бесчисленными автоматными очередями. Но он задержал врагов на несколько секунд, сбил их с темпа, нарушил ритм движения, они как будто споткнулись. И хотя они продолжали идти вперед, но уже не с прежним азартом.

И тогда Федя хлестнул им прямо в лицо такой широкой пулеметной очередью, намертво преградив им дорогу, что фашисты остановились. В следующее мгновение они сбились в кучу, чтобы еще через миг обратиться в бегство. Но за ними гналась смерть, они падали, кувыркались на скате горы, подскакивали, точно резиновые, и дергались в предсмертных судорогах.

Остальные были уничтожены гранатами. Даже близорукий Озарнин, охваченный безумием и восторгом преследования, бежал вперед со всеми, когда вдруг рядом шлепнулась мина. Он инстинктивно бросился на землю и свистящие осколки, показалось ему, пролетели над ним, не задев его.

Воротаев находился недалеко от него и кинулся к нему, испугавшись за друга. Озарнин был еще жив, но уже ничего не сознавал. Он шел по улицам Москвы, которые удивительно отчетливо и подробно жили в памяти. Потом он увидел сад из своего детства, такой густой, что казалось, это не живой сад, а нарисованная маслом картина. И лиловый сумрак деревьев, и тени, и солнечные блики, и черноватые после дождя березы... И так прохладно, чисто пахло, пахло детством, темным и нежным, как пепел.

Это было последнее, что увидел и почувствовал в этой жизни Озарнин. Смерть его была легкая и не изменила его лица, на которое садились снежинки и не таяли.

Воротаев опустился перед ним на колени, поддерживая раненую руку, и заплакал. Он поцеловал мертвого, слизнул слезы с соленых губ и с помощью Феди, обнажившего голову, поднялся на ноги.

В это время в другой стороне после взрыва мины, убившей Озарнина, что-то очень больно ударило Якова Билика по спине. Он даже охнул от боли. Ему так круто стиснуло грудь, что нечем стало дышать.

— Что, ранило тебя, Яша? — встревожился старый Терентий, лежавший рядом.

Но Яша молчал, он был уверен, что убит. Однако дышать становилось легче и свободнее с каждой секундой. Наконец он широко и почти безболезненно вздохнул. Тогда он осторожно повернулся на бок, желая убедиться, что не ранен, потом на спину, снова на бок... Он не знал, чем его ударило — камнем, смерзшимся комом земли или обломившейся ветвью дерева, но он был жив и счастлив оттого, что жив, и он катался, как резвящийся жеребенок, в немой радости жизни.

— Ты что? Да что с тобой, Яша? — сдавленно крикнул старик, глядя на него как на сумасшедшего.

А когда Яков присмирел, старый Терентий, очевидно поняв это буйство жизни по-своему, сказал ласково и печально:

— На сына ты моего похож, Яша! Чуток тебя постарше будет. А такой же неугомонный. Я ему говорю: «В твои, говорю, года, Трофим, у меня уже двое

были — ты да сестра твоя Лушка». А он отвечает: «Потерпите, папаша, сперва я свою агротехническую науку осилю». Я терпел, а старуха-то, царствие ей небесное, не дождалась. А теперь ежели что с ним случится, не приведи господь, кончится фамилия Трифоновых.

Яша слушал старика, и ему очень хотелось, чтобы уцелел сын старого Терентия и не перевелась фамилия Трифоновых, чтобы уцелел и сам старик, и друг его Федя, и он, Яша Билик, инженер, спортсмен, участник самодеятельного искусства... И вдруг странно рванулся, подскочил на месте и остался недвижим, быстро желтея. И складка у губ стала еще глубже, еще резче, и такая суровая, что, право, только большая жизнь с ее страстями, горестями, обманами и разочарованиями способна высечь такую складку.

Затишье кончилось. Снова начался методический минометный обстрел, немцы снова поднимались в атаку.

Желто-зеленый свет вечерней зари еще не угас на вершине, а на склонах темнело по-зимнему быстро. Наверно, у подножия холма уже наступала ночь.

Воротаев услышал плаксивый звук летевшей мины, но не упал и не лег. Раздался взрыв необыкновенной силы, тотчас превратившийся в темное пламя, от которого на Воротаева дохнуло нестерпимым жаром.

Воротаев отшатнулся. Он не понял и не почувствовал, что у него оторвало руку. Он увидел ее на снегу, бледную, бескровную, синеватую, со скрюченными пальцами, и его стало мутить. Он прикрыл глаза, чтобы не видеть ее, чтобы унять тошноту и остановить круговращение людей и предметов. А когда он вновь открыл глаза, мир уже подернулся красноватой мглой.

— Вот и конец! — сказал он внятно подскочившему Феде, который успел его подхватить. — Больно как... Воды! Ой, как больно!.. — прошептал он с трепещущим и останавливающимся сердцем.

Федя перетянул ему обрубок руки ремнем.

Орудийные дворики, дзоты, окопы уже были захвачены немцами. Кое-где дрались последние группы по двое или по трое. Лишь командный пункт, где нахо-

дился раненый и умирающий Воротаев, обороняли несколько человек.

Немцы бросали в них зажженные дымовые шашки, от этого люди задыхались, у них слезились глаза, на лице их воспалялась и трескалась кожа.

Час назад, когда немецкие танки прорвались на высоту, Воротаев передал последнее донесение по радио. Оказалось, что оно еще не последнее. Едва слышным голосом он продиктовал Феде радиограмму: «Всем севастопольским батареям! Всем, всем, всем! Отбиваться больше нечем. Личный состав весь почти перебит. Неприятельские танки рядом. Откройте массированный шрапнельный огонь по нашей позиции, по нашему командному пункту. Прощайте, товарищи! Прощайте!»

Воротаев уже не знал — стоит ли он или лежит, он ничего не видел и не слышал адского грохота, когда по высоте ударили с разных сторон сотни орудий, превращая в кашу из земли, металла, крови и лохмотьев все, что находилось здесь.

Воротаев остался один, как остается всегда человек перед смертью, сколько бы людей его ни окружало. В глазах у него то темнело, то светлело.

Вдруг ожило давнее воспоминание. Воротаев увидел себя на крейсере. Корабль стоял на Бельбеке. От зари до поздних апрельских сумерек он бороздил море, проводя учения и маневры. А вечером привозили почту. Однажды рябой почтарь подал краснофлотцу Воротаеву письмо. Адрес на конверте был написан незнакомой женской рукой. Воротаев не успел вскрыть письмо, как раздался сигнал боевой тревоги. Все кинулись по местам.

Тревога длилась уже третий час, и Воротаев не раз нащупывал в кармане загадочное письмо. От кого бы оно могло быть?

Внезапно дал трещину паропровод. Со свистом ударила струя пара, и помещение мигом окутало белой, горячей и душной мглой. В довершение погас свет.

Воротаев передал на командный пункт о случившейся аварии, но не стал ждать, пока подоспеют люди. Он понимал, что каждое упущенное мгновение чревато

бедой для корабля. Ощупью, в темноте, нашел он трещину на паропроводе и, обварив себе руки, заткнул ее письмом.

Прибежавшие люди нашли его без сознания. Но молочная мгла быстро редела и охлаждалась.

Вечером к Воротаеву в госпиталь пришли товарищи проведать его и принесли ему то самое письмо, которым он заткнул паропровод. Увы, чернила начисто слиняли. Он так и не узнал тогда, от кого письмо. И вот в предсмертном бреду вновь прошла перед ним вся эта полуистлевшая история, он вновь держал в руках заветное письмо. Теперь он знал, от кого оно. Оно было от Веры. Над ним склонилась Вера, он увидел ее лицо и светлые волосы, от которых посветлело вокруг. Он улыбнулся, тихо всхлипнул и умер.

22. ПЕРЕД РАССВЕТОМ

Ночь была глухая, чѐрная, вьюжная. Ветер катил поземку с улюлюканьем и свистом.

Хотя моряков здесь больше не было и немецкие танки уже проутюжили местность, все же противник жег ракеты, боясь ночной тьмы. В небо пачками взлетали разноцветные ракеты, точно работал невидимый жонглер. И в тишине как-то странно и жутко раздавался иногда картавый визг воронья.

В полночь из груды обломков поднялась седая взлохмаченная голова. То был старик Терентий. Он долго и неподвижно сидел, пока не пришел в себя. Кругом валялись мертвецы, свои и чужие. И старик пополз от одного к другому, осторожно, тихо и жалобно зовя. Он увидел множество мертвых немцев, они были скованы смертью и стужей, как бы пророчествуя неизбежную судьбу всем пришельцам. Он наткнулся на Федю, который тоже был жив и лежал среди руин и развалин.

Оба обрадовались друг другу и почему-то вспомнили свое первое знакомство в тот день, когда батарея расположилась на высоте среди яблонь и старый Терентий не без робости и беспокойства пошел к Воро-

таеву просить разрешения остаться здесь. И оба улыбнулись воспоминанию.

Они поискали, нет ли здесь еще живых, но никого не нашли. Кругом были только мертвые. Где-то посыпалась пулеметная дробь, и оба притаились. Они долго лежали, зарывшись в снег, измученные, загнанные, полуживые, прячась от пурги, исколовшей им лицо тысячами ледяных игл. Они почти не разговаривали.

— Сюда шли трудно, назад — еще труднее, — сказал Федя жалобно.

— Отсюда с горы пойдем, с горы всегда легче, — ответил старик Терентий.

Они снова помолчали. Каждый думал о своем: Федя — о том, как бы поскорей добраться до землянки какой-нибудь, чтобы отогреться, а старик — о своей прошлой жизни, о своем доме, о детях, о яблонях.

Кругом чернели во тьме обгорелые стволы и пни, и ветер рыдал, заметая мертвых поземкой.

— Что прожито, то отрезано, — сказал вдруг старик.

— Жалеешь, папаша? — спросил Федя.

— Жалею, ясное дело. Я на своем веку много горя видел. Войны, лютость... Жил трудно. Все надеялся, что полегчает... А ты что видел?.. По младости ничего.

Старик вдруг испугался: не замерз бы Федя, уж больно ослаб парень, и тогда он, старый Терентий, останется совсем один. Он поднял Федю, и они поползли дальше, до того густо покрытые снегом, словно в маскировочных халатах.

Они ползли молча.

Угасли ракеты, лишь завывала метель да гулко иногда отрывался где-то выстрел и призрачно мерцали в плотном снегопаде редкие звезды.

Над Севастополем нависла ночь, исполненная хаоса и муки. С моря била корабельная артиллерия, озаряя горизонт желтыми вспышками залпов. Казалось, из-под горизонта пробиваются далекие, слабые, трепетные проблески зари.

1948—1962

КАЛМЫЦКАЯ СТЕПЬ

ЭРЕНЦЕН И ЕГО МАШИНА

Расположившись неподалеку от колодца, шофер Эренцен мыл нашу серую машину, старую, капризную, покрытую пылью и грязью. Неудивительно, что ее пугались животные. Вчера стадо коров при виде ее вдруг выстроилось полукругом и ринулось, чтобы забодать это безобразное и подвижное чудовище. Мы удачно проскочили, но отважные и неблагоразумные коровы несколько минут преследовали нас. По словам Эренцена, они, должно быть, приняли машину за громадного степного волка.

Хорошо, что у этого «волка» не спустила шина — нам было бы не до смеха.

Засучив рукава, Эренцен окатывал автомобиль соленой степной водой. Его скулы, темные от загара, пыли и пота, блестели, жесткие волосы топорщились.

— Скоро вы?

— Сейчас. Десять минут, не больше, — ответил он и стал размахивать мокрой тряпкой так, что мне пришлось поспешно отодвинуться от него.

Он правильно и чисто говорил по-русски: он окончил семилетку в Ставрополе.

— Машина, она как живая, — сказал Эренцен. — Ты с ней хорош — она хороша, а плох будешь — она с тобой еще хуже.

Провозился он с машиной еще с час; бесцельно было его торопить, все равно, пока не убедится, что все в порядке, он не поедет.

Я изучал быт и нравы кочевников, а Эренцен возил меня по степи, в которой знал, по его выражению, «каждую норку суслика».

Пренебрегая дорогами, он, по своему обыкновению, свернул в степь напрямик.

— Бензину хватит?

— На триста километров, — ответил он, преувеличивая наши запасы горючего по крайней мере вдвое.

Его поиски кратчайших путей частенько удлиняли наше путешествие, доставляя при этом немало хлопот и невзгод. Однажды колючий и злой кустарник изодрал шину на переднем колесе, в другой раз мы еле выползли из волчьей балки. Правда, в самых глухих местах мы натыкались нередко на любопытные неожиданности: то затерянный буддийский монастырь с превосходной китайской живописью, то первый дымок оседающего на новом месте кочевья.

Было раннее утро, солнце только подымалось, а над серой, как пепел, степью уже стлался сухой дым, и совсем не чувствовалось в воздухе, что ночь была холодная. Суслики еще посвистывали, а в мутном небе кружил копчик.

Час спустя мы с треском сели. Эренцен решительно отверг мою помощь. Он залез под машину. Виднелись его ноги в щегольских рыжих сапогах, чуть изогнутые ноги наездника.

— Эта машина, — сказал он, — хуже самого упрямого верблюда, ей-богу. У моего отца был верблюд — злая скотина. Ехать надо — он ложится, его ударишь — плюется и орет, точно его режут. Лошади не такие, ей-богу. — И он начал рассказывать о том, какой верный, умный и быстрый у калмыка конь.

Мне все же удалось уговорить распаренного Эренцена, и я сменил его ненадолго у насоса.

Вскоре шина сделалась тугой и звонкой — удары отскакивали от нее.

Эренцен стал прилаживать колесо.

В это время показались двое всадников; они повернули в нашу сторону, чтобы спросить, не нужна ли нам помощь, — так водится в степи. Я поблагодарил и протянул им папиросы. Тогда они сошли с коней, что-

бы поболтать. Я изъяснялся по-калмыцки больше улыбками и жестами, поэтому позвал Эренцена, как раз убиравшего домкрат.

Увидев его, кочевники закричали в один голос:

— Калмык-шофер, калмык-шофер!

Они стали хлопать его по плечу с почтительной и дружеской фамильярностью, а он широко и важно ухмылялся.

Калмык-шофер пользуется в степи большим уважением.

Кочевник в остроконечной меховой шапке, с редкой бороденкой, в которой можно было легко сосчитать все волоски, буйно хохотал, хватаясь за бока.

Другой кочевник, приземистый, широкоплечий, с плеткой, висевшей у него на запястье, что-то кричал, указывая то на машину, то на свою косматую, мелкорослую лошадку, которую он держал в поводу.

Эренцен отвечал ему с вызывающей уверенностью.

Разгорелся спор: было очевидно, что спорят о преимуществах автомобиля перед степным конем.

Вдруг кочевник в остроконечной шапке грубо крикнул Эренцену:

— Калмык, ноги у тебя, как у наездника! Это, верно, оттого, что ты слишком долго ездил верхом на боку у матери.

«Черт возьми, как бы не дошло до драки!» — подумал я обеспокоенно.

Эренцен побледнел от гнева. Он что-то крикнул, отвернулся и побежал к машине; кочевники вскочили на коней.

Затрещал мотор; кони шарахнулись в сторону, но, подчиняясь седокам, затанцевали на месте, приседая на задние ноги, высоко задирая головы и скалясь.

В следующее мгновенье и кони и машина исчезли в пыли.

Потом я увидел, как на небольшом расстоянии друг от друга с бешеной скоростью уносятся два столба пыли; они превратились в пышные облака, за которыми возникли смутные очертания сперва коней, затем машины.

Эренцен гнал по бездорожью, рискуя перевернуться: он далеко опередил коней и, завернув влево, теперь катился вдоль горизонта легко, без напряжения, с изяществом и спокойствием; однако видно было, как под колесами закипает пыль, вырывается густыми клубами, мчится назад.

Вскоре завернули и кони; они как бы распластались на нежно-голубом фоне неба с развевающимися хвостами и гривами, с пригнувшимися и застывшими седоками. Один из всадников отстал, он поднялся в стременах и начал нахлестывать коня.

Внезапно я увидел, что всадники нагоняют автомобиль, белые фары которого сверкали на солнце.

«Что случилось?» Но машина шла, поравнявшись с первым всадником и не пуская его вперед ни на вершок.

Так они и достигли финиша одновременно. Кочевник в остроконечной шапке спрыгнул на скаку. Конь его пробежал еще немного и остановился с горячими, раздувающимися боками.

Из машины вылез Эренцен, довольный, улыбающийся. Кочевники жали ему руку, что-то крича; один из них погладил машину.

Они долго махали нам вслед шапками. А когда они скрылись за холмами, я сказал:

— Не понимаю, Эренцен, почему вы дали себя догнать? У вас что-нибудь случилось?

Он посмотрел на меня внимательно.

— Ничего не случилось, — ответил он. — Жалко стало калмыцких лошадей. — И глаза его наполнились лукавым и добрым смехом.

СВАДЬБА

Вечером, когда зашло солнце и высыпали звезды, невесту отвели в кибитку к соседям. Здесь она должна была оставаться до рассвета, пока за ней не прискачет жених на рыжем коне.

Она сидела на кошме, поджав ноги, вблизи очага, в котором поддерживали огонь, так как из степи тянуло сухим, крепким холодом. Светились звезды, зеленые, яркие, веселые звезды, и перемигивались.

Девушки заплетали подруге косы; отныне она, как замужняя женщина, должна будет носить две косы, перекинув их на грудь и связав лентой.

Невесту звали Цаган, и было ей девятнадцать лет. Ее раскосые глаза были сухи, задумчивы и печальны. Она думала о своих девичьих годах, о родных и подругах, о женихе, которого любила, и немая грусть сжимала ей сердце. Она не могла ни причитать, ни голосить, как полагалось по обряду, и хотя ей жаль было всего того, что покидает, но жалость эта была какая-то радостная, светлая — такое чувство печали и надежды Цаган испытала, когда в последний раз села за школьную парту.

Мать тихо и сурово говорила ей:

— Может, тебе луком глаза натереть? Что скажут люди, что скажут люди! Отец твой увез меня с распухшими от слез глазами. Я чуть не умерла от горя и тоски, когда он перекинул меня через седло, как ба-

ранью тушу. Причитай, причитай, говорю, как бы не накликать беды.

Девушки, напуганные ее словами, поддакивали ей:

— Голоси, Цаган, мы поможем тебе, — шепнула маленькая шустрая калмычка, носившая русское имя Катерина.

А про себя подумала: когда колхозный счетовод Дорчжи женится на ней, она ни за что не будет жаловаться и причитать.

— Тетушка Сакрэ, — спросила она, — а без причитаний нельзя?

— Молчи, глупая! — ответила мать невесты. — Так надо. — Повернув голову к старой вдове Кермен, сидевшей в глубине кибитки, сердито добавила: — А ты почему молчишь, старая? Как бы чего не вышло, как бы чего не вышло...

Но старуха молча курила черную трубку, уставясь прямо перед собой тупым, сонным взором. Она видела звезды, рассыпанные по небу, и вспоминала, как лет сорок назад ей так же заплетали косы, и такая же была ночь, и те же звезды, и из степи шел холодный запах полыни и мяты. Как она кричала, как убивалась! Она не помнила своей жизни, она помнила лишь день своего освобождения, когда умер наконец ленивый и буйный муж ее.

Это случилось лет десять или двенадцать назад, в феврале.

Овши, про которого говорили, что «душа у него злее волчьей», спьяна кинулся на жадного, свирепого верблюда, исходившего горячей плотью.

Самец стоял, широко расставив уродливые длинные ноги, и высматривал, на кого бы броситься. Накануне он напал на всадника: самцы в это время ненавидят лошадей. Но в степи было пусто, и он сотрясал ее трубным ревом.

Пьяный Овши, славившийся чертовской силой, велел ему замолчать. Верблюд, однако, продолжал вопить, поплевывая на камень. Тогда Овши ударил его кулаком по кривой шее. Самец отшвырнул его, обдав потоком бешеной слюны, и помчался в степь, завидев всадника.

Овши лежал без движения. Люди не подошли помочь ему, они шептались и тихо радовались, что с буяном и драчуном стряслось несчастье. Встать Овши не смог, на четвереньках пополз он, как собака, в поисках места, где бы невидимо околеть.

Лишь Кермен, убежавшая в степь, спасаясь от побоев, сразу угадала злобным инстинктом, что беда велика и непоправима. Тогда она крикнула:

— Люди добрые, посмотрите на нашего мужчину, — он, кажется, издыхает.

А Овши, грузный, распухший, исподлобья глядел на нее, сжав тонкие лиловые губы.

— Так вам и надо, — продолжала она, обращаясь к мужу. — Плохой чай, а все же чай, а ваша сила теперь как чай второй заварки. Единственную дочь вы пропили слепому, вонючему старику...

— Погоди, — прохрипел он, — я поправлюсь...

— Даст бог, нет, — ответила она люто.

Он приподнялся на локтях и закричал:

— Тварь, сила у меня богача, а жизнь нищего, скучно мне в степи... — и повалился, обливаясь потом бессилия и страданий.

К вечеру он умер, умер буйно, как жил: дотащился до порога, проклинал людей, брызжа кровью и слюной, потом захрипел и долго бился в судорогах, как бы отбиваясь от смерти, пока изо рта его не хлынула кровь.

Люди все еще боялись подойти к нему. Лишь когда взвыла сторожевая собака, они осмелели и сказали, что теперь вдове приличествует голосить над покойником и, царапая себе лицо, привычно и сложно причитать. Но у Кермен не было ни слова скорби и сожаления. И люди осудили ее, решив, что она черствая, злая, бессердечная.

И вот десять с лишним лет спустя у нее вдруг вырвались причитания, дремавшие в ее душе.

— Ой, — сказала она, и все повернулись к ней, — ой, люди добра не помнят! Но память о мертвых короткая, а вдовий одинокий век долог. Жизнь прошла, как луна среди туч, я ни разу не видела ее светлое лицо. Тридцать лет я жила как арестант при часовом. Когда

он бил меня кулаками, я вспоминала удары его подкованных сапог, а когда он топтал меня, я вспоминала его плетку. Я завидовала легкой пыли на дороге: она ведь катится и ей не больно. Тридцать лет с меня не сходили рубцы и синяки. А я терпела и надеялась. «Не желай того, — говорила я себе, — чего у тебя нет, оно лишь издали кажется лучшим». Но он продал мое единственное дитя за бутылку водки... О Дарке[1] милосердная!.. Не голоси, Цаган, не причитай, не плачь! Счастье, отнятое у меня, получишь ты.

Но Цаган, а за ней и все девушки горько плакали.

В степи возник конский топот: это скакал на рыжем коне жених, колхозный зоотехник, со своими друзьями, скакал затем, чтобы увезти невесту.

Девушки заволновались и перестали плакать, а Цаган улыбнулась сквозь слезы.

---

[1] Дарке — богиня.

ЭЛЬЗЕТЕ

Пьяница Овши пропил свою дочь Эльзете старому слепому Хамбо, от которого всегда дурно пахло. Когда Хамбо гулял по поселку, ощупывая дорогу кривой клюкой, девушки прятались: люди утверждали, что нюх заменял слепому зрение.

В тот час, когда шестнадцатилетнюю Эльзете насильно втолкнули в кибитку и заперли на первую брачную ночь, она еще не знала, кто ее муж. Она узнала Хамбо по запаху. Она отшатнулась и хотела бежать, но слепой схватил ее. Она молча и бешено сопротивлялась.

Чуть приподняв полог кибитки, парни старались подглядеть тайну первой брачной ночи — таков обычай. Женщины лениво отгоняли озорников. Эта беспокойная возня у тонких войлочных стен наполняла кибитку тревожным шорохом.

Наутро Эльзете вышла, чтобы посидеть у порога, — так велит закон. Ничто не изменилось в степи со вчерашнего дня, но Эльзете не узнавала ее: печально и сурово возникала степь в тумане стремительно мчащегося снега.

Люди попрятались от стужи по тесным и смрадным юртам, никому не было дела до Эльзете, и молодая женщина, покорно сгорбившись, заплакала.

Трижды окликал жену Хамбо, потом вышел, долго шарил палкой и пробудил Эльзете ударом.

— Сука! — прошипел он с ненавистью: он не мог простить ей неслыханного сопротивления.

Вскоре она забеременела и совсем присмирела. Она боялась появляться на людях, чтобы никто не догадался, что она понесла от слепого. Но люди заметили ее тугой, острый живот; весело подталкивая друг друга, они осторожно хихикали:

— Несет слепого...

Обычно Хамбо спал на кровати, а Эльзете с грудным младенцем — на земляном полу. На рассвете он будил ее пинком, высовывая из-под дерюги волосатую ногу с кривым толстым пальцем.

Хамбо тотчас прятал ногу, а Эльзете вставала, дрожа от холода, разводила огонь и варила мужу калмыцкий чай. Напившись чаю, он уходил на весь день гулять и пьянствовать.

Эльзете говорила мужу «вы» и не смела произнести его имя. Закон запрещал называть старших в роду мужчин по имени.

Впервые улыбнулась она, глядя, как смешно морщит нос маленький зрячий Аксен. Вечно голодная, в единственном кожухе и зимой и летом, работая с утра до ночи, она не замечала, как идут годы. А в долгие зимние ночи баюкала сына и пела ему:

— Спи, сынок, спи! Ты вырастешь сильным и смелым калмыком. Если туча похожа на верблюда, небу беспокойно; если в жизни нет добра, людям больно. Жизнь без добра как безлунная ночь, — темно и страшно. Спи, мой сын, спи!

Мальчик был смышленый, резвый, хорошо скакал на лошади, смело дрался с товарищами. А когда Хамбо обижал жену, она с трудом удерживала сына, чтобы тот не кинулся на слепого отца.

В десять лет у мальчика покраснели веки. Эльзете знала, что и Хамбо не родился слепым. Она металась в поисках спасения, но в степи в ту пору бушевала гражданская война.

Эльзете привела сына в монастырь, к лекарю. Монах оглядел мальчика, потом зажал ему глаза пальцами так, что ребенок завизжал от боли.

— Все мы в руках божьих, — проговорил монах, — молись, женщина!

Он зажег плошку, долго бубнил, раскачиваясь, звонил в колокольчик, снова бубнил и опять звонил, пока ему не надоело. Тогда он погасил плошку — жаль было масла — и, собрав ничтожные молитвенные пожитки, сказал:

— Дух болезни сына в гнилом теле отца, но боги милостивы, иди, женщина! — и велел примачивать глаза мальчику мочевой пеной.

Эльзете исступленно молилась бурханам, принося им последние крохи в жертву. Но боги были ненасытны, тогда как Эльзете голодала по целым неделям.

Аксену же становилось все хуже и хуже: веки его были красны, за ночь они склеивались, утром он потными дрожащими руками раздирал их, скрежеща зубами от боли.

Слыша страдания сына, Хамбо, у которого с похмелья гудела голова, мрачно говорил:

— В твои годы я уже был слеп, как тарань. У меня не стало смелости раздирать себе глаза. Твой дед перед смертью ножом надрезал себе сросшиеся веки, чтобы увидеть степь в последний раз. Он увидел слепого сына и умер.

Но вот в степь пришли новые люди и построили больницы. Эльзете тайком отправилась с сыном к русскому доктору. Она сказала мужу, что идет в отдаленный монастырь. Она принесла доктору жирный кусок баранины, завернутый в платок, но он не взял подарка, напугав Эльзете своей строгостью.

— Это вы сами съешьте. И сына накормите. Не плачьте, милая, не плачьте, мы вылечим вашего сына, — добавил он ласково и потрепал ее по плечу. — Ай-яй-яй, как запущено, как запущено! — Он стал что-то делать с глазами Аксена.

А Эльзете смотрела на доктора, на его загорелое лицо, на его белый халат, на синие палочки в его руках, на большие и малые пузырьки, столпившиеся на столе, и молилась им всем в своем сердце.

На обратном пути Аксен радостно смеялся:

— Когда доктор гладил мои глаза острыми камешками, я чувствовал, мама, как из них выходит соль и песок. Мама, мама, я не буду слепым?

— Ты не будешь слепым, мой сын! — сказала Эльзете.

В кибитке спал пьяный Хамбо. Мать и сын остались на пороге, боясь его разбудить.

Закат увядал, удлинялись прохладные тени.

Мать и сын слушали, как храпит слепой: точно в горле его что-то закипало и вырывалось изо рта и носа со свистом, клекотом и бульканьем. Вдруг храп оборвался.

— Кто здесь? — спросил Хамбо. — Жена, сын, пропади вы пропадом, где вы? По монастырям шляетесь! — Палка его застучала по войлоку и круглым ребрам кибитки.

Он появился, большой, тяжелый, шаря перед собой палкой; она была толстая, суковатая и загнутая и не знала ни минуты покоя.

— Старая, вари водку для смотрин, — сказал Хамбо. — Я нашел тебе невесту, Аксен! Ее зовут Аэльте. Завтра поедем смотреть. Надо торопиться тебе...

Узнав, что жена и сын были у русского доктора, он озверел, рычал, плевался, размахивал палкой и проклинал их чумой, холерой и искоренением рода.

Потом прибежал монах, чтобы плюнуть на порог нечистой юрты.

— Из вонючей кибитки вонючий дым идет! — крикнул он злобно.

Утром отец и сын поехали смотреть невесту. Эльзете весь день просидела у юрты, глядя на дорогу, с которой суховей неустанно сгонял пыль. Она шила сыну мохнатую зимнюю шапку и думала о невесте по имени Аэльте, которой еще не было шестнадцати лет. И вдруг вспомнила злой смех людей, шептавших ей вслед: «Несет слепого...»

Был полдень и зной, и слышно было, как в тишине поблизости жует верблюд.

Тогда костистые, худые, сморщенные пальцы Эльзете начали судорожно вертеть мохнатую шапку, как бы в поисках выхода из замкнутого круга.

Отец и сын вернулись, утомленные смотринами и дорогой.

Аксен завалился спать. Он спал и улыбался. Подле него курила свою длинную черную трубку Эльзете, слушая его ровное дыхание.

Неподалеку от кибитки, на берегу соленого мелкого озера с оголившимся кое-где серым дном, сидел пьяный Хамбо и громко, хвастливо спорил с калмыками:

— Чье седло лучше, ха!.. Раньше, чем черт украл свет из моих глаз, у меня было такое седло... На него с завистью смотрел сам князь Тондут. Когда я скакал по степи, седло мое пылало, как солнце.

— И тебе не было жарко? — насмешливо спросил кто-то.

Но слепой не слышал, он взволнованно лгал о чудесном скакуне, которого никогда не имел, и хотя все знали, что он врет, но слушали с восторгом.

Надвинулась сухая ночь; поселок блестел вечерними кострами; над степью всходил полный месяц; слышались голоса, песни, смех, лай собак.

Эльзете раздула огонь, щербатый кизяк вспыхнул с треском, и стаи искр поднялись и полетели в темный вырез неба. Эльзете варила на ужин крепкий бараний суп. В котле шипела и ворчала вода.

Проснулся Аксен. Некоторое время он тяжко сопел в своем углу, с силой открывая глаза, и вдруг закричал, закричал так, что огонь рванулся под ноги матери:

— Я не хочу быть слепым! Я хочу видеть Аэльте, я хочу видеть степь, солнце и звезды. — Слезы брызнули из его глаз.

Тогда мать положила его голову к себе на колени и стала гладить и утешать сына.

В это время возвратился Хамбо. Стуча палкой по кибитке, он звал:

— Жена, помоги слепому мужу, сын, помоги слепому отцу. — У него был нюх пса. — Разве я болен, что ты варишь суп, старая? — спросил он, переступив порог.

— Нет, вы здоровы. Нанджил одарила нас бараниной. Я немного поработала у нашей соседки.

Он сел есть, он чавкал и рыгал.

— Вкусный суп, — хвалил он.

Потом улегся и потребовал, чтобы жена согрела ему постель. Она повиновалась. Но сын, неслышно плакавший на земляном полу, крикнул:

— Не ходи, мама!

— Молчи, собачий сын! — закричал Хамбо, рассвирепев.

Аксен вскочил и бросился на отца с кулаками:

— Старая, слепая собака, убить тебя мало!

Эльзете удержала сына.

А слепой Хамбо шарил трясущимися руками и бормотал:

— Где моя палка?.. Я ничего не вижу. Где моя палка?

Костер посинел, мягкий свет его рассеялся и трепетал во мгле. В степи утихли и голоса, и смех, и лай собак. В откинутый полог юрты далеко виднелась светлая степь, ясная и спокойная.

Эльзете согрела постель мужу. Он заснул. Тогда Эльзете дотронулась до него и удивилась, какое горячее и упругое тело у слепого, и неожиданно, как двадцать лет назад, почувствовала его запах.

Она тихо сползла на пол, собрала небольшой узел с вещами и едой, разбудила сына, и они неслышно покинули кибитку.

Заря застигла их далеко от деревни — они шли в город, в глазную больницу.

КАМЗОЛ, ИЛИ ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДЕВУШКИ

Когда девочке сравнялось двенадцать лет, мать надела на нее камзол-жилетку, туго-натуго стягивающий грудь. Таков обычай — пеленать неразвившуюся девичью грудь, чтобы она не росла

— Не подобает, — сказала старая Дельгр дочери, — чтобы у калмычки была грудь, как у коровы вымя. Привыкнешь, Шикре!

Но Шикре долго не могла привыкнуть к горячей тесноте камзола и часто плакала.

Про отца ее говорили: «Уленчи выскочил из седла». Когда он находился в юрте, мать предпочитала уходить. У старой Дельгр было восемь детей, но остались две дочери. Смерть ребенка отец встречал равнодушно, только в сорок девятый день, день поминок, безобразно напивался.

— Почему человек выскочил из седла? — кричал он, заливаясь трахомными слезами. — Потому что водка, нищета, грязь.

Мать плакала все сорок девять дней, на пятидесятый день утихала и забывала ребенка.

Так шли годы.

Однажды рябой и богатый Ильдя, стада которого пас Уленчи, послал к пастуху свата, дав ему сосуд, доверху набитый серебром. Уленчи, против обыкновения, был трезв и не пожелал продать свою дочь, которой только-только исполнилось пятнадцать лет. Рябой по-

слал второго свата. На этот раз пьяный чабан забрал серебро и пропил.

Тогда Ильдя прискакал с друзьями смотреть невесту.

В этот день утром в крайней кибитке от чахотки умерла Бальджерма, красивая девушка с длинной черно-синей косой и большими грустными глазами.

Перед смертью она попросила, чтобы ее вынесли из кибитки, где ей невыносимо холодно. Она хотела согреться на солнце. Ей постелили кошму, ту самую кошму, в которую завернули ее тело два часа спустя.

Мертвую зашили в рогожу и увезли в степь.

Смерть Бальджермы взволновала всех. А молодежь пришла к кибитке, в которой помещался ликбез и обычно собирались комсомольцы. Их было в то время еще мало.

— Товарищи, — сказал Пюрвэ, секретарь комсомольской ячейки, со слезами на глазах, — вот что сделал камзол. Какая была хорошая девушка... Советская власть запретила камзол, но даже комсомолки тайно носят его.

Кто-то крикнул ему:

— Выкрест, собака!

Однако Пюрвэ продолжал говорить — и все о камзоле.

Первое время камзол давил грудь, как сухой обруч, и Шикре испытывала невыразимое облегчение в те минуты, когда снимала его. Но понемногу она привыкла к нему.

Эргечке, стоявшая рядом, то расстегивала, то застегивала кофточку на груди дрожащими пальцами. Вдруг она крикнула:

— Надо сжечь камзол!

Ее крик испугал девушек, они отступили, теснясь и прижимаясь друг к другу.

— Эргечке права, в огонь камзол! — закричал Нарма, самый сильный и ловкий парень в деревне.

Камзол подожгли; он тлел на траве, распространяя зловоние гари.

А Шикре прижала руки к груди, как бы боясь, что с нее насильно снимут камзол.

Из степи, в развевающемся малиновом халате, с бритым и багровым черепом, прибежал монах — его уже успели предупредить.

Визжа и задыхаясь, он стал ожесточенно выкликать проклятия.

Нарма пообещал свернуть бугаю шею, если тот не замолчит. Монах трусливо умолк.

Шикре ушла в большом смятении. Она шла медленно и одиноко, не глядя по сторонам. В ушах ее еще звучали проклятия монаха, и она со страхом думала, что случится беда. Когда же увидела, что в кибитке скупого отца горит свет, то задрожала всем телом: не заболел ли кто, не умер?

Неподалеку от юрты ее дожидалась сестра, не по годам старая от труда и побоев:

— Шикре, не ходи туда. Побудь здесь.

— Почему?

— Там чужие. Приехал Ильдя.

Шикре побледнела.

— Что делать, что делать? — продолжала сестра. — Ильдя богат, а твой отец беден. Где отец возьмет денег, чтобы возместить расходы? Столько баранов и столько водки! — И она заплакала.

Ильдя привез двух зарезанных баранов, одного живого и много калмыцкой водки — арьки, как ее называют: он опутывал чабана своей щедростью.

Сперва молча и долго пьянствовали. Потом Уленчи взял платок в одну руку, серебряную монету в другую, а старая Дельгр сказала:

— Тянуть — не оборвать, ломать — не обломать... Пусть будет крепко, как клей, и твердо, как серебро.

Родственник жениха потянул платок, и пьяный Уленчи выпустил его, а этого делать нельзя было — плохая примета. Старая Дельгр зарыдала.

Суеверному Ильде не понравилась выходка будущего тестя, и он затаил на него обиду.

Когда же в знак состоявшегося обручения выбросили в отверстие на потолке баранью окровавленную голову, выбросили неудачно, так что она свалилась обратно, жених пришел в бешенство.

Он вскочил; его ноги, выгнутые дугой, казалось, вот-вот сломаются под тяжестью длинного туловища; он начал осыпать хозяина и его кибитку черной бранью, за что немедленно получил две полновесные оплеухи; он дал сдачу. Глядя на них, подрались и гости.

Шикре убежала в степь. Вставала ночь, точно гигантская кибитка, темная и душная. Гости в юрте отца, по-видимому, помирились — слышны были грубые восклицания, хохот и песни.

Шикре опустилась на траву, вся сжавшись, и неслышно плакала. Она знала, что никто ей помочь не может, что отец пропьет ее ненавистному Ильде.

Незаметно она задремала. Ей приснилось, что деревня меняет кочевье. Старая Дельгр раскладывает костры по обеим сторонам дороги: по поверию, в огне костров вместе с кизяком сгорают все калмыцкие грехи и горести. И вдруг появилась Бальджерма, живая, и бросила в костер камзол.

Шикре вскрикнула и проснулась. Светало. Над степью шел туман. Шикре встала, спугнув суслика, перебиравшего лапками у дороги.

Она осторожно заглянула в юрту — все спали. У двери стояла грязная глиняная посуда: мать недавно научилась мыть ее, но часто забывала это делать. Шикре решила сама вымыть посуду. Вдруг она увидела Ильдю — он сопел и чмокал.

Шикре снова ушла в степь. Она отупела от усталости и тоски.

Взошло солнце, сразу стало жарко, душно и пыльно.

Шикре услыхала далекий и протяжный скрип, а когда поднялась на бугор, то увидела арбу, которую тащила ленивая лошадь. Русский человек громко пел, сидя на краю своего длинного, высокого воза.

Он, видимо, был навеселе. Обочиной дороги шагала босая женщина с кнутом.

Поравнявшись с калмычкой, она спросила:

— Чего, девушка, делаешь в степи так рано?

Но Шикре плохо понимала по-русски и неловко улыбнулась.

Женщина уронила кнут и нагнулась, чтобы поднять его. И тогда Шикре увидела молочно-розовую, круглую грудь ее под легкой и свободной кофточкой и вдруг почувствовала липкую тяжесть камзола.

Женщина выпрямилась, она поймала напряженный взгляд калмычки и сказала, смеясь:

— Тесно тебе жить в своей одеже. Погляди! — она показала на тень калмычки, вытянувшуюся на дороге.

Шикре не поняла ее слов, но посмотрела на землю: две тени лежали почти рядом, одна — широкая, спокойная, другая — длинная, худая, как доска.

Шикре долго провожала потемневшими глазами русскую женщину, а когда та скрылась, она ловко и быстро расстегнула платье и сняла камзол, обнажив слабые выпуклости груди. Она долго рассматривала сморщенный, мокрый, почерневший камзол, вдруг бросила в пыль и начала топтать его и плевать в него с исступлением и яростью. Она не заметила, как приползла туча, как взвихрился песок, как погасло солнце и как горячий ветер разметал тучу и рассеял собравшуюся было грозу.

В полдень Шикре пришла к секретарю комсомольской ячейки.

— Я не выйду замуж за рябого, — сказала она. — Я ненавижу камзол. Я хочу учиться, я хочу... хочу, чтобы за мной шла человеческая тень.

И Пюрвэ с улыбкой ответил:

— Ты не первая.

ГИБЕЛЬ БОГОВ

Бакши[1] Улюмджи сидел на циновке, подобрав ноги, и механически передвигал молитвенную мельницу; она негромко трещала. Этот привычный звук не мешал ему думать.

Его продолговатое, сухое лицо выражало застывшее спокойствие, тогда как глаза полны были усталости и печали.

Из степи шел соленый запах песка и трав. Убогая плошка дрожащим пламенем освещала тесную келью, бронзовых идолов, перед которыми стояли чашечки с зерном и водой; приношения мирян оскудели, и чашечек с водой было куда больше.

На пороге появился широкий, плотный монах, покрытый пылью, притворил дверь и, опустив глаза, стал ждать, пока с ним заговорят.

Но Улюмджи не торопился с расспросами, а молча смотрел на монаха, на его узкий, озабоченный лоб, выпуклые потные скулы, на его коричневый стеганый халат, пронизанный толстой, как конский волос, ниткой. Он старался по виду его угадать, какие вести принес монах из степи — хорошие или дурные. Впрочем, он достаточно знал старшего монаха Бадму, чтобы не ожидать от него ничего хорошего. Тогда он сказал:

— Говори!

---

[1] Бакши — настоятель монастыря.

Бадма шагнул вперед и разразился проклятиями.

— Пусть будут отравлены их колодцы, пусть крысы разнесут чуму по степи и в каждой кибитке пусть валяется мертвец, пораженный оспой!

Бакши побледнел.

— Молчи, — сказал он с отвращением. — Кого проклинаешь, калмык? Или у тебя нет ни матери, ни отца? — Он было взялся за молитвенную мельницу, но оставил ее. — Я послал тебя в степь. «Посмотри и послушай, — сказал я тебе. — Узнай правду».

Тогда монах сложил на груди мясистые руки, обвитые коричневыми четками, и стал рассказывать о том, что видел и слышал: о песчаном городе калмыков, где дома каменные, а кибиток вовсе нет, о смрадных чудовищах, обгоняющих самого быстрого коня, о черной трубе, поющей и кричащей человеческим голосом, о невиданных стогах сена, а главное — о том, что калмыки отвернулись от богов и смеются над гелюнгами[1].

— Огонь посажен в стеклянную клетку, как зверь. Он горит день и ночь без керосина, без масла, без ничего... Стеклянный пузырь на шнурке.

— Это страшно, — прошептал Улюмджи.

— Это еще не все... — И Бадма снова начал проклинать степь, калмыков и их колхозное добро.

— Молчи! — сказал Улюмджи.

Оба долго молчали: Улюмджи — потому, что думал, Бадма — потому, что его больше не спрашивали.

Наконец Улюмджи сказал:

— Я вижу, правд много. Глаза и уши каждого видят и слышат по-своему. Ты видел одно, Музра — другое.

— Его надо закопать живьем, проклятого отступника! — крикнул Бадма, трясясь от бешенства.

Но бакши велел ему молчать.

— Пойди и пришли его ко мне.

Бадма поклонился и бесшумно выскользнул.

---

[1] Гелюнг — монах.

«У него характер вепря и походка лисицы», — подумал Улюмджи и отвернулся.

Долго сидел он, погруженный в раздумье. Он думал и видел свои мысли. Ему шел сорок первый год по калмыцкому счету: ребенку исполняется год в час рождения.

В десять лет, как это водится у калмыков, Улюмджи отдали в монастырь, — он был старший сын.

Когда-то по большим праздникам, особенно в Новый год, он отправлялся в гости к своей сестре, жившей в бедности, но в согласии с мужем. Кочевники кланялись ему, он кланялся им, потом все усаживались вокруг костра и молчали. Монаху приличествует молчать, а калмыкам неудобно грубо шутить в его присутствии.

Однажды он увидел Церен, про которую говорили, что боги дали ей все, что могли. Она незаметно выросла, маленькая Церен.

Улюмджи спросил ее о чем-то, она ответила застенчиво, вдруг подняла свои черные блестящие глаза и зарделась. Она тотчас испуганно потупилась, как подобает девушке, но ее быстрый, странный и смелый взгляд перевернул Улюмджи сердце.

Пять лет не показывался Улюмджи в родном хотоне — селении. Но образ Церен преследовал его повсюду, являясь ему в молитвах, думах и снах; даже во время служб она возникала в обличии самой богини Дарке — чувственной красавицы, с маленькой, крепкой грудью, сосредоточенно-страстным взглядом и тонким, презрительным ртом.

И Улюмджи понял, что боги ошиблись, избрав его своим служителем. Он слишком любил то, что ему запрещено было любить. Тогда он стал размышлять о том, какие испытания и муки подготовляет он своей душе в ее дальнейшем существовании, когда она покинет бренное тело и переселится в другую оболочку какого-нибудь хищного зверя или самого грязного дождевого червя, который живет и мучается за свои грехи даже разрезанный на части. Он упорно изнурял себя трудом и постами.

На шестой год он осмелился снова пойти в родной хотон. Сестра так состарилась, что невозможно было представить ее себе молодой, а Церен вышла замуж, и тяжелая жизнь калмычки, как говорили кочевники, отняла у нее то, что ей милостиво и щедро даровали боги. Улюмджи хотел уйти так же незаметно, как и пришел, но на краю села у последней кибитки он увидел Церен. Ему показалось, что земля расступается под его ногами. Что сталось с маленькой Церен? Смуглые щеки ее пожелтели, глаза стали тупые и озлобленные, а зубы — черные от дыма трубки. В грязном, засаленном кожухе, с мальчишкой, сидевшим верхом у нее на боку, и с грудным за спиной, она бранила соседку, утащившую кирпич из-под ее очага.

Увидев Улюмджи, Церен смутилась и побагровела; он благословил ее и детей едва слышным голосом и ушел.

С тех пор он ни разу не отлучался из монастыря. Ежедневно отправлял службы, большие и малые, думал о бессмертии души и глубине вселенной, читал старинные тибетские тексты и лечил людей травами, целебные свойства которых знал.

И казалось ему, что он наконец достиг того совершенства, когда ничто не способно нарушить прочное спокойствие души, спокойствие, исполненное строгой и немного иронической жалости к людям.

Но в степи менялась жизнь, менялась с громом неслыханного землетрясения. Монастырь распадался: из сорока монахов осталось всего девять; одни ушли тайком, ничего не взяв с собой, другие трусливо сбежали, прихватив монастырское добро. Монастырь обнищал, монахи голодали. В довершение всех бед восстал Музра, восстал открыто и мужественно.

«Когда ручей высыхает, — заявил он, — люди покидают его берега».

Улюмджи не знал, как ему быть.

Двадцать четыре года назад, когда Улюмджи кончал ламаистскую школу, возмутился монах, имя которого забыто.

«Земля, — сказал он, — не плоская, как утверждают священные книги, а круглая, ибо раньше, чем исчезают

горбы уходящего верблюда, скрываются его длинные ноги».

Еретика осудили на смерть и замуровали в стену, чтобы смерть была бескровной и чтобы никогда не возродилась его мятежная и дикая душа.

Улюмджи видел, как закладывали последний кирпич, и слышал последние крики монаха.

Теперь, вспоминая давнее потрясение, он думал:

«Чем тяжелее грехи, тем дольше мучается душа. Что тело? Грязный мешок! Когда умирает человек, труп его выбрасывают в степь, на съедение собакам, коршунам и шакалам. Какой смысл наказывать человека смертью, если смерть освобождает его душу и возвращает ей потерянную чистоту?»

Он не заметил, как вошел Музра. Монах стал у стены, наклонив голову, так как был высок ростом.

Увидев его, Улюмджи спросил:

— Ты слышал мои сомнения?

— Я, кажется, ничего не слышал, учитель!

— Я раб сомнений. Они не покидают меня даже во сне. Подойди поближе.

Музра почтительно опустился на корточки. У него было страстное и сильное лицо, его светлые глаза почти не косили, а поджатые губы обнаруживали в нем упрямство и суровость, и только большие оттопыренные уши придавали ему что-то мальчишеское, озорное.

— Ты был первый в молитвах, последний в отдыхе, — сказал Улюмджи. — Я надеялся — со временем ты заменишь меня. Сколько лет ты в хуруле?

— Тринадцать.

— Значит, тебе двадцать три года?

— Нет, двадцать четыре. Меня отдали на год позже. Мой старший брат умер.

Улюмджи вздрогнул, снова вспомнив замурованного монаха, и со страхом посмотрел на Музру.

— Где твои родные?

— Я сирота.

— В своем роду, сказано, все люди братья, а в чужом даже собаки дружны и злы. Куда ты пойдешь?

— Мне близки все люди, — ответил Музра доверчиво. — Давно это было, учитель! Вы послали меня к больному. Он лежал весь в язвах. Мухи грызли его тело, я согнал их, они опять вернулись. Сколько я ни сгонял их, а они все возвращались. А в кибитке была такая нищета — я не нашел дерюги, чтобы прикрыть больного. Тогда-то я впервые подумал: в какое животное, в какую вещь вселился дух его болезни? Что надо взять в хурул, чтобы спасти его? Ведь у него, кроме язв, ничего не было. — Музра говорил негромко, но руки его, худощавые, тревожные, то сжимались в кулак, то разжимались с такой гневной силой, что их, казалось, сводит судорога.

Улюмджи покачивался, не прикасаясь к молитвенной мельнице. Он с изумлением думал: какой нужно обладать решимостью, чтобы возвратиться в чуждый, малопонятный мир! И он тихо сказал, как бы самому себе:

— Избегай, говорят, быка, который был бугаем, не верь человеку, который был монахом.

Музра ушел. Улюмджи снова погрузился в себя.

Окно бледнело, вдали ударил гонг, гул его был широк и плавен и не успевал затихнуть.

Улюмджи встал, смочил глаза водой и пошел на утреннее моление.

Перекати-поле пересекало дорогу, и он долго глядел ему вслед, размышляя о бесконечном пути его.

На ступеньках храма сидел живший подаяниями мирян слепой калмык, вскинув лицо к пустынному небу, окрашенному зарей. Он был похож на Будду; это удивительное и жуткое сходство стало еще более очевидным вблизи. И Улюмджи невольно поклонился слепому.

Заслышав его приближение, слепой повернул голову.

Обычно Улюмджи рассказывал слепому обо всем, что видит. А видел он и просторную степь, и еще более просторное небо, в котором кочуют звезды, как люди в степи, и движение пыли, и радость травы, поднявшейся навстречу солнцу.

Но сегодня Улюмджи ничего не сказал слепому, ибо вместо покоя и мудрости он находил в своей душе лишь смятение и горечь.

Слепой обеспокоенно последовал за ним, держась за его одежду.

В храме было прохладно и пахло пылью, не степной, а домашней, затхлой, от которой монахи часто чихали.

На низеньких скамьях, обитых дешевым ситцем, чинно расселись монахи, каждый со своим молитвенным инструментом. Пустовало место Музры.

День был праздничный, служба предстояла долгая.

В широком, во всю стену, киоте расположились идолы, блестя под лучами солнца, воровато проникавшими в щели. Двери были плотно закрыты, а окна занавешены.

В центре киота, скрестив ноги, сидела богиня Дарке, холодная и загадочная, отлитая из бронзы с таким мастерством, что каждый изгиб ее тела как будто трепетал; справа от нее поместился божок — толстый болван с лицом ханжи и пьяницы; слева — сам Будда, мечтатель и аскет, поднявший невыразимо ленивые и безучастные глаза; дальше шли боги помельче, с грозными, искаженными масками. Покачивались огоньки плошек, похожие в дневном свете на лоскутки желтого шелка.

Стены были украшены пестрыми хоругвями с изображением таинств человеческого рождения и смерти.

Улюмджи усадил слепого у киота, а сам прошел к своему высокому креслу с потертой обшивкой, под желтым балдахином.

Тотчас трубы протяжным звуком возвестили начало богослужения.

Жужжали голоса, играл рожок, звенели колокольчики, стучали барабаны, раздавались громкие всплески медных тарелок, ревели большие и малые трубы, и от металлических богов отделился ровный гул, как будто они принимали участие в этой шумной, причудливой службе.

Вдруг появился Музра. Мигом стих шум, лишь воздух продолжал гудеть.

Музра еще не сбросил одежды монаха — малинового халата с желтой мантией, перекинутой через плечо. Он молча обошел скамьи и приблизился к богам, засверкавшим в блеске солнца.

— Ты зачем здесь? — спросил Бадма, глядя исподлобья маленькими коричневыми глазками.

Но Музра не ответил ему.

— Мы долго гнали солнце, — проговорил он задумчиво, — мы заставляли его стоять за дверью, как нищего... Пора открыть ему двери и окна.

— Изменник, вор! — закричал Бадма.

Музра нетерпеливо отмахнулся от него, как от назойливой мухи.

— Я изменник, а ты «праведник». — Он нехорошо усмехнулся.

Тогда Бадма, испугавшись того, что Музра сейчас во всеуслышание расскажет о его грязных, непристойных проделках, взвизгнул:

— Вон отсюда, нечистый! — и запустил в него священной раковиной.

Музра вовремя увернулся, раковина ударила в богиню Дарке, отброшенная гудящим металлом, рикошетом попала в слепого. Слепой удивленно охнул и упал, из рассеченного виска его полилась кровь.

Когда Улюмджи подбежал, слепой был уже мертв.

Все это произошло так неожиданно и мгновенно, что люди оцепенели. Первым опомнился Бадма. Он втянул голову в плечи и боком подвинулся к выходу.

— Погоди же, — пробормотал он.

Монахи подняли крик.

Улюмджи неподвижно стоял над мертвым. Он искоса глядел на Дарке: солнечные блики скользили по металлу, и казалось, что богиня мрачно усмехается.

«Какое у нее злое лицо... Она никогда не была матерью», — подумал Улюмджи.

— Его надо сжечь, он святой, — сказал Улюмджи и, сняв с плеч Будды шелковую простыню, накрыл ею мертвого.

Мертвого унесли; старый монах, трудно дыша, замыл следы крови на полу.

Одиноко остался Улюмджи среди беспорядочно разбросанных орудий моления, среди богов. Очируани, Медр, Зонкова, Маншир, Ямандага, — как много их; Улюмджи испытал чувство страха, как в давние годы, когда он, мальчишка, ни за что не решался остаться наедине с богами. Но тогда ему внушал ужас крылатый и свирепый Ямандага с маской чудовища, а теперь — Дарке, красивая, женственная и бездушная.

Ему вспомнилась Церен, вспомнилась увядшей, жалкой, безобразной, с желтыми щеками и черными зубами — такой ее сохранила ему память.

Он обошел храм, до всего касаясь и ничего не узнавая. Вещи были круглые и тупые, как будто их намеренно создали такими, чтобы не вызывать вопросов и сомнений.

Сумерки погасили мерцание бронзы, барабаны с темной глянцевой кожей, посаженные на палки, в полутьме казались распухшими и отвратительными, как лица утопленников.

Улюмджи покинул храм.

Труп слепого, завернутый в шелковую простыню, лежал на груде кизяка и сухих трав.

Улюмджи подал знак, и монахи зажгли костер. Преодолевая густой дым, пламя взметнулось с живым и веселым треском, а мертвец корчился и трепетал в огне.

Настала ночь; эхо повторяло смех шакалов, привлеченных смрадом паленого мяса.

Улюмджи не зажег у себя в келье плошки. Он сидел и слушал, как в ночном сумраке пронзительно кричит птица, — должно быть, к дождю.

Молиться он не мог, думать боялся. Он безжизненно застыл, лишь пальцы по привычке перебирали невидимые четки, перебирали судорожно и бессильно.

В келью кто-то вошел, опустился на земляной пол и глухо заплакал.

— Ты еще не ушел, Музра? — спросил Улюмджи.

— Как я пойду, учитель! — сказал Музра, ударяя себя по голове кулаками.

— Торопись, торопись! Запах крови — страшный запах.

— Кажется, мне некуда идти. Ведь и на мне кровь...

Улюмджи долго думал, прежде чем ответить.

— На тебе крови нет, — сказал он с дрожью в голосе. — Покинь степь. Люди не осудят тебя. Иди, иди с миром.

— А вы как, учитель? — спросил Музра тихо и нерешительно, впервые осмелившись обратиться к старшему с прямым вопросом.

Улюмджи тронул молитвенную мельницу и отдернул руку; подвинулся к киоту, но лишь смахнул на пол чашечки с жертвоприношениями.

И, видя его безмолвное смятение, Музра поцеловал циновку, на которой сидел Улюмджи, и вышел.

А Улюмджи не мог успокоиться. Вчера в это время он еще не знал, как поступить с Музрой — изгнать или отпустить с миром. А сегодня он не знает, как быть ему с самим собою.

Внезапно среди ночи раздался далекий вопль, вопль человека, зовущего на помощь. Улюмджи узнал голос Музры.

Он вскочил и выбежал из кельи.

— Иду, иду!

Музра был еще теплый.

Улюмджи ощупал его дрожащими руками. Он подобрал рваную нитку коричневых четок, потерянную убийцей, и отшвырнул ее.

Он сидел над остывающим телом, от которого отлетела душа, и впервые в жизни не чувствовал ни отвращения, ни неприязни к мертвецу.

Музра был для него живой, и он вспоминал все, что Музра говорил ему, и как молился, и как улыбался, и как бывал гневен и добр.

В рассветной мгле лежали песчаные мазанки, как могилы, не видно было огня. Накрапывал дождь.

Никто не знал, кто этот неторопливый, опрятный калмык с изможденным лицом и усталыми глазами. Он работал грузчиком в Астрахани и легко перетаскивал восьмипудовые мешки. Он был воздержан в еде, дважды в день купался, но плавать не умел и от берега не отдалялся. Волгари относились к нему с незлобивой иронией; он ни с кем не сближался.

Осенью он нанялся рабочим на грузовой пароход и ушел на север.

СКАЗКИ ДОБРОГО СЕТКЮР-БУРХАНА

Жрец велел калмыку Санджи достать Сеткюр-бурхана, сидевшего на вершине высочайшего дерева у края земли.

— Пойди и достань! — сказал жрец. — Но помни, если хоть слово вымолвишь, пока не вернешься назад, быть беде. Уйдет бурхан. И придется тебе снова идти за ним. Ни говорить, ни улыбаться, ни плакать, ни смеяться тебе нельзя. Понял?

— Понял, — ответил Санджи и усмехнулся. Кто-кто, а калмык молчать умеет. Этому его учит с детства закон рода, который гласит: «В своем роду все люди братья, но бойся собак чужого селения».

Пошел Санджи степью, а весна одела ее в такие радостные, веселые, смеющиеся краски, что хотелось петь и плясать и громко радоваться. Но Санджи помнил наказ жреца и знал, что ему делать.

Все было так, как сказал жрец. Санджи увидел высокое дерево, на вершине которого сидел Сеткюр-бурхан. Санджи молча полез на дерево, молча взял бурхана, вложил его в мешок, который прихватил с собой, перекинул мешок через плечо и молча двинулся обратно.

Сеткюр-бурхан удивился.

— Кто ты, калмык? — спросил он.

Санджи шагал, не торопясь и не оглядываясь на бурхана, который вылез из мешка к нему на плечо.

— Кто ты будешь? — снова спросил бурхан. — Как тебя зовут, калмык? Ты глухой или немой?

Санджи молчал.

К вечеру бурхан затосковал.

— Ой, яглаб, яглаб![1] — сказал он жалобно. — Что такое жизнь? Чашка крови и горсть пепла. Чем ярче костер, тем больше тепла. Идите же, люди добрые, к моему костру и грейтесь у его тепла. Есть две песни: чужая — ее все поют, и своя — ее я пою. Слушайте же, люди, мою песню. Пусть каждый идет своей дорогой, и пусть свершается его судьба. Жил такой глупец, по имени Очир, и хотелось ему прослыть умным. Пришел он к Арчжи-Бурчжи-хану и так сказал: «Посмотри, великий хан, на небе собака лает».

«Что ты кощунствуешь, дурак! Разве может на небе быть собака, если там живут святые?» И хан приказал казнить Очира.

Но пастух Дорчжи пожалел дурака. Он пришел к хану и так сказал: «Велика твоя мудрость, великий хан, велика и твоя справедливость. Выслушай раньше, чем казнить, ибо мертвые не говорят».

Тогда призвали Очира, и он сказал так, как научил его Дорчжи.

«Собака лает на небо, великий хан! — сказал он. — В небе летает орел, а собака лает на орла. Вот то, что я думал».

И хан простил его.

Но Очир был вероломный и злой человек. Верно сказано: дурак никогда не простит умному, что он умный, и доброму, что он добрый. Задумал Очир погубить своего спасителя. Пришел он к Арчжи-Бурчжи-хану и так сказал.

«Великий хан! — сказал он. — Я говорю нескладно, зато служу верно. А твой холоп Дорчжи — пусть отсохнет у него язык, — он говорит складно, а служит неверно, он бранит тебя перед всем народом. «Хан, — говорит Дорчжи, — думает, что он орел, но никто не видел, чтобы он когда-либо летал, зато все слышали его лай». Так говорит Дорчжи, великий хан!»

---

[1] Горестное восклицание.

Хан разгневался, а в гневе он был необуздан и лют, и велел тут же убить Дорчжи. Тогда Очир поспешил прикончить своего спасителя, когда тот спал, чтобы никогда не узналась правда.

Санджи выслушал песню Сеткюр-бурхана и невольно вздохнул. Мигом Сеткюр-бурхан исчез.

И пошел Санджи снова за ним, и снова шел он день и ночь, и еще день и ночь, пока не добрался до заветного дерева. Снова взял он с дерева Сеткюр-бурхана и спрятал в свой мешок.

Два дня молчал Сеткюр-бурхан, а на третий день с восходом солнца заговорил:

— Посмотри, калмык, — могучий дух выехал на небо в своей огненной колеснице, а ты даже не улыбнешься. Я не буду больше петь, я расскажу тебе сказку. Хочешь?

Санджи подумал, что если ему нельзя ни говорить, ни вздыхать, ни улыбаться, то, может быть, ему не запрещено кивать головой. Все же, чтобы никто не сказал, что бурхан перехитрил его, Санджи нагнулся, как будто что-то искал на земле.

Тогда Сеткюр-бурхан начал:

— Жил охотник с женой вдали от людей. Жили они дружно, и дни их были долгие и светлые. И родился у них сын. Однажды охотник поймал лисенка и принес его в подарок сыну. Лисенок был проворный, игривый и добрый, и мальчик привязался к нему. Мать часто оставляла их вдвоем и уходила помогать мужу. А когда возвращалась, лисенок выбегал ей навстречу, весело скакал и кувыркался. Так проходили дни.

Но однажды она вернулась в полдень и удивилась, что лисенок не побежал ей навстречу, как всегда, а сидел у порога и жалобно скулил. И она увидела, что он весь в крови.

«Горе, горе, — закричала женщина, — зверь загрыз мое дитя!»

Она схватила камень и ударила лисенка. Он упал мертвый. А женщина с воплем кинулась в кибитку. Там она увидела своего ребенка. Он весело смеялся, шалил и хлопал в ладоши. А возле него валялась большая мертвая растерзанная змея.

— Какое несчастье! — сказал Санджи, горестно всплеснув руками.

Еще не стих его голос, а Сеткюр-бурхан уже исчез. И снова пошел Санджи в далекий путь. А найдя Сеткюр-бурхана, он бережно и нежно уложил его в мешок и понес, нетерпеливо ожидая, когда Сеткюр-бурхан вновь заговорит. Но Сеткюр-бурхан сердито молчал, недовольный упрямством и настойчивостью похитителя. Ночью, однако, когда вышла луна, чтобы светить путнику, Сеткюр-бурхан сказал:

— И как тебе не надоест молчать, калмык? Ты же не камень. Слушай! Я расскажу тебе веселую сказку. Не бойся. Тебе не придется ни вздыхать, ни стонать. Мы скоротаем время.

И, помолчав столько, сколько нужно, чтобы вспомнить, он начал так:

— Сварливая и злая жена вела за руку своего слепого мужа, подгоняя его щипками и пинками. Она нарочно водила его по каменистой дороге, чтобы он поранил себе ноги. Шли они долго. Слепой устал. Но упрямая женщина ни за что не соглашалась отдохнуть, хотя и сама выбилась из сил.

«Ничего, потерпишь, — говорила она, хотя он и не жаловался. — Экий неженка! Прибавь шагу, так мы с тобой и до вечера не доползем. Несчастная моя доля. И пожаловаться некому... А мне впору жаловаться, плакать, рыдать, биться головой оземь. На что я сгубила свою жизнь...»

Вероятно, она не перестала бы пилить и грызть своего слепого мужа — ведь это доставляло ей такое удовольствие, — если бы не запела где-то поблизости пастушеская свирель. Она пела так сладко, так призывно, что женщина захмелела.

«Ах, как хорошо играет этот пастух! Он, наверно, молод и красив», — размечталась женщина. Она стала думать, как ей оставить мужа и пойти позабавиться с пастухом. Но ничего придумать не могла. Муж крепко держал ее за руку. Тогда она начала ругать и проклинать слепого и плакать от досады и ярости.

Вскоре они приблизились к колодцу, и тут женщину осенила нехорошая мысль.

«Я хочу пить, — сказала она. — Достань мне воды».

«Как же я достану тебе воды, если здесь нет ни ведра, ни кружки?» — отвечал слепой.

«А ты полезай в худук. Я подержу тебя за ноги».

«Но чем я зачерпну воду?» — наивно спросил слепой.

«Горстью».

Слепой простодушно полез в колодец, и жена столкнула его в воду. Она тотчас кинулась на зов свирели, — так разобрала ее похоть.

За бугром она увидела пастуха. Он сидел голый, вся нижняя часть его тела, начиная от пояса, была изъедена страшными язвами. Тогда женщина дико завопила:

«Ой, яглаб, яглаб, что я наделала! Беда, беда! У меня был слепой, но здоровый муж, а этот заживо сгнил и не может быть мужем».

И она стала кричать и ломать себе руки, как если бы ее обокрали, ограбили.

Санджи засмеялся. Сеткюр-бурхан исчез. И снова Санджи безропотно повернул назад, и снова отыскал он бурхана, и был так ласков с ним, что старый добрый бог подивился неистощимому терпению и доброте калмыка. Ему жаль стало этого доверчивого человека, и он долго озабоченно молчал.

— У тебя доброе и глупое сердце, калмык! — сказал он наконец. — Неужели ты не устал ходить и возвращаться за мной? Ладно, молчи и слушай, если хочешь. Я расскажу тебе о великой мудрости.

Весной, когда рассохлась степь, пастух Бата пошел искать новые пастбища для княжеских стад.

Он шел и пел песню о верблюде, который плачет по ночам. О чем плачет верблюд? О голодном пастухе, который забыл вкус мяса и запах кирпичного чая.

Песню пастуха слушали и солнце, и степь, и степной зверь, и степная птица, и всем нравилась она. И только хромому, одноглазому гелюнгу Цебеку она пришлась не по душе.

«Ты поешь песни, — сказал монах, — значит, тебе весело?»

«Пастуху всегда весело, когда он со своими стадами», — отвечал Бата.

«Ты пасешь скот днем, а поешь ночные песни», — сказал гелюнг Цебек.

Пастух задумался, задумался над тем, почему он пасет чужие стада, а не свои, почему одни люди едят три раза в день, а другие — раз и то не каждый день, почему грустны его песни и худы его сапоги.

«У горя один язык — слезы, — сказал он, окончив думать. — Когда я сплю, мне снится, что я богат и сыт. Но просыпаюсь я нищим и голодным».

«Берегись, пес, твоя речь гнилая! — закричал монах. — Ты умрешь не своей смертью». И он начал проклинать пастуха страшными проклятиями.

«Уйди, монах, — сказал Бата тихо и грозно. — Я вижу смерть у тебя за спиной».

Гелюнг Цебек испуганно обернулся, задрал вишневый халат и с ужасом бросился прочь, как будто за ним действительно гналась смерть.

У монаха мстительное сердце. Он донес нойону[1], что чабан поет мятежные песни о стадах, вскормленных одними и украденных другими, о людях, которые едят досыта лишь во сне.

Князь приказал схватить чабана.

«Скажи мне, — говорил нойон, ударяя связанного пастуха кулаком по лицу, — разве тебя плохо кормят, разве ты голоден на моей княжеской службе?»

«Я сыт, нойон, — отвечал пастух, слизывая кровь с губ и глотая ее, потому что сплюнуть в присутствии князя было неприлично. — Но я слышал, что два хотона поголовно умерли от голода. Народ говорит: «Когда восходит солнце, овца блеет, когда заходит, овца молчит...»

Тогда князь дважды ударил его по щекам и приказал выколоть ему глаза, чтобы он никогда больше не видел солнца, вырвать ему язык, чтобы степь никогда больше не слышала его песен.

«Ну, а теперь что ты видишь у меня за спиной?..» — злорадно крикнул гелюнг.

«Смерть», — ответил Бата.

---

[1] Нойон — князь.

Это было его последнее слово. Сперва ему выкололи глаза, и он ослеп, потом ему вырвали язык, и он навсегда умолк.

Тогда возмутилась, затосковала, зашумела степь, и весть о злодеянии полетела, как молния, которая вмиг ослепляет весь мир. И князь велел сжечь пастуха, чтобы люди не видели, что он с ним сделал.

Монах солгал, монахи всегда лгут. В тот час, когда сжигали пастуха живьем на костре, кто-то вдруг запел его песню о верблюде, который плачет по ночам...

Санджи залился слезами. И снова пошел он за Сеткюр-бурханом.

— Ну хорошо, — сказал ему Сеткюр-бурхан, когда Санджи в восемнадцатый или двадцатый раз полез за ним на дерево, стоявшее в цвету, так что каждый лист звенел на нем, как молитвенный колокольчик. — Раз ты такой неутомимый и неотвязный, калмык, расскажу я тебе про враля. Не засмеешься — не стану больше тебя испытывать. А засмеешься — пеняй на себя. Слушай!

Это было еще до того, как калмык стал называться калмыком [1]. Жил-был худульчи — всем вралям враль. Жил он бедно, а известно — у богача живот растет, а у бедняка голова пухнет. Призвал его раз к себе Арчжи-Бурчжи-хан и так сказал ему: «Ты, слыхал я, лучший худульчи в моей стране. Скажи ты мне незамедлительно семьдесят одну неправду. Ни больше, ни меньше. Скажешь — щедро награжу, не скажешь — голову сниму».

Худульчи подумал немного и начал так:

---

[1] По легендам, калмыки пришли в Россию из Китайской империи. Они обосновались в заволжских степях. Петр Первый даровал им особые права, как защитникам окраин империи. Но с течением времени степь начала стоном стонать от гнета и поборов царских чиновников. И тогда кочевники решили откочевать обратно в Джунгарию, откуда они пришли. Было это в 1775 году, при Екатерине Второй. Кочевники перешли Волгу и бежали. Волга в тот год вскрылась необычайно рано, чуть ли не в январе, и часть кочевников не успела уйти. Их осталось тридцать тысяч кибиток. С этого-то времени и пошло название: халмак (в русской огласовке — калмык) — отставший.

«У правды два крыла, а у лжи тысяча ног, правда летит, ложь бежит, и все-таки ложь опережает правду. Да простит мне великий хан, если я начну с правды. Я родился раньше своего отца и пас табуны деда. Когда мне было одиннадцать лет, я сосчитал звезды. Их было ровно одиннадцать тысяч, как записано в священных книгах Ганджур-Данджур. Кто сомневается — пусть пересчитает. Вдруг я обнаружил пропажу одной звезды. Я вскочил на коня и выехал в степь. Тут я увидел зайца, сидевшего в корнях невыросшей полыни. Не ударив, я убил его и привязал к седлу, забытому дома. А дома — всем известно — седла у меня нет, и коня нет, и дома никакого нет, я ведь живу под открытым небом, в котором пасутся мои стада.

День был невыносимо жаркий, подъезжаю к озеру, а оно промерзло на четверть. Что тут делать? Стал я плеткой по льду стегать, сапогом топтать — ничего не выходит. Обозлился я, сорвал свою голову да хвать ею об лед,—гляжу, прорубь. Сам напился, коня напоил. Выехал на бугор, сел покурить. Набил трубку, сунул себе в рот — что за черт? Рта нету, голова-то на льду забыта. Пришлось возвращаться. А конь у меня что ветер — только на следующее за прошлым годом утро к озеру прискакал. Смотрю, верно, лежит моя голова, смеется, а у самой одна щека обморожена, другая — опалена.

«Как скоро,— говорит голова,— ты меня вспомнил!»

«Как же, отвечаю, не вспомнить. Бедному человеку голова необходима, бедного человека голова кормит. Будь он князь, или монах, или, на худой конец, богач, а то ведь ему и подумать надо, и сообразить, и в мозгу прикинуть». С этими словами подбросил я ногой голову себе на плечи и приказал ей помалкивать, пока с ней не разговаривают. А она, проклятая, смеется, от смеху трясется, а от этого все перед моими глазами пляшет, и дальше восьмидесяти шести с половиной верст я ничего не вижу. Однако разглядел — на краю земли пыль столбом стоит. Подъезжаю и вижу: что за диво? Земля грохочет, между мухами и комарами идет побоище. Ну, я тут как тут, растолкал, разбросал голубчиков, этому в загривок надавал, тому по морде, добрую половину

их войска передавил, остальных помирил. В благодарность мне подарили доброго комара величиной с теленка. Однако уморился я, заснул. Просыпаюсь — шум ужасный, сапоги мои дерутся. И как? Кругом на две версты шерсть летит. Ох и задал же я им трепку, одни подошвы остались. И снова спать завалился. Просыпаюсь — одного сапога нет, сбежал, негодяй. Ладно, думаю, попадешься ты мне — я из тебя шулюн[1] сварю. Вечером на свадьбу попал — смотрю, мой сапог обносит гостей арькой...

Санджи крепился, крепился, не выдержал и прыснул. Сеткюр-бурхан тотчас же скрылся. И снова отправился Санджи степной дорогой.

Много раз возвращался Санджи за Сеткюр-бурханом и с каждым разом все почтительнее снимал его с дерева.

— Безумный ты человек! — воскликнул наконец Сеткюр-бурхан в изумлении и тревоге. — Неужто тебе не жалко своей жизни?

— Нет, — ответил Санджи, — не жалко. Пословица гласит: из вонючей кибитки вонючий дым идет. Ты просветляешь мой ум и облагораживаешь мое сердце. Спасибо тебе. — И он низко поклонился Сеткюр-бурхану. — Всю жизнь я буду ходить за тобой. А когда я умру, мой сын пойдет...

— Так вот и ходит до сих пор калмык Санджи, не в силах оторваться от источника мудрости и знаний доброго Сеткюр-бурхана, — закончил старый чабан Мучке. Голос его глухо шел с той стороны костра.

В котле закипал чай. Старик подбросил в костер кизяку, огонь с треском взвился, унося стаи искр в ночное черное небо, которое чуть посветлело на горизонте, где рождался новый день.

---

[1] Шулюн — суп.

ПОСЛЕДНЕЕ КОЧЕВЬЕ

степного колодца я встретил знакомого чабана Очира, пригнавшего колхозные стада и табуны на водопой. Это был высокий старик, в длинных сапогах, с раскрытой загорелой грудью, с умным и спокойным взглядом карих глаз и белыми редкими усами.

Он приветливо поздоровался, продолжая заниматься своим делом — наливал воду в широкие выдолбленные колоды.

От топота и рева скотины, щелканья и пальбы бичей можно было оглохнуть. Степь застилал туман пыли.

Часа два Очир сам поил животных, следя за порядком, чтобы сильные не оттесняли слабых. Его глаза замечали все, а бесконечный бич доставал и нахального быка и бодливую корову.

Блеяли овцы, протяжно и низко мычали коровы, утолив жажду; быки с налитыми кровью глазами дико теснились и лезли друг на друга, затевая драки, а неторопливые верблюды шли последними, покачивая горбами, и тоже ревели.

Потом Очира заменил помощник, а сам чабан, вытирая разгоряченное лицо рукавом спецовки, подсел к нам и стал медленно пить холодную воду.

Шофер Эренцен дремал в тени машины, я разбудил его, нуждаясь в переводчике.

— Ну как, русский человек, насмотрелся? — спросил меня Очир.

– Чем больше я вижу, тем больше хочется смотреть, — ответил я.

Очир засмеялся, обнажив крепкие желтые зубы.

— В молодости, — сказал он, — я любил спать. Заснешь, бывало, в тени верблюда, и снится тебе белая юрта, и добрая слава, и много-много всякой еды. А только верблюд уносил свою тень, и я просыпался еще более голодный. Человек, который много голодал, не может наесться досыта даже во сне. Теперь я стар, но спать не люблю. Боюсь, не проспать бы остаток жизни. Что же ты видел? Расскажи!

Он слушал меня, одобрительно кивая головой.

Между прочим, я сказал, что мне хочется посмотреть, как хотон меняет кочевье, но, к сожалению, не попадается такой поселок.

— А зачем тебе смотреть? — спросил Очир. — Люди разговорчивы. Ты только попроси — устанешь слушать.

Менять квартиру — какое это грустное и занимательное событие! Мне кажется, в такие моменты открываются и привычки, и слабости, и надежды человека. А тут покидает обжитое место целая деревня.

Очир выслушал меня, помолчал, затем лукаво улыбнулся.

— Несколько дней назад... постой, когда это было? На той неделе, верно, я видел такой хотон. Он собирается менять кочевье. И, кажется, даже завтра.—Видя мою радость и мое сомнение, он добавил:—Твоя машина быстро бегает, за пять часов она свезет тебя туда и обратно. Ты еще найдешь меня здесь. Я буду сидеть и думать.

— О чем?

— Мало ли о чем степняк думает.

Эренцен недоверчиво спросил:

— А хотон большой?

— Кибиток пятнадцать.

— Ну уж, пятнадцать! Это тебе спьяна показалось.

Очир не обиделся, а взглянул на Эренцена с насмешкой и досадой.

— Может, и меньше, не считал. — Он поднялся, чтобы пойти к стаду, шумевшему у колодца, и на ходу

сказал: — Сколько сандаловое дерево ни жги, золы не будет...

Конец пословицы такой: «...сколько дурака ни учи, умнее не станет», но Эренцен притворился, что не знает ее.

В этот день нам катастрофически не везло: машина капризничала сверх всякой меры, шины от жары спускали воздух, в радиаторе кипела вода, выбрасывая высокую струю пара.

Под вечер мы увидели круглый буддийский храм, облепленный коричневыми плоскими мазанками.

— Бритые головы, — сказал Эренцен. — Останавливаться будем?

— Нет.

Монахи мне надоели, я насмотрелся на них до отвала, к тому же я спешил, опасаясь, что уйдет кочующий хотон.

Эренцен повеселел, заерзал на месте и вдруг огласил степь резким и хриплым воем автомобильной сирены.

Из храма высыпали монахи в желтых, оранжевых и малиновых одеждах.

Не прекращая дикой музыки, всполошившей собак в поселке за холмами, Эренцен пустил машину во всю мочь, чтобы окатить изумленных и напуганных монахов пылью с ног до головы.

Он ненавидел монахов. Его дядя, брат матери, справедливый и храбрый калмык, гоняясь за бандитами в 1922 году, заблудился в степи; он умирал от жажды, когда набрел на монастырь, но монахи, узнав его, не дали ему воды, и он умер.

Лишь затемно мы достигли небольшого озера, за которым, под бугром, находился кочующий хотон.

Эренцен еще издали принялся трубить, но, к нашему удивлению, на звуки сирены не откликнулись собаки, только птицы тревожно взметнулись из-за бугра, шумно махая крыльями. Это было странно. Мы ли ошиблись, или старый Очир подшутил над нами?..

Но вот мы увидели следы покинутого кочевья. Мы опоздали.

Я был огорчен. Эренцен утешал меня:

— Нагоним. Посмотрим, как кочевники будут устраиваться на новом месте. Тоже интересно.

Я бродил среди темных кругов, оставшихся там, где недавно стояли кибитки. Таких кругов было пятнадцать, и на каждом из них возвышалась кучка золы, которую еще не успел развеять ветер. В одном месте мне показалось, что зола не остыла, и я погрузил в нее руку. Да, она была теплая и нежная, как шерсть. Виднелись следы костров по обеим сторонам дороги; здесь проходили кочевники, бросая щепотку соли в огонь, очищаясь от горечи и неудач.

Холодный месяц освещал пустынную и бледную равнину; далеко-далеко стояли лиловые холмы, упираясь в черно-синее небо, усеянное звездами.

Совсем недавно, быть может утром, здесь звенели голоса, лаяли собаки, кричали верблюды и пахло теплым дымом очагов.

Теперь здесь было мертво и дико, над темными, как лишаи, кругами хлопотали хищные птицы.

Мне стало грустно.

Эренцен сидел на подножке машины, задумчивый и скучный. Я подсел к нему. Мы молча закурили.

— Моя мать, — сказал он, — всегда плакала, когда покидали кочевье. А отец говорил: «О чем плачешь? О вчерашнем дне, дура!..» Я долго не понимал ее слез. Но однажды мы вернулись на старое место. Сколько было радости! Я обнимал каждый кустик, точно родного человека... — Он вдруг решительно встал, влез в свою кабину и завел мотор.

Мы отъехали с километр от этого печального, разоренного места. В сентябре ночи холодные, и холод этот пресный, пахучий, пронизывающий, а нам предстояло ночевать в степи.

Вдруг ветер принес отдаленный лай собак.

Мы прислушались. Лай был явственный и несомненный.

Эренцен посмотрел на меня, я на него, и мы оба радостно вздохнули.

Вскоре показались костры, они ярко пылали в ночи, сгущая за собой сумрак, так что смутно виднелись

очертания маленьких саманных домишек. Слышны были песни.

Эренцен дал три предупредительных сигнала. Немедленно отозвались собаки громким хором.

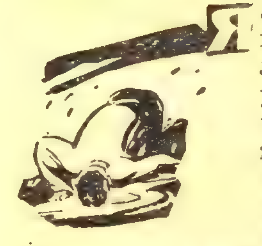
Мы остановились поодаль. Нас окружили калмыки, веселые и пьяные. Нас не спросили, кто мы, откуда, нам сразу поднесли крепкой и горькой калмыцкой водки, от которой у меня онемели ноги. За кострами пили калмыки, женщины чинно сидели на порогах своих домов.

И пока Эренцен катал детей по степи, а матери с любезной и беспокойной улыбкой поглядывали на машину, я спросил у степняков: не видали ли они, куда ушел кочующий хотон?

Они переглянулись и сдержанно засмеялись, очевидно чтобы не обидеть меня. А один из них сказал:

— Это наш хотон. Мы ждали, пока нам достроят дома. Сегодня у нас новоселье, — и единым духом осушил здоровенную чашку.

ГЛОТОК ВОДЫ



Я лежу лицом вниз, припав губами к сухой, твердой, как кость, земле. Губы мои горят, как рана, а у меня нет слюны, чтобы смочить их. Язык распух, в глотке жжет; этот соленый жар невыносим, и я слышу свои тихие стоны: «Пить, пить...» Где я, что со мной?

Я с трудом повертываюсь на спину. В темном небе блестят звезды, спокойные, далекие и безучастные.

Когда-то я уже видел эти звезды. Это было в августе 1919 года. Я лежал раненый среди высокой степной травы, полной прохлады и влаги. А звезды сверкали над степью, над которой еще не рассеялся пороховой дым.

И мне начинает казаться, что я и теперь лежу не в калмыцкой степи, а в уральской и умираю не от жажды, а от раны.

Степной холод освежающе пахнет мятой. От этого запаха мне легче, и мысль проясняется.

Когда и как это случилось? Вчера? Нет, позавчера вечером. А мне кажется, что прошло бог весть сколько времени. Вся моя жизнь представляется мне чем-то давним, и только последние сутки как будто выгравированы в моей памяти.

В нашей машине иссякло горючее. Мы застряли вдали от тракта, где-то на одной из тех кочевых дорог,

которые внезапно возникают в степной глуши, неизвестно кем и когда проложенные, и так же внезапно исчезают. Вполне возможно, мы сами проложили эту дорогу в своих долгих блужданиях.

Вдруг из бака вылились остатки воды, пропахшей бензином; эту вонючую и грязную воду (хоть бы каплю мне!) изголодавшаяся и остывающая к ночи земля мигом поглотила, возвратив легкий и быстрый пар.

Жадность земли напомнила нам, что мы тоже хотим пить; в последний раз мы пили утром соленый калмыцкий чай, надолго утоляющий жажду.

— Вот дела, — сказал шофер Эренцен, — нарочно не придумаешь, ей-богу. Поехали бы дорогой, давно гуляли бы на калмыцкой свадьбе.

Он, похоже, упрекал меня, хотя в поисках коротких путей сам гнал по бездорожью, прямиком через степь.

— Ничего, — ответил я, — ночь потерпим. Ночи холодные, легко терпится.

Эренцен обрадовался моим словам и начал подробно описывать калмыцкую свадьбу, явно стараясь возместить мне потерянные впечатления.

От холода мы спрятались в машину.

Эренцен вскоре заснул, привычно скорчившись на своем сиденье и укрывшись теплой курткой.

Я же ворочался, не находя удобного положения. Усталость, по-видимому, накапливалась медленно, и незаметно я как-то сразу и неожиданно почувствовал себя измученным, раздраженным и одиноким. Мне опротивела эта безалаберная, бродячая жизнь, которую так легко и охотно переносил мой спутник. Я был зол на весь мир; желчно перечислял я, точно обиды, все невзгоды и лишения, доставшиеся мне за два месяца.

«Ну вот, — говорил я себе с презрением, — какой черт погнал тебя сюда! Ах как интересно, как интересно! А в прошлом году, когда ты вылез на тральщике в Ледовитый океан и штормы и качка чуть не вымотали из тебя душу, тоже было интересно? Ты забыл, как дико тосковал по клочочку суши? Сколько раз ты давал себе слово: «Это в последний раз!» Не далее как весной, когда ты, как воробей, прыгал с льдины на

льдину и чудом выбрался на берег... Ах как интересно, как интересно!..»

Солнце разбудило меня. Эренцена не было, он отправился искать людей и воду, оставив меня стеречь машину.

В степи еще было свежо. Я потянулся так, что захватило дух, и, набрав полные легкие чистого воздуха, стал насмехаться над ночными привередливыми мыслями. Странно, — есть мне совсем не хотелось, и жажда была терпимой.

Я увидел перекати-поле — оно важно кувыркалось, уходя на восток. Я пошел поглядеть это кочующее растение. Оно имело форму необтянутого зонта и быстро катилось, подгоняемое суховеем, так что я еле поспевал за ним. Оно угодило в канаву, размытую, должно быть, прошлогодними дождями, и, не в силах вскарабкаться по крутому склону, изменило направление.

Когда я оглянулся, машины не было. Я не испугался, а удивился.

Перекати-поле, завлекшее меня так далеко, поспешно убегало. Я повернул обратно и почему-то взял влево.

Я шел по степи, повязав голову носовым платком. Красные полосы глины сменялись серыми полосами сморщенного вереска и колючего кустарника, более выносливого и терпеливого, нежели почва, на которой он рос, — она вся растрескалась. Кое-где сверкали солончаки, издали напоминая воду; вблизи они были похожи на отвратительные струпья. А солнце жгло, и я шатался, пьяный от жажды.

Я понимал, что заблудился, но не верил.

«Как же это так, — думал я беспомощно, — как же это ты, а?»

Мною овладело какое-то тупое, злобное упрямство; потом на меня напал страх, и я долго метался, пока не изнемог.

Тогда я сел на землю, охваченный тяжким оцепенением. Мысли мои были растерянные, бессвязные: то я собирался продолжать поиски машины, то решал идти напрямик в надежде встретить людей. Я тер рукой лоб, как бы пытаясь найти третье и самое правильное решение. Я услышал тиканье часов на моей руке и поспеш-

но завел их. Мне стало веселее с этим механическим говоруном, и я подумал: «Не оставят же меня так, наверное, будут искать. Но найдут ли?..»

Я поднялся. Наступал вечер, под красноватыми и все еще жаркими лучами солнца степь лежала бурая, безмолвная. В мертвенной тишине не было слышно ни сусликов, ни птиц. И почему-то мне вспомнился мрачный рассказ Эренцена о его дяде, который умер от жажды. Меня пробрала дрожь.

Вскоре я набрел на соленое высохшее озеро, сохранившее немного воды. Я сделал глотка два, не больше, и тотчас возвратил их с такой отчаянной болью, точно мне разодрали грудь.

Горячая, смрадная, нестерпимо горькая вода сожгла мне рот, гортань.

Что было дальше, не помню.

Я очнулся среди ночи от холода. Который час? Рука моя тяжела, я поднимаю ее в три приема: сперва пошевелил, затем согнул, наконец поднял. Часы мои идут. Я машинально завожу их, не глядя на циферблат. Я думаю о другом. Почему так? Внутри у меня огонь, а мне холодно, меня знобит.

Холод становится суше и резче. Я дрожу в легком пиджаке, поднимаю воротник, стягиваю его закоченевшими пальцами. А холод забирает все круче и злее.

Неожиданно я понял, что иду. Длинная тень моя то взбирается на серебристые холмы, освещенные луной, то спускается в овраги. Какая она длинная; я еще у подножия холма, а она уже достигла вершины. Она, как живая, тащит меня за собой.

«Вот, — говорю я себе, еле волоча ноги, — дойду до того места, где лежит ее голова, и лягу».

Вдруг мне послышались гудки автомобильной сирены. Я остановился, не веря себе.

Гудки повторились справа, протяжные и глухие.

«Это ищут меня!» — сказал я себе с невыразимым волнением.

Я кинулся навстречу этим гудкам, но они метнулись влево от меня и сделались тише. Я побежал нале-

во, тогда они пронзительно и близко раздались за моей спиной.

Эти обманчивые гудки кружили меня всю ночь, то усиливаясь, то стихая; я совсем обезумел, я бегал по степи, издавая вопли и крики, потом свалился и заплакал.

Под утро громко захохотали шакалы. Я нащупал в кармане спички и безотчетно успокоился. У меня не было сил пошевелиться. Я не спал и не бодрствовал, я грезил о воде.

Раннее солнце пригрело меня.

Как хорошо, как вольно в степи в этот утренний час, когда нет ни зноя, ни пыли, когда ковыль распрямляется и бесстрашный суслик, греясь у своей норки, посвистывает и приветливо машет мне лапкой, а по земле скользит тень птицы и я слышу широкие взмахи крыльев. На горизонте выстроились, как верблюды, серожелтые холмы, а небо такое ясное и холодное, что его, кажется мне, можно пить, как ключевую воду.

Меня разбудил зной. Как трудно поднять свинцовые веки... Глаза воспалились, и голова тупая.

В степи безжизненно и душно; лишь пыль, красноватая, раскаленная, живая, стелется, пляшет, кружится и высоко взлетает, заслоняя солнце. Она хрустит на сухих зубах, она набилась в глотку, от нее голос мой стал неузнаваемо хриплым. Я снова слышу свои стоны, протяжные, как хрипение умирающего.

Солнце показалось мне громадным и страшным, и я пошел на запад, чтобы не видеть его. Но оно нагоняет меня, и нигде нет кусочка тени, чтобы спрятать, охладить голову. Я весь пылаю, упади на меня капля — и она зашипит и испарится. Мне так плохо и так страшно, что я проклинаю день своего рождения и зову смерть.

Я увидел на горизонте озеро, я знаю: это мираж, — но вода играет, трепещет и радуется, ее блеск ослепил меня, и я, как зачарованный, иду к призрачному озеру, озеру смерти, как его называют калмыки.

Порой я ложусь на землю и жую травинку, стараясь выдавить из нее хоть каплю сока. Я слышу, как шуршит зверек, прячущийся в моей тени.

А мне куда спрятаться? И потом, если я спрячусь, меня не найдут.

— Иди, иди! — бормочу я, отталкиваясь обеими руками от земли. Но она притягивает меня, как магнит железо.

Тело мое грузное, неповоротливое, обвисшее.

И снова вечер, и снова ночь, но холод меня не терзает. Я не могу дотронуться ни до лица, ни до рук — все обожжено солнцем, а внутри у меня все сжалось, ссохлось. Меня больше не мучает жажда, меня мучает предсмертная тоска.

В лунном свете раскинулась степь, как бы усеянная серыми печальными руинами: по склону оврага ползет темный кустарник, напоминая стадо овец.

«Надо перебраться туда, — говорю я себе. — Там сейчас не так холодно, а утром будет не так жарко. Я спасусь от солнечного удара».

Сперва ползу на четвереньках, затем встаю.

Я оступился и долго падал, цепляясь за терновник, израневший мне лицо и руки.

Я лежу на дне оврага.

Тихо стучат часы. Внезапно я замечаю блеск воды на своей руке; я прильнул губами к холодному стеклу на часах, но оно теплеет.

Мне чудится, будто я у себя в комнате: лампа под абажуром, во мгле поблескивают корешки переплетов на книжках; за окном душная ночь. И на столе чайник, простой никелированный чайник, до краев наполненный водой.

Я пью, без конца пью...

Светает. Я слышу, как идет ветер надо мной, с шелестом приминая кусты и травы. Пахнет песком.

«Надо воспользоваться короткими часами прохлады, надо идти», — говорю я себе.

Сколько времени я шел? Я шел и падал, падал и подымался, и каждый раз мне казалось, что я уже не смогу встать.

Горит степь, я чувствую запах гари. А солнце — не одно, три солнца с разных сторон посылают в пространство свой удушающий и равнодушный зной.

Меня окружают родники; куда бы ни взглянул, везде вода; я умираю вовсе не от жажды, а оттого, что не могу ее утолить.

Порыв ветра принес влажный и горький запах осоки. И когда я притащился на бугор, то увидел реку. Она лежала неподвижная и пустынная, подернутая сумраком, который не могли рассеять солнечные лучи; на берегу, подле ветлы с дрожащей серебристой листвой, толпились темные фигуры; старик покачивался в лодке среди камыша.

Я побежал, я хотел крикнуть, позвать на помощь, но силы оставили меня.

«Мираж, — подумал я, — это мираж», — и опустился на траву, не чувствуя и не помня себя.

Надо мной склонилась мать.

«Какой ты незадачливый, мой сын, — говорит она, перебирая мои спутанные волосы. — Погнался за диким растением, как мальчишка, потом пошел искать несуществующее озеро. Ну разве так можно? Встань, встань!»

«Мама, я умираю», — говорю я.

Вдруг кто-то сказал низким мужским голосом:

— Ишь ты, как истомился-то парень!

Я увидел старика с белой бородой и участливыми глазами.

— Это тебя, должно, ищут, другой день ищут, — продолжал он, бережно поднимая меня.

— Кто ты?

— Перевозчик от колхоза, — ответил старик, обнимая меня за плечи и поддерживая. — Мосток у меня снесло. А кладбище акурат напротив. Вон старую Лукерью несут. Девяносто годков прожила, на небо в самый раз пора.

Я потерял сознание.

Очнулся я от прикосновения влаги к моему лицу. Я увидел себя у самой реки. Я рванулся к воде и погрузил в нее свое лицо. Кто-то удерживал меня за шиворот.

Я пил, как буйвол, я отрывался от воды, но лишь затем, чтобы передохнуть. Мутная и теплая, она наполняла меня счастьем. В ней колебалось мое отраже-

ние — изнуренное лицо, распухшие губы и седые волосы.

«От пыли, от пыли», — подумал я.

— Будет, будет, не повредиться бы тебе, парень, — говорил старик, насильно оттаскивая меня от реки.

Я сопротивлялся.

— Пантелеич! — позвал кто-то. — Где ты, старый черт? Лодка отшвартовалась. Покойницу привезли.

— Подождет, — ответил старик сердито. — Не до мертвого, гляди-ка, чего с живым деется!

Меня окружили русские и калмыки. Я стоял на коленях подле воды, не смея отодвинуться от нее.

— Ты, милый, в себя приди. Нельзя много сгоряча, — сказала мне женщина строго.

Я ни за что не хотел уходить от реки. Тогда старик зачерпнул в свой картуз воду и подал мне.

— Ты помаленьку, помаленьку, — сказал он. — Уж раз не привелось везти тебя на тот берег, стало быть, гостем будешь. Я быстро справлюсь. — И он оттолкнулся от берега веслом. — А картуз, не беспокойся, пообсохнет, ничего с ним не станется, — крикнул он с реки.

Сильно пахло осокой, река жмурилась под туманными лучами солнца; на пригорке шумели сосны, пели птицы, с всплеском ворочалась рыба в камышах, и люди разговаривали.

А мне чудилось, что я покачиваюсь на носилках, как тогда, пятнадцать лет назад, когда меня подобрали в уральской степи.

Я смотрел на этот прекрасный мир и радостно плакал.

1940

РАЗДУМЬЕ и ЛЮБОВЬ

СТРОИТЕЛЬ МИРОНОВ

Нет, весь я не умру — душа
в заветной лире
Мой прах переживет и тленья
убежит...

А. С. Пушкин

1. ПОСЛЕДНЯЯ НОЧЬ В ТАЙГЕ

Как только стемнело, все ушли, чтобы уезжающим можно было пораньше лечь. Но Василий Андреевич Миронов почувствовал вдруг тягостное беспокойство. Самолет улетал на рассвете, а еще только вечер.

В вершинах тайги еще не угас зеленый свет заката, а внизу, у черных стволов кедров и пихт, уже началась ночь. Тайга протяжно и гулко ревела, как река в ледоход, а серая березка под окном гнулась, совсем обтрепанная, и листья кружили над ней, как стая птиц.

Василий Андреевич достал из портфеля свой доклад, приготовленный для Москвы, чтобы еще раз на досуге почитать и подумать над ним.

Старая Петровна принесла ему крепкого чая.

— По такой погоде лететь — упаси бог, — сказала она озабоченно. — Может, переждешь, Василий Андреевич?

— К утру стихнет.

— Дай-то бог. Ну и буря! Теперь деревья неделю падать будут. И всё которые покряжистей. — Она вздохнула, видимо подумав о чем-то своем. — Чай-сахар куда положить?

— Не надо. Отнеси лучше своему старику. — И почему-то спросил: — Ну как он? — хотя знал, что никаких с ним перемен произойти не могло.

Еще весной, при прокладке последних километров дороги, десятника Арефьева зашибло деревом. С тех пор этот сильный и крепкий человек быстро захирел.

— Плох, совсем плох, не встает, — сказала Петровна печально. — «Скоро, говорит, помру, родные места, говорит, снятся. Это к смерти». А какой был ладный! Поверишь, девять лет с ним прожила, а точно один день — худого слова не слыхала, а только «Марьюшка» да «Марьюшка». Бывало, спозаранку хватит кружку наперченной водки и пойдет до ночи топтать глину. А ночью вернется—усталый и ласковый. Только и скажет: «Марьюшка, сапоги-то посушить не забудь». Он и приветит и ублажит...—Глаза ее сквозь набежавшую слезу блеснули нежностью.

Василий Андреевич впервые увидел, что она совсем не стара и даже хороша собой. Что мог он сказать ей в утешение? Немало жертв взяла эта суровая таежная стройка. Да и он, Миронов, уже не тот, каким был два с лишним года назад, когда приехал сюда. Ему тогда нипочем были лишения и невзгоды бродячей жизни.

Здесь в ту пору была дикая, косматая тайга с непролазным буреломом, тянущимся на десятки километров. Кругом были болота, кишащие мириадами комаров, тучами видимой и невидимой мошкары, от которой черно в воздухе, и топи, предательски замаскированные ароматной осокой, поглощающие человека мгновенно и бесследно.

Петровна спохватилась, что мешает Миронову работать.

— Уж прости, Василий Андреевич, бабью-то болтовню горькую, — сказала она смущенно.

— Ничего, ничего, Марья Петровна! Все мы люди и все без горя не живем, — сказал он мягко.

Василий Андреевич походил задумчиво, большой, плечистый, с серыми усталыми глазами и заметно поредевшими, пронизанными сединой, мягкими волосами. Потом сел к столу, отхлебнул глотка два чаю и стал читать свой доклад.

«Экономически, географически и политически лучшей площадки для строительства металлургического комбината не найти». Дальше шли цифры и факты.

Внезапно Миронов почувствовал усталость. Он поднялся, потянулся и вышел в соседнюю комнату посмотреть мальчика по имени Яграй, которого увозил с собой.

Обычно мальчик спал чутко и неслышно, как птица. Но сегодня он и не укладывался, а сидел на кровати, уставясь в окно чуть поблескивающими в сумраке раскосыми глазами. Его темное скуластое лицо казалось неживым.

Березку под окном совсем пригнуло к земле, — казалось, ее вот-вот сломает, и видно было из окошка, как бешено несутся в небе облака.

— Какой ветер! — сказал Василий Андреевич.

Мальчик внимательно прислушался.

— Это ветер недолго, Андреич, — сказал он, по-своему коверкая русские слова.

— Ты думаешь?

— Моя охотник. Это ветер идет в сопки.

Ветер дышал прерывисто и бурно, как будто действительно шел в гору, изнемогая на подъеме.

Мальчик сидел сосредоточенный и молчаливый.

— Ну чего ты? — спросил Василий Андреевич и потрепал его по плечу. — Я летал много раз, это не страшно.

— Может, страшно, может, не страшно, — ответил мальчик равнодушно.

Василий Андреевич понял, что мальчик думает совсем о другом.

Весь день Яграй одиноко бродил по тайге, прощаясь с ней, а вечером, когда заходящее солнце озарило ее сумеречным красноватым светом, он запел. Пел он о том, что отец, умирая, оставил ему охотничьи силки, старенькое ружье и больную мать; ее подмял на охоте медведь, и она разучилась двигаться и говорить. Пел он о том, что кормил и поил свою больную мать, пока она не покинула землю, чтобы светить звездой в небе; и тогда он похоронил мертвую под неумолчной сосной, чтобы она слышала, о чем думает лес. Пел он и о том,

что сроднился с Андреичем, который умнее любого шамана, и теперь покидает с ним тайгу. Но он, Яграй, положит в сапоги немного таежной земли, чтобы ноги его никогда не сходили с нее.

Василий Андреевич слышал эту грустную песню и теперь захотел утешить мальчика.

— Время, брат, быстро пройдет, — сказал он, снова положив ему руку на плечо. — Я когда матросом был, все степь вспоминал, а как вернулся в степь, никак море забыть не мог. Поучишься, станешь летчиком, а там и обратно вернемся с тобой.

— Приедешь? — спросил мальчик порывисто.

— А то как же. Сам же меня и повезешь. Махнем мы с тобой тогда на охоту по первой пороше. Хороша здесь эта пора, воздух и тот розовеет от мороза... И далеко все видно и слышно. Ну, Яграй, ложись-ка спать.

Мальчик молча кивнул и улыбнулся.

2. НОЧНОЙ ЧАС

Часы показывали начало двенадцатого, когда Василий Андреевич лег и погасил свет. Ему казалось, что стоит ему лечь, как он немедля заснет. Но он вспомнил, что последнее письмо от жены получено недели три назад и шло оно долго, а дочка только-только поднялась после крупозного воспаления легких. Он представил себе Варюшу — длинного, угловатого подростка с русыми косичками и светлыми глазами — и тотчас возникла Вера, высокая, статная с милой своей привычкой слегка щурить большие темные глаза. Он никогда не представлял себе жену и дочь порознь. И беспокойство его превратилось вдруг в тревогу, в ночную тоску. Он ворочался, думал, вспоминал, а сон уходил от него все дальше и дальше.

За окном шумела тайга, точно ливень, который то стихал, то вновь расходился. И, перекатываясь по железной крыше, ветер вдруг затягивал в дымоходе гнусавую песню с глухим посвистом и подвыванием. И сумрак в комнате был какой-то густой, непроглядный, пахнущий печным теплом, тогда как за окошком легко

различались во мгле раскачивающиеся вершины деревьев, над которыми дымился туман.

Немало бессонных ночей провел Миронов в работе и раздумье. Но никогда не было с ним ничего подобного: его мучила бессонница навязчивыми, вздорными и страшными мыслями. Он ни о чем не хотел думать, он хотел спать, а не переставал думать.

Два с лишним года назад, получив назначение начальником новостройки, он принужден был поехать один, без семьи.

Жена решительно заявила ему, что пора наконец осесть, что Варюша слаба здоровьем и не может менять школу каждые два года и что Борису, их приемному сыну, надобно кончать институт. О себе она ничего не сказала, но и без слов понятно было, что ей надоела кочевая, «таборная» жизнь. Впрочем, чтобы оправдать свое нежелание поехать с мужем, Вера Григорьевна вдруг вспомнила, что в годы юности она ушла с первого курса медицинского факультета. В тридцать пять лет ее вновь потянуло к учебникам.

Василий Андреевич не стал ни спорить, ни настаивать. С горьким чувством признался он себе, что Вера охладела к нему, а он любил ее по-прежнему сильно.

Трудно пришлось ему в первый год жизни в тайге без семьи.

В эту пору как раз он встретил Яграя. Мальчику было тринадцать лет, а выглядел он много старше. Держался он взросло, но не развязно и даже застенчиво. Его православное имя было Егор, по-эвенкски Яграй. Он пристрастился к шахматам, которые показал ему Миронов. Но играл мальчик странно, как будто игра эта была не чем иным, как обыкновенной охотой на короля противника. Он старался запереть, поймать в капкан этого самого короля, а выражаясь шахматным языком — «дать пат». Когда мальчику это удавалось, он испытывал явное удовольствие, попыхивая черной трубкой с прямым чубуком. Желтое лицо его покрывалось слабым румянцем, а глаза еще больше косили и блестели.

Как-то однажды, отмахиваясь от табачного дыма, Василий Андреевич сказал мальчику, что зря тот смо-

лоду коптит себе грудь. Мальчик выслушал его, сосредоточенно уставясь ему в лицо, потом спросил:

— Моя курить не будет — хорошо?

— Конечно. Я для того и говорю тебе.

Тогда Ягрaй достал из кармана кисет с табаком, положил на стол, подумал и прибавил свою трубку.

На лето к Миронову приехали жена и дочь. Ягрaй называл их «Варуша большая» и «Варуша маленькая», робел перед большой и снисходил к маленькой.

Уже тогда Василий Андреевич задумался, как быть ему с осиротевшим мальчиком, когда настанет время уезжать из тайги. Он не решался заговорить об этом с Верой, памятуя, как тяжко далось ей воспитание первого приемыша — Бориса.

Прошел еще год. За это время Миронов совсем не видел своих близких. Он снова подумал, что его от семьи отделяют тысячи верст и что до рассвета еще далеко... Он чиркнул спичку — шел все тот же двенадцатый час.

«А заснуть надо, — сказал себе Миронов. — Не то завтра будет тяжесть и боль в голове».

На какой-то миг все вдруг смешалось и потускнело в сознании Миронова, а шум тайги отдалился и даже начал постепенно затухать. Василий Андреевич увидел себя с папиросой в зубах, а так как он знал, что это происходит во сне, то проснулся с удивительным ощущением табачного запаха. И сразу в комнату вошел лесной рокот.

Врачи запретили Миронову курить, они признавали у него больное сердце и гипертонию. Но он не признавал себя больным. Они советовали ему избегать волнений. Но так как избежать волнений было невозможно, ибо нельзя перестать работать, думать и жить, то Василий Андреевич начал избегать докторов. И все-таки ему пришлось уступить им, после того как с ним однажды сделалось плохо и он принужден был слечь на неделю.

Бросить курить оказалось делом крайне мучительным. Василий Андреевич внезапно обнаружил, что с табаком, с папиросой, с махорочной цигаркой связаны воспоминания всей жизни: раннее учение у кузнеца,

который заставлял малолетнего подручного выпивать одним духом стакан водки, приговаривая при этом: «Пей, пей, я из тебя ее опосля по́том выгоню»; служба минера второй статьи в царском флоте с ее муштрой и трудом; партизанский отряд; бессонные ночи рабфаковца с желтыми от самокрутки пальцами; наконец, неутомимые, многолетние скитания строителя Миронова.

Василий Андреевич снова зажег спичку — все еще тянулся нескончаемый двенадцатый час. А тайга без умолку рокотала, гудела, и гул ее был ровный и непрерывный; казалось, где-то близко, совсем рядом, шумит водопад.

И опять навязчивые, бесцельные ночные думы, вдруг превратившиеся в сновидения.

3. ПОЛЕТ

Но вот и ветер присмирел и повернул на запад, ленивый, предрассветный ветер.

У крыльца трубила машина. Когда Василий Андреевич вышел, со скамейки возле березы поднялся пожилой, бородатый лесоруб. Он прибежал проститься с Мироновым, но слишком поздно и просидел до рассвета на скамейке.

В рассветном сумраке береза стояла в куче своей опавшей листвы, как цапля на одной ноге, стояла смирно и неподвижно, лишь подрагивая и шевеля тонкими кривыми ветвями, на которых не осталось ни листочка.

Василий Андреевич потрогал ее — она была сухая и холодная.

— Скоро зима, Пантелей Иваныч!

— Да, близко, —подтвердил лесоруб. — Чай, вернешься, Василий Андреич?

— Не знаю еще.

— А ты гляди возвращайся! Места здесь любезные, а делов чертова пропасть. Ну, в добрый час...

После ночной бури в тайге было тихо, с легким шелестом дрожал рыжий малинник, прячась в кольце легшей крапивы, покрытой крупным инеем, да похру-

стывали корни расшатанных деревьев, отрываясь от земли. Вдруг где-то поблизости, со свистом рассекая воздух, повалилось дерево, за ним другое, тайга наполнилась хрустом, скрежетом и тяжелым гуканьем падающих деревьев.

Машина шла по шоссе, оставляя позади городок, еще пахнущий свежей древесиной, вереницей бежали навстречу телеграфные столбы, отливая костяным блеском. Василию Андреевичу вспомнилось: здесь вот котлован затопило весенней водой, а там дорогу размыло. Миронов с грустью смотрел на покидаемые им места.

На поляне, на свалявшейся, как шерсть, седой траве, широко раскинув белые крылья, застыла птица. Ядрай дважды обошел ее с боязнью и тревогой, не без опаски взбежал по железной лесенке следом за Мироновым, сел в кресло и сомкнул дрожащими пальцами широкий брезентовый пояс. Он делал все так, как Миронов. Его желтое лицо заметно побледнело. А когда с треском завертелся пропеллер, он закрыл глаза и не открывал их, пока самолет не взвился.

И тогда он увидел, что самолет летит над солнцем, окрасившим ранним румянцем необозримую тайгу. А тайга потеряла свои могучие очертания и уменьшилась, казалось, до размеров кустарника. Мальчик вдруг запел.

Василий Андреевич испытал странный гул и жар в голове, когда самолет побежал по поляне, набирая скорость. Но как только земля оторвалась и ушла вниз, Василий Андреевич почувствовал необыкновенную легкость и прохладу.

Начиналось ясное утро, все вокруг было спокойно и просторно. Далеко внизу проплывала красновато-бурая тайга, и река блеснула, как обнаженный клинок, а на горизонте вырастали синие тучи.

Глядя на эту ширь и эту даль, Миронов вдруг с радостью подумал о море, о котором в последнее время часто вспоминал.

«Старею, старею», — подумал он, веря в примету, что раз человек начинает часто вспоминать прошлое, значит, стареет. И вдруг решил, что на этот раз обя-

зательно пойдет в отпуск и побывает в родных местах.

Тучи, до которых, казалось, очень далеко, проступили совсем близко, рисуясь, словно горы, снежными вершинами. Самолет окунулся в сырую мглу, стекла запотели, сделалось серо и холодно, началась болтанка.

И опять Миронов испытал гул и жар в голове, когда самолет пошел на посадку и земля вдруг встала дыбом, стеной до небес.

4. ВОТ И ДОМА

В Москве был дождь, клубилось низкое небо и пахло гарью, той гарью, которая обычно ощущается в сыром осеннем воздухе поблизости от заводского дыма, прибитого к земле.

Еще издали Василий Андреевич увидел жену, высокую, стройную, и чуть прищуренные глаза ее вдруг широко, радостно раскрылись, отчего поднялись, изогнулись длинные, узкие брови, придав ее красивому лицу знакомое и милое выражение приветливости и доброты.

А рядом с ней, как и представлял себе Миронов, стояла Варюша с вылезшими из-под синего берета косичками, от которого светлые глаза ее тоже стали синими. Она бросилась к отцу и повисла у него на шее.

У Веры были холодные от дождя и соленые от слез губы, и эти ее слезы до боли тронули Василия Андреевича.

Борис стоял впереди тестя с непокрытой головой, в кожаном пальто и сапогах, его волосы намокли от дождя и закрутились в кольца, а на смуглом худощавом лице его с резко очерченными желваками скул смеялись и сияли глаза, устремленные на Миронова.

— Поздравляю,—сказал ему Василий Андреевич.— И диплом с отличием, и наследник отличный. И все в один год. Урожайный год. Поздравляю. — Они обнялись. — А Валя где?

— Кому-то нужно было остаться дома хозяйничать, — отвечал Борис с этой своей открытой улыбкой в лице и в глазах.

— А малыш?

— С тещей. Его уже завтра увидишь. Я так рад, что ты приехал, дядя Вася, — и сказать не могу. А ребенка я и сам сегодня не видел. С утра мотаюсь. То говорили — погода у вас там нелетная, а то сказали — из-за тумана приземлиться нельзя будет и посадка будет километров за сто от Москвы.

— Насилу к вечеру угомонилось, — вставил тесть своим густым голосом и сильно окая. — А то ведь и не знали, куда ехать, где встречать-то тебя. Ну, с приездом, Василий Андреевич!

— Спасибо, Григорий Федорович! — отвечал Миронов, целуясь с тестем по старому русскому обычаю троекратно. — Ну как дела? — спросил он, приятно пораженный, что тесть, несмотря на свой возраст, покинул излюбленное теплое место у камина в такую ненастную погоду.

— Ничего дела. Скрипим понемногу. Да и какие у нас дела? Свое-то я уж, чай, отбыл. Вот внучку замуж выдам, и на покой можно, — говорил Григорий Федорович, с удовольствием отмечая про себя, что от зятя пахнет можжевеловым холодком, «приятным лесным духом».

Когда-то Василий Андреевич не признавал тестя, богатого лесопромышленника. Григорий Федорович тоже не признавал зятя, именуя его не иначе, как варвар. Но с тех пор, как тесть обеднел, — а случилось это уже после революции, — состарился и, похоронив жену, поселился у дочери, Миронов забыл прошлое. А ведь ему и сейчас приходилось иногда давать кое-где объяснения по поводу некогда богатого тестя.

Теперь старик частенько искал покровительства у зятя, отзываясь о нем по своим понятиям крайне лестно: «С его умом-то да смекалкой быть бы ему в другое время миллионером».

Ядрай стоял совсем оглушенный, забытый всеми. Миронов вспомнил о нем, но Борис опередил Василия Андреевича. Он понимал состояние мальчика среди чужих людей и непривычной обстановки.

— Ну как тебе леталось? — спросил он Ядрая.— Не страшно было?

Мальчик подумал немного, уставясь в лицо Борису косящим и напряженным взглядом, потом сказал:

— На медведя первый раз шел — тоже страшно было.

Тут Варюша обхватила его за шею и, потянув его голову вниз, к себе, стала допытываться, привез ли он ей живого медвежонка, как обещал когда-то.

Мальчик не выпускал из рук свой мореный сундучок, в котором кроме чудодейственных трав и кореньев, собственноручно вырезанных из дерева шахмат и белья хранились подарки для обеих «Варуш». С недоумением и растерянностью смотрел он на все, что его окружало, на людей, особенно на старика, у которого было совсем безволосое лицо, как у какого-то скопца или старой бабы, и полный рот золотых зубов.

— Ай-яй-яй, — сказал мальчик, неодобрительно качая головой, — так много золота, так много золота...

Старик изумленно взглянул на него и помрачнел.

«Не надоело... делатель людей! Еще одного привез, да еще раскосого, прости господи!» — подумал он сердито, не замечая того, что переносит свою неприязнь с «раскосого» на «делателя людей».

Все пошли к выходу.

Сквозь кисею дождя от синеватых неоновых трубок исходил глухой, безжизненный свет, придавая людским лицам мертвенную бледность, и это встревожило Ядрая. А когда он увидел в глубине улицы какие-то толстые чудовища, над которыми с проводов осыпались молнии, он вдруг поставил свой сундучок, сел на него и закрыл лицо руками.

— Что ты! Это ведь машины. Они не живые, — заботливо сказал Борис и положил ему руку на плечо, точь-в-точь как это делал Андреич.

Мальчик почувствовал к нему еще больше доверия.

— Ладно, ладно, — сказал он, отнимая руки от лица.

Потом все уселись в машину, полученную Мироновым в дар за какую-то стройку; на заднем сиденье поместились Миронов, Вера Григорьевна и старик. Варюша села к отцу на колени, то и дело поворачивая к нему лицо и что-то по-детски торопливо щебеча.

— Это я привез вам дождь, — сказал шутливо Василий Андреевич.

— Уже две недели, как мы не видим солнца, все дождь и дождь, — сказала Вера Григорьевна.

— Я видел солнце сегодня утром. У вас тут была в это время ночь.

— А мы не спали, — поспешно сказала Варюша. — А мы по карте смотрели, папка, как ты летишь. Утром ты был в Свердловске.

— Милые вы мои! — сказал Василий Андреевич нежно и, обняв жену и дочь за плечи, прижал их к себе.

— Папка! — сказала вдруг Варюша. — А наша мама на «Скорой помощи» работает.

— Ну?! — удивился Миронов и тут же подумал, что удивляться нечему, Вера никогда не любила сидеть сложа руки.

— А, пустяки! Прохожу практику, — сказала Вера. — Я ведь уже на четвертом курсе, — добавила она с гордостью.

Откинувшись на спинку дивана, дремал Григорий Федорович, утомленный длинным, суетным днем.

Борис плавно вел машину, она катилась, шурша на мокром асфальте, покрытом золотой паутиной лучей, в глубине которой, точно пауки, покачивались отражения зажженных фонарей.

А сидевший рядом Яграй не сводил восхищенных глаз с Бориса, который так ловко управлял машиной.

5. В СЕМЬЕ

Стол был празднично накрыт. Осенние цветы — сухие астры разных, но блеклых тонов и белые хризантемы с длинными, как будто кручеными лепестками — привлекли внимание Яграя.

— Таких, брат, цветов у нас там нету, — сказал ему Василий Андреевич.

И потому, что Андреич сказал «у нас», а не в тайге, мальчик почувствовал себя не таким одиноким. А когда его и Варюшу, не отходившую от отца, Миро-

нов посадил рядом с собой, мальчик и вовсе расцвел. Раньше он сердился, что Андреич не обращает на него внимания, а теперь вдруг обо всем забыл и только смотрел на него с любовью и привязанностью.

Утомленный с дороги, Василий Андреевич ел мало, а пил и того меньше и почти не разговаривал. Оттого, что он был дома, в кругу своей семьи, и видел на всех лицах радость, оттого, что все вокруг было по-старому неизменно — тот же старинный камин, затопленный по случаю непогоды, и огонь играет в потемневшей бронзе украшенных резными фигурками железных решеток; тот же коричневый кожаный диван с вышитыми подушечками, прикрывающими его непоправимую ветхость; та же люстра с гранеными стеклянными подвесками, отливающими синеватым пламенем, как горящий спирт, — от всего этого у Василия Андреевича появилось ощущение покоя, как будто он и не уезжал из дома.

С улыбкой слушал он слегка захмелевшего Бориса, посматривал на Валю, чем-то озабоченную, поглощенную какими-то своими мыслями, и, видно, далеко не веселыми. Потом перевел глаза на жену; она была молчаливая, какая-то усталая, даже печальная, как это бывает после долгих тревог благополучно разрешившегося ожидания. Волосы у нее были зачесаны по-новому, высоко, и собраны на затылке в сетку, открывая маленькие, нежные уши. Эта новая прическа придавала ей что-то незнакомое, чуждоватое, впрочем исчезнувшее, как только она заговорила своим грудным, низким голосом.

Тесть, сидевший поодаль, на другом конце стола, порой вставлял замечания своим окающим говором.

Внезапно Яграй, показывая на пухлые, ленивые, барские руки Григория Федоровича, громко сказал:

— Смотри, Андреич, какие руки, — как у шамана руки...

Старик сначала не понял, о чьих руках речь идет, а поняв, смутился.

— От умственной работы мозолей не наживешь, — проговорил он вразумительно и сердито.

Миронову показалось забавным, что тесть называет

умственным трудом дело, которым всю жизнь занимался руками архангельских лесорубов и двинских сплавщиков.

Василий Андреевич усмехнулся.

Видимо разгадав его усмешку, старик с внезапным раздражением начал объяснять:

— Пока делянку обойдешь да на каждом дереве отметинку сделаешь, чтоб рубили не ниже и не выше, — шутка ли, копейка рубль бережет, — а к вечеру до того тебя разломит — ног не чуешь, кости трещат, живого места на тебе нету... А главное — мозгом утомишься... Вон ведь что.

Мальчик подумал, что старик, должно быть, тоже строил дороги, раз лес рубил, и стихийная неприязнь его улеглась.

Потом Борис отвез Валю домой, к ребенку, а сам возвратился, чтобы поговорить с дядей Васей. Ему не терпелось сказать то, о чем он уже писал Миронову. В прошлом году, готовясь к диплому, Борис побывал в геологической разведке как раз в районе мироновской стройки. Собранный геологами материал подтверждал правоту Миронова. Металлургический комбинат надо строить именно на выбранной Мироновым площадке — и руда под боком, и уголь рядом.

Василий Андреевич слушал Бориса с улыбкой, смотрел на него и думал: до чего, однако, похож парень на своего отца — и лицом, и голосом, и неторопливостью речи; закрыть ежели глаза, и никакого сомнения не станет, что это говорит Алексей Иванович Балашов, политком полка, верный друг, павший в девятнадцатом году под станицей Урюпинской. Миронов подоспел, когда Алексей уже кончался. Он был ранен в грудь навылет; изо рта его шла кровь, глаза останавливались и тускнели. Василий Андреевич скорей угадал, нежели услышал последние его слова: «Жена и сын в Луганске. Найди!»

Жену его Миронов не нашел, она умерла от тифа, а сына отыскал несколько лет спустя в захолустном сиротском доме. Это был маленький, черномазый заморыш, который долго всех дичился, дважды убегал из дому беспризорничать.

«А вон какой стал!» — с добрым чувством подумал Василий Андреевич, а вслух сказал:

— Спасибо, Боря! Много весит вовремя сказанное слово. Только, к сожалению, в суде свидетельские показания сына в расчет не принимаются. — Он вдруг подумал, что в самом деле ему предстоит нечто вроде третейского разбирательства его проекта, у которого немало противников, чьим доводам нельзя отказать ни в чем, кроме смелости. А недостаток смелости в наши дни, подумал он, — это недостаток совести. — Ну, а твои как дела, Боря? Кури, кури! — сказал он, видя, как Борис достает папиросу. — Мне табачный дым больше не мешает. Я даже стал реже видеть себя во сне курящим.

Но Борис только повертел папиросу в пальцах, помял ее и отложил.

Тетя Вера, прибрав на столе, укоризненно и недовольно косилась на Бориса.

— Дал бы ему отдохнуть с дороги, Боря! — И тут же добавила, обращаясь к мужу: — Ты спрашиваешь, Василий, как его дела. Коротко: собирается туда, откуда ты приехал. Окончил Нефтяной институт с отличием, чтобы поехать к черту на рога.

— Вот как?! — удивленно и вместе с тем радостно молвил Василий Андреевич.

— Такой же неугомонный. Можно подумать, что это у него наследственное, — сказала Вера Григорьевна с оттенком досады. — Будь он один, тогда, конечно, он волен поступать как ему угодно. Разумеется, он мог бы устроиться лучше. Но это его дело. Мечтатель, фантазер, ни капли практического толка. — Она повернулась к Борису, странно сжавшемуся в кресле, точно ее слова причиняли ему физическую боль. — Я тебе уже говорила. Ты не один. У тебя жена, крохотный ребенок. Необходимо подумать о них.

— Но ведь я, тетя Вера, раньше сам съезжу, — пробормотал Борис. — А уж потом, когда устроюсь, весной...

— А весной там уже рай будет? — перебила она его. — Кому ты это говоришь? Я-то ведь хорошо знаю тамошнюю жизнь. Глушь, бараки, грязь... И везде за-

ключенные. Утром выйдешь — ни тропинки, ни следов, все начисто замело. Газеты на восьмые сутки, музыка только по радио... — Она говорила отрывисто, раздраженно, и лицо ее сделалось злое, упрямое и непреклонное.

Никогда она еще так резко не разговаривала с Борисом на эту тему. Борис не знал, что подумать.

Миронову послышалось в ее словах что-то очень горькое, — похоже, она говорила о себе.

— Ну что ты, Веруня, ты преувеличиваешь, — сказал он возможно мягче, щадя ее болезненное самолюбие. — Конечно, трудновато будет Вале на первых порах. И нам нелегко было. Не так-то просто было на пустом месте создать город Тайгинск. — И с заблестевшими глазами он перечислил, что именно создано: две школы, больница, клуб, парк, библиотека, кинопередвижка, шоссе протяжением четыреста два километра. И взглянув на Бориса: — А ты, Боря, молодчина! Не каждый на твоем месте отважился бы на это...

— Ты ведь отважился, дядя Вася! — сказал Борис.

— Не много нужно отваги, чтобы решать за другого, — сказала Вера Григорьевна с грустью. — Худший вид эгоизма... Под прикрытием громких фраз о долге, общественном служении приносить в жертву других... Ну, и себя, конечно.

И опять Миронову послышалось в ее словах, в интонациях голоса что-то личное, что-то похожее на упрек.

«Не ей упрекать меня», — подумал Василий Андреевич с внезапно вспыхнувшим нехорошим чувством, вспомнив два года, прожитые в тайге, без семьи, без ухода, в одиночестве и неустроенности. В зимние ночи, бывало, когда лес трещал от стужи, окутанный снежным дымом, и месяц в морозной радужной короне, то появляясь, то вновь исчезая, нырял в студеной мгле, Василий Андреевич особенно больно тосковал.

— Ну что ж, — сказал он все же сдержанно, — кто-то должен поступиться... Там жизнь нелегкая, это верно. Но ведь кому-то нужно жить сегодня так, чтобы другие смогли завтра жить в благополучии.

Он встал, прошелся по комнате, остановился у ок-

на, поглядел на желтое, мглистое небо и вдруг подумал, что, если утвердят его проект, он сразу вернется обратно в тайгу и даже отложит свою поездку к морю до лучших времен.

— Когда строят дом, — сказал он негромко, снова усаживаясь на свое место, — сколько вокруг мусора, нечистот, грязи. Зато когда построят, сколько в нем простору, света, воздуха. Это не надо забывать. Нельзя сегодня оградиться своей личной жизнью: дескать, моя, и никого в нее не пущу. Все мы нынче живем большой, общей жизнью. Весь народ, государство... А государство наше — это народ.

— Но почему, — спросила Вера с оттенком досады, — почему простую заботу о человеческой личности считают себялюбием, эгоизмом, чуть ли не шкурничеством? Я этого не понимаю. — И вдруг подумала, что Миронов, перечислив все, что построено в Тайгинске, забыл про жилища. Случайно ли?

Миронов улыбнулся:

— В войну не спрашивают, а приказывают. А наше время почти военное. Беда, когда отстаешь от времени.

Вера удивленно посмотрела на мужа и ничего не ответила. Ее всегда подавляли эти большие, гулкие слова, от которых веяло благовестом. Она терялась, не находя нужных слов для ответа. Слова приходили потом, когда она оставалась наедине со своими мыслями. Но про себя она все же и сейчас подумала: о какой войне он говорит? С кем? С ней, что ли, или с заключенными, которых полно на стройке? Так ведь они люди покорные, безгласные, безответные...

Борис не вмешивался в разговор, понимая, что это они исподволь продолжают свой давний нерешенный спор. Он спрашивал себя: почему тетя Вера так резко настроена против его поездки? Разве она не видит, что смущает своим настроением Валю?

Конечно, думал Борис, тут есть и забота о нем, но еще больше тут беспокойства о собственной жизни. Она, вероятно, надеется, что, отговорив Бориса, она тем самым повлияет на Миронова, который, может быть, тоже останется в Москве.

И вдруг у Бориса проскользнула неожиданная

мысль: а может, ей просто не хочется остаться без шофера? Ведь Борис был и шофер, и механик, и электромонтер, и радиоконструктор. А время было трудное, с негласной карточной системой. Он отогнал эту нехорошую мысль, унижавшую и его и тетю Веру.

Борис ушел, а Мироновы продолжали спорить, потом легли спать.

6. ЖЕНА

Они лежали, утомленные, ощущая тепло друг друга, и это тепло наполняло обоих волнением и нежностью. Они говорили тихими голосами, словно боялись кого-то разбудить: говорили о Варюше, которой после ее болезни необходим тщательный уход, о Яграе, о старике, который, по словам Веры, нисколько не изменился за последние годы, а такой же строптивый, своенравный, по-стариковски эгоистичный и обидчивый. А обидчивый человек частенько не замечает, как сам легко обижает других. И если что прибавилось, так, пожалуй, частые его разговоры о смерти, но всегда иносказательные, как если бы это его не занимало, хотя видно было, что старик не перестает думать об этом. Василия Андреевича поразила тонкость замечания жены. Оба старались больше не говорить о Борисе и Вале. В сущности, все было сказано, и ничего нельзя было уже изменить.

И вдруг Вера Григорьевна, перебив себя на полуслове, заговорила о том, что мучило ее, и уж теперь без обиняков, напрямик. Она сказала, что невозможно дальше жить на два дома и что она устала едва сводить концы с концами. Она говорила шепотом, и слова иногда свистели в тишине. Не пора ли Миронову наконец остаться в Москве, как это делают все разумные люди? Ведь силы уже не те и здоровье не то, и довольно ему быть ломовой лошадью, которая тянет и тянет воз и которой достаются одни лишь удары кнута.

Василий Андреевич тихо засмеялся. Сколько лет живет с женщиной, а не вытравил из нее мещанской придури. Миронов не принадлежал к тем людям, кото-

рые не видят того, чего не хотят видеть. Обидное недовольство поднялось в нем против жены, испортившей ему и себе два года жизни своим эгоизмом и ограниченностью.

Его смех отрезвил Веру Григорьевну. Пожалуй, она хватила через край. После двух лет жизни врозь было глупо ставить ему какие-то требования и условия. Самое страшное заключалось в том, что она вдруг осознала, что Миронов — так она мысленно всегда называла мужа — не останется в Москве, а вернется на старую стройку или возьмет новую, и она, Вера, покорно поедет с ним, потому что не может больше жить одна, и даже бросит занятия в медицинском институте, хотя она там на отличном счету.

— Это ужасно, — сказала она, — каждый день срывать листок с календаря и радоваться, что ушел еще один день. — И вдруг заплакала, уткнувшись лицом в подушку.

Василий Андреевич понял ее слезы. Как ни пугает ее, как ни тягостна ей перемена места, но ей невыносимо одиночество. Василий Андреевич стал успокаивать ее, гладить ее вздрагивающие плечи и руки и говорить, что и он извелся в разлуке с ней, и ему невозможно жить одному, без семьи, что вот недельки через две, как решится с его проектом, они сперва поедут к морю...

Море! Он вспомнил рыбачий поселок, домик деда, добрую лайбу, летящую под парусами среди седых валов, которые ударяют в берег с пальбой и громовыми раскатами. Хорошо там теперь, в начале осени. Пахнет пресной дыней, пока не взыграют соленые морские штормы. А сколько там красок, под высоким синим небом, тускнеющим сейчас с каждым днем: лиловые, матовые или золотистые кисти винограда; коричневые широкобедрые груши, словно покрытые замшей; краснощекие яблоки; молодое, вспененное и мутноватое вино, которое пьянит быстро и весело...

Вера слушала его глуховатый голос и плакала все тише и горше. Плакала она от сознания своего глубочайшего бессилия перед Мироновым, перед этим железным человеком: он фанатически был предан делу,

которому служил, и требовал от всех окружавших его людей, чтобы и они также жили ради этого дела. И во имя этого дела он подавлял всех. Разве он посчитался со здоровьем собственной дочери, которой нельзя было ехать в тайгу? Разве он посчитался с ней, с Верой? Да, она не поехала с ним. Но за два долгих года он ни разу больше не позвал ее. Он никогда не понимал, что можно мыслить и не так, как он мыслит, и служить людям можно совсем по-другому — служить людям ради самих людей, не только ради того, чтобы они были счастливы в будущем, а ради настоящего, чтобы им и сейчас жилось хорошо.

Она продолжала плакать, а Миронов целовал ее лицо в слезах. Она, всхлипывая, отвечала на его ласки. Потом заснула.

Он послушал ее дыхание, и вдруг какая-то безотчетная тоска, даже страх сдавили ему сердце.

«Ей всегда было трудно, — подумал он, — ей всю жизнь было труднее, чем мне. Для меня все было привычно и ясно и оттого не так трудно, а ей все было непривычно и не совсем ясно и оттого очень трудно».

Глядя, как подрагивают ее веки во сне, глядя на темные тени под глазами и на первые морщинки у стареющих губ, он вспомнил, какая она была в молодости привлекательная, красивая. Она была образованная, владела языками, играла на рояле. А он был неотесанный мужлан, стеснявшийся своей грубой силы. Он робел перед ней и боялся прикоснуться к ней — не сделать бы ей больно. Злые языки утверждали, что она «пошла за комиссара», чтобы оградить богатую родню от «революционных притеснений». Но он назавтра же после свадьбы увез ее подальше, лишив ее родню всех преимуществ удачного Вериного замужества.

Вера была ему верной подругой. В годы нужды она увеличивала его скудную студенческую стипендию, мужественно бегая по урокам музыки в поношенном платье и стоптанных башмаках. Она наотрез отказалась от помощи родных, чтобы не оскорблять Миронова, и даже не поддерживала с ними связи. А когда Василий Андреевич отыскал в детском доме Бориса, Вера безропотно стала воспитывать чужого мальчишку

с озорным нравом и буйными замашками. Это было тем сложнее для нее, что совсем незадолго умер их первенец, которого задушил дифтерит.

Бережно, чтобы не разбудить жену, Василий Андреевич встал, накинул халат, сшитый к его приезду, и пошел взглянуть на Варюшу. Его томило какое-то беспокойство, то ли от бессонницы, то ли от переутомления, какое-то мрачное предчувствие.

Девочка беззвучно спала, прижавшись щекой к подушке и обняв ее тонкими, длинными руками. Василий Андреевич впервые увидел, что дочь похожа на него, и это сходство, которого он до сих пор не замечал, согрело и успокоило ему душу. Он постоял над ней с минуту и, боясь разбудить ее, на цыпочках пошел прочь.

Взглянув в окно на темное, ночное небо, он подумал о стройке, о том, что скоро там выпадет снег и надо поторопиться с транспортом. Но тут же вспомнил, что он дома, в отпуске, и нет надобности ему обо всем этом думать.

«Тогда о чем же думать, если не об этом?» — сказал он себе с иронией.

И ночное смятение, которое владело им, улеглось и прошло, и ему захотелось спать.

7. ДЕЛА И ДНИ ВАСИЛИЯ МИРОНОВА

Утром Василий Андреевич отправился в Центральные бани, с которых обычно начинал каждый свой приезд в Москву. Он с собой никого не взял, предпочитая «лакомиться» в одиночку.

Переступив порог бань, он с удовольствием отметил, что ничего здесь не изменилось с тех пор, как он был в последний раз, два с лишним года назад: крылатые амуры на лепном потолке утопали в полумраке высокого вестибюля, и благообразная тишина в комнате отдыха, и сухой, прохладный запах мыла в предбаннике, и тот же старик в застиранном халате, который ввел Миронова в кабину и, оправляя темноватую простыню на диване, услужливо сказал: «А давненько

у нас не были-с». И хотя Василий Андреевич знал, что старик его не помнит и приветливость эта заученная и небескорыстная, а все же ему было приятно от сознания, что люди вокруг него настроены благодушно и доброжелательно и что все, что они делают, они делают с одной целью — чтобы ему, Миронову, было удобно, хорошо, спокойно. И пока он шел по ковровой, мягкой дорожке, совсем голый, зажимая в руке мочалку и мыло, он видел себя в большом, оправленном щербатым мрамором зеркале. Он удивлялся тому, что так изрядно располнел, обрюзг, и еще тому, что рубцы от ран, полученных на гражданской войне, разгладились, побелели, поблекли, а вот озорной якорек, вытатуированный на груди еще в первый год флотской службы, почернел, разросся.

Густые клубы пара бродили, как живые, норовя выскочить в дверь, как только ее открывали. В горячей беловатой мгле поблескивали электрические лампы, повсюду виднелись багрово-красные, лоснящиеся, распаренные, мокрые тела, слышны были говор, смех, восклицания, звонкие шлепки, ливень под душами. А банщик проворно обрабатывал какую-то тушу в мыльных хлопьях: сперва тер толстяка коричневой мочалкой, похожей на связку ремней, сгибал ему ноги до отказа, так, что у того хрустело в коленях, с размаху шлепал по пояснице, угрожая отшибить ему почки, а намучив его большое, безвольное, разомлевшее тело, вскочил к нему на спину и стал коленями мять и месить ему бока.

«Вот бы деду такого кавалериста», — подумал Василий Андреевич с восхищением.

Бывало, дед затащит внука на полок, где от жара дух захватывало, и, отстегав мальчишку березовым веником, приказывал: «А теперь, Васька, пори деда, изо всей силы пори. Другого тебе такого случая не будет. За мной тоже не пропадет. Я на руку скорый и щедрый». И Васька с сердцем порол деда, воздавая ему за все те взбучки и подзатыльники, которые получал от него на протяжении целой недели.

У банщика были сморщенные и жесткие ладони. От него Василий Андреевич ушел расслабленный и до-

вольный, отдохнул за бутылкой пива в буфете и вышел на улицу.

Он долго не мог понять, почему люди, попадавшиеся ему навстречу, были такие хмурые, неприветливые, недовольные, пока ветер не ударил ему в лицо острой дождевой пылью.

Хотя был только сентябрь, но погода установилась такая, как бывает лишь поздней осенью,— ненастная, холодная, с моросящим дождем, ранними сумерками и бешеными порывами ветра, обрывающими желтую, поредевшую листву с деревьев.

Василий Андреевич заехал в наркомат, где его встретили очень радушно. Разговор, естественно, сразу зашел о строительстве комбината. Василий Андреевич не ожидал, что у него тут так много сторонников и что проект его так страстно занимает и волнует умы. Правда, были и противники, среди них один влиятельный начальник управления. Досадно было, что тот прямо не высказывался, даже, в сущности, как будто и не возражал против мироновского проекта, а только против его универсальности: нельзя, мол, начать разработку всего сразу — и угольных копей и железных рудников, и одновременно строить металлургический гигант. Откуда взять столько рабочей силы? Но и темпы строительства тоже нельзя сбавлять...

Василий Андреевич знал, что не здесь и не сейчас будет решаться его дело. Он только успел с грубоватым юмором пройтись по поводу неудобства бюрократической позиции меж двух стульев, как кончился перерыв совещания по докладу управляющего трестом «Востоксталь». Все двинулись в зал заседания. Василия Андреевича попросили остаться, так как его присутствие могло быть очень полезно. Доклада он не слышал, но прения заинтересовали его. Одни высказывались одобрительно, другие — критически, а какой-то холеный человек с бородкой осторожно юлил, точь-в-точь как начальник управления: дескать, с одной стороны, несомненно, а с другой — сомнительно. И это вдруг взорвало Миронова. Он попросил слова. Он говорил с заинтересованностью и горячностью, как если бы дело кровно касалось его. Он всегда считал, что

сказать своему противнику: «Ты просто глуп» — грубо, куда деликатнее сказать: «Мы оба глупы». И вдруг обрушился на тех, кто боится ответственности, кто юлит и виляет, на перестраховщиков, на «рыцарей с опущенным забралом», как он выразился, на бюрократов, чинуш, конъюнктурщиков, приспособленцев, карьеристов, которые боятся живой мысли и убивают живое дело государственной и оборонной важности и которые будут во сто крат вреднее и опаснее, когда грянет война, — а война на пороге.

Привычная сдержанность изменила ему. Но люди, знавшие его и проект его, понимали, о чем он говорит, почему так взволнован и резок, и многие сочувствовали ему.

А когда совещание кончилось, замнаркома, уведя его к себе, сказал:

— Ну что ты так волнуешься? Или ты думаешь, что такое твое дело может пройти без сучка и задоринки? Большому кораблю, сказано, большое плавание, а значит, и большие бури.

А Миронову уже неловко было за свою недавнюю горячность, за неуместную вспышку гнева и странную раздражительность, незнакомую ему до последнего времени. А тут еще, как назло, разболелась голова, где-то в затылке. Щурясь от боли, Василий Андреевич молча, застенчиво и виновато улыбался.

Домой он отправился пешком, чтобы охладиться и чтобы унялась головная боль.

Осенний дождь все сеял и сеял и даже как будто усилился: из водосточных труб, пенясь, фыркая и клокоча, вытекали шумные белые потоки.

На углу Василий Андреевич купил пеструю целлулоидную погремушку для внука, которому сегодня сравнялось полгода. Он хотел купить подарок посущественнее, но при виде теснившейся возле универмага толпы ему вдруг сделалось душно.

Из какого-то подъезда люди вынесли простой крашеный гроб, водрузили на автомобиль-катафалк, а сами расселись вокруг него, подняв воротники. Никто не плакал, все были угрюмы; похоже было, что живые сердятся на мертвого за то, что он доставляет им

столько хлопот и неудобств, за то, что он умер в такой ненастный день и теперь им, живым, придется трястись и мокнуть под дождем.

«А умереть — так уж в ясный летний день, в заботе о своем ближнем», — подумал Василий Андреевич с иронией и быстро зашагал прочь.

О смерти он никогда не думал. Да и что такое смерть? Сожженная, почерневшая спичка, рассыпающаяся в прах от легкого прикосновения. И по какой-то удивительной ассоциации Василий Андреевич подумал снова о том, что, пока дело его не решится, он никуда в отпуск не поедет, а как решится, так он и вовсе откажется от отпуска.

«Не время. Безделье не отдых. Отдохну, успеется. Варюша и там учиться сможет, Борис сам туда собрался. А Вера?.. Так ведь не к молодости идем с ней», — подумал он с невеселой и недоброй насмешкой.

Он шел по пустынному Ильинскому скверу вниз, к Варварке, мимо глухой часовенки, воздвигнутой в память плевненских героев; шел по скользким, размякшим дорожкам с прилипшими опавшими листьями, в которых шуршал дождь. Потом Миронов, пройдя по тихой, кривой Варварке, хранящей следы минувших столетий, вышел к Москве-реке; на медленные, темные воды ее легли, подрагивая и колеблясь, отражения кремлевских дворцов, соборов и башен. А справа, во мгле, освещенный огнями, вставал каркас новой стройки, как символ поднявшейся в железных лесах новой России.

8. СМЕРТЬ

Еще в передней Василий Андреевич услышал сердитый голос тестя, чеканившего букву «о»:

— Правильно китайцы говорят: дочь растить — чужой огород поливать.

— Но что же он может сделать, папаша! — отвечала Вера тоже сердито. — Ему и без того своих забот довольно...

Увидев Миронова, оба умолкли, явно расстроенные.

Вера сидела за столом перед звенящим самоваром,

«отмирающим пережитком», как называли его в доме. Она уже была одета, чтобы идти в театр. Василий Андреевич невольно обратил внимание на ее прическу, показавшуюся ему не по годам моложавой. И вновь от Веры вдруг повеяло какой-то отчужденностью.

Он чувствовал себя утомленным, ему вовсе не хотелось ехать в театр, да еще в балет, которого он не любил и не понимал. Но отказаться не мог, ибо знал, как трудно достаются билеты в Большой. А тут Вера достала специально по случаю его приезда, она обожала балет. Он же предпочел бы оперетту или веселую комедию, а то посидеть бы дома с детьми или за шахматами и отдохнуть. На час ночи ему был назначен прием у наркома.

— А мы и не слышали, как ты вошел, — сказала Вера Григорьевна, слегка жмуря красивые цыганские глаза на смуглом, розоватом, капризном лице, на котором была тщательно промыта и припудрена каждая морщинка и каждая складка. — Что так долго? Мог бы в первый день не торопиться с делами. Успеешь. Гляди, какой у тебя усталый вид. Может, и в театр не поедем? — спросила она, вдруг встревожившись. Но, взглянув на отца, гревшегося у камина, в котором еще мерцали посиневшие угли, поспешно добавила: — Нет, лучше поедем. Все равно покоя здесь не будет. Отдохнешь, до театра еще добрых два часа. Может, чаю тебе налить? После бани хорошо... А Варюша пошла покупать игрушки для маленького. Тебе с молоком? А Яграй у себя, сам с собой в шахматы играет. — Она нервно, без умолку говорила, а старик все пытался вставить слово и даже вытянул шею.

— Да дай ты, наконец, слово молвить, господи помилуй! — проговорил он гневно. — С легким паром тебя, Василий Андреевич!

— Спасибо, — ответил Миронов, понимая, что тесть хочет что-то сказать, и, должно быть, малоприятное, раз Вера всячески ему мешает.

«Ну, с неприятностями можно и подождать, никуда не уйдут», — подумал Миронов с усмешкой.

— Только в бане и купаться, Григорий Федорович! Что твоя ванная — грязь размазывать. А тут, брат, на

полок влезешь, березовым веничком тебя постегают, прямо кости свежеют...

— Неужто парился? — с недоверием и завистью спросил тесть.

— Нет! Куда уж мне! Вспоминаю старые времена.

— Да, старые времена не в пример. Скажем, родственности прежде больше было...

— Как же, волчья родственность... — вновь прервала его Вера Григорьевна. — Из-за наследства глотку перегрызть могли.

Но Миронову надоела опека жены.

— О чем вы тут спорили? Или что случилось?

— Пустяки, ничего не случилось, — торопливо сказала Вера.

— У нее все пустяки, — с горечью произнес старик. — С родным братом беда стряслась, а ей это пустяки.

— Но ведь я просила, папаша! Могли бы подождать до утра, — в сердцах сказала Вера и махнула рукой.

Старик заробел. Действительно, он зря торопился, все равно сегодня ничего не сделаешь; и потом необходимо дать зятю отдохнуть. Но помимо воли у старика вырвалось:

— Прости, Василий Андреевич. Камень мне душу давит...

— Опять неприятности с Владимиром? — спросил Миронов тихо и покорно.

Старик кивнул головой.

— Не понимаю я тебя, Григорий Федорович! Умный ты человек. Младший сын тебе деньги посылает, а ты их старшему отсылаешь. Алеша зарабатывает — Владимир пропивает. Не стоит он заботы, право. Даже фамилию переменил.

— Ему другого хода не было. От тюрьмы спасался.

— Какая там тюрьма! — возразил Миронов. — Алеша во всех анкетах пишет: «сын лесопромышленника».

— Так ведь он журналист, писатель. Чай, отдела кадров над ним нету.

Братьев жены Миронов хорошо знал. Они подолгу живали у него в доме. Из Алеши вышел толк — где-то

он странствовал в поисках героя для новой книги, а из Владимира ничего не получилось.

Григорий Федорович сознавал, что Миронов прав, старший сын оказался никудышным материалом. Но старик также сознавал, что виноват в неудачливой судьбе сына. Видя в нем наследника потомственного лесного дела Добычиных, он держал его при себе в надежде, что жестокие времена переменятся, и не давал ему хода.

— Сердце-то у меня, чай, не каменное. Сын в тюрьме, — молвил он едва слышно.

— Как в тюрьме?

Старик молча подал Миронову письмо, из которого явствовало, что Владимира обвиняют в хищении социалистической собственности и что ему грозит не менее десяти лет заключения.

Лицо Василия Андреевича вдруг посерело.

— Ты с этим ко мне, Григорий Федорович, напрасно обращаешься. Бесполезно и нехорошо.

Старик всхлипнул:

— Своя кровь, Василий Андреевич! Не вечны мы, а уйдем, кто останется?..

— Понимаю, понимаю, — сказал Миронов мягче. — Но что я могу сделать? Поверь, Григорий Федорович, ничего.

— Для родного брата жены? Твое слово много значит, — сказал старик.

— Для родного сына — и то не сделал бы.

— Мог бы, Василий, при желании, — вмешалась Вера. — Ведь не по пятьдесят восьмой статье его судят. У него семья, дети...

Василий Андреевич посмотрел на жену, на ее лицо, пошедшее красными пятнами и ставшее некрасивым и недобрым, даже каким-то хищным, как у тестя, и вдруг подумал, что она испортила ему два года жизни и эти два года состарили его и подорвали его здоровье.

— Тут слово ничего не значит, Григорий Федорович, — сказал он сдержанно, не глядя на жену и не обращаясь к ней. — Не те времена. Народ терпит нужду, живет впроголодь... Красть у голодного последний ломоть хлеба — это отвратительно, это гнусно. — Ему по-

чудилось в лице старика что-то насмешливое, ехидное, как бы говорившее: «А ты-то какие приносишь жертвы? Тоже подвижник!» И тогда Василий Андреевич добавил без всякого раздражения: — А сам я разве не отдаю всего себя, свое здоровье, жизнь, семью...

— Бог с тобой, кто про тебя дурное скажет? — испуганно проговорил старик. — Для чужих ты все делаешь, — укоризненно сказал он, имея в виду «династию Мироновых», как он называл ядовито всех этих безродных Борек и Ягараев, из которых Миронов фабрикует инженеров, летчиков.

— Для каких это чужих? — спросил Василий Андреевич с внезапной злобой, чувствуя, как оживает заглохшая вражда к этому старику. — Родство по крови, Григорий Федорович, не всегда самое близкое...

А про себя подумал:

«Сколько лет живет у меня, а с ножом за пазухой. Вот уж поистине, чем лучше обращаешься с человеком, тем хуже он относится к тебе». И оттого, что так подумал, голова его наполнилась гулом и болью.

Он отвернулся и, ничего более не сказав, двинулся в кабинет. Старик посмотрел ему вслед с ожесточением.

«Как грузно ступает, варвар, — половицы и те под ним стонут».

Вера тоже посмотрела вслед мужу, на его сутулую, понурую спину, вдруг подумала, что он больной, усталый человек, и ей жаль стало его и боязно за него.

«Наверно, поволновался в наркомате. Разве он скажет?» И она рассердилась на отца, у которого недостало терпения подождать до утра.

В эту минуту вошел Яграй, привлеченный голосами. Он не понял, что тут произошло, но взгляд старика, устремленный на уходившего Андреича, поразил его, и Яграй встал между стариком и Мироновым, чтобы на себя принять этот опасный взгляд.

А Григорий Федорович при виде Ягарая вспомнил вдруг английскую поговорку: «Стоит только вспомнить черта, чтобы увидеть кончик его хвоста». Старик даже сплюнул с досады.

Василий Андреевич притворил за собой дверь и стал у окна, глядя на диких голубей, которые сидели на карнизе, отливая серо-синим и лиловым перламутром. Они ждали корма, приученные к этому Варюшей; она кормила их ежедневно в те же часы.

«Значит, она сейчас придет». Мысль о дочери успокоила Василия Андреевича.

Внезапно какая-то мучительная тошнота подступила к глотке и одновременно, а может, чуточку даже раньше все окружающее сдвинулось с места, пошатнулось перед его глазами, в которые остро хлынул красноватый свет. Василий Андреевич зажмурился и от тошноты, и от багрового света, который проникал даже под опущенные веки, и от боли в голове, как будто там что-то тупо и тяжко повернулось. Он хотел сесть, а опустился мимо стула, цепляясь за подоконник.

«Что это? Что это? — спросил он себя в страхе перед тем, что с ним происходит, хотя и не понимал этого. — Что это? Неужели смерть? Нет, нет!» — закричал он где-то внутри себя с нарастающим чувством ужаса перед смертью, не веря в нее, охваченный жаждой жизни и отвращением к смерти, и бессилием перед ней, и обреченностью, и сознанием, что он умирает.

И таким далеким, призрачным, ничтожным показалось ему все то, что волновало и мучило его, радовало и восторгало, перед тем огромным, простым и страшным, что должно сейчас произойти, как будто он переступил черту, отделявшую жизнь от смерти.

«Хоть бы кто-нибудь вошел», — подумал он с сознанием конца и с чувством тоски и предсмертного одиночества. Он хотел позвать Веру, но из горла его вырвалось какое-то нечленораздельное мычание.

Он услышал голос дочери в соседней комнате, она спрашивала его. Только бы она не вошла сюда, ей незачем видеть его сейчас. А она быстрым, легким шагом приближалась, похоже — вприпрыжку, потом постучала в дверь и вошла со словами: «К тебе можно, папка?», вошла порозовевшая, с капельками дождя на гладких волосах, радостно улыбаясь, и вдруг улыбка растаяла на ее побелевшем лице и испуганно взлетели брови.

— Папка! — прошептала она. — Папка! — закричала она и бросилась к нему.

А он, сидя на полу, смотрел на нее и нежно, жалко, беспомощно улыбался, кривя наполовину парализованный рот. Ему нестерпимо больно и страшно было от сознания, что она видит его в таком непоправимо убогом состоянии, что она видит эту ужасную, отвратительную картину смерти. Он хотел успокоить ее, сказать ей, что все это пройдет, но она не понимала его косноязычного бормотания.

А за окном на карнизе громко ворковали голуби, взлетали, снова садились, ожидая, когда их начнут кормить.

— Папочка! — закричала девочка необычайно высоким, плачущим голосом и, обхватив его за плечи, прижала его к себе со всей силой своего недетского отчаяния, еще не понимая, но уже чувствуя, что произошло непоправимое несчастье.

На ее крик прибежали мать, дед, Яграй. Они не сразу сообразили, что случилось. Вера Григорьевна кинулась было раскрывать форточку, но с полпути вернулась к мужу и начала поднимать его, быстро твердя:

— Что с тобой? Ради бога, что с тобой? Говори, говори, не пугай нас!

А он смотрел на нее, все так же улыбаясь своей виноватой, искаженной и жуткой улыбкой. Лицо его потемнело, глаза ввалились, под ними легла глубокая синева. Он сделался необыкновенно грузным, они с трудом его тащили.

— Андреич, Андреич! — жалобно шептал Яграй, чувствуя, как рука Миронова, опирающаяся на его плечо, слабо, едва ощутимо погладила его.

Василия Андреевича уложили на диван, с него сняли сапоги и пиджак. Из кармана вывалилась целлулоидная погремушка и с дробным стуком запрыгала на полу. Варюша громко зарыдала.

— Тише, тише, ведь слышит... — шепнул ей ошеломленный дед.

Но Василий Андреевич хоть и слышал, но уже смутно что сознавал. В голове его как бы бились птицы в

силках, стараясь вырваться, каждым ударом крыльев и клюва причиняя ему страдания. Кто-то упрашивал его открыть глаза, — быть может, Варюша. Уже теряя сознание, он подумал о ней, о Яграе, о том, что теперь с ними будет, когда он умрет, и заплакал беззвучно, без слез. Птицы наконец вырвались, стало сразу темно и пусто.

9. БРАТЬЯ

Когда прибежал Борис, дядя Вася уже был без сознания, красный, пылающий, потный. Борис вызывал врачей, бегал за льдом, пиявками, преследуемый этим чудовищным словом «инсульт», похожим, как ему казалось, на каменный снаряд. До последней минуты он все надеялся, он надеялся и тогда, когда все уже было кончено.

Василий Андреевич быстро остывал; он лежал большой, необычайно длинный, склонив голову набок, с тем торжественным и строгим выражением в лице, какое часто живые придают мертвецу, вовремя закрывая ему глаза и подвязывая подбородок. Широкий лоб его казался хмурым, сосредоточенным, губы были плотно сжаты, резко обозначились складки усталости по краям рта. Пятнышко засохшей крови под нижней губой придавало ему что-то живое. Похоже было, будто он задумался, и эта его задумчивость мешала живым понять, что он мертв.

Борису казалось, что стоит ему выйти из комнаты, а потом вновь вернуться, как все будет по-старому, и дядя Вася пойдет ему навстречу, и тогда он, Борис, скажет ему то, что не успел сказать вчера, скажет самое главное — что потому избрал он таежные нефтерождения, что хотел быть поближе к Миронову.

Но какое-то отупение нашло на Бориса, он стоял безжизненный, скованный и потрясенный.

В сущности, до его сознания еще не дошло, что дядя Вася умер. Он не плакал, а только иногда вздыхал, как будто ему было физически больно.

В мозгу его все смешалось и спуталось, мысли о том, что дядя Вася был очень болен, а никто этого не

знал, что его надо было беречь, а его не уберегли, и еще какие-то обрывки давних воспоминаний. Когда-то Борис, бежав из дома, несколько месяцев пропадал среди беспризорных. Его нашли через милицию и возвратили домой, грязного, оборванного, завшивевшего. Миронов встретил его без брани и упреков, а с какой-то спокойной, ласковой улыбкой. Эта улыбка подействовала на Бориса хлестче всяких слов и даже побоев. Он и теперь не мог вспомнить о ней без стыда и раскаяния.

Как много сделал для него Миронов, это он понял давно. А вот только сейчас, над мертвым, осмыслил он, кем был для него Миронов. Это Василий Андреевич сквозь паутину порочных детских наклонностей, так отчаянно пугавших тетю Веру, сумел разглядеть в нем ребенка дикого, озлобленного, не знавшего ранней ласки и заботы, сумел пробудить в ожесточенной душе мальчика заглохшие чувства добра и справедливости.

Борис поднял глаза, увидел Варюшу, которая слезами согревала твердеющую руку мертвого отца, тетю Веру, вид которой мог бы испугать его в другое время. Но теперь он невольно отвел глаза от нее и с горьким чувством подумал, что она не захотела поехать с Мироновым в тайгу, а оставила его там одного на два года — и эти два года убили его.

Вера Григорьевна была сама как мертвая, точно со смертью Миронова окончилась и ее жизнь. Несчастье произошло слишком внезапно, как на войне; к нему некогда было привыкнуть, его нельзя было усвоить, с ним невозможно было примириться. И хотя подле нее остались близкие ей люди, но никто из них в отдельности и все вместе не могли заменить ей этой чудовищной утраты.

Она все спрашивала себя, кто виноват в смерти Миронова. И выходило, что виновата она сама.

«Зачем, зачем я не поехала, зачем отпустила его одного? — казнилась она теперь. — Если бы не эти два года, не было бы сейчас этого ужаса. Я убила его». И так страшно было это признание, произнесенное наедине со своей совестью, что Вера Григорьевна сделалась как безумная.

Всю жизнь Вера Григорьевна прожила с мыслью, что вот пройдут трудные времена и начнется для нее настоящая жизнь. Эта мысль помогала ей терпеливо приносить жертвы. Она была красива, ее благосклонности добивались видные люди. А Миронов, поглощенный работой, порой не замечал ее. Любовь ли к Миронову, страх ли перед общественным мнением или уважение к себе, а вернее — все это, вместе взятое, удерживало ее от ошибочных шагов. Она всегда работала, заглушая инстинкты. И вдруг открыла, что в ожидании какой-то воображаемой жизни проходит настоящая и молодость уже прошла. Тогда она взбунтовалась и не поехала с Мироновым на далекую таежную стройку.

Так представлялось ей сейчас прошлое. Но было другое, в чем она не смела признаться даже себе. Когда-то она мечтала, что Миронов выйдет в большие люди. Она была тщеславна. В наркомы он не вышел, — она считала, что обманулась в своих надеждах. Она больше не любила его. Она решила жить для дочери. Пуститься в разгул ей не позволяли ни темперамент, ни общественное положение. И потом она боялась зорких глаз Бориса. Куда-то, однако, нужно было девать свою энергию. Тогда она вспомнила, что в молодости собиралась стать врачом. Она вернулась в университет, покинутый ею давным-давно. Она училась отлично, ее ставили в пример. Она грелась в лучах молодости, окружавшей ее, уподобясь мотыльку, летающему вокруг огня, все приближаясь и приближаясь к нему, пока мгновенно не вспыхнут крылышки. Ей нравился юный студент; она вовремя опомнилась и отрезвилась и решила последовать за мужем, куда бы его ни назначили. Она больше ни одного дня не хотела оставаться одна, без него.

И вот, когда она все осмыслила, перестрадала, пришел конец. Было от чего сойти с ума.

«Что же это? Что же это?» — твердила она неслышно, продолжая гладить холодные волосы мертвого, трогать его руки, грудь, ноги. Неожиданно она нащупала что-то теплое и мягкое в его ногах. Это была грелка, наполнившая ей руки живым теплом.

Вера Григорьевна оглянулась по сторонам как бы в поисках подтверждения своей безумной надежде. Она увидела сгорбленного и несчастного своего отца с тусклыми глазами и набрякшими веками, встретилась с глазами Бориса, прочитала в них осуждение и возмутилась. Кто-кто, а Борис не смел ее осуждать — она слишком много для него сделала. И вдруг сказала убитым голосом:

— Это я... Я виновата во всем.

Но Борис покачал головой. Никогда не решился бы он судить ее. Ведь она заменила ему мать. Бывало, мальчиком он тайком часами мог слушать, как она играет на рояле. Он умирал от тоски, когда она сердилась на него, наказывала его, не разговаривала с ним.

Нет, он не искал виновников. Кто виноват, что скала, висевшая над морем, которую, казалось, никакая сила не способна поколебать, вдруг обвалилась, притом в тихий день, когда ветры и морские волны как будто прекратили свою разрушительную работу? Кто виноват, что ветер и вода, холод и зной неутомимо разрушали скалу — и вот она рухнула?

— Нет виноватых, — сказал Борис тихо, не смея, однако, взглянуть тете Вере в глаза. Он вдруг вспомнил вчерашний ночной разговор Миронова с Верой. Они спорили. О чем был их затянувшийся на годы спор? Не о том ли, что оба жили на разных широтах времени? В разное время одно и то же понятие имеет разное значение. Миронов был одним из тех, кто всю жизнь бескорыстно занят исследованием мест, обозначенных на географической карте белыми пятнами. И чем суровее были условия жизни, тем казались они ему привлекательнее и заманчивей. А тетя Вера не могла быть только мужниной женой, и в этом была не вина ее, а трагедия. Она искала свои пути в жизни. Будучи студенткой, она добровольно и безвозмездно пошла сестрой на «Скорую помощь», дежуря по ночам. Она хотела стать настоящим врачом, чтобы помогать людям и облегчать их страдания. «В жестокой заботе о будущем счастье людей, — говорила она, — мы забыли о милосердии и сострадании к живому человеку». Какой-то злокозненный умник, послушав ее рассуждения, ехид-

но заметил, что от них за версту пахнет лагерями. Борис надавал ему пощечин, но слова его запомнил.

«Странно, — продолжал думать Борис, — упрекала меня в непрактичности, а сама избрала неблагодатную профессию врача. Впрочем, она всегда жила скромно»... Борис вдруг испугался своих мыслей, испугался потому, что подумал о Вале, которая тоже безмолвно противилась поездке в таежную глушь. Но ведь не для себя, не для карьеры, не для каких-то особых благ предпочел он, как и Миронов, беспокойные, неизведанные тропы старым, проторенным путям. «Прав дядя Вася: «В войну не спрашивают, а приказывают», — подумал Борис с колючим и недобрым чувством.

И оттого, что в глубине его существа теплились искры справедливости и терпимости, которые неожиданно затрагивали Миронова, разрушая его величие, Борис ожесточился против Веры. Ибо самая добрая идея, подумал он, глухая к голосу времени, становится злой и вредной.

Что-то с ним случилось в эти долгие минуты скорбного раздумья, какая-то трещина появилась в его отношениях к тете Вере, и эта трещина, он это чувствовал, уже не сгладится никогда, а будет расширяться, пока не разделит их жизнь непреодолимой пропастью.

Тогда Борис горько заплакал, как если бы он вновь осиротел. Как раньше у него не было слез, так теперь он не мог их унять.

Его слова о том, что виноватых нет, подействовали неожиданно на Веру Григорьевну, она была благодарна ему за эти слова. Они не ослабили ее горя и не утешили ее, а только немного облегчили ее совесть, дав ей возможность оправдаться перед собой.

«Наверно, — думала она, — он прав, виноватых нет. Сперва годы войны, затем годы учения и нужды, потом годы титанического труда и напряжения... и каждый день, каждый час наносили незримые царапины его сердцу. А у Миронова было слабое сердце, он не берег его и безжалостно растрачивал...»

Борис хватился, что нет Яграя. Он нашел его в передней. Мальчик сидел на корточках у двери и плакал.

Он хотел, чтобы душа Андреича, когда она будет уходить, в последний раз увидела его.

Борис понимал, что мальчику очень тяжело, к тому же и боязно, потому что он остался в этом большом городе, среди чужих людей, совсем один.

— Ну, ну, не плачь! — сказал ему Борис. — Мы ведь с тобой теперь братья.

Мальчик закивал головой, продолжая плакать. Никогда не горевал он так отчаянно. Он любил мать и любил отца, но Миронов был для него немножко богом, ради которого покидают и мать и отца.

Когда оба — Борис и Яграй — возвратились в комнату, где лежал мертвый, накрытый простыней до плеч, обоим казалось, что они давно, очень давно знают друг друга.

10. РЕКВИЕМ

Внезапная смерть зятя потрясла Григория Федоровича. Ему было страшно и оттого, что случилось такое несчастье, — видит бог, он этого не хотел, — и оттого, что старший сын окончательно погиб, и еще оттого, что он видел эту ужасную смерть так близко, а смерти старик боялся.

«Вот, — думал он, — жил человек, суетился, себя, других обижал, и не стало его, хоть в рог труби. Напечатают за бездушной подписью «группа товарищей» некролог — и все. А надолго ли останется в сердцах, или навсегда, или навечно — это тоже неизвестно. Разумеется, — продолжал он говорить себе сумбурно, — Миронов был человек больной, приговоренный, не сегодня, так завтра. Время съело его». И все-таки старик, как ни старался подбадривать себя насмешкой и сарказмом, а не мог отвязаться от тягостного чувства своей причастности к этой смерти, не мог уйти от тоски, давившей ему душу, отделаться от страха, сжимавшего сердце.

Хоть бы поговорить с кем-нибудь, ему бы легче стало. Но к дочери, оцепеневшей в своем горе, он и подойти боялся, а Бориса он не любил, Яграя — тоже.

Мальчик держался от него поодаль, считая, что у

старика дурной глаз. К тому же, по словам Бориса, старик всю жизнь рубил леса, не строя ни дорог, ни домов.

Старик чувствовал эту дикую мальчишескую ненависть.

И только Варюша, милая внучка, чуть живая от горя, вызывала у него жалость и сострадание.

Незаметно наступило утро. На белые стены легло бледное сияние осеннего погожего дня. Как бывает после долгого ненастья, солнце совсем по-летнему осветило мир, заиграло, заблестело в окнах домов, в мокрых крышах, в желтой листве деревьев, подсушило тротуары, мостовые.

Григорий Федорович вдруг обнаружил, что в комнате полно народу. Одних он когда-то видел, с другими был знаком, но многих никогда не видел и не знал. А они вели себя так, как если бы Миронов был им близким человеком и смерть его их больно коснулась.

Люди все шли и шли, с цветами и венками, чтобы постоять над мертвым и в безмолвии попрощаться с ним. Старик даже осерчал на них за то, что они так бесцеремонно входят в чужой дом и чужое горе.

«Ишь... друзья... нагнало сколько», — думал он неодобрительно. Он вдруг увидел каких-то новых людей, пришедших не к мертвому Миронову, а к живой Вере: ее сокурсники, сослуживцы, совсем неизвестные люди,— видимо, больные, которым она отдавала много сил и времени. Они подходили именно к ней, чтобы обнять ее, сказать ей несколько слов или молча постоять возле нее.

Григорий Федорович увидел подле себя пожилого, можно сказать, даже старого человека, который, не то разговаривая с собой, не то обращаясь к нему, сказал:

— Не верится. Какой был человечище! Ему, казалось, износу не будет. Волновался, должно быть...

Старик неожиданно для себя сказал, — похоже, в чем-то оправдываясь перед этим посторонним человеком:

— Это у них в роду, наследственное. Сестрица тоже от удара померла.

— Разве? А я этого не знал.

— А давно вы его знаете?

Человек с недоумением посмотрел на Григория Федоровича кроткими глазами, увеличенными стеклами очков.

— Вы не узнаете меня, Григорий Федорович?

Старик вдруг вспомнил, что видел, и не раз, этого человека в доме зятя и даже разговаривал с ним. Это был старинный приятель Миронова, военный врач Марк Исаакович Лапидус. Старик слышал от кого-то (от кого — и не вспомнишь), что некогда Миронов мобилизовал захолустного фельдшера и назначил его главным партизанским доктором, а с окончанием гражданской войны направил в Военно-медицинскую академию.

— Узнаю, как же. В беде запамятовал, — сказал Григорий Федорович.

— Да, беда большая,— сказал тихо Лапидус.— Всю жизнь отдал людям. Только о них и думал. — Он вздохнул и умолк.

Старику в словах Лапидуса послышалось что-то неприятное. Он отвернулся и вышел в соседнюю комнату. Он оторопел: так много там было людей, но странно — он никого не знал.

— Выпейте, дедушка, чаю. Подкрепитесь! — сказал ему кто-то.

Но Григорий Федорович продолжал сердиться на всех этих людей, хотя теперь, после разговора с Лапидусом, начинал понимать, что они вовсе не зрители чужого горя. Одни воевали вместе с Мироновым, другие учились, третьи строили вместе с ним, и все они готовились отстоять страну и революцию, когда нападет враг, и все они составляли ту силу, которая называется большевистской партией.

По случаю долгой непогоды камин был затоплен. Старик проковылял к камину, взяв со стола, по старческой страсти к сладкому, кусок сахару.

В камине гудел и рвался огонь; дрова были сухие и горели неистово. В каком-то фантастическом вихре крутились искры, уносясь в дымоход.

Григорий Федорович уставился на полено, как бы отлитое из червонного золота, — вдруг оно с шумом рассыпалось. Глядя на причудливую груду развалин,

из-под которых пробивались зеленые и синие огоньки, старик вновь стал думать о том, о чем, в сущности, не переставал думать: лет через десять — пятнадцать — Добычины долговечны — и он умрет, а что от него останется? Дети? Эка честь и заслуга! Жизнь человеческая проходит, дела остаются. А ведь он прожил долгую жизнь, имел силу и власть над людьми, его уважали, его боялись. И впервые без чувства гордости, а с какой-то тревогой и смутой в душе подумал он о своей жизни, о том, что сделал и что от него останется. Время, как сито, пропускает песок и удерживает крупицы золота.

Напрасно старался Григорий Федорович уйти от возникших вопросов. Они были неотвратимы. Что сделал он для людей? Помогал ли им жить? Облегчал ли страдания, тяготы, нужду? А ведь на него работали тысячи людей, создавая его богатство. Редко, думал он, встречаются люди, честные от природы, гораздо чаще они честны от страха перед наказанием. Поистине, сознание бесплодия трагично, тем более что ничего нельзя было ни изменить, ни исправить. А ведь он не лишен был способностей, может, даже таланта. Он мог многое сделать, а не сделал ничего. Господи! Тогда зачем же он жил?

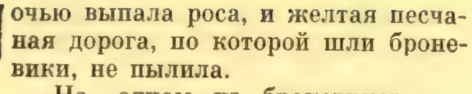
И Григорий Федорович Добычин, некогда грозный властелин, которому принадлежал мир и все лучшее, что есть в этом мире, понял, что всю жизнь занимался не своим делом, всю жизнь шел не своей стезей.

Он невольно издал горлом такой хриплый звук, словно что-то у него там застряло и он поперхнулся. Он оглянулся на людей: понимают ли они, что с ним происходит? Но никому не было никакого дела до него, его просто не замечали, он был ненужный, лишний и забытый.

Варюшу знобило, Борис уложил ее на кушетку, заботливо накрыл своим кожаным пальто, а Яграй сел возле нее на пол, поджав под себя ноги, и неслышно запел о том, что со временем, когда станет летчиком, он полетит с Варюшей и Борисом по всем местам, где жил и работал Василий Андреевич Миронов.

1940—1962

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ



Ночью выпала роса, и желтая песчаная дорога, по которой шли броневики, не пылила.

На одном из броневиков, исцарапанном пулями, рядом с водителем сидел Иосиф Бергер, пожилой человек с карими грустными глазами. Он задумчиво глядел на дорогу, по которой двадцать лет назад, в 1919 году, уходил с последним красноармейским отрядом. Тогда была такая же долгая сентябрьская заря, так же из низины тянуло гарью и где-то, дав сердитую строчку, затихал пулемет. И Бергер в последний раз оглянулся на местечко, где остались самые близкие ему люди — жена и сын. Четыре года он ничего не слышал о них, а когда появилась надежда, что их можно вытребовать из Польши, он узнал, что мальчик умер, а Эстер вышла замуж.

И оттого, что воспоминания были такие печальные, и оттого, что он был утомлен походом и впечатлениями, на сердце у него было тревожно и тягостно.

С того часа, как пересек границу панской Польши, он увидел много необычного, странного и непонятного. В том месте, где срыли первый пограничный столб, граница шла по реке, на одном берегу которой была советская деревня, на другом — польская. Все избы польской деревни были повернуты к реке слепыми стенами, кое-где виднелись заколоченные, почерневшие от времени проемы окон. Это делалось для того, оче-

видно, чтобы не мозолила глаза польскому подневольному мужику советская земля.

И первое, что увидел Бергер, войдя в эту польскую деревню, — простого крестьянского парня, который с безмолвной ожесточенностью прорубал окно в задней стене своего дома.

— Ты смотри, товарищ капитан, чего делает! — сказал водитель, молодой паренек с блестящими от восхищения глазами. — Это тебе не кошка в мешке — во все стороны торкается, а вылезть не может. Смотри, как ухает, товарищ капитан!

Потом, когда поехали по польской земле, водитель все удивлялся.

— А природа, смотри, как у нас, товарищ капитан, на Смоленщине... та же березка и тот же клен.

— А судьба людей другая, — отвечал Бергер задумчиво.

— Ничего. Быстро наверстают, — сказал водитель убежденно.

Хотя солнце только еще отделилось от горизонта, улицы местечка были оживленны и многолюдны, и не смолкал беспокойный гомон голосов. В воздухе пахло яблоками.

Броневики стали на площади, хранившей следы бежавших польских уланов.

Отсюда хорошо виднелся весь центр местечка. Удивительно, — ничто не изменилось за двадцать лет: те же дома, та же булыжная мостовая, те же деревянные мостки-тротуары; разве что прибавились парадные, лакированные почтовые ящики с серебряным польским гербом да мусорные урны на углах.

Вот и синагога с потемневшим венцом Давида, с узкими окнами в разноцветных стеклах. В детстве Бергер часто смотрел сквозь эти цветные, грязноватые стекла витражей, и мир вставал сумеречный, как перед дождем. Потом мальчик с радостью и облегчением выбегал во двор, над которым сверкали солнце, небо и кисти спелой рябины. Вот тут был мучной лабаз старого Копелянского, долго не желавшего породниться с сыном бедного кантора Бергера. А вот и дом, в котором они с Эстер прожили два года. Небольшая, худень-

кая, с пышными черными волосами, искрившимися в темноте, когда она расчесывала их черепаховым гребнем, с черными удивленными глазами, со складкой меж бровей, когда задумывалась, и веселыми морщинками на носу, когда улыбалась, — такой осталась она в памяти Бергера. И еще руки, удивительные руки с длинной тонкой кистью и подвижными пальцами, по-матерински нежные и по-женски сильные, исполненные порой задумчивой грации, трепетного ожидания, беспокойные и нетерпеливые, но всегда заботливые, чуткие, готовые к безмолвной ласке... От их прикосновения стихала боль, кружилась голова и замирало сердце.

Бергер узнавал дома, но не узнавал людей, и его никто не узнавал. Да и трудно было узнать в этом статном красном командире суетливого некогда паренька.

Броневик задержался, нуждаясь в ремонте. И тогда рыжеватый великан услужливо спросил Бергера на смешанном еврейско-польско-русском языке, не может ли он быть полезен.

— Я силен и здоров, как два быка. Скажите мне: «Мендель Сойфер, впрягись в плуг, и пусть на тебе люди землю пашут». Но что толку в силе, когда нет работы?

— А давно вы без работы? — спросил Бергер.

Мендель Сойфер невесело усмехнулся.

— Я уже забыл, как пахнет мех. Я скорняк. Начал понемногу торговать порохом и дробью. Жить ведь надо. Так вызывают в староство и говорят: «Пан Мендель Сойфер, порох, дробь — дело военное, пускай этим лучше занимается поляк». Слыхали?!

— Да-а!..

— Легко сказать «да», когда нет жены и троих ребят.

Бергеру очень хотелось спросить об Эстер, но почему-то не решался.

Надо ли, думал он, тревожить такую даль? И вдруг спросил:

— А что, жив старый Копелянский?

Мендель Сойфер удивился:

— Это вы про Шолом-Ошера? Четырнадцать лет уже... чтобы земля ему была как свинец. А откуда вы его знаете?

Но Бергер не ответил.

— Жил как свинья и умер как свинья, — добавил Мендель Сойфер, беспокойно улыбаясь. — Оставил дочери целое состояние в царских процентных бумагах, хоть оклеивай отхожее место.

Бергера позвал водитель машины:

— Смотри, какая петрушка, товарищ капитан! Раньше ночи нам отсюда и не выбраться.

Весь день Бергер бродил по местечку, незаметный среди множества военных. Он побывал на кладбище, у родных запущенных могил с повалившимися, замшелыми надгробными камнями. Справа от могилы матери возвышался маленький холмик, на черном камне выщерблена надпись: «Вениамин, сын Иосифа».

«Ему бы теперь было двадцать два года», — подумал Бергер с волнением.

В этот день на кладбище никого не было, только старушка причитала над могилой сына и разговаривала с ним, как с живым. Это была старая Рахиль, она не переставала оплакивать своего первенца, погибшего при отступлении красных. И сегодня, двадцать лет спустя, когда возвратились его товарищи, она пришла на его могилу с этой торжественной вестью и неугасимой своей скорбью.

Бергер узнал ее и осторожно удалился, глубоко нахлобучив фуражку. Он шел среди осеннего шума деревьев, напоминающего шум воды. Солнце дробилось в листве, и каждый опавший лист сохранял цвет и блеск солнца. А крупная трава, какая бывает лишь на кладбище, ложилась под ногами и уже больше не распрямлялась.

Все напоминало ему о прежней, давней жизни.

«Зачем, — думал он, — искать вчерашний день? У нее своя крыша, свои заботы. Зачем вносить горечь давно увядших воспоминаний в чужую жизнь?»

Но чем больше говорил он себе, что этого не надо делать, тем неодолимей хотелось ему это сделать. Что, собственно, влекло его к ней? Призраки молодости,

тени давно истлевших обид или, быть может, затаенное и безотчетное чувство мести? Ему и в голову не приходило, что за двадцать лет Эстер могла сильно измениться.

Под вечер Бергер спросил у прохожего, где живет Эстер, дочь Копелянского. Ему указали невзрачный, покосившийся домик, вид которого говорил о беспросветной бедности.

Он постоял в нерешительности в темных сенях. Вдруг услыхал тихий, мелодичный голос Эстер и толкнул низенькую дверь.

Эстер прибирала на столе, ее изможденные руки были освещены закатом. Как они огрубели и состарились! Кожа собралась складками, вздулась жилами, растрескалась, сморщилась и покрылась коричневыми пятнами, ногти обломались и зазубрились. Эти руки потрясли Бергера. Он боялся поднять глаза, подсознательно стремясь удержать юный образ Эстер еще хоть на миг. Ему вдруг страшно сделалось: зачем, зачем пришел сюда?..

Но Эстер повернула голову на скрип двери и тотчас сделала такое движение руками, как будто искала, обо что бы ей опереться. Потом в изнеможении опустилась на стул.

Бергер увидел совсем седую женщину с прекрасными черными глазами, полными испуга и растерянности. Он молча подошел к ней и сел на соседний стул. Оба долго и молча плакали. Вся их жизнь, и молодость, и юность прошли перед ними в эти короткие мгновения и рассеялись, как пепел, как дым, навсегда...

— Не надо плакать, — сказала Эстер, вытирая глаза ладонью и улыбаясь сквозь слезы. — Это ты спрашивал о моем отце? Я сразу подумала, что это ты. А мой муж испугался.

Бергер вспомнил добродушного великана:

— Его зовут Мендель Сойфер?

— Да.

— Хороший человек, — сказал он не то вопросительно, не то утвердительно.

— Очень.

Они помолчали. Теперь, когда прошли первые минуты большого душевного волнения, оба почувствовали себя неловко: им как будто не о чем было говорить.

С той минуты, как увидел ее, он забыл, какой она была когда-то; как ни старался вызвать в памяти образ прежней Эстер, ничего не получалось. Перед ним сидела старая женщина, слишком старая для своих лет, даже глаза потеряли свой блеск. И только голос напоминал прежнюю Эстер.

А Эстер было стыдно, что Иосиф увидел ее такой жалкой и ничтожной, увидел ее бедность. Какой он строгий в своей военной форме, и это бритое лицо, назад зачесанные волосы, поредевшие на висках, и суровый, как ей казалось, взгляд — все это было ей незнакомо и чуждо. Она ощутила смущение и робость перед человеком, которого некогда любила; она даже не знала, говорить ему «ты» или «вы».

Ее выручила маленькая девочка, незаметно возившаяся в углу с пестрыми тряпками, — она обеспокоенно подошла к матери. И тут Бергер вновь увидел Эстер, какой та была в ранней юности, — те же черные пышные волосы, тот же пухлый рот и немного удивленные, большие темные глаза и руки... нет, детские, в ямочках, руки ничего не напоминали.

Бергер хотел приласкать девочку, но она отодвинулась от него и боязливо прижалась к матери.

— У тебя ведь их трое? — сказал Бергер.

— Да. Мальчики на улице, — ответила Эстер. — Сегодня такой день... никому дома не сидится.

Бергер осмотрелся. Ему были знакомы и эти портреты в золоченых рамах на стене и этот желтый дубовый буфет с резьбой на дверцах. Только почему так много в окнах пустых квадратов, заклеенных звенящей на ветру бумагой? Разве пальба была настолько сильная, что полопались стекла?

— Нет, — отвечала Эстер. — Прошлую ночь мы просидели в погребе. Опасались погрома. А стекла все-таки солдаты, уходя, побили...

Ее слова взволновали Бергера. Какое страшное и ветхое слово «погром»! Он его уже начал было забы-

вать, а дети и вовсе не знали бы, не возроди вновь сумасшедший Гитлер дикую, бесчеловечную расовую нелепость.

Бергер встал и прошелся по комнате. «Он всегда ходил из угла в угол, когда волновался», — вспомнила Эстер с внезапной нежностью.

Она припомнила сырой рассвет и как она бежала, не слыша свиста пуль, к базарной площади, где, как ей сказали, лежит убитый красноармеец. Она никогда не могла объяснить себе, откуда у нее взялось тогда столько силы и смелости. Но когда она увидела странно и неподвижно раскинувшегося сына старой Рахили, с которого кто-то уже успел снять сапоги, то лишилась чувств. Три недели она пролежала в горячке; поднялась с постели зимой, окаменевшая, безжизненная, и время для нее как бы остановилось.

Иосиф стоял у окна. Свет вечерней зари потухал, в сумерках Иосиф не казался ей больше ни строгим, ни чужим. И тогда Эстер заговорила приглушенно, торопливо:

— Ты ушел тогда — и слава богу. Они убили бы тебя. Но я осталась с маленьким на руках. Меня объявили вдовой. А потом ребенок умер... и все... мне дали развод. — Она посмотрела на портрет отца, висевший на стене. — Он настаивал. Он кричал, что его разоряют взятки: «Всем плати, от старосты до воеводы...»

Она почувствовала, что все сказала, а ей казалось, что она будет говорить без конца. Она умолкла и сгорбилась, сложив и стиснув руки на коленях.

Бергер тоже взглянул на портрет старого Копелянского и быстро отвел глаза. Этот благочестивый и жадный старик был так скуп, что покупал лишь те коробки, которые содержали не менее пятидесяти спичек. С утра до ночи он корпел над своими книгами, куда собственноручно заносил имена должников, суммы их долгов и сроки платежей, а утомившись от своих занятий, аккуратно гасил огарок: ведь думать можно и в темноте.

Четыре года Бергер не переставал мечтать о том дне, когда он снова увидит Эстер и сына, и все, что он делал, он делал для них, чтобы им жилось лучше, когда

они наконец соединятся с ним. Но однажды в полдень, именно в полдень, он пришел в Наркоминдел, — он часто приходил сюда. На этот раз без лишних проволочек ему дали пропуск к товарищу такому-то, который хочет его видеть. Бергер был счастлив: раз его вызывают, значит, дело его решено. Ему нужно было перейти в другой подъезд, и несколько минут он постоял на тротуаре, не веря своему счастью и любуясь безоблачным, ярким небом.

Когда через двадцать минут он вышел из Наркоминдела, небо показалось ему черным. Сын умер, а Эстер вышла замуж. Какое это было злое горе! Он проклял свою жизнь и возненавидел Эстер.

И вот она сидит перед ним, печальная, измученная, прижавшись к своей дочурке, и сумерки скрадывают, что у нее седая голова и лицо в морщинах. Долгие годы он втайне лелеял мысль, что поздно или рано, а снова встретит ее. И вот он, час возмездия... Но Бергер вдруг ощутил стыд и еще жалость и боль. У него пылало лицо.

Он сел подле Эстер и заговорил негромко, без горечи. Он говорил не о том, как страдал, как ночи напролет метался в тоске и отчаянии, как однажды загляделся на зарю, такую тихую и светлую, а вокруг земля зеленела, и трава поднималась, и подорлик в небе кружил, и как-то утихли у него в душе и обида, и злоба, и боль. Об этом он не проронил ни слова.

Он говорил о том, что пришли новые времена, что жизнь переменится и пойдет совсем по-другому и для нее, и для ее мужа, и для их детей.

Но она улавливала в его словах и то, о чем он молчал: страдания, укоры и непрощение. И это мучило ее. Почему он так несправедлив? Что могла она сделать? Разве что умереть... Она судорожно прижала к себе дочурку.

Девочка, видимо, привыкла к гостю, который не вызывал более у нее тревожных опасений. Она сошла с колен матери, придвинулась к Бергеру и по-детски серьезно и молча потрогала ремни его портупеи. Он осторожно погладил ее по голове с таким чувством, будто родную дочь. И это немного успокоило его.

Эстер искоса смотрела на него: как молодо выглядит, а ведь он старше ее мужа...

— А ты как живешь? — спросила она по-житейскому просто, как близкий, заинтересованный человек.

Иосиф помедлил с ответом. Сказать, что он инженер, — это, пожалуй, будет жестоко. Ведь это она научила его читать и писать по-русски. Он напомнил ей о той поре, когда она мечтала стать учительницей в еврейской двухклассной школе. Теперь она легко может это сделать.

Быть может, потому, что он уже не так свободно говорил по-еврейски и не всегда находил нужное слово, его хорошие слова не трогали ее. Куда уж ей в сорок лет чего-нибудь добиваться! Ее годы прошли, как песок сквозь пальцы. Есть прекрасная сказка о спящей красавице. Заколдованная, она проспала, может быть, сто лет, но не старела, время проходило над ней бесследно.

Эстер больше ничего не сказала. Но Иосиф и без слов понял ее: она проспала двадцать лет, проспала тяжелым сном, полным горьких сновидений, а теперь проснулась, старая, усталая, и все в ней перегорело и угасло.

— Что уж обо мне... Время мое прошло. Были бы счастливы дети... — Она улыбнулась горестной и вместе с тем примиренной улыбкой, как бы отразившей всю скорбь ее неудавшейся жизни. И эта улыбка, подумалось Бергеру, все, что осталось от поры ее молодости и юности.

— Ты женат? — спросила Эстер снова.

— Да.

Ей захотелось увидеть лицо его жены, наверное молодой красивой женщины. А ведь она, Эстер, могла быть на ее месте.

— У тебя есть ее карточка?

— Нет, — слишком поспешно сказал он, так что нетрудно было понять, что он сказал неправду.

«Зачем? — подумала она. — Или эта женщина чересчур хороша и молода? Может быть, русская?»

— Еще в древней Иудее, — сказала вдруг Эстер, — считалось богоугодным делом, если мужчины или жен-

щины приводили в лоно своего народа чужеземца. Это обновляло кровь народа. Это полезно для всякого народа... — И тут же спросила: — У тебя с ней дети?

— Да, двое, — отвечал Бергер, несколько огорошенный ее вольными, далеко не местечковыми рассуждениями. И вдруг понял, что, сколько ни суждено ему прожить, ему всегда будет недоставать ее... Он ничего не успел сказать.

В комнату шумно вбежали мальчики. Они смешались, увидев постороннего.

— Вот они, мои сорванцы, Иосиф, — сказала Эстер с гордостью.

Электростанция не работала, да и все равно электричества в таких лачугах не было. Эстер зажгла керосиновую лампу, в тусклом свете которой вещи приобрели угрюмый вид. И Бергеру беспокойно и тягостно стало в этой тесной комнате с низким, давно не беленным потолком, длинными тенями на обоях, отставших от стен какими-то уродливыми пузырями, с бумажными пластырями на окнах.

Все это было слишком памятно и слишком чуждо, словно взятое из другой жизни.

Вошел Мендель Сойфер. Он побледнел при виде Бергера, и на лице его ярче запестрели веснушки.

— Это Иосиф, — сказала Эстер таким тоном, как будто его имя было хорошо знакомо ее мужу.

— А-а... — растянул он и подал Бергеру руку, жесткую, как дубленая кожа. — Желанный гость. Ради такого гостя не грех бы и выпить.

— Нет, нет, я ведь в походе, — сказал Бергер.

— И то правда. Ну, тогда чаю. Чаю-то можно, Эстер! — сказал хозяин, ласково и жалко глядя на жену, на ее спокойное и печальное лицо.

Но Бергер понимал, что чаепитие не ко времени: лишний час ненужных сопоставлений и сравнений для всех троих.

Бергер сказал, что ему пора. Его не задерживали.

— Спасибо, Иосиф, — сказала ему на прощание Эстер.

За что, собственно, она благодарит его? Ему казалось, что это он должен благодарить ее. И тогда он

сказал ей: пусть дети, повторив ее красоту и нрав, никогда не повторят ее доли. И тут же подумал, что его слова могут показаться немного обидными ее мужу, Менделю Сойферу. Но этот умный человек с улыбкой заметил:

— Дети всегда должны быть удачливее своих родителей.

— Дай бог, чтобы это было так, — сказала Эстер очень тихо, как бы отвечая себе, своим тревожным и смутным предчувствиям.

— Бедная Польша! Ее взяли в тиски с двух сторон. А иностранные займы панове растратили на широкие нарядные военные козырьки, — сказал Мендель Сойфер доверчиво и откровенно.— Это великое счастье, что вы пришли. А то ведь там, где немцы, ужас, говорят, что делается! Они совсем озверели. — В голосе его слышались нотки злобы и тайных опасений.

И Бергеру передались их тревоги и тягостные предчувствия. Что ожидало их всех впереди?..

Бергер шел пустынной и темной улочкой. И почему-то думалось ему не об Эстер, а о муже ее. Образ Менделя Сойфера, не нашедшего в жизни применения своей недюжинной силе, неотступно сопровождал его, как призрак далекого прошлого.

Никогда еще не было у него так печально и тревожно на душе. Будущее вставало в немом сумраке ночи, глухое и непроницаемое, как стена.

Во тьме роились огоньки, в осеннем небе было полно звезд, Млечный Путь поднимался, казалось, прямо с земли.

1940—1958

СЫН

Впервые я увидел его на третий или четвертый день моего пребывания в редакции фронтовой газеты Н-ской авиачасти. Я сидел над гранками, когда он вошел с заплатанной кошелкой в руке, неуверенный, беспокойный и очень робкий. У него дрожал небритый подбородок и рот дрожал, — вот-вот, казалось, старик заплачет.

— Ничего не слыхать о моем сыне? — спросил он.

— Нет, — ответил редактор Лушин коротко и строго.

Странно, — это односложное «нет» подействовало на старика успокоительно, даже улыбка на миг проступила на его бледном лице. Он стеснительно потоптался на пороге и прикрыл осторожно за собой дверь.

— Жалко старика, — сказал тихо Лушин. — Это отец Горбачева.

Я читал о славном летчике Горбачеве, повторившем подвиг капитана Гастелло, который ринулся на горящем самолете в гущу вражеских солдат.

— Но разве старик ничего не знает?

— Как не знает? — отвечал Лушин. — Не верит. А может, малость тронулся, кто его разберет.

На следующий день старик — он жил в Сарабузе по соседству с военным городком — принес нам статейку, в которой трогательно клялся помогать всеми силами

сыну громить врага. На этот раз он не задал обычного вопроса, а только посмотрел на нас испытующе, пугливо и грустно.

Как-то ранним утром я пошел к шлагбауму, закрывавшему вход в военный городок, чтобы с первой попутной машиной отправиться на соседний аэродром. В степи было тихо, спокойно и по-утреннему прозрачно, солнце еще не успело накалить степной песок, а ветер — замутить воздух жаркой пылью. Играли ласточки, как всегда перед дождем, чуть не срезая крылом траву у самой земли.

Я еще издали увидел знакомую фигуру, понурую и не по годам согбенную и сгорбленную. Старик медленно шел степной тропинкой с неизменной кошелкой в руке, погруженный в свои невеселые думы. Он узнал меня и улыбнулся.

— А я к вам, товарищ командир! Ничего не слыхать о моем сыне?

— Я человек здесь новый, — отвечал я неловко.

— Это верно. Ехать куда собрались?

Я назвал аэродром, куда направлялся за материалом для газеты.

— А-а! — радостно оживился старик. — Там эскадрилья моего Алеши. Вы его не знаете? А его все знают. Про него в газетах много писали. С первого дня воюет. Как налетает, фашисты рассыпаются, как горох, кто куда, и кричат: «Горбачев летит!» Вот он какой! — с гордостью проговорил старик.

Он весь преобразился, его глаза блестели. Потом добавил упавшим голосом:

— Никогда такого не бывало, чтобы не писать отцу целый месяц. — И рот его снова задрожал быстрой, плачущей дрожью, смотреть на которую было невыносимо горько.

Я чувствовал, что надо ему что-нибудь сказать, пусть даже неправду. И я сказал с наигранным спокойствием, что письма теперь идут долго и что я сам вот уже больше месяца не получал из дому ни строчки.

Он посветлел.

— Верно, не угнаться почте за нашим беспокойством. Надо потерпеть, — сказал он участливо.

Три дня спустя старик прибежал в редакцию взволнованный и даже как бы ошеломленный.

— Вот! Вот! — крикнул он с порога, задыхаясь, и протянул мне свежую газету. — О моем сыне. Читайте. Что я говорил, а?

Действительно, в газете была напечатана заметка о каком-то стрелке-радисте Горбачеве.

— Это однофамилец, — сказал Лушин.

— Нет, нет! — закричал старик и побледнел.

Мы с Лушиным совсем оторопели, когда старик попросил нас написать письмо сыну.

— Руки-ноги дрожат, — сказал он, глядя мне в лицо с тоской и тревогой. — Так вы уж, пожалуйста, товарищ командир, напишите.

Я молча положил перед собой чистый лист бумаги. А Лушин внимательно посмотрел сперва на старика, потом на меня, пожал плечами и вышел из комнаты.

Старик сел на краешек стула, держа кошелку на коленях. Несколько минут он сидел с закрытыми глазами, уйдя, видимо, в свои мысли и воспоминания, наконец заговорил медленно, как бы в раздумье:

— «Дорогой мой сын Алеша! Другой месяц на исходе, как от тебя нету писем, и уж не знаю, что и думать. В газетах я прочитал, что ты на горящем самолете кинулся на фашистов и перебил их большое множество и сам погиб великой смертью. Не верится. От меня сначала это скрывали. Пришел с работы домой, а в доме, гляжу, полно народу. Ну, раз люди сбежались, значит, беда стряслась. Мне говорят: «Крепись, Анисим Иваныч, нынче беда по всей России ходит, и к тебе пришла». А мне все не верится. Ты у меня один-единственный на свете, никакой больше родни нету. Сел я в сторонке, на людей смотреть боюсь, а они ласковые, заботливые, и от этого у меня сердце разрывается. До ночи просидел я на одном месте — ни живой ни мертвый, ничего не слышу, не вижу. Тут примерещилась мне твоя мать-покойница. Села будто возле меня, совсем будто живая, и говорит: «Как же, говорит, единственного сына не уберег ты, Анисим Иваныч?» — «Не мог, отвечаю, Агафья Дмитриевна, сынов нынче вся Россия, и все воюют, и наш Алеша

со всеми. Такая наша доля». А она свое твердит: «Пошел бы с сыном, укрыл бы родное дитя в смертный час. Свое ведь ты уж отжил». — «Был бы помоложе, а то стар я, Агафья Дмитриевна! И с лицом вот тоже неладное, дрожит, унять невозможно». Стали мы с ней вспоминать, какой ты маленький был... плавать, нырять любил. Заплывешь невесть куда, а мать со страху лихорадка бьет: «Господи, говорит, не утоп бы пострел...» — «Ничего, отвечаю, мать! Малый плавать учится на глубоком месте. В мелкой воде не поплаваешь, только замутишь ее». Начали мы твою одежу смотреть, письма листать. А ты все про самолет свой, про товарищей пишешь. Вспомнили мы, как ты смешно рассказывал про то, как впервой в летную школу пошел... Забрался в переменку на крышу, а она высокая и плоская, и далеко с нее видать. А ты подступил к краю, глянул вниз, с испугу чуть было не сверзился. «Какой же, думаешь, летчик из меня, ежели высоты боюсь...» А потом, как прыгал с парашютом впервой с самолета, тоже не сказать бы страх, а неловкость была, пока не привык. А как полетел ты в первый день войны, я всю ночь у окна простоял. Облака бегут, а я прошу их укрыть сына моего от пули вражеской. Потом стал я работать в мастерских по ремонту, не раз мне приходилось видеть, на каком решете ваш брат прилетает с задания. Не верится мне, не верится, что нет тебя, и до последнего вздоха я все буду ждать от тебя письма. Низкий поклон от меня товарищам твоим. Остаюсь твой отец Анисим Горбачев».

Старик взял письмо, бережно сложил его и ушел. Я долго сидел, потрясенный, и все думал о старике, о погибшем его сыне, о безвестном стрелке-радисте Горбачеве.

Две недели старик не показывался. Пришел он неожиданно, когда из степи потянуло душным запахом разогретого за день песка. Он принес письмо, полученное от стрелка-радиста. Видно было, что письмо это он читал не раз, теперь он попросил меня прочитать его вслух. Признаюсь, не без трепета развернул я исписанные карандашом листки. Почерк был совсем еще детский, неторопливый и не очень уверенный, — тем

удивительнее показались мне уже с первых строк складность и ясность письма.

— «Дорогой наш папаша Анисим Иваныч! Пишу вам от имени всего нашего экипажа, как ваше письмо нас всех очень тронуло. И я увидел Алексея Анисимовича как живого. Я читал и много слышал о нем от товарищей, какой он был благородный, смелый и требовательный командир. Он был требовательный не только к другим, а и к себе, и на счету у него немало сбитых стервятников. Он сделался для всех нас близким и родным, и мы, как младшие братья, стали на его место. Так что, дорогой наш отец Анисим Иваныч, горе наше обернется и для наших врагов черным горем. Мы есть одна семья и должны крепко держаться друг за дружку по настоящему времени, когда немец так лютует над нашими городами и над всем советским народом. Наш самолет — комсомольский, летает днем и ночью, при любой погоде, летает без аварий над сушей и над морем. А машина наша сухопутная, хотя почти вся трасса проходит над морем, так что ежели до берега не дотянешь — каюк. Но мы сознаем, какой наш долг перед Родиной и всеми трудовыми людьми на земле, потому как от наших бомб, как после грозы, на земле становится чище и светлей. Я стрелок-радист. Мне девятнадцать лет. На войну пришел недавно, прямо как окончил вторую ступень и поступил в электротехникум в родном городе Бежецке, Калининской области. Провожали меня мать Мария Андреевна и сестренка Настя, так что у меня до сих пор сердце тяжелое. Уже имею больше тридцати боевых вылетов, и командир товарищ Кирьянов велит написать вам, что он мной доволен. Еще хочу вам сообщить, что в последнем бою на нас напали три «юнкерса» и очень злобно стали нас долбать. А этот самый «юнкерс» иначе не возьмешь, как только зайдя ему в хвост. А ежели сбоку, так он, гад, дыбком встает, брюхом на тебя, а оно у него бронированное, и никакой пулей его не взять. Его бы бронебойным снарядом — так у нас пушки нет. Вот он и куражится, фашистский выродок. Ну, от обиды и горя пойдешь на таран, лишь бы погубить его, проклятого. И каждый летчик наш

есть герой. Однако одного «юнкерса» мы гробанули, он загорелся, как свеча, а два других навострили хвосты, потому как нам на помощь подоспели наши. А немец — он старается скопом на одного. Я был легко ранен, так что даже в госпиталь не ложился. И вы не беспокойтесь, я совсем здоров. Кланяются вам командир Кирьянов и штурман Тульский. Будьте здоровы и бодры на долгие годы, как вам желает один из ваших младших сыновей, Андрей Горбачев».

Я дочитал письмо. Анисим Иванович сидел неподвижно и тихо плакал.

1943—1960

ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН

Сначала их было пять моряков под командованием политрука Ивана Чурилина. Они вызвались прикрыть отход своей части.

Немцы то и дело поднимались в атаку, но каждый раз откатывались, оставляя убитых на порыжевшей от крови севастопольской земле. Но и моряков становилось все меньше и меньше, пока, наконец, не остался один Иван Чурилин.

И тогда без долгого раздумья пришло естественное в его положении решение: последний патрон сберечь для себя, чтобы не даться немцам живьем. Он был весь изранен; исстрадался от боли и ослаб от потери крови. Но мозг его не потерял ясности и воля не сдавала.

Стоило неосторожному немцу приподнять голову из укрытия, чтобы крикнуть: «Рус, рус, ergib dich»[1], как Иван Чурилин незамедлительно посылал ему пулю. А он бил без промаха.

Немцы очень озлобились на него. Они больше не стреляли и не показывались, а терпеливо ждали, пока он израсходует последний патрон. Он же в свою очередь ждал подходящей цели, чтобы бить наверняка. Он берег патроны.

Так завязался этот странный поединок между довольно большой группой немцев и одиноким русским

---

[1] Сдавайся (нем.).

моряком. Обе стороны ожесточились до предела: для немцев этот русский моряк был чем-то вроде бешеной собаки, а для него фашисты всегда были сродни диким зверям. Впрочем, когда однажды буйный морячок приехал верхом на пленном, политрук Чурилин сердито накричал на него: «Кому подражаешь? Фашисту? Человека оседлал. А еще комсомолец!»

Пока патронов у него было много, Иван Чурилин о себе не думал. Да и непривычно ему было думать о себе, личное благополучие он всегда ни во что не ставил; по его понятиям, жизнь имела значение и ценность применительно к общему делу и коллективу товарищей.

Но теперь, когда патроны были на исходе, он задумался. Он не боялся смерти и не беспокоился о том, что в последний миг у него может дрогнуть рука. Нет, совсем другие мысли тревожили его. Может быть, ему и жаль было себя, своей жизни, своей молодости...

У Чурилина был «длиннозоркий» глаз, по его собственному выражению. По каким-то едва заметным признакам он вдруг обнаружил, что к нему ползет немец, сливаясь с травой, как ящерица. Очевидно, наци не выдержал нервного напряжения и пополз, чтобы прикончить русского моряка.

Иван Чурилин был терпелив, как охотник, и вынослив, как моряк. Он подождал, пока немец приблизится настолько, чтобы не промахнуться. И в ту секунду, когда немец чуточку приподнялся, в него ударила снайперская пуля, и он ткнулся лицом в землю. Теперь Иван Чурилин на некоторое время обезопасил себя.

— Ну вот! Подходящий выстрел, Костя! А? — сказал он внятно, обращаясь к лежавшему ничком краснофлотцу Косте Савчуку.

Ветер колыхал на стриженом затылке мертвого ленточки бескозырки, они шевелились, как живые. От этого Чурилину казалось, что Костя вовсе не убитый, а очень устал и в изнеможении лег лицом в прохладную степную траву.

— Хоть бы гранату, Костя! Веселее бы все-таки, а? — добавил Чурилин.

Он теперь часто обращался к Косте Савчуку и разговаривал с ним, чтобы не чувствовать одиночества и покинутости.

Звук собственного голоса пробудил его окончательно. Он подумал иронически, что если вид его такой же плачевный, как и голос, то можно легко себе представить, на кого стал похож Ваня Чурилин, долговязый верзила с крупным носом и здоровенным кадыком. Даже в такую печальную минуту его не покидал природный юмор.

Он любил пошутить, он был весельчак и балагур. Не за этот ли веселый нрав полюбила его Таня? Глядит, бывало, из-под густой копны черных волос, как беспомощный еж из-под щетины. Ее и прозвали ежиком. Не знаешь, как к ней подступиться, такая она колючая и неприступная. А как поверила и полюбила, так иглы опустила и вся раскрылась, такая нежная, ласковая, заботливая... Иван тряхнул головой, отгоняя видение.

Его знобило, снова начинался бред. Все вокруг было подернуто багровым и тусклым светом заката. И казалось Ивану, что вдоль всего горизонта выстроились гигантские огненные, с кровавыми гребешками петухи, которые вот-вот пропоют свою вечернюю зорю. И снова сказал он Косте:

— Сколько огня кругом, а я озяб... — Но вдруг ощутил тяжелую усталость и умолк, уставясь прямо перед собой неподвижным, безжизненным взором.

Внезапно глаза его вспыхнули тревожным блеском. Как будто в степи вновь передвинулся зеленовато-серый бугорок. Не немец ли?.. Нет, это ему померещилось.

Чуть нахмурившись, по-вечернему пустынно и нелюдимо глядела степь, и в тишине стлалась мгла. Иван прикрыл глаза, чтобы хоть немножко отдохнуть, но тотчас испуганно разомкнул их. Он услышал чье-то прерывистое, хриплое дыхание и, прежде чем сообразил, что это его собственное, судорожно выстрелил. Он тотчас очнулся с тоскливой мыслью, что зря тратит патроны. И снова больно сжалось у него сердце при мысли, что он может попасть к немцам живьем.

— Нет, нет, этого не будет, Костя! Ты ведь меня знаешь... — сказал он тихо и зло.

Пахло сухой прохладой мяты. А Ивану Чурилину чудилось море. Он видел его далеко-далеко на горизонте, где потухали восковые отблески зари. Оно было такое, как в тот день, когда корабль всплывал в сухом доке после ремонта.

Почему-то из множества морских воспоминаний это особенно запечатлелось в памяти. Вероятно, потому, что оно было первое, неизгладимое. Ведь Иван тогда только-только пришел на флот.

Корабль стоял, весь обнаженный, на специальных подставках. Со всех сторон его подпирали бревна. Он был огромный и сиял свежей краской.

Один за другим приоткрывались кингстоны—этакие громадные иллюминаторы в плотине, сдерживающей море. Одна за другой хлынули струи воды, становясь все толще и крупнее, пенясь и с шумом разбиваясь на камнях дока. И вот уже ревут седые потоки, образуя сплошной гремящий водопад. Высоко взлетают тучи водяной пыли, и чудится, будто в воздухе бушует соленая пурга.

А внизу вопит и колотится взмыленное чудовище, вдруг подхватывает железную болванку весом с тонну, легко подбрасывает ее, переворачивает, кидает навзничь и, накрыв косматой волной, катится дальше.

И с легким неожиданным толчком всплывает корабль. Тотчас отваливаются от него бревна-подпорки, теперь такие жалкие и ненужные, почти как спички. Открывается море, величаво и лениво раскинувшееся до самого горизонта...

Воспоминание промелькнуло мгновенно, смягчив суровое и отрешенное выражение его острого, бескровного лица.

Он вдруг странно усмехнулся и проговорил, обращаясь к Косте, с непередаваемым звуком в голосе, похожим на всхлипывание:

— Серый я был. Поверишь, вспомнить — и грустно и смешно. Салага желторотый, за все пороги цеплялся, на всех порогах спотыкался. А думать я и вовсе не умел. А человек должен думать, на то он и человек.

А тут только сны видишь... Ну да ведь сны и корова видит.

И Ваня Чурилин стал тихо рассказывать Косте, как жил обыкновенный крестьянский парень, старший в семье работник, который все умел делать — пахать, сеять, полоть, косить, жать, молотить, а вот думать не умел. Да и когда было ему думать? За день до того устанешь — на каком боку заснул, на том и проснулся, спишь как убитый, никаких тебе снов. Где уж тут думать!

— На заре, бывало, пойдешь в поле, а вокруг прохлада, тишина, не шелохнется камыш, и роса на траве, и гул пчел, и простор такой — глазом не охватишь. И задумаешься о том да о сем, но мысли такие привычные, невесомые, бесследные, и не поймешь, о чем они, и не вспомнить потом, о чем думал... А выпадет свободный часок — книжку почитаешь. Да только редко выпадал такой часок. Сам-восемь, и все мал мала меньше. Отец рано помер, а мать рада хоть шкуру с себя содрать для детей. И развлечений никаких у нас в деревне. Разве что зимой на посиделках, а весной с гармошкой. А тут еще недород грянул. Стал я рыбу удить. Восемь ртов накормить — не шутки шутить. Скучное это занятие, скажу тебе, рыбу удить, и, как всякая скука, утомительное. Небось сам знаешь, Костя! — сказал Иван Чурилин и вдруг залился коротким, слабым смехом.—Сам небось рыболов отчаянный... в Индийском океане китов с удочки ловил... чудило-мученик!

Костя Савчук любил потравить, как говорится у моряков, попросту приврать. А все же это был отважный и добрый малый.

И вот он лежит бездыханный, и только ветер чуть колышет в сумерках ленточки бескозырки на его затылке.

Иван Чурилин покачал головой с чувством жалости и печали. Он снова заговорил чуть слышно, — со стороны могло показаться, что он что-то бормочет в бреду:

— Сидишь, бывало, над речкой день-деньской, пялишь зенки на поплавок, ну и заснешь. И приснится

тебе чудной сон, будто несут старики на руках большого белого коня, а он ржет и плюется густыми зелеными хлопьями пены во все стороны. Вон ведь какая чертовня присниться может...

Он замолчал, уйдя в воспоминания, потом снова заговорил, но уже беззвучно, где-то внутри себя, в мозгу, хотя ему казалось, что он говорит громко:

— Осенью взяли меня, брат, на флот. Отчего же? Парень рослый, косая сажень в плечах, как говаривали в старину. Служба матросская, сам знаешь, — работы невпроворот. Ну, мне не привыкать стать. Я старательный. Самолюбив был. Однако и рак самолюбив — краснеет, когда его варят. В комсомол приняли, потом в партийные кандидаты, а там и политруком назначили. Вот когда со мной и начался этот переворот. Поверишь, и сам не пойму, что это такое со мной было. То надо было вставать чуть свет-заря по побудке, связывать койку в две минуты, бежать на поверку, а потом драить палубу, красить горловины да леера, проворачивать механизмы... а тут вдруг можно подняться в семь, умыться не спеша, побриться, покурить на юте, подумать перед тем, как пойти к краснофлотцам с политинформацией. А думать-то не о чем. Газеты почитаешь, а в них все привычно, знакомо... и опять думать не о чем. И стал я думать: отчего это мне не о чем думать? Думал я об этом не переставая, день и ночь, до изнеможения. Такое началось — словами не передать: заикаться стал, лицо дергается, голову разламывает... И никто не понимает, чего это со мной делается. Вроде как обкормили после голодовки: корчится человек от боли, мутит его, рвет, и так ему худо, вот-вот концы отдаст. Мне потом один умный человек объяснил: «Это, говорит, расплата за то, что душа твоя слишком долго пребывала в неподвижности и оцепенении, а как вышла на свет божий, она и захлебнулась с непривычки от притока свежего воздуха, вот ее и корежит. Вроде контузии получилось».

Воспоминания возникали бессвязно и хаотично, но зримо, словно какое-то бессмысленное нагромождение картин.

Перед взором Ивана Чурилина проходили знакомые видения долгой морской службы: маневры, дальние плавания, учебные экскурсии...

И снова услышал он вдруг свое тяжкое дыхание, и снова раздался издалека глухой, гортанный, непонятный окрик: «Рус, ergib dich! Сдавайсь!»

У Чурилина оставался один патрон. Пора было кончать.

Точно угадав истинное положение моряка, немцы начали осторожно подниматься.

В небе бежали облака, спешил ветер, гоня перед собой степной ковыль, быстро темнело. Весь мир был в движении, и только один Иван Чурилин замер, застыл, охваченный смятением и нерешительностью. На него внезапно напало чувство страха и одиночества. Пока во мгле ветер шевелил ленточки бескозырки на стриженом затылке мертвого Кости, Иван Чурилин не был одинок и не испытывал страха. Но теперь, в темноте, уже не различить было этих живых ленточек бескозырки, и не стало вокруг ничего, что могло бы ослабить давящее чувство одиночества и обреченности.

А немцы уже не остерегались более, очевидно уверенные, что он расстрелял последние патроны. Голоса их звучали все громче и ближе, и это возмутило Чурилина.

И когда какой-то немец приблизился слишком дерзко, Чурилин не раздумывая послал в него последнюю пулю и ужаснулся тому, что сделал. Теперь он был безоружен, теперь он наверняка попадет к немцам живьем. Он содрогнулся от этой мысли. Немцы люто относились к морякам, а с ним у них был особый счет.

А он совсем ослаб, ему уже и руки было не поднять. Он обессиленно привалился лицом к краю окопа, ощутил ночную прохладу земли, и эта прохлада вдруг вернула ему силы.

Немцы, потеряв еще одного, присмирели, отползли назад и умолкли. Совсем не стало слышно их голосов. Они, вероятно, решили не трогать советского моряка до рассвета.

В степи было по-ночному темно, небо вызвездило; ветер, налетая порывами, пел под сурдинку над ухом Ивана. В предсмертном бреду Иван снова видел море и чайку с поджатыми красными лапками, которая носится над морской волной, едва не срезая с нее пену.

И вот идут моряки под командой политрука Ивана Чурилина. Их пятеро. Они идут занимать позиции, чтобы прикрыть отступающих товарищей.

— Морская пехота, слушай мою команду! — возглашает раскатисто Иван Чурилин.

— Есть слушать команду! — весело отвечает в лад своему командиру Костя Савчук, достает из внутреннего кармана бушлата бескозырку, надевает и говорит: — Бескозырка для моряка, что флаг для корабля.

Иван вдруг увидел Таню, — она стояла рядом, печальная-печальная, у него мучительно заныло сердце.

Занималась поздняя осенняя заря, окрашивая небо, степь и далекое море.

Неожиданно все вокруг Ивана завертелось, словно запустили волчок, запустили сперва не очень удачно, и волчок, раза два покружась, повалился набок. А потом пошел набирать скорость все сильнее и сильнее, завертелся, как вихрь, так что даже растворился, растаял, исчез, и все вокруг слилось в нечто удивительно легкое, невесомое, воздушное и незримое. Внезапно вихрь подхватил Ивана Чурилина, поднял его и понес куда-то на Большую землю, где ждала его Таня, милый, милый ежик.

Это было последнее его ощущение в жизни и последнее видение. Он уже ничего не чувствовал и не сознавал, когда немцы, вконец озлобленные тем, что он все-таки ушел от них, набросились на него и стали терзать его тело.

1943—1958

ЖЕСТОКИЕ ОШИБКИ

Хмурым августовским утром я вышел на траулере «Лебедь» в Ледовитый океан посмотреть трал рыбы.

Большой, железный, коричневый от ржавчины корабль с высокими бортами, тонкими мачтами и обширной, как площадь, палубой почти без надстроек отвалил от мурманского причала и пошел вниз по Кольской губе, среди извилистых, пустынных, однообразно скучных берегов. На палубе не видать было ни души; казалось, эта движущаяся махина необитаема, если бы не размеренный и унылый звон склянок, повторявшийся через равные промежутки времени.

У Кильдин-острова, закрывающего, как верный страж, вход в Кольскую бухту, «Лебедь» задержался, грузясь снастью и пресной водой.

Под вечер, когда садилось солнце, едва окрашивая темный небосвод, и слышнее стал могучий гул океана, провожать нас высыпало все население острова — от мала до велика.

Сменившись с вахты, рулевой Вася Гуляев стоял у борта задумчивый и невеселый. Про него говорили, что он моряк отменный, «с Доски почета не сходит». С виду ему было годов двадцать восемь. Его сухощавое, обветренное, резко очерченное лицо говорило об энергичном и сильном характере, а пытливый взор, устремленный куда-то вдаль, свидетельствовал о том, что этому человеку не чужда игра воображения и фантазии.

— Что это вы скучаете? — спросил я его, становясь с ним рядом.

— А я вовсе и не скучаю, — отвечал он. — Скучать в море не приходится. Некогда. После иной вахты едва до койки доплетешься. До того устанешь — снов не видишь. — И с лукавым огоньком в веселых, озорных глазах спросил: — Вы в море-то небось впервые? Плохое время выбрали. Осень. Время штормовое. Заладит—не знаешь, куда деваться, все кишки выматывает. Это что, какое это море! Вот за Кильдин-островом — там море. Наплачетесь! Года два назад увязался с нами тоже вроде вас, корреспондент. До того беднягу затрепало — отдал концы на шестые сутки.

Мне не понравилась его едкая шутливость, и я сказал ему, что укачивает не только на море, но и на спине шагающего верблюда.

— Ну? — удивился он. — А я и не знал.

— Мало ли чего мы с вами не знаем.

Он засмеялся. Потом снова сказал:

— В море главное — не робеть. Море робких не любит. Обвыкают. Иного наизнанку выворачивает, а в обратный рейс идет, глядишь, и не узнать молодца.

Погрузка кончилась, оформлялись документы. Свободные от вахты моряки, смешавшись с толпой провожающих, веселились — кто пел, кто плясал под звуки баяна. Васю Гуляева то и дело окликали снизу, с мола, но он не шел.

— А что, товарищ корреспондент, вы на самый край света с нами пойдете или поближе остановитесь? — спросил он в своей шутливой манере.

Я ответил, что по уговору через десять дней меня должны пересадить на траулер «Север», который пойдет от Новой Земли.

— Через десять дней? — переспросил Гуляев и весь встрепенулся. — Вот так удача! Такое и во сне не приснится. Письмишко-то возьмете?

— Ну конечно.

— Вот спасибо! Жене весточку послать. А то ведь она и не знает, куда я девался.

Видя мое изумление, он смущенно добавил:

— Не успел проститься. Так получилось.

Он оживился, повеселел, точно отделался наконец от давившей его тяжести. Вдруг легко и быстро спустился по трапу и, не ожидая приглашения, с ходу пошел в пляс.

Какая-то молодка двинулась ему навстречу, играя смеющимися ямочками на щеках и помахивая цветистым платочком.

Вася плясал превосходно. Он то высоко подпрыгивал, ударяя нога об ногу в воздухе, так что чудилось, будто он летает, то приседал, вертясь волчком на одной ноге, то легко и плавно кружил вокруг себя не сводившую с него блестящих глаз молодку. Под его грубой матросской робой угадывалось гибкое, мускулистое тело, а лицо выражало столько задора, удали и в то же время грусти, что, глядя на него, право, нетрудно было догадаться, что этот малый нравится женщинам.

Зрители обступили плясунов, дружно хлопая в ладоши.

Внезапно заревела сирена. Мигом прекратилось веселье. Умолк баян. Моряки взошли на корабль. И хотя провожающие продолжали шумно и весело напутствовать моряков, но лица их опечалились, а кое у кого блеснули слезы.

Остров начал постепенно отодвигаться, отдаляться, поворачиваясь то одним, то другим боком. И все то, что было на нем, — люди, постройки, животные, каменные скалы, песцовые загоны-питомники, — становилось все меньше и меньше, пока и вовсе не исчезло из виду. А остров, вытягиваясь, удлиняясь и теряя свои извилистые очертания, тускнел, темнел и наконец, став прямой полоской, как школьная линейка, растаял на горизонте в осеннем тумане.

Налетел стремительный морской ветер с шумом и хлопаньем гигантских крыльев. Срывая белые гребни волн, он разносил их по воздуху водяной пылью, — похоже было, будто моросит мелкий соленый дождь. А за кормой поднялся бурун и пошел следом за кораблем, гневно фыркая и клокоча, как сердитый индюк.

Волны вырастали все крупнее и крупнее, поднимая свои развевающиеся гривы. Они как бы обхаживали

корабль, к чему-то приглядываясь, примериваясь, принюхиваясь, вдруг перемахнули через борт, опрокинулись и шлепнулись на палубу своими гладкими массивными телами.

В этот час какой-то паренек, тайком хватив еще на острове запретной водки, полез спьяна за борт. Не подоспей Вася Гуляев, малый зачерпнул бы воды не только в сапоги. Вася взял его железной рукой и, как тот ни отбивался, поставил его на палубу, коротко бросив:

— Притихни, Сенька! Притихни, говорят тебе, дуролом!

Но Сенька во хмелю был драчлив и буен. Тогда Вася отнял у него нож для разделки рыбы, связал малого по рукам и ногам, чтобы не шумел, и сунул его в кладовую.

Море било меня нещадно. Словно втиснутый в железный корсет, я валялся на койке, становясь то на затылок, то на пятки. А мой портфель бешено носился по каюте, выбрасывая коробки папирос и спичек. Его словно рвало от этой дикой качки, укладывающей порой корабль на сорок пять градусов.

Тут на выручку мне пришел Вася Гуляев. Прежде всего он вытащил меня на свежий воздух. Он показал мне, как надо дышать, чтобы не так ужасно мутило: когда корабль взбирается на волну — вдох, а как ныряет в пучину—выдох. Часами заставлял он меня простаивать на капитанском мостике среди черных валов, которые, рыча и беснуясь, обступали корабль со всех сторон. А потом, исхлестанного ветром и дождем, промокшего до нитки, едва живого, чуть ли не силой принуждал есть.

А в часы своей вахты посылал ко мне Сеню, рослого и неуклюжего малого, который неописуемо менялся с первой каплей спирта, как будто вместе с ней в него входил дух дикого разгула и буйства.

— И чего это со мной делается, не пойму, — откровенно винился Сеня. — Когда трезвый, никто на меня не обижается. А выпью — сладу со мной нету. Вот и в воду полез с пьяных глаз. Спасибо, Вася выручил,

доложил капитану аккуратно: дескать, обстоятельства без примеси алкоголя. Выговором отделался.

Шторм стих, начался трал. Траулер — это, в сущности, плавучий завод, разделывающий и обрабатывающий улов. Его команда — сорок человек, все как на подбор испытанные моряки.

Огромная сеть на стальных канатах, раскрытая, как пасть дракона, опускается по борту. Когда ее вытаскивают и опрокидывают на палубу, поднимается шум, словно от тропического ливня: то бьется рыба, подскакивая чуть ли не на метр в высоту. Одним взмахом ножа матрос отсекает рыбе голову, но и безголовая она продолжает трепетать и дергаться, пока другой матрос потрошит и разделывает ее.

Шли главным образом треска и морской окунь.

Ни Васю, ни дружка его Сеню я почти не видал в эти горячие дни.

Вечером накануне того дня, как мне пересесть на встречный траулер, Вася Гуляев принес мне письмо к жене, с которой не успел проститься. Мы засиделись с ним допоздна одни в кают-компании, где не было иллюминатора и не слышно было моря. И только равномерное покачивание корабля с боку на бок было верным признаком того, что море все еще неспокойно.

Вася молча перебирал струны гитары, грустно улыбаясь каким-то своим мыслям, потом сказал:

— Моряцкая жизнь сами знаете какая. Штормы да бури, вахты да авралы. В прошлый раз плавание затянулось. Вышли на два месяца, а зазимовали среди льдов. Это только так говорится — на два месяца. А попадет ежели корабль в кромку льда, ну и пойдет кружить его в дрейфе. Потушили топки, забрались в угольные ямы, сидим и слушаем над камельком, как трещат и трутся льдины, сказки-байки рассказываем. Всякое было. Раз как-то заторосило, и стало сжимать корабль, вот-вот раздавит. Кругом ночь, вихрь, пурга слепит, и такой скрежет, будто железный наш корабль кто-то на зуб пробует. Мы уже собрались было на лед сойти... Весной дрейфом на чистую воду вынесло. А время — штиль, не поймешь, где небо, где вода, и такая тишина кругом — голоса чудятся.

Он помолчал, пощипывая струны, как бы находя в отрывистых, бессвязных звуках гитары выражение своим тревожным и смутным чувствам.

— Ну, ясно, — начал он снова, — на берег списался просоленный, как треска, душа нараспашку и денег полные карманы, тут я и встретил Катю. До чего как много Катюш развелось, что ни песня, то Катюша. И все какие-то особенные, ангелочки, пришей крылышки — улетят. А моя Катя — обыкновенная работница с обувной фабрики. С лица — ничего, глаза серые, волосы гладкие, руки фабричные, сама шустрая, смешливая, зальется — и все кругом смеются. В порту девки балованные. А эта, гляжу, — ни в какую. Строгая. Я было рукам волю дал, не очень чтобы нахально, а она меня по рукам. «А еще, говорит, советский моряк!» Скажи ты, пожалуйста, как будто раз советский, значит, святой. Однако с тем и ушла. Насилу уломал. Пять дней под окнами ее ходил. Какой-то старичок шутник даже выспрашивать стал: «Вы, говорит, чего тут, товарищ моряк, не в постовые ли нанялись?»

Гуляю с ней неделю, другую, в сад ходим, на музыку, в кино... А картины она страсть любит, только чтобы поменьше производства. «Насмотрелась, говорит, досыта, сама ударница». А вот море, лес, степь, там стройки разные и про любовь, конечно, — хоть три сеанса подряд смотреть согласна. Она и меня за то полюбила, что всякие истории рассказывать горазд, я так полагаю. Слушает и молчит. А то вдруг засмеется: «Хорошо, говорит, рассказываете, ежели не врете». Ну, я в меру врал. Соображаю, чай, семилетку кончила, книжки читает. А то вдруг размечтается: «Махнуть бы в Москву, поглядеть бы ее, красавицу, обойти, обегать...» У нее даже целый альбом московских открыток: Красная площадь, Мавзолей... всего и не упомню. Сам-то я в Москве ни разу не был, она тоже, а вот как начнет рассказывать, будто все видела. Внимательная такая. Спешили мы с ней куда-то, а я вдруг вспомнил: «Зайти бы, говорю, на почту, матери деньги послать. Впрочем, говорю, не к спеху, успеется». А Катя отвечает: «Матери от сына весточку получить всегда к спеху». И еще рукодельничать мастерица, сама себе

все шьет — и кофточку, и юбку, шьет и поет, как говорится, кротким голосом:

За рекой знакомый голос слышится,
И поют всю ночку соловьи...

Или вдруг скажет: «Хороша жизнь! Словно широкое поле — просторно и далеко видно». Два раза в неделю у ней техучеба, по субботам — самодеятельность.

Вася Гуляев умолк и задумался, рванул вдруг струны гитары и тотчас прикрыл их ладонью, как бы пытаясь унять их громкий гул.

— Я ведь как рассуждал, — заговорил он вновь. — Вздыхать и ручку жать — это занятие не для меня. Какой из меня воздыхатель? Одной рукой пятьдесят кило выжимаю. А хватишь молотом по силомеру — обязательно кольцо соскочит. А тут про морских героев рассказывай. Свои запасы кончились, я даже в библиотеку стал заглядывать.

Нет, думаю, мне при этой девке делать нечего, я тут с ней весь свой срок проканителюсь, ни с чем в море уйду. На ней, что ли, свет клином сошелся? Пора отшиться. Не тут-то было. Сплю — во сне Катю вижу. Хожу сам не свой. И все меня в знакомый переулок заносит. Вот тебе, думаю, Васька, и мель! Три дня и вовсе не являлся. Смотрю — с лица побледнела. Опасалась — не запил ли. «Нет, говорю, не привержен». — «Так почему же, говорит, не приходили так долго?» Я и брякнул: «Не знаю, говорю, а только без вас мне плохо, а с вами боязно». Она смеется и тихо говорит: «А может, бояться и не надо?»

Он снова помолчал и почему-то развел руками, как будто вопрошая: «И как это со мной случилось?»

— Стал я к ней домой захаживать. Домишко, скажу вам, преветхий, плечом нажмешь — завалится. А внутри чисто. Тесновато, правда. Семья большая: две сестренки-погодки да братишка Левка. Мать, Варвара Онуфриевна, толстая, дебелая, куда ни повернись — обязательно на нее наткнешься. А расторопна, все успевает — и постирать и прибрать. Кругом все блестит. Отчим, Анисим Петрович, крепкий морж, косая сажень в плечах, вроде кондуктора с «Резвого», с тральщика,

на котором я военную службу проходил. Усы белые, а глаза горят. Служит на почте. Самое ругательное у него слово «собака», опять же и самое похвальное тоже «собака». «Ну и собака»,—скажет и точно обругает самым бранным словом. А то скажет: «Эх, собака!» — и словно приласкает. Поговорить охотник — хлебом не корми.

«Садись, — бывало, скажет, — поговорим, Василий Афанасьевич, о жизни. Кто ты есть и много ли в тебе проку? — И тут же: — Варвара, лафитничек!» Любил старик выпить. Да только редко было чего выпить. Ну, расстараешься для него. А он выпьет, закусит, снова выпьет, а закусить забудет. И опять шурует: в каких, мол, чинах ходишь? «У нас, говорит, не столько за труд, сколько за ум, за смекалку платят. За соображение и талант — вот за что платят. Оттого и ударник. А в тебе много ли таланту?» Занятный старик.

И еще мальчонка Левка, ему шесть годов, а в шашки, оголец, играет замечательно. В два счета меня обставил. И еще пальцем грозится. «Смотри, моряк, не хвастай!» А я и не хвастал, только удивлялся — младенец ведь.

На стул с ногами заберется, фуражка на нем морская, только без капустки. Когда не с кем, с самим собой играет, себе же проигрывает, на себя же и сердится: «Не видишь, раззява, в дамку лезет? А вот еще одна...»

Зачастил я, значит, к ним в гости. Катюшу поджидаю, когда с работы придет. Сначала рады были мне. Потом, слышу, мамаша скрипит: «Нечего девку со стези сводить. Нечего тут променаду устраивать. Ежели по-хорошему, женись, а не хочешь, тогда от ворот поворот». Отчим, смотрю, тоже косится. «Ты, говорит, Василий Афанасьевич, как говорится, свою посуду поганить не давай и сам чужую не погань. Не будь собакой. Ты, говорит, понимаешь ли, какая это девушка? Клад. Бережливая, труженица, в семью до копейки отдает. Я ведь низкооплачиваемый. Варвара поденщиной тоже не брезгует. Семья-то, сам видишь, не маленькая. А ведь Катя молода, погулять небось и ей хочется. Доброты она необыкновенной, вся в мамашу. А мама-

ша — женщина положительная, овдовела в ранних летах...» И пошел писать-расписывать свою Варвару.

А я слушаю и думаю. Выходит мне, думаю, со всех сторон точка. Жалко, конечно. Свободный был, как птица, — ни забот, ни беспокойства. А с другой стороны, на черта мне эта свобода, ежели душа в клетке?

Набрался смелости, говорю: «Не сходить ли нам в загс, Катя?» А она отвечает: «До загса, Вася, дорога короткая, а из загса длинная, на всю жизнь». А меня уже закрутило, и нету мне останову. «Моряк, говорю, покуда холост, балует. А женился — баловству конец». А Катя свое твердит: «В море уйдешь — забудешь». — «Нет, говорю, вдали от земли все ближе и милее». Обнял ее, а она дрожит. «Ну чего ты?» — спрашиваю. «Не знаю, отвечает, само дрожится, неспокойно сердце».

После таких моих разговоров старики подобрели. Мамаша говорит: «Принимаем под свою крышу, зарегистрируйтесь!» — «Отчего же, отвечаю, у меня паспорт чистый». Тут отчим Анисим Петрович запел было с чужих нот: «Может, повременишь? Еще в один рейс сходишь? Оно вернее будет, надежнее». Видать, испугался старик напоследок: уйдет Катя, а с ней и зарплата. Даже мамаша на него цыкнула и ногой притопнула. «Цыц, старый лоботряс! Тоже заблаговестил! Чай, не из дому уходит».

Отгородили нам с Катей уголок с окошком. А всего-то два окна. Вижу, благородно поступают, честь по чести. Ну и я держусь в соответствии. Накупил всяких подарков старикам, сестричкам-погодкам, Левке. А Катя, чую, беспокоится — не слишком ли в расход залезаю?

Свадьбу справили, ничего не пожалел. Два дня гуляли, два дня «горько» кричали. Мамаша павой ходит, частушки поет с девичьей памяти. А отчим пьет — и ни в одном глазу. «Это, говорит, ежели кто с горя, тогда да, а с радости который — тот нет, не берут его никакие градусы, ни-ни, даже самые наивысшие». Хмелеть старик не хмелеет, а язык все же заплетается. «Двенадцать лет, говорит, прожил я с первой супругой душа в душу. Пьяный шофер-собака насмерть сшиб ее. Думал, не переживу сей юдоли. Три года с могилы

не уходил. На кладбище и с Варварой повстречался. Она к своему приходит, я — к своей. Посидим над могилками, помолчим, послушаем, как деревья шепчутся, и тихо домой побредем. Вот и говорит Варвара Онуфриевна по прошествии времени: «Мне, говорит, Анисим Петрович, опора нужна, затлевает бабья душа в одиночестве». — «Согласен, отвечаю, Варвара Онуфриевна, как и я устал в бобылях жить после драматической кончины моей бедной супруги». Мы и расписались. Теперь Левке седьмой пошел да девочки-погодки. В погожий денек мы с Варюшей и сейчас идем к дорогим могилкам. Она — к своему, я — к своей. Да. К чему же это я все? А к тому, Василий, что верность есть первейшее качество и в любви, и в дружбе, и в товариществе. Ты, Вася, моряк, понимать должен, что такое верность. Выпьем за верность!»

Отыграли свадьбу — гляжу, а денег нет. Вот тебе, думаю, и женился! Мне теперь и одному не прохарчиться. Не занимать же у тестя. А мне еще гулять месяца полтора.

Спит Катя, а мне не спится. Смотрю на нее — подложила ладошку под щеку, едва дышит. А из окошка заря бьет прямо ей в лицо, оно и разрумянилось. И такое оно свежее, красивое. Жалко стало мне ее и за себя неловко. А за пологом старики храпят, заливаются наперегонки. А мне и без того муторно.

Встал, оделся, со двора пошел. Похожу, думаю, обмозгую положение. Жить-то чем будешь? Или жене на шею сядешь? О чем только ты думал, Василий Афанасьевич, сукин ты сын! Опять же мыслишка лезет, подлецом-то быть кому охота. Большую, думаю, обузу на себя ты взвалил. Ведь им помогать надо. Поди, ртов-то сколько! У них, может, на тебя вся надежда. Может, и Катя за тебя пошла замуж не так от любви, как от нужды. Не скрою, врать не стану, испугался.

Иду по улице, а куда — не знаю. Денек пасмурный, деревья желтые, облетают, ветер листья гонит, осень. Вдруг из-за угла вываливаются знакомые ребята. Своя братва. И Сенька Тимохин с ними. Мы с ним на тральщике вместе службу проходили. Парень что надо, пока

не выпьет. А выпьет — сущий черт. «А-а, кричит, друг-приятель, куда, откуда?» И пошли тары-бары. «На корабль идем, — говорит Сеня, — день-два — и отшвартуемся». И запел: «Прощай, любимый город!..»

Как узнали ребята про мою женитьбу, наперебой поздравлять начали. Кто руку трясет, кто по плечу хлопает, а Сеня смеется: «Ладно, угощай давай! Такое с хорошим человеком не каждый день случается. А всухаря какое же поздравление!» А у меня денег в обрез. А тут как раз шалманчик открывается. Тяпнули по сто, колбаски там немного взяли, кильку синюю и дохлую... видать, с прошлого года нас дожидалась. Потом еще по сто... Развеселились ребята. А у Сеньки голос что твой ревун. Окосел парень. Говорит громко, смеется еще громче, чихнет — эхо отзывается. Потом начал задираться. «Не резон, говорит, товарищи твои в море уходят, а ты к юбке пристегнулся. Какой же ты после этого моряк? Плевать я хотел на такого моряка! — И пошел честить, аж меня в пот вдарило. — Баба что? Тьфу! А товарищ — это первейшее обстоятельство. Плохой товарищ и предать может. В какое время живешь? Кругом идет великая стройка, и международный враг не дремлет... А ты что?» И сыпет, и сыпет, ну ровно печатная газета, и на меня глазами сверкает.

Ребята усовещивать его стали, опасались — не вышло бы драки. А я молчу, сказать-то мне нечего. Прав, думаю, Семен, последнее дело — за товарищей не постоять. Опять же — все равно мне не сегодня-завтра в море идти. Капиталы мои такие — от силы на три дня хватит. Так уж лучше со своей братвой, с дружками и товарищами. «Ладно, говорю, довольно нудить меня и драить, не такой Вася Гуляев человек, чтоб от товарищей отрекаться...» И ничего больше сказать не могу, потому что плачу. Известно, водчонкой нагрузился, захмелел.

Проснулся — и не пойму, где я. Стучат колеса, вроде как поют: «Едем куда-то, едем куда-то...» А куда — тоже не пойму. Башка трещит, во рту высохло, аж голос сел. Смотрю, Сенька напротив сидит, мрачный — туча тучей. «Ты уж, говорит, Вася, не того... Не сил-

ком ведь тебя, по доброй воле поехал. Можешь вернуться. На обратный билет как-нибудь сообща наскребем. Вот, говорит, чертовщина: сколько ни пью, одни неприятности».

Тут-то я все и вспомнил. Взвился было, как сумасшедший. Что же это такое? Уехал, не простился, сбежал, как вор. Что она теперь обо мне подумает. Однако поостыл. Не прыгать же мне, думаю, теперь из вагона. Все равно долго засиживаться дома не пришлось бы. Отпишу ей сегодня же.

Сел писать — не выходит. В уме складно получается, а на бумаге чепуха ложится. Мне бы ей просто написать: «Не подумай, Катя, что я тебя покинул. Я люблю тебя и уважаю по-прежнему. И очень мне совестно, что вроде как сбежал, и стыдно, что духу не хватило открыться. Издержался я вдребезги, и не миновать мне было наняться в грузчики или на другой корабль. А тут повстречались свои ребята. А я с которыми плаваю по третьему и даже по пятому году. Я и пошел с ними». Написать бы мне все так, да, видно, не взошли слова. Да и сердцем зачерствел... Должно, так случается — обидишь человека и ему же простить не можешь, что обидел его.

А как попал на корабль, где уж там письма писать. Вместо двух дней только ночь у стенки простояли. Очухался, а за бортом уж волна плещет.

Вася умолк и долго молчал, не находя слов для выражения охватившего его смятения. Низко склонясь над гитарой, он осторожно перебирал струны, извлекая негромкие и печальные звуки. И лицо его с сжатыми губами выражало столько душевной боли, что, право, трудно было понять и еще труднее объяснить, как все это с ним случилось.

— Конечно, — сказал он погодя, — через милицию она меня искать не станет, не востребует. И жаловаться никуда не пойдет. Не того уклона. Но человек и сам себе судья.

Меня взволновала эта история — в ней угадывалась искренность чувства. Вася понимал все то зло, какое причинил себе и Кате. Похоже, он не верил, что она простит его, и все-таки надеялся.

Мы вышли на палубу. Тяжело дышал океан. В ночной тьме, громоздясь и ревя, перекатывались волны. Точно так же в черном небе, клубясь и пенясь, перекатывались тучи, казалось, тоже с грохотом.

Мы попрощались с Васей. Ему нужно было отдохнуть перед вахтой. Он был хмур и молчалив. Теперь, когда он все рассказал, ничего не утаив и не приукрасив, ему стало гораздо горше.

Чем мог я ему помочь? Мне было жаль его. Я пообещал передать его письмо Кате в руки.

Сойдя на сушу, я в тот же день направился по указанному на конверте адресу. Я легко нашел переулок и невзрачный, ветхий дом, где жила Катя. Внутри домишко был пригляднее, всюду было чисто и блестело.

Меня встретила Варвара Онуфриевна. Действительно, она пошла в ширину, так что казалось, занимает в небольшой комнате слишком много места. А вот лицо ее сохранило какую-то прелесть давно минувшей молодости и даже красоты. Она недоверчиво переспросила меня, точно ли мне нужна ее дочь. Кати дома не было.

Услышав, что я привез от Васи Гуляева привет, старуха всплеснула руками:

— Мало ему, окаянному! Надсмеялся, осрамил. У ней теперь полны горсти слез. Его бы по партийной линии или даже к прокурору... Бедная моя голубка! Придет с работы, забьется за перегородку и лежит там со своим горем и стыдом. — Она смахнула с носа набежавшую слезу.

Раздвинутый полог открывал уголок, отделенный для молодоженов, где теперь покинутая молодая женщина оплакивала по ночам свой позор и несчастье.

Ко мне подошел кудрявый мальчуган и деловито осведомился:

— В шашки умеешь?

— Умею.

— Тогда давай сыграем.

Мать накричала на Левку, чтоб не приставал к незнакомым людям. Мальчик с сожалением вздохнул и отправился на свое место, где лежала его форменная фуражка без капустки.

В это время на пороге появился Анисим Петрович. Его легко было узнать — «крепкий морж, косая сажень в плечах». Он был возбужден.

— Прямо с поминок, — сказал он печально. — Похоронили Ефима Григорьевича. Был человек — и нет человека. А какой был хороший, — сказал старик, обращаясь ко мне, как если бы знал меня давно и близко. — Никому не был в тягость, ни перед кем не оставался в долгу. Помер, как праведник, в погожий день... «Для детей, говорю, родитель возраста не имеет, а дружба, как говорится, чем старше, тем вернее. По-разному, говорю, расстаемся мы с вами, дорогой Ефим Григорьевич, дети — надолго, внуки — те еще надольше, а вот мы, друзья-приятели, совсем ненадолго...»

— Что ты, что ты! Голубчик мой бесценный! — перебила его Варвара Онуфриевна, вновь смахивая слезу. — Ему, чай, и годов немало было. Нам не дожить.

Тут Анисим Петрович спохватился, что видит меня впервые. Он удивленно и вопросительно уставился на меня.

— Зятек прислал, — с злой иронией сказала Варвара Онуфриевна.

Старик несколько секунд внимательно разглядывал меня и внезапно атаковал с самых неожиданных позиций:

— Поговорка есть такая: «Скажи мне, кто твой друг, а я скажу тебе, кто ты такой». Слыхали?

Не думал я, что мне придется выдержать баталию с родными Кати, прежде чем встречусь с ней. Даже Левка и тот был зло настроен против Васьки Гуляева.

— Собака! — сказал он с презрением, подведя итог объединенным нападкам родителей.

Я дал сойти первой волне стариковского гнева. А когда оба выдохлись, я осторожно заговорил. Я начал издалека, рассказал о Васе все, что знал о нем, не преувеличивая его достоинств и не преуменьшая его недостатков. Конечно, я осуждал его. Впрочем, он сам себя осудил всех строже. Мое присутствие здесь — неопровержимое тому доказательство.

— Что он тут забыл? Ничего, кроме чести. Да, да, я не оговорился. Скажите, Анисим Петрович, скажите

и вы, Варвара Онуфриевна, положа руку на сердце: как посмотрели бы вы на вашего зятя, ежели бы он назавтра после свадьбы попросил взаймы у тестя или поступил бы на содержание к жене?..

Последний довод показался старику убедительным.

— Эх, собака! — молвил он с укором и примирением. — Сказал бы — ну, просчитался, ну, издержался, ну, промотался. Свои ведь люди. С кем не бывает. Зазору в этом нету. А то вот бросишь в человека репьем, глядишь, его всего и облепило. Варвара, лафитничек!

Варвара Онуфриевна мигом тоже преобразилась, расплывшись в добрейшей улыбке:

— Может, чаю выкушаете? А лафитничек, не взыщите, пустой...

Катю я увидел в тот же вечер. Это была маленькая женщина с тонкой фигурой, бледным лицом и темносерыми глазами, которые смотрели вам прямо в лицо, как бы стараясь получше разглядеть вас, проникнуть вам в душу. У нее был робкий, недоверчивый, испуганный вид, — вот-вот, казалось, она отвернется и уйдет. И, хотя она была предупреждена обо мне, она все же, увидев меня, мертвенно побелела. Она не захотела взять письмо от Васи.

— Не надо, не надо... — проговорила она быстро, стискивая свои небольшие, огрубевшие в труде руки.

— Да ты хоть выслушай-то человека, — вступилась было мать.

— А что мне слушать! — ответила она резко. — Обесславил на всю округу. Пальцами показывают, в лицо смеются... не жена, не вдова, не разводка... а так что-то, и не поймешь что... — выпалила она скороговоркой, заливаясь краской стыда и обиды.

Но все-таки не ушла, и это было хорошей приметой. Нас оставили одних. Я не знал, с чего начать, хотя, прежде чем прийти сюда, хорошенько обдумал все, что скажу ей.

Она стояла, отвернувшись от меня. Наконец я сказал:

— Раньше, чем судить, надо выслушать.

Она круто повернулась ко мне и перебила меня с нехорошей усмешкой:

— Не хочу слушать... И судить не хочу. Мне все равно, плохой он или хороший. А вот что он пустой, нестóящий, — это я знаю. И, верно, запойный. Такое только с запою сделаешь.

Я не сдавался.

— Бывает, — говорил я, — и с хорошими людьми: ошибется, оплошает, а потом спохватится, да поздно, как Вася, например, вдали от земли и от тех людей, перед которыми виноват и должен оправдаться. Знаете, все люди глупости делают. Но глупость умного гораздо заметнее глупости дурака...

Она не слушала меня. Я чувствовал: сколько ни говори, слова оставались только словами, не трогая ее. В открытое окно доносилась песня, которую передавал соседский репродуктор. Пел женский голос:

Мне не жаль, что я тобой покинута,
Жаль, что люди много говорят.

Катя изумленно подняла брови и прислушалась. Достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять, как близка ее встревоженной душе эта унылая песня. Все, что эта маленькая женщина пережила, брошенная, обманутая, оскорбленная и опозоренная, нашло свое выражение в несложных словах и тоскливой мелодии песни, полной бабьего смятения и отчаяния.

Мне не долго добежать до проруби,
Даже не запрятав русых кос...

Невозможно было преодолеть настроение этой песни. Я молчал, думая о том, что, может быть, не из-за чего копья ломать. Но передо мной встал Вася с его вдумчивой улыбкой и виноватым голосом, я вспомнил, как участливо отнесся он ко мне, стараясь облегчить мои страдания, как спас захмелевшего Сеньку, полезшего спьяна за борт, а потом оградил его от серьезного наказания, как безотказно работал в горячие дни трала, не зная устали. И все он делал не напоказ, а без корысти и мелочного тщеславия. Я представил себе его где-то там, во мраке полярной ночи, среди стужи, пурги, железного гула ломающихся льдов, наедине со своей тоской, раскаянием и любовью.

Конечно, его вина была огромна, ее нельзя оправдать, но объяснить ее я хотел.

Наше молчание затянулось и тогда, когда песня кончилась. А Катя ждала, с недоумением посматривая на меня.

В вечернем сумраке за окном перемигивались городские огни.

У меня вдруг мелькнула простая мысль: я расскажу ей все так, как рассказал мне Василий Гуляев. Я начал не совсем уверенно. Но по мере того, как говорил, я сам многое уяснял себе. Я не забыл ни одной подробности, ни одной фразы. Я был точен и аккуратен в обращении с фактами. Я увлекся, вошел в роль, перевоплотился, порой мне казалось, что это я для себя вымаливаю прощение у мною обиженной и любимой девушки.

Боже мой, и откуда только взялись слова! Это был поток самых нежных, самых горьких, самых простых слов. Это была импровизация, неповторимое вдохновение. Силой искусства я воскрешал то, что было почти мертвым, преображая самую жизнь, изуродованную случайными и нелепыми обстоятельствами.

Катя слушала, уставясь мне в лицо своими серыми мерцающими глазами, в которых понемногу угасали недоверие и насмешка. И вдруг блеснули слезы. Потом Катя взяла письмо, прочитала его и заплакала.

Я не знал, над чем она плачет — над письмом или над тем, что я рассказал ей. Мне больше нечего было говорить. Она плакала, не стесняясь меня. Тогда я обнял ее за плечи, чтобы успокоить и утешить. Я гладил ее мягкие волосы и думал: пройдут дни, недели, месяцы, а Катя все будет наедине с тем новым образом, возродившимся для жизни и любви, и с каждым днем, с каждым часом он будет ей все ближе и роднее.

Я был счастлив, как будто сам увлек, покинул и вновь завоевал эту прекрасную женщину.

1936—1956

СОДЕРЖАНИЕ

ПОВЕСТИ О ДАВНЕМ И ЖИВОМ

СТРАНИЦЫ ВЕРНОСТИ

КАЛМЫЦКАЯ СТЕПЬ

РАЗДУМЬЕ И ЛЮБОВЬ

ЯВИЧ
Август
Ефимович

СТРАНИЦЫ ВЕРНОСТИ

Редактор Ю. Б. РЮРИКОВ
Художник И. В. ЦАРЕВИЧ
Худож. ред. В. И. МОРОЗОВ
Техн. редактор В. Г. КОММ
Корректоры Л. И. ЖИРОНКИНА, В. Н. СТАХАНОВА и И. А. ЧАЙКА

Сдано в набор 7/XII 1962 г.
Подписано в печать 27/IV 1963 г.
А-03163. Бумага 84×108$^{1}/_{32}$.
Печ. л. 14$^{7}/_{8}$ (24,4).
Уч.-изд. л. 23,3.
Тираж 100 000.
Заказ № 1862. Цена 80 к.

Издательство
„Советский писатель"
Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Лениздат, Ленинград, Торговый пер., 3
Типография имени Володарского Лениздата, Фонтанка, 57

80 коп.

Август Явич

Страницы верности